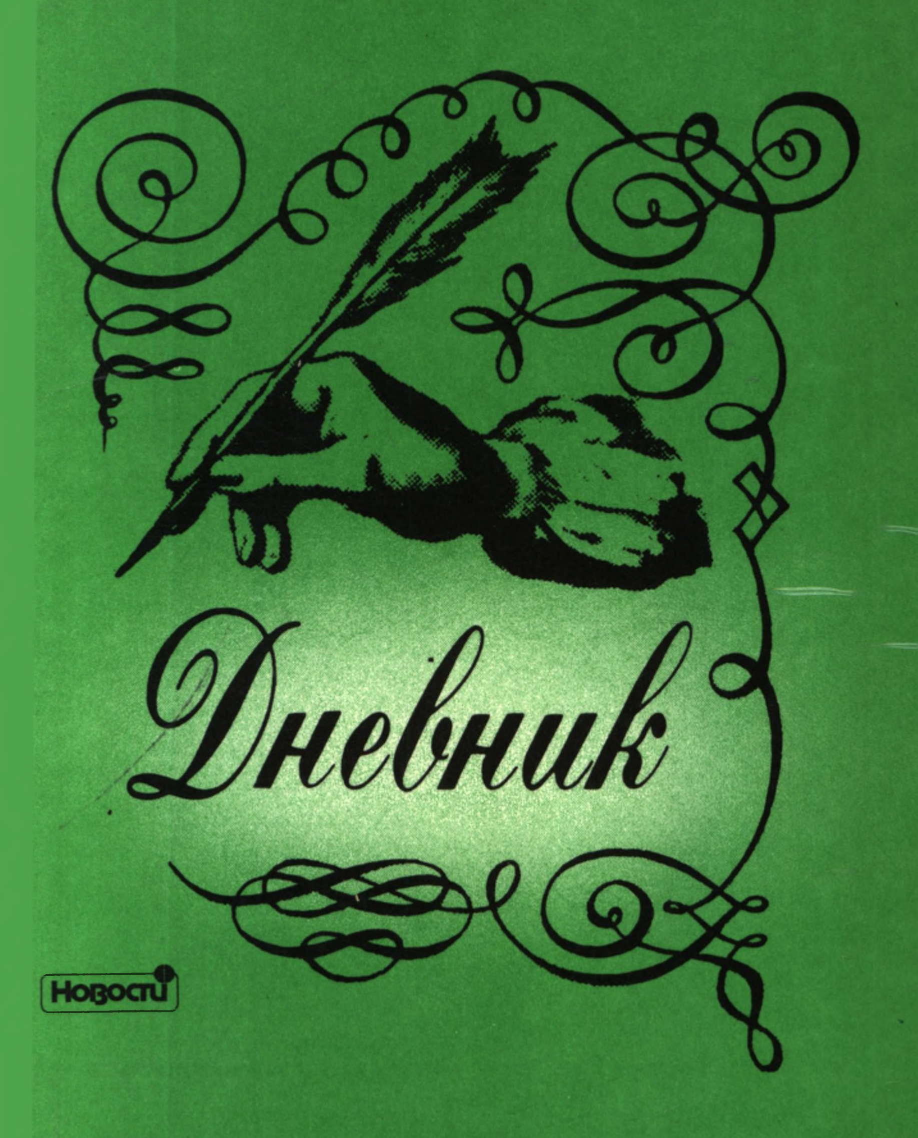
А. СУВОРИН




ЗДѢСЬ ПРОДАЕТСЯ
ОФИЦІАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
L'ETUDE ACADEMIQUE
L'ETUDE ACADEMIQUE
НОВОЕ
ВЕСЬ МІРЪ
ВСЕМІРНАЯ
РАМПА
Театръ
НОВОЕ
ВЕСЬ МІРЪ
ОГОНЕКЪ
ВСЕМІРНАЯ
САТИРИКОН
Театръ
Студенческая жизнь

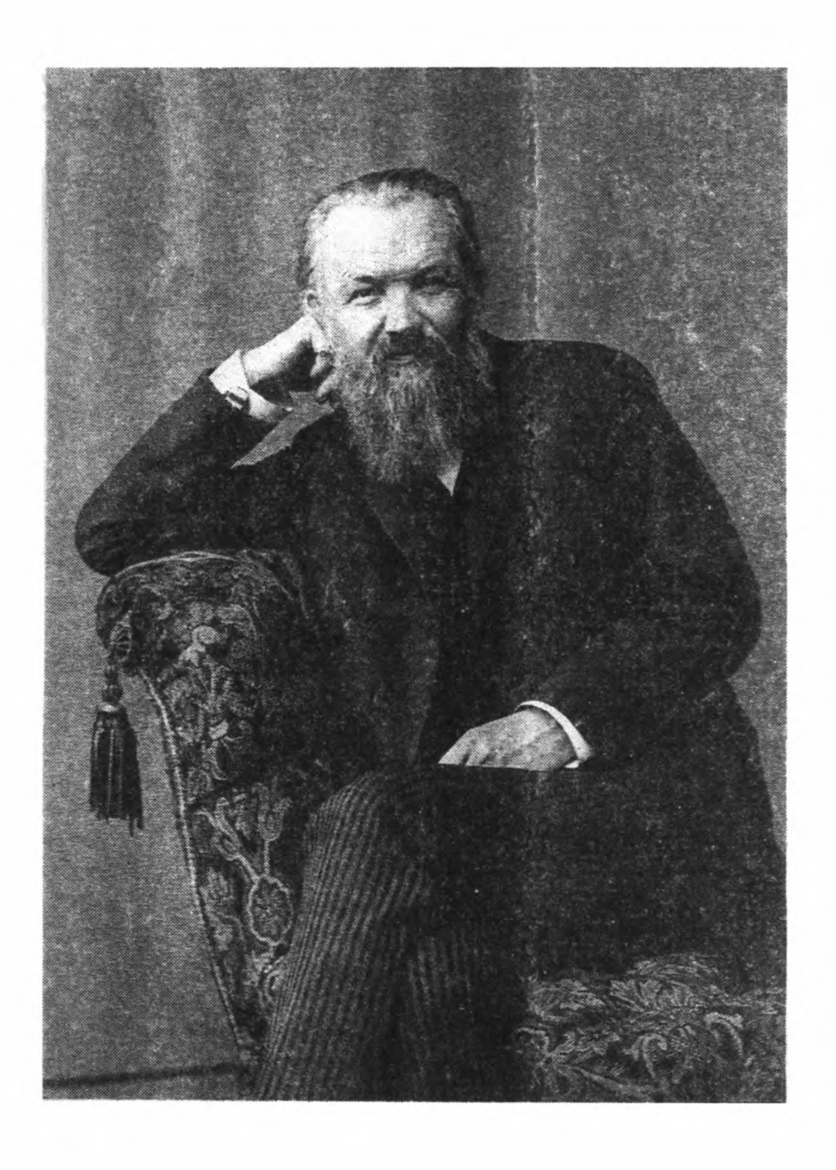


продается книга
ПЕТЕРБУРГЪ
издание А. С. Суворина
ОФФИЦIАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПОЛУЧЕНЪ
ОГОНЕКЪ —
НА ЗАВТРА!
Голосъ Москвы
ОСА
Сатирикон
Всемiрная новь
ОСА

А. СУВОРИН

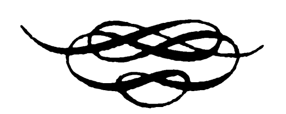
Дневник

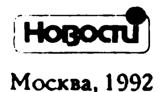




А. СУВОРИН

Дневник





Москва, 1992

ББК 63.3(2)5
С89

В книге использованы фотографии из фондов Государственного литературного музея, Центрального государственного театрального музея им. А.А.Бахрушина, ИАН и издательства „Новости“.
Текст печатается по: Издательство Л.Д.Френкель, Москва— Петроград, 1923

От Издательства

Орфография и пунктуация в книге А.Суворина „Дневник“ приведены в соответствие с современной нормой, однако сохранены некоторые особенности авторского написания.

Орфография названий литературных произведений и периодических изданий в тех случаях, когда она отражает широко бытовавшую практику, остается без изменений.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переписка Победоносцева, записки Витте, графини Клейнмихель, Родзянко, Деникина, Курлова...

Мемуары „старого мира", им же несть числа.

И вот еще одна книга в этой бесконечной серии — „Дневник А. С. Суворина". Нужно ли все это? Стоит ли в наше время, когда раскрепощенному молодому поколению нужны новые книги о строительстве новой жизни, — стоит ли печатать этот „исторический хлам"? Такой вопрос мы задавали себе не раз, теряя время в течение года на кропотливый разбор, расшифровку, переписку и обработку случайно сохранившихся среди книжной макулатуры многочисленных тетрадей, испещренных мелким, мучительно неразборчивым почерком А. С. Суворина. Но чем более критически мы относились к публикуемым ниже материалам, тем больше мы укреплялись в мысли, что книга эта полезна именно в наше время и полезна молодежи больше, пожалуй, чем современникам Суворина, боровшимся против защищаемого им дворянско-помещичьего строя. Счастье молодежи в том, что Великая Революция воздвигла на обломках старого помещичьего быта гранитную стену между прошлым и будущим. Счастье молодого поколения в том, что годами ссылки, тюрьмы, каторги и смертями на поле брани завоевано для него право на среднюю и высшую школу, право на рабфаки, институты, университеты, право на науку в целом. Но для того, чтобы вполне оценить это величайшее благо, молодежь должна побольше знать об удушливой атмосфере и уродливом выродженческом быте погребенного Революцией прошлого. Немало материала, освещающего эту область, новое поколение найдет в „Дневнике А. С. Суворина", который, записывая в свои тетрадки день за днем и не рассчитывая на опубликование своих записей, как бы отводил душу после своей повседневной службы — защиты в прессе сановников, старой политики и гнилого уклада, словом, всего того, что положение А. С. Суворина обязывало его

защищать, но что он, как умный человек и даровитый публицист, не мог в сокровенности не презирать. А. С. Суворин мог бы в своих записках с полным правом сказать, обращаясь к старому строю: „Я правду о тебе порасскажу такую, что будет хуже всякой лжи...“

И он действительно старался рассказать правду, насколько мог, про все и про всех: про царей, про князей, про бюрократических божков, про писателей, про актеров, про общественных деятелей, про всех, кто его окружал. Он старался рассказать все, что знал, а знал он если не все, то очень много. Ибо шли к нему с заискивающим поклоном все — от начинающего чиновника и актера до вершивших судьбы народа царедворцев и министров. Роль А. С. Суворина обязывала его замалчивать правду и говорить неправду день за днем в своей самой влиятельной в то время газете. Но это же его положение не мешало и даже способствовало ему по ночам записывать факты — массу фактов, до мелочей и столичных сплетен включительно. Личная его жизнь и бесславный конец свидетельствуют о том, что он был не в силах высвободиться из плена славы и богатства, которые он стяжал, продав душу дьяволу — реакции. Но сознание, что ум и талант свой он отдавал делу спасения утопающего режима, который был ему, выходцу из однодворцев, сыну крестьянки, чужд, никогда его, по-видимому, не покидало. Вот почему, „достигнув высшей власти“ неправедными путями, он так часто пишет со скорбью о самом себе и о растраченном своем таланте и отводит душу в иронических и полных презрения записях об окружающих.

В одну из таких минут самоистязания А. С. Суворин сделал подробную автобиографическую запись: начал он учителем географии в уездном училище в городе Боброве, получая в месяц жалованье 14 рублей 60 копеек; перешел в Москву в качестве молодого беллетриста и журналиста и жил в избе в десяти верстах от Москвы; жена его ходила в город пешком и, чтобы не истоптать сапоги, снимала их по дороге и шла босиком, и в таком виде встретил ее Плещеев; начал печататься в „Современнике“, а когда ехал в Петербург за гонораром, Плещеев устроил ему бесплатный проезд в почтовом вагоне; когда отправлялся в Петербург искать место секретаря редакции, тот же Плещеев дал ему теплое пальто, так как своего у Суворина не было, а пришлось ему ехать в третьем классе, в нетопленном вагоне; произведения его запрещались цензурой; за передовую статью в „Русском Инвалиде“, где он рассказал о бале у киевского губернатора, что на балу этом присутствовали публичные женщины, Суворин был притянут к

ответственности по распоряжению Александра II; сотрудничая у Н. Г. Чернышевского, был им принимаем; по заказу Л. Н. Толстого писал книжки для яснополянских крестьян, и Толстой лично приносил ему, Суворину, гонорар. Словом, долгое время А. С. Суворин был человек человеком; вел тяжелую жизнь труда и лишений: в газете Башмакова работал с 10-ти утра до 3-х ночи, писал фельетоны, составлял заметки, делал „хронику", писал театральные рецензии, читал корректуру объявлений; проще говоря, прошел суровую школу чернорабочего в газетном деле. А когда развернул свое „Новое Время" во влиятельный орган, стяжал „славу" и громадное состояние на публикациях предлагавших свой труд кухарок и прислуг — оказался в плену: его захлестнули влиятельность и богатство. Уже другие стали заботиться об его славе, о нем стали радеть сановные люди, которым он был крайне нужен, как рупор. Они же несли ему новые богатства в виде разных льгот и концессий, даже заискивали перед ним. Министры и царедворцы искали Суворина и его газеты. И тут произошло с Сувориным то же, что происходит в парламентарных странах по сие время с так называемыми „левыми" депутатами: они становятся врагами тех, кому собирались посвятить свои силы — они переходят на сторону врагов народа. Примеров приводить не стоит, ибо их бесчисленное множество в каждой стране, и в России в период гражданской войны их оказалось, в частности, немало.

А. С. Суворин обрывает свою автобиографическую запись такими словами: „Этак записывать, много бы написалось..." И действительно многое мог бы рассказать о своем постепенном падении А. С. Суворин, владелец крупнейшей газеты, крупнейшего книжного издательства, выросшего на концессии, данной ему правительством в виде книжных киосков на всей сети российских железных дорог и водных путей. Когда в один из своих литературных юбилеев Суворин узнал, что правительство собирается преподнести ему от имени царя какой-то важный орден, он в ужасе воскликнул: „Как вы не понимаете, что вы этим погубите меня как журналиста"... Но А. С. Суворин уже никак не мог предотвратить в 1912 году возложения на его могилу надгробного венка от Николая II, министерских сочувственных телеграмм „осиротевшей семье" и митрополичьих панихид. Опускаясь от Л. Н. Толстого и Н. Г. Чернышевского до министров Николая II, обвеянный впоследствии ладаном „иерархов", которые со смаком вдыхали чад и копоть сжигаемых в погромах еврейских местечек, воспитав плеяду „нововременцев", до сих пор изливающих в

столице последнего „славянского царя“ в Белграде зоологическую тоску по изжитой мертвечине царизма, А. С. Суворин, подобно блуднице, стыдящейся своего блуда, жадно хватался за перо, чтобы с тоской и злобой записывать по ночам всю доступную ему правду о ничтожестве окружавшей его общественной среды. Ибо не одни бюрократы лебезили перед влиятельнейшим журналистом Сувориным. Заискивали перед ним и писатели, и художники, и актеры, и общественные деятели не только в период суворинского либерализма, но также во время нововременского „чего изволите“. И Суворин как бы нарочито выкапывает все отвратительное обо всех маломальски известных фигурах, будь то царь или писатель-обличитель.

„Всем сестрам по серьгам“...

Очень наблюдательный, много знавший, бывший в знакомстве и переписке с выдающимися писателями Запада, А. С. Суворин преклонялся только перед немногими избранными. Благоговейные записи мы находим в его „Дневнике“ лишь о Толстом, Достоевском и Чехове. Зато такие „памятники“ поставлены Сувориным при жизни многим литературным и политическим знаменитостям, что те в гробу перевернулись бы от приводимых им не характеристик, нет, — фактов и фактов, кажется, бесспорных.

„Дневник А. С. Суворина“ писан отдельными отрывками, записи часто не более двух-трех строк, каждый день зафиксировано все, останавливавшее его внимание в данный момент, часто без всяких собственных заключений. Писано не для печати. Суворинский „Дневник“, даже после его смерти не допущен был бы к опубликованию, если бы в России не произошло рабочей революции, убравшей со сцены старых деятелей. Суворин это понимал и так и говорит в некоторых местах о своих записях. Больше того, к концу жизни он сам недоумевает, зачем он записывает, так как никому это-де не будет интересно, никто этого не захочет печатать. „А если писать для истории, — замечает Суворин — то надобно писать иначе“. И вот именно потому, что записанное А. С. Сувориным запечатлевалось на бумагу не для истории, передавалось без „замазывания щелей“, без сглаживания острых углов, без оглядки назад и без боязни кого-то обидеть, кого-то задеть, кому-то сделать неприятное, кого-то развенчать, кому-то испортить ореол, его окружающий; именно потому, что нанизаны факты, иронией освещенные, показаны скрытые от нас стороны медалей, фактами дополнены многие характеристики, — именно по этой причине собранный здесь

материал ценен, и уж во всяком случае значительно более ценен, чем те записки, которые пишутся на склоне жизни в большинстве случаев для самооправдания или для наведения будущего историка на ложный след. „Дневник" Суворина — это разговор с самим собой наедине, как бы каждодневное покаяние. После греховного дня официальной публицистики Суворин испытывает влечение к неофициальной публицистике, чувствует потребность писать правду. И в „Дневнике" оказалась правдивая публицистика. Конечно, для того времени, в котором жил Суворин, и для того круга знаний, хотя и значительного, которым Суворин располагал, правда его довольно наивная, но все же она правда. Суворин в своих взглядах не мог пойти дальше той либеральной жижицы, при помощи которой в 1917 году „думцы" пытались обуздать революцию. Но Суворин был достаточно умен, чтобы в 1905—1907 годах говорить достаточно много колкой правды защитникам Государственной думы и тому подобных „ценностей".

Либеральная печать ожесточенно полемизировала с Сувориным. Устраивала ему студенческие демонстрации за постановку в его театре юдофобских пьес и за статьи его против студенческих беспорядков, доводила Суворина до приступов малодушия, когда он совершенно терял самообладание, но в то же время сами либералы были достаточно трусливы, чтобы осудить Суворина. Не скрещивала с Сувориным свой меч одна только подлинно революционная печать, для которой Суворин был врагом гораздо меньшим, чем для либерального круга, потому что любому марксистски проникновенному революционеру был вполне очевиден неизбежно предстоявший в близком будущем полнейший крах самодержавия, и всякая поддержка его Сувориным была беспомощна. Сам же Суворин имел весьма слабое представление о революционном действе и революционном темпе. Деятельность его как беллетриста и журналиста охватила период со второй половины XIX — по начало XX века, и в памяти его сохранились представления о революционном движении, как о метании бомб, о террористических актах, взрывах дворцов, провокациях и тому подобных устарелостях, ставших достоянием историко-революционного музея. Революция же позднейшая, поры 1905—1906 годов, воплощалась у Суворина в Хрусталевых-Носарей, Алексинских, Бурцевых и тому подобных беспринципных, лишенных прочной революционной почвы, суетливых истериков, всегда носившихся с планами психической развинченности. И поэтому Суворин, с точки зрения

„антинигилиста", смотрел на такую „революцию" свысока, третируя ее, как „преступную толпу, живущую-де убийствами и поджигательством". Настоящих познаний в области подлинной революционности, скажем, в теории марксизма, Суворин совсем не имел. Его мысли в „Дневнике", записанные во время пребывания в Германии, о германской социал-демократии, свидетельствуют о полнейшем его невежестве в понимании марксистской теории и практики.

Однако же Суворин в данном случае не выступает врагом социал-демократии, а, наоборот, признает, что социализм создаст подлинное благо народов. То же, что он видел в России, страшило его, он с испугом шарахался в сторону от революции, ибо видел в революции одно только разрушение. Но главное, конечно, не это, а другое: Суворин вполне освоился с богатством и „положением", и лишиться комфорта, книжных магазинов, типографий, имения и процентных бумаг он, как и всякий буржуа, боялся. Период, когда цензура сжигала его „Всяких" и когда он сотрудничал во „Времени" Ф.М.Достоевского, был порядком забыт Сувориным, и вернуться к этому периоду, чтобы „умереть на чердаке", ему не хотелось... Отсюда и страх, и ужас перед революцией. Отсюда и вялость, и бледность суворинской политической публицистики, хотя Суворин и обладал очень острым пером.

Еще в 1893 году, почти за 20 лет до своей смерти, сильный влиянием и успехом как публицист и драматург, А.С.Суворин сознавал, что он конченый человек и делает такую запись о самом себе:

„...Скука и тоска. Тоска человека, выброшенного, куцего какого-то, переставшего жить. На рубеже прозябания, бездействия мозга и мысли, когда будут говорить только инстинкты".

Для истории русской публицистики А.С.Суворин — обреченная на бесславное забвение тень. Его пресловутые „Маленькие письма" уже основательно забыты, как стушевались перед ними хорошие в свое время фельетоны „Незнакомца". Его литературное наследство, накопленное за полвека работы, превратилось в бумажную макулатуру. Зато его „Дневник" пережил своего автора. В „Дневнике" А.С.Суворин своим ночным фонарем тщательно осветил много закоулков того салонного „подполья, где готовилась бюрократическая рецептура шарлатанского философского камня", под тяжестью которого должна была вечно произрастать унылая травка кладбищенской жизни.

А.П.Чехов неоднократно уговаривал А.С.Суворина на

склоне дней его написать роман. Роман у Суворина, по мнению Чехова, должен был бы получиться большой и интересный, так как Суворин много видел и знал. А.С. Суворин, как он признается, в старости не чувствовал себя в силах это сделать. Но, сам того не замечая, А.С. Суворин написал большой исторический роман, в котором действительно изложил все, что видел и знал. И роман этот — его „Дневник". В нем не только факты, но и пророчества, не суворинские пророчества, а пророчества титанов мысли и кисти — Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Так, например, А.С. Суворин записал гениальное откровение Ф.М. Достоевского, который в беседе с ним, Сувориным, излагал концепцию окончания романа „Братья Карамазовы". По этой концепции Алеша Карамазов должен был стать революционером и быть казненным.

Стало быть, революция подчинила себе такого враждебного ей гиганта мировой литературы, как Ф.М. Достоевский. Но Ф.М. Достоевский молчал об этом до самой смерти, поделившись своими замыслами лишь со стариком Сувориным. Тот, боясь революции, таил великую тайну до своей гробовой доски. И прав был тот же Ф.М. Достоевский, сказав: „Нет ничего тайного, что бы не стало явным". Много тайн, запертых хитрым колдуном нововременской „Лысой Горы", всплывают ныне на поверхность и будут далеко не без пользы прочтены молодыми читателями обновленной в революционной купели России.

* * *

Несколько сведений о самом „Дневнике"

Алексей Сергеевич Суворин начал вести свой „Дневник" в 1893 году, открыв его страницей воспоминаний, относящихся к 1887 году. Одна из его тетрадей, дошедшая до нас в переписанном виде, так и начинается: „1887 г. Отрывок из воспоминаний". Сама же тетрадь содержит подневные записи за 1903 год. Более ранних тетрадей нет и, судя по распределению записей в остальных тетрадях, Суворин записей раньше не делал. В тетрадях же за последующие годы разбросаны сплошь и рядом записи о событиях и фактах значительно более раннего периода. Так, например, самые ранние встречи с Л.Н. Толстым, Лесковым, графиней Салиас и др. записаны гораздо позднее, в различных местах, под разными датами. Обыкновенно такие экскурсы в область прошлого делались автором „Дневника" по случаю какой-нибудь записи о современности, вызывавшей

сравнение с прошлым или требовавшей сопоставления. Есть интересные записи о дуэли А. С. Пушкина, со слов Ефремова. Есть чрезвычайно любопытные записи об Александре II, со ссылкой на лиц, рассказывавших ему то или другое. Вообще, в этом отношении Суворин соблюдал чрезвычайную точность. Все записанное им со слов третьих лиц всегда содержит отметку: „рассказывал такой-то", „сообщил такой-то". В тех случаях, когда он сомневается в правдивости того или другого записанного им сообщения, он отмечает свое сомнение тут же в записи.

„Дневник" доведен до 1909 года, но последние два года, когда Суворин уже явно страдал старческим расслаблением, он ничего общественно интересного не записывал, да и находился уже не у дел и центром средоточия политических, литературных и общественных новостей не являлся. Отсутствуют тетради за 1905 год, но, по всем признакам, таких записей и не было; „Дневник" свой Суворин часто откладывал в сторону, будучи либо отвлечен, либо болен. Но через известный промежуток времени он снова принимался записывать все, что оставалось в памяти. Часто он жалуется на свою память: „Вокруг меня столько интересного, мне так много рассказывают, а я имею привычку забывать, и многое остается незаписанным", — жалуется он.

Большое место в „Дневнике" занимают театр и театральные деятели. Это понятно: Суворин имел к театру „влечение — род недуга" и отдавал ему очень много внимания и сил. Судя по его записям о драматургии и сценическом искусстве, которыми изобилует „Дневник", автор его обладал большим пониманием театра.

Не менее значительное место в „Дневнике" занимает другая злоба дня — печать, сношения с властями по делам печати и взаимоотношения органов печати между собой. Тут проходит галерея портретов писателей и журналистов, изображенных, что называется, „во весь рост"...

В таком же духе даны портреты министров и царедворцев. Не менее интересны записи во время путешествия его по Италии, Германии и во время пребывания в Париже. Тут Суворин, как бытописатель, присматривался ко всему, все изучал, как быт, так и политические нравы, литературную жизнь и жизнь парижской богемы 90-х годов.

Большое место в „Дневнике" отведено чисто семейным делам, которые были очень запутанны и очень часто выводили старика из равновесия, когда он впадал в брюзжанье. Эти записи мы по мере возможности выпускали совершенно, так как нынешнему

читателю и даже историку вряд ли интересно входить в историю семьи Сувориных. Мы оставили из этой области только историю раскола в „Новом Времени", когда Алексей Суворин-сын, которому Суворин-отец фактически передал ведение редакции „Нового Времени", ушел от отца, открыл свою газету и переманил от отца лучших сотрудников газеты. Этот факт имеет общественный интерес, и его мы не считали возможным исключить.

Тексты и стиль „Дневника" сохранены нами в полной мере подлинные, и лишь отдельные выражения, слишком „вольные", заменены либо другими, либо точками.

Михаил КРИЧЕВСКИЙ

Петроград, июль 1923 г.

1887 год

ОТРЫВОК

В день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова я сидел у Ф.М.Достоевского.

Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной, набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал: „А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад".

И он продолжал набивать папиросы.

О покушении ни он, ни я еще не знали. Но разговор скоро перешел на политические преступления вообще, и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: „Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину". Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до Вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины — прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: „Достоевский указал на преступников". Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить.

Он долго говорил на эту тему и говорил одушевленно. Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...

1893 год

25 января.

Витте стал неузнаваем. Когда делают доклад, он смотрит вверх, точно мечтает о вещах не от мира сего или о величии своего призвания. Когда говорят с ним — почти не отвечает. Царю, говорят, нравится его авторитетная манера. В заседании Государственного совета отказался от квартирного налога на военных, причем Сольский сказал ему: „Зачем же два заседания об этом толковали?" Кривошеин от себя сделал доклад о том, чтобы вывозить рельсы и вагоны из–за границы, чтобы заставить горных заводчиков понизить цены, но говорят, что его побудил к этому Витте. Витте же сказал против него речь, разбив его доводы: правительство 140 миллионов употребило на заказы с целью поднятия этого производства, были два специальные распоряжения государя, чтобы отнюдь не заказывать за границей. Бунге, чтобы смягчить конфуз Кривошеина, сказал, что можно в журнале сказать, что Министерство путей сообщения может входить в Государственный совет с докладом, когда понадобится. Но Сольский против этого возражал.

—

Кривошеин участвовал в рулетке.

—

У Черевина есть любовница, Федосеева, красивая женщина, жена правителя его канцелярии, с которой он живет, и она берет взятки. Оттого Черевин ничего не говорит царю.

—

На счастье Витте, умер Хотимский, золотопромышленник, брат жены Витте. Он старался его выжить из Петер-

бурга при помощи фон Валя. Бонвиван, купивший имения И.А.Всеволожского, которого содержал несколько лет, платя ему по 12 000 рублей в год. Через Хотимского все можно было сделать у Всеволожского. Он был посредником, когда эти имения хотел купить С... и компания французская — давали 1 миллион 400 тысяч.

—

Витте хотел назначить на место Островского Ермолова, но царь не подписал доклада. Ему говорили, чтобы не назначать более министров из этой клики. Ермолов смотрит так, чтобы сделать из Министерства земледелия ученое министерство, а Горный департамент присоединить к Министерству финансов.

—

Теории Витте оригинальны, но он не хорошо рассчитывает и хочет рубить сплеча. Петра Вл. Антоновича содержали еврейские банкиры. На Жуковского Витте смотрит свысока и хочет сделать директором банка Антоновича, но он просит 100 тысяч рублей жалованья. Витте, когда был в Киеве, субсидировал Антоновича, который защищал юго-западные дороги.

27 января.

Письмо Михаилу Григорьевичу Данилевскому, сыну Григория Петровича, романиста, налево приклеенное. Отличный образчик молодых людей, нечего сказать. Он с Володей моим экзаменовался в одной гимназии, и когда Володе за тему „О любви к отечеству“ поставили дурную отметку, хотя учитель говорил, что написано блистательно, но неблагонамеренно, сын Григория Петровича написал по Карамзину и получил „5“. Об этом Григорий Петрович мне сам же рассказывал.

Вот письмо.

„Михаил Григорьевич, Вы плохо ловите меня на слове. Я действительно люблю молодых людей, но не всех. Когда я был молод и когда Ваш батюшка был молод, мы писали статьи, относили и отсылали их в редакции и

ожидали с доверием к редакторам их помещения и гонорара. Теперь, очевидно, другие нравы, и, признаюсь, мне не симпатичные. Вы берете письма к Вашему отцу известных его современников, обставляете их своими замечаниями и, не посылая их, торгуетесь предварительно, сколько Вам дадут. Вы просите то 400 рублей, то меньше, несмотря на то что Вам ничего не предлагают. Я, не имея никакого понятия ни о том, как Вы пишете, ни о том, насколько интересны и важны письма тех лиц, которые переписывались с Вашим батюшкой, и потому, естественно, мог Вам отвечать только отказом на Ваше предложение поместить их в „Новом Времени", мотивируя отказ тем, что для газеты Ваша статья длинна. Вы не догадываетесь об истинном мотиве и продолжаете торговаться и предлагать свою статью, уменьшая цену. Наконец, Вы ловите меня на слове, что я люблю молодых людей, и взываете к моему русскому чутью и клянетесь Вашей любовью к родителю. Все это в данном случае ни при чем. Если б Вам дорога была память родителя Вашего, то Вы бы просто отдали письма Плетнева и т.д., адресованные к Григорию Петровичу, в „Русский Архив" или „Русскую Старину", где помещаются материалы для литературы, и предоставили бы „обставлять" эти письма другим, более Вас знающим тогдашние литературные отношения. Говоря о своих сыновних чувствах, Вы пишете мне: „От души желаю, чтобы впоследствии Ваш сын так же усиленно хлопотал о Вашей литературной памяти, хотя бы для этого ему пришлось, подобно мне, обивать пороги редакций или писать униженные письма". На это я скажу Вам: „Вас мне жаль, а что касается сына моего, то храни его Бог от таких подвигов, ибо я прежде всего желаю, чтобы он не унижал свое достоинство и был достоин уважения других. Это важнее всего в жизни". Если Вам это письмо покажется резким — извините меня за откровенность, которую Вы сами вызвали. Остаюсь в убеждении, что Вы гораздо лучше своих писем.

А.Суворин".

—

Маслов говорил, что Черевин недоволен заметкой об имениях Гогенлоэ, помещенной третьего дня в „Новом

Времени", и спрашивал об имени автора через Николая Всеволожского. Маслов отвечал ему по телефону, что для этого есть специальные пути. Когда Николай Всеволожский приехал в Москву, то назвал себя автором заметки. Черевин жил с танцовщицей Фабр, купчихой, как и он, и имел от нее сына и дочь. Сын служит в гвардии, а дочь живет в Страсбурге и находится в дружеской связи с Гогенлоэ; через нее и Черевина Гогенлоэ хлопочет о своих имениях. Вот почему Черевину и неприятна заметка, указывающая на закон, по которому иностранцам на границах не позволяется иметь имений.

—

Василий Петрович советовал при встрече с Худековым сказать ему, чтобы он поберегся трогать наших сотрудников („Житель"), ибо мы если станем отвечать, то станем называть по именам взяточников „Петербургской Газеты". Речь идет о деле Остолопова (Аравина), с которым дружит „Житель", с „Петербургской Газетой", которая напечатала несколько пасквилей на этого купца и на его любовницу Руссову, служившую у Зазулина. Худеков, бывший у меня по этому поводу (ему запретили розничную продажу), говорил в конце концов, что Гермониус, его редактор, действительно берет с антрепренеров помесячно по 200, по 300 рублей. „Если дают, значит — сила". Он же рассказывал о Баталине („Руслан"), что он якобы сам увеличил себе два года тому назад построчный гонорар с 8 на 11 копеек. „Я этим не заведую, но в январе справился, сколько получает Баталин. Мне говорят: „Как так? Да он два года тому назад сказал от Вашего имени, что Вы ему прибавили 3 копейки". „Сбавить ему 3 копейки", — приказал я тотчас. Разве это литература? Это черт знает что! У меня ведь всякая дрянь сотрудничает". Так он говорил о своей газете и о своих „молодцах", как Гермониус, Баталин и др.

28 января.

Княгиня N. назвала И.Н. Дурново дураком: „Какой он министр, он просто дурак". Это передали супруге Дурно-

во. В первый же файв-о-клок супруга Ивана Николаевича очень сухо обошлась с княгиней, едва кивнула ей головой, не отвечала на вопросы, вообще высказала свое неблаговоление. Княгиня, ничего не подозревая, возмутилась и ушла. На лестнице, среди лакеев, она встречает замужнюю дочь Дурново. „Так скоро? Rentrons, chère princesse*. Почему Вы уходите?" — „Ах, Ваша maman не смотрит на меня, не понимаю, что с ней". — „Ах, знаю, знаю, — сказала дочка, — maman сказала, что Вы назвали папу дураком. Это пустяки, ничего. Rentrons, rentrons**".

—

Был наказный атаман Уральского войска Ш... Очень бравый человек. Предлагал статью об обводнении почвы. Статья длинная. „Никто не знает наших войск, — говорил он. — Я уже 8 лет атаманом, и, когда приезжаю в Петербург, меня просят привезти соболей, которых у нас столько же, как и в Петербурге".

29 января.

Сегодня вечером чиновник Главного управления по делам печати передал распоряжение о том, чтобы не говорить о самоубийстве чиновника Государственного контроля Погодина. Распоряжение это сделано по просьбе Т.И.Филиппова, которому покойный приходится племянником. Я знал этого молодого человека. Ему не больше 28 лет, и он в прошлом году немного сотрудничал в „Новом Времени" и говорил со мною раза два. Я давал ему поручение съездить на общественные работы, но он написал это довольно бестолково. В редакции он показался надоедливым. В 1891 году он женился на актрисе Стрепетовой, которая почти вдвое его старше. Она после выхода замуж стала строить себе виллу в Ялте на сбереженные деньги, которых у нее было до 35 000. Вчера у С.И.Смирновой мы как раз говорили об этой женитьбе. С.И. рассказывала, что муж, то есть этот покойный, ревновал ее к Писареву, с которым она развелась. Вернув-

---

*Вернемся, дорогая княгиня *(франц.)*.
*Пойдемте, пойдемте *(франц.)*.

шись с Кавказа, где она гастролировала, Стрепетова говорила: „Меня пришли встречать оба мужа, и я не знала, к кому из них ехать?“ В обществе она вела себя с ним странно: то начинала к нему ласкаться, то говорила: „Ты дурак, ты ничего не понимаешь и потому лучше молчи“. То и другое его смущало.

4 февраля.

Пропасть сплетен за эти дни, но я имею способность немедленно их забывать. Тобольский губернатор Т... любит душиться. Кто-то сказал: „Моя жена пахнет губернатором“.

Воронцов-Дашков вызывал ‹Маркова, директора Курско-Киевской железной дороги, говорил, чтобы взять дорогу от Курска на Воронеж по государеву имению.

—

Салов рассказывал об арх. Смарагде. Он освящал церковь на стеклянном заводе Мальцева. Завод приготовил Смарагду подарок — стеклянный сервиз в серебре. Смарагд говорил: „Куда мне это? Мне деньги нужны, деньгами можно помочь, можно дать тому, другому. А ведь это, чай, дорого?“ — „Нет“. — „Ну а как?“ — „Да помилуйте, Ваше пр-во, пустяки — 500 рублей“. — „Ну так Вы мне лучше 500 рублей пожалуйте“. Мальцев выложил. Садясь в экипаж, Смарагд говорит: „А что мне обижать Ваше превосходительство, велите-ка и сервиз положить“.

—

Обедали Григорович, Плющик. Отставка И.Н.Дурново мотивируется так: жил он с женой пристава М. Узнав, что она живет с бразильским посланником, он велел тайной полиции пошарить в столе этого посланника и найти там письма своей любовницы. Сказано — сделано. Против любовницы явились документы неверности. Она сказала посланнику. Тот — Шишкину, и так дошло до государя. Его назначили сенатором — получал тысяч 20, и как

будто вследствие этого назначения он должен покинуть свой оберполицейский пост.

—

У Айвазовского познакомился с Чихачевым, морским министром. Айвазовский непременно хотел посадить Чихачева на диван, как почетного гостя, и, будучи без галстука, надел его. Чихачев остался на стуле. Он картавит, или грассирует. Рассказывал о Милютине — ему 76 лет — что он один ездил в прошлом году в Италию, о... (пропуск в оригинале*), которому 86 лет, но он дважды в неделю ходит в театр и жалуется, что пьесы не пикантны.

—

Ал.Петрович рассказывал о Кабанихе. Смерть сына. Его вдова с мальчиком заставила умирающего перевести имение его на мать, жене подсунули бумагу, что она отказывается от всяких претензий. „Все, что сделает нотариус и что написано на такой бумаге, перед этим всем должно преклоняться", — сказала она. „Но, — ответил А.П., — Сибирь в последнее время заселяется нотариусами". Вдова 40 тысяч рублей согласилась дать; А.П. был у Турчанинова, который сказал, что Сиротский Суд назначит опеку. Жену она заставила подписать чек за мужа (5 000 рублей), а деньги сама получила и тем думала держать ее в своих руках как преступницу. Взяла у нее бриллианты. Вдова — запуганное существо. „Бог не допустит", — говорит. Если бы Бог не допускал, то Сибири бы не было!

—

Стрепетова страшно убивалась во время похорон мужа. Ссора была из-за того, что его переводили на службу в Москву, а она не хотела ехать. В 8 часов он велел подать себе чаю, и когда прислуга пришла, он был уже мертв. Говорят, он страстно любил ее и ревновал ее ко всем.

---

*Примечание автора предисловия.

5 февраля.

О Стрепетовой. Спор с мужем насчет того, что на ее деньги он купил имение. Говорила ему: „Я всякого мужа предпочту театру“.

8 февраля.

И.Н.Дурново назначен сенатором. Сенаторы негодуют, говоря, что в Сенат сажают всякого прохвоста. Любовница его, Меньчукова, — баба противная. При Грессере у ее квартиры стоял городовой. Дурново приказал сыщику выследить ее, и тот простер свою ловкость до того, что или поступил лакеем, или старался с лакеем, чтобы выкрасть ее письма у бразильского атташе. Говорят, все открыл английский посланник. И.Н.Дурново хотел скрыть, и около месяца дело было шито и крыто. Государь за это рассердился на него, и он плакал у государыни, которая ему покровительствует. Так говорят.

—

Наследник посещает Кшесинскую и... ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиры и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5—6 часов, так что очень скучает и жалуется на скуку.

—

О Шебеко. Он переоделся в парадный костюм. „Как ты хорош! — говорит жена. — Ты похож на льва!“ — „Бондаренко, похож я на льва?“ — „Точно так, Ваше превосходительство!“ — „Да ты видел львов?“ — „Живыми не видал, а на картине видел“. — „Где же?“ — „А как Христос в Иерусалиме выезжал на нем“.

—

Скоро 35 лет моей литературной деятельности. Писал, писал, писал, и жизни не знал, и мало ее чуял. Что это за жизнь, которую я провел? Вся в писании. Блестки счастья,

да и то больше того счастья, которое дается успехом удачной статьи, удачной пьесы, а простого истинного счастья, счастья любви, почти не было. Все мимо шло! Некогда было. А я работал, ей-Богу, не для денег. „Поэт поет, как птичка", — сказал Гете. Во мне было нечто подобное. Все совершавшееся вызывало мысли, будило, раздражало; я негодовал, горел, трусил, проклинал себя и других. Но, когда все это выливалось на бумагу и я имел успех у читателей, — был удовлетворен. А это было напрасно. Что было в душе правдивого, честного, горячего — то выливалось в указанные формы; мысль и чувства сжимала цензура, сжимала то, что путем десятилетий накоплялось под давлением нашего режима.

—

Н.А.Макаров напомнил сегодня, что 12 или 13 февраля 1876 года я подписал акт покупки у Трубникова „Нового Времени". В первый же год газета расходилась в 15 000 экземпляров, а сегодня — в 36 000. За 17 лет только удвоилась. Что за бедность!

—

Мне сказали, что первое мое стихотворение было помещено в журнале „Моды". Я доселе этого не знал. Первыми я считал два стихотворения в журнале „Ваза" из Беранже, и это очень хорошо помнил, и помню, какая это была для меня радость! Но я не забыл, а, вероятно, дело было так: я послал стих в „Моды", а журнал меня не уведомил, что поместил, и я его не выписывал, выписывал же „Вазу". Модный журнал я выписывал для жены, хотя та этим мало интересовалась, и выписывал „Сына Отечества", где мне нравились фельетоны Сенковского — барона Брамбеуса.

14 февраля.

...У нас нет правящих классов. Придворные — даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд. Аристократия была только при старых царях, при Алексее Михайловиче, этом удивительном, необыкновенном, цель-

ном человеке, который, собственно, заложил новую Россию. Петр начал набирать иностранцев, разных проходимцев, португальских шутов; со всего света являлась разная дрянь и накипь и владела Россией. При императрицах пошли в ход певчие, хорошие жеребцы для них, при Александре I — опять Нессельроде, Каподистрия, маркизы де Траверсе, все нерусские, для которых Россия мало значила. Даже плохой русский лучше иностранца. Иностранцы деморализуют русских уже тем, что последние считают себя приниженными, рабами и теряют чувство собственного достоинства.

—

Наследник писал Кшесинской (она хочет принимать православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей), что он посылает ей 3000 рублей, говоря, что больше у него нет, чтобы она наняла квартиру в 5000 рублей, что он приедет, и... „тогда мы заживем с тобой, как генералы“. Хорошее у него представление о генералах! Он, говорят, выпросил у отца еще два года, чтобы не жениться. Он оброс бородкой и возмужал, но тем не менее маленький.

—

...У судов только право ошибаться. Свободная печать хорошее дело à la longue*, ибо воспитывает общество, но во всякий данный момент она бессильна против правительства, полиции, судов и проч., которые имеют полную возможность задушить ее. Пример — французский журналист, который несколько лет тому назад обличал Байо и за это отсидел 20 лет в тюрьме и уплатил 20 тысяч франков штрафа.

28 февраля.

Дурново говорил Бертенсону: „Удивительная страна! 9 лет я заведовал тайной полицией, поручались мне государственные тайны, и вдруг какой-то растакуэр, бразильский секретаришка, жалуется на меня, и у меня не требуют объяснения и увольняют! Какая-то девка меня преда-

*В конце концов *(франц.)*.

ла, и человека не спросят! Я не о себе — мне сохранили содержание, дали сенаторство, я знаю, что с этого места в министры не попадают, — но что это за странная страна, где так поступают с людьми — в 24 часа!"

—

Витте проводит Муравьева на место Дурново, министром внутренних дел. Турецкие серальные нравы: друг друга поедают, пожирают. Что делает Витте? Бог весть. Он ухаживает за Михаилом Николаевичем, за Воронцовым-Дашковым и воображает, что они — опора ему. Но люди высшего круга привыкли к тому, чтобы кто что для них ни сделал, — „все по праву, все это следовало", и благодарны они никогда не бывают.

—

Витте принадлежит идея пресловутой дружины против нигилистов. Он приезжал тогда из Киева и высказал это Воронцову-Дашкову. Идея иезуитская. Но назначили Павла Демидова и т.д. вместо людей преданных, одушевленных, и моя статья способствовала тому, что дружина провалилась.

—

Вендрих полетел. Он читал лекции в Генеральном штабе, где говорил, что мы не готовы, что мобилизация у нас плохая, плохи железные дороги и плохо Министерство путей сообщения. В пример приводил Анненкова, который делал мобилизацию в 1876 году. Министр Ванновский остался недоволен. Анненков приезжал к нему и говорил, что он будет отвечать тоже лекцией. Кривошеин позвал его к себе и говорил о том, что неудобно читать такие лекции. Ванновский сказал государю. Кривошеин при докладе сказал об этой лекции государю. „Да, надо уволить этого дурака", — сказал тот. Кривошеин думает, что это слишком уж, и говорит: „Я, Ваше Величество, попробую ему сделать выговор". „А лучше Вы его уволь-те", — сказал государь. Тогда Кривошеин позвал Вендриха и при своих чиновниках сказал ему, что, если он,

служа в Министерстве путей сообщения, позволит себе в другой раз что-нибудь подобное, он его уволит в 24 часа. Тогда Вендрих — к Витте, просил его заступиться, замолвить слово государю. „Да ведь Вы в хороших отношениях с государем сами. Что же я-то?" — сыронизировал он. Вендрих своею расправою в прошлом году на железных дорогах стоит государству 12 миллионов рублей. Говорят, что Вендрих в Московском кадетском корпусе говорил речь, где намекал очень прозрачно, что царь — ему друг.

—

Государь очень огорчен смертью Вл.Анат. Шереметева (командир императорского конвоя, умер 17 февраля), был с ним на „ты". Он женат был на Строгановой, дочери великой княгини Марьи Николаевны от ее морганатического брака со Строгановым. Кутила, картежник, проиграл миллионы свои и женины, был рамоли совсем, насилу говорил. После одесского Строганова, умершего 94 лет, получил наследство в 2 $1/2$ миллиона, но не успел еще им воспользоваться. Государь заплатил за него 800 000 долга из уделов и очень его любил.

—

Вышнеградский выиграл биржевою игрою до 10 миллионов рублей, играл на имя зятя своего Филипьева. Ему известно было, какая бумага повышается, какая понижается. Себе не враг! Приказывал продавать и покупать. Абаза при нем играл на понижение рубля, а Вышнеградский — на повышение. Абаза сумел его уговорить покупать золото и не покупать рубля. Абаза едет за границу и, говорят, продает свое имение. После того как Витте Абазу изобличил перед государем, что он играл на бирже, за что он не был назначен председателем Департамента экономии, даже членом оного, тот написал оправдательную записку государю, уверенный, что против него никаких документов нет. Но Витте имел его счеты с Заком и копию с них послал ему. Абаза и остановился со своею запиской.

2 марта.

Богданович дополнил рассказ о Вендрихе. Он попросил залу у Бобрикова, начальника гвардейского штаба, и там прочитал лекцию. Лекцию эту послал в „Московские Ведомости", а те набрали ее со всеми выходками против Кривошеина и послали ему в корректуре. Грингмут хлопотал у Кривошеина о продаже газеты на железных дорогах, и ему были обещаны разные льготы. Вот в благодарность они и послали корректуру.

3 марта.

Государыня будто бы не подала руки Дурново. Вот причина. Ее антураж рассказал о жене Витте, кто она такая. Государыня — царю, тот спросил Дурново, Иван Николаевич сказал, что это неправда, что она — разводка, но женщина совершенно порядочная. „Вот твои дуры наговорили на жену Витте, а она — порядочная женщина". Государыня своим „дурам" рассказала, „дуры" собрали подробности. Узнав, что Дурново рекомендовал г-жу Витте государю как порядочную женщину, государыня и рассердилась на него.

—

По поводу назначения Муравьева Григорович рассказал историю поразительную. Жена Муравьева в разводе с ним и замужем за графом Генкеном, в Берлине. Полтора миллиона дохода, железные руды Гарца и т.д. В Москве в сороковых годах был парикмахер Жозеф. У него родился ребенок. К этому ребенку взяли кормилицей крестьянку, крепостную Глебова-Стрешнева, из-под Москвы. Жозеф так в нее влюбился, что бросил жену и уехал с ней в Париж. Через несколько лет он умер. Она пошла по кафе-шантанам в качестве продажной женщины. Тут ее встретил граф Генкен, влюбился, построил ей в Елисейских полях великолепный отель, лестницу которого ходили смотреть, как чудо. Затем влюбился в нее испанский посланник и женился на ней, Генкен был в отчаянии. Но испанский посланник умер, и она снова вернулась к Генкену, который на ней женился. Когда она умерла, он

встретил Муравьеву. Генкен — черноволосый немец, красивый, изящный. Она была на ножах с мужем и вышла за него. Отец Алексей Берлинский рассказывал про нее, что она не любит Австрию и выселила посольство австрийское из дома, который оно давно занимало. Для детей-лютеран заказывает образа. Сын —Крафт. Ну, как его по православному? Сила?

6 марта.

Леля приехал из Москвы. Изумительное поведение Лаврова, Гольцева и Ремизова. Три с половиной года переговоров ни к чему не привели. Самые безобидные редакционные изменения были отвергаемы, но, как только Лавров получил пощечину, сейчас смягчились и предложили редакцию оговорки. Мы ее отвергли.

Безобразно оскорблять человека, но и вытягивать жилы из человека тоже безобразно. „Я застрелю Вас, как поросенка", — слова Лаврова должны были вывести Лелю из себя. „Стреляйте, — вскричал он. — Неужели Вы думаете, что в деле чести я отступлю перед револьвером?" И, ударив его, повторил: „Стреляйте". Бедный и милый Леля. Нехорошо, что я его пустил в Москву. Он наживает себе врагов и вражду, когда ему надобно спокойствие. Но этот Гольцев, эта научная дрянь, бездарная, неумелая, весь из хитрости, из обходов, обобрав любовницу свою Воронцову, не брезгал дружбой с мошенниками, льстил перед Данилевским, печатал ему панегирики в статье Сокольского просто потому, что Данилевский был членом Главного управления по делам печати и редактором „Правительственного Вестника".

14 марта.

Был Куломзин, я его не принял.

—

И.Н.Дурново имеет 300 тысяч годового дохода; это бывший харьковский губернатор, потом товарищ министра внутренних дел и управляющий уделами, теперь гласный Думы. Говорят, 80-летний старик Могилин явил-

ся на днях из Харьковской губернии, вызвал его из комиссии и два раза ударил плетью по лицу, в третий раз помешали подскочившие сторожа. Могилин когда-то был богатый помещик и занимался торговлей. Случилось у него дело с князем Вик. Голицыным. Дело это выиграл в первой инстанции Могилин. Но тут впутался Дурново как губернатор и повлиял дальше. Князь В.Голицын выиграл процесс. Могилин был разорен, жена его померла, потом сын, и вот спустя много лет он явился мстителем. Дурново не захотел поднимать дела.

—

Сегодня был В.И.Ламанский. Сочлись годами. Ему в июне — 60. Жаловался на официальную ложь. Говорил о Чижове. Был груб, бил своего лакея, человека честного, потом становился перед ним на колени и упрашивал его остаться и прибавлял жалованья. Купцам говорил: „Вы — алтынники, мы — дворянские головы клали, у нас декабристы были, а вы только наживались". В горячем споре выстрелил в Мамонтова, но тот, к счастью, уклонился. Граф Орлов говорил о нем Николаю I: „Это мечтатель, из которого ничего практического не выйдет". Он был сослан в Киев. Там сошелся с г-жой Маркевич. Орлов велел снять с него полицейский надзор по этому случаю.

—

Маслов говорил, что Чайковский и Апухтин оба жили, как муж с женой, на одной квартире. Апухтин лежал в постели. Чайковский подходил и говорил, что идет спать, и Апухтин целовал у него руку и говорил: „Иди, голубчик, я сейчас к тебе приду".

—

Завтра уезжаю в Венецию. Спутник мой — Д.И.Григорович.

Сегодня был Батистини, баритон, и Нарышкин от великого князя Михаила Николаевича, прося поместить фельетон о Боржоме. „Сам великий князь поправлял", — говорил он.

Бутурлина, насмешившая всех пением с Маркони и Батистини в благотворительном концерте Урусовой, — урожденная Бобринская. Она разошлась с мужем, сама богатая женщина и странствует по Европе, отличаясь оригинальностью.

23 марта.

Вена. В 12 часов 45 минут 20 марта выехал за границу, Григорович с женой также.

—

На границе 22 марта познакомился с Конст. Н.Рукавишниковым — 45 лет, блондин, приятное лицо, все зубы целы. Мы с ним соседи по Феодосии. Разговор об Алексееве. Он все это время был при нем. Первый консилиум через час после выстрела. Он не чувствовал никаких болей; поэтому полагали, что главные сосуды не повреждены. В 4 часа начались боли. Пока собрали новый консилиум, пока он простился с семьей, исповедался и причастился, прошло 2 часа. Операция длилась 2 часа 30 минут. Все время был в памяти. Когда боли умолкали — шутил. Сказал одному из смотрителей водопровода: „У Вас трубы с трещинами, а теперь и голова с трещиной". Если сравнить с Лихачевым, этот последний — пигмей перед Алексеевым: и честности сомнительной, и ума сомнительного, ловкий сановник и один из тех деспотов, которые, не рассчитывая на себя, сами находятся в подчинении у кого-нибудь. Печать дважды приглашалась не говорить о нем, раз во время последних его выборов, в другой раз во время истории. Он действовал через Плеве, и Плеве просил министра внутренних дел запретить печати говорить о таком высокопоставленном лице. Государь, проезжая через Москву в Крым, выражал сожаление об Алексееве и сказал: „А сплетник Петербург говорил, что тут замешана женщина". Действительно говорили, что Андрианов мстил за свою сестру, которую якобы растлил Алексеев. Никакой сестры у Андрианова нет. На днях он просил к себе прокурора. Тот приехал. „Что Москва, ликует?" — спросил Андрианов. „Плачет Мо-

сква“, — отвечает прокурор. „Странно, — сказал Андрианов. — А я думал, что я услугу оказал Москве. Как же это „Русские Ведомости“ бранили его?“ Очевидно, этот маньяк все-таки себе на уме и хотел отличиться и попасть в герои. „Почему „Русские Ведомости“ против Алексеева?“ — спросил я у Рукавишникова. „Очень просто. Они как стали на 60-х годах, так и стоят. Дума — это, по их мнению, приготовление к конституции, она должна искать прав, а Алексеев занимается только делом“. Царь о нем сказал: „Я любил его за то, что не занимался политикой, а только делом“. Рукавишников — первый кандидат в городские головы, но уехал от выборов и оставил письмо с отказом. Во время дороги говорил о земстве. Московское земство много сделало для развития промыслов, мебельного дела и проч. Крестьянина надо освободить от кулака. Это нелегко, потому что он должен ему и задатками, и материалом, и боится переменить на худшее. Он не идет на новое, а держится того, к чему привык. Земство давало работу и выдавало 75% на поделки. Давайте ему 90% — он станет работать и по новым рисункам. Петербургское земство ничего не сделало в этом отношении. Говорили о Вышнеградском и Витте.

„Вышнеградский тем хорош, — говорил Рукавишников, — что он умел вывернуть человека, то есть расспросить у него все: как торговля, как биржа, в чем недостатки, какое Ваше мнение о том или другом. А у Витте — либо можно, либо нельзя; выслушает и решает, а до человека и того, что он знает, ему нет дела. А знает он очень мало“.

—

Витте выхлопотал Д.В.Григоровичу прибавку к его пенсии (3000 руб.) еще две тысячи. Григорович все говорил, что теперь он может жить безбедно, не стесняться, а до этого он должен был беречь всякую копейку. Замечательно, что он постоянно уверяет, что имение под Веной не им куплено, а будто бы досталось по наследству от матери его жене. Очевидное желание поставить свою жену в сословие высшее, чем это было и есть на самом

деле. „Удивительная хозяйка, — говорит он про нее. — Ее все радует, петух с курицей ходят — ее радует“.

„Строгий обер-полицмейстер в Вене теперь. Он лишил Вену ее оживления, запретил девкам ходить по улицам. За что, кому они мешали? Они такие милые были, совсем без этой наглости“.

Указал на Anna Gassa как улицу, населенную девками. В Вене все его радует: мостовая, движение, конки, рестораны, честность (в Stadt Bahn ему возвратили забытый бумажник), постройки — была глушь 30 лет, а теперь смотрите, какие здания, расширение улиц постепенное: как новый дом в улице, так заставляют отступить и делать улицу шире. Wollzeile все занято газетами. Указывал квартиру Татищева, когда он играл, наверху отдельный мезонин, откуда он мог много видеть и стоять выше всех.

Рассказывал дорогою историю графа С. Строганова и жены его, Марии Болеславовны Потоцкой, которая 14 лет жила с графом Капнистом.

—

Ал.Ал.Татищев уехал от огорчения, что не его назначили министром земледелия. А он-то у нас парламент собирал. Человеку за 60 было. Его сожительница говорит: „Ну слава Богу, последний четверг. А то говорят, перестраивают Россию, а она живет себе, как ей угодно. Только по воде плетью бьют“. За ним ухаживает министр путей сообщения, дал ему свой вагон, призывает секретаря читать ему свои проекты. „Ведь в Государственном совете все хамы, — говорит он. — А я — барин“.

—

...„Зашейные“ билеты! Такие билеты выдавались во время коронации, без них никуда не пускали. Эти билеты выдумал один из членов дружины при Воронцове-Дашкове, какой-то морской офицер. Так и говорил: „Зашейные билеты“.

26 марта.

В Венеции. Hôtel d'Europe. Скверное помещение. С Григоровичем ездим на пароходах, в гондолах, ходим пешком. Третьего дня заболел. Григорович ухаживал, как нянька, за мной. Я ему ужасно благодарен. В его улыбке всегда мне казался добрый человек. Он кое-что знает в искусстве, но как любитель. В церкви St. Giovanno e Paolo он купил терракотовое изображение Девы Марии и еще две фигуры с пометкой 1601 год. Купил он ее у сакристиана (сторожа) церкви и сказал до прихода его, что он дал бы за нее 200 франков. Пришел сакристиан и назначил цену в 50 франков. Григорович в восторге от своей покупки.

Он много любопытного рассказывал о своей жизни. Год и два месяца был воспитателем сына Константина Николаевича, Николая Константиновича, которого родители ненавидели. Он жил с ним у короля Бомбы неаполитанского во дворце. К Николаю Константиновичу (укравшему будто бы ризу с иконы у матери) относится с симпатией. У него был воспитателем после Григоровича немец, который этого великого князя бил по щекам верхней частью ладони, и это обращение ожесточило мальчика. Когда он был юношей и жил в Мраморном дворце, то к нему водили... девок по целым десяткам. Когда Константин Николаевич сошелся с Кузнецовой, великая княгиня Александра Иосифовна уехала в виде протеста в Павловск и скучала там. Присылала за Григоровичем, и он ездил туда развлекать ее. Несколько месяцев он являлся дважды в неделю к цесаревне, когда она вышла замуж, и рассказывал ей русскую историю, историю Петербурга и т.д. „Очень трудно было, — говорит он. — Представьте себе, ни разу во все время ни одного ко мне вопроса о чем бы то ни было. Он сидит и курит... (это было после завтрака), а она молчит и слушает".

Любопытен рассказ его о графине Толстой, жене графа Алексея Константиновича Толстого (поэта). Она — урожденная Бахметьева. С Григоровичем соседи. Прожились. Мать ее старалась не только сбыть ее, но продать.

Не выходило. Познакомилась с князем Вяземским, он сделал ей ребенка. Брат ее вызвал князя на дуэль. Но дуэль благодаря Вяземскому не состоялась: он устроил при помощи связей так, что Бахметьева сослали на Кавказ. Возвратившись оттуда, он написал князю Вяземскому письмо: если он не приедет с ним драться, то он публично оскорбит его. Князь Вяземский приехал и убил его на дуэли, за что сидел в крепости. Сестра его вышла замуж за Миллера, который был влюблен в нее страстно, но она его терпеть не могла и скоро бросила. Она путешествовала с Григоровичем и сошлась с ним. Когда Григорович возвратился к Бахметьевым, то застал г-жу Миллер лежащею, слабою. У ног ее сидел граф Алексей Константинович Толстой, страстно в нее влюбленный. Он приехал с Ал. Ал. Татищевым. „Я не хотел мешать, — говорит Дмитрий Васильевич, — и мы расстались".

2 апреля.

Граф Гр. Ферзен, промотавшийся, увлек Строганову, 30-летнюю деву, увез ее, повенчался с ней, получил хороший куш, обыграл Паскевича на 300 тысяч рублей. Был егермейстером. Когда сделался егермейстером Скарятин, Ферзен на охоте с государем убил его из ружья. Дело замяли, Ферзена выгнали со службы, а сыну Скарятина дали придворную должность.

—

Графиня Паскевич и граф Воронцов-Дашков — брат и сестра. Отец их — граф Иван Воронцов-Дашков, был послом в Вене, женился на красавице Нарышкиной, имевшей любовником, между прочим, Столыпина, „Монго", друга Лермонтова. По смерти мужа влюбилась в секретаря французского посольства, вышла за него замуж и играла при нем жалкую роль; он спустил все ее состояние, отчасти в Монако, и она умерла в Париже в госпитале.

—

В Венеции проживает художник Волков, из Одессы, имеет на канале свой дом и живет акварелями, которые продает в Англию.

3 апреля.

Я в пятый раз в Венеции, в четвертый раз весною или в конце марта, или в начале апреля, и всегда одно и то же: скверная погода; но прежде были дожди, а теперь холодно. Ездили в канал Джудаику, в Redemption, чудесный горельеф „Несения Креста“ Джованни ди Болонья. Группа около Марии. Над Христом ругающийся толстый римлянин: „Что, брат, упал? Подымайся“. „Снятие со Креста“ хуже, но там одно лицо похоже на Вейнберга. В Сан Джордже Маджоре чудесные скульптурные хоры, 44 ниши, с разными изображениями из дерева.

4 апреля.

Сегодня потеплее, то есть не так холодно. Был в городском саду. На солнце жарко. Григорович так восхищается, что просто бесит. „Ах, как чудесно, как удивительно! Удивительно!“ Если бы ему поручить написать историю искусства, вот очутился бы он в ужасном положении. Я не слыхал от него ни одного мнения, ни одной фразы, кроме „чудесно“, „удивительно“, „красиво“, „какая работа“, „боже, что поделали итальянцы, какие гиганты, какие черти“. О картинах: „почернела“ или „почернела, но хорошо, надо почистить, помыть“. Восхищается пароходами, кораблями. „Какой славный купец“. „Как красиво все это сделано!“ „Пропасть какая народу на пароходах. Должно быть, зимующие много наживают, очень много!“ Меняет рубли на гульдены, гульдены на лиры. „Почему?“ — „Потому что я знаю, сколько дают гульденов“. Не может вспомнить отель Luna и Даниэля, где его „обобрали“.

В мире нет города более красивого, фантастического, более декоративного. Декорации везде, и прежде всего красота, оригинальность, фантастическое. Сношения с Востоком способствовали этому. Красивые фасады церквей: то ренессанс, то рококо, то готика, иногда украшениями фасады переполнены. Дворцы также. Много повторений и оживаний дворца Дожей, повторений библиотеки Сансавино (дворец Пизаро). Св. Марк — чистая фантасмагория. Фантазия декоратора не могла бы создать ничего более изумительного.

5 апреля.

Григорович за завтраком, когда лакей подал ему счет в 7 франков, в том числе 1 франк за куверт, рассердился и сказал, что это воровство. Лакей отвечал, что он тут ни при чем, но Григорович продолжал волноваться и говорил о воровстве. Многие слышали это. Вечером, когда я вернулся домой, директор отеля жаловался мне на это и говорил, что просит, чтобы „mon ami"* не приходил больше в отель, иначе он принужден будет просить его выйти. Я защищал, сколько мог, хотя защищать тут мудрено. Дмитрий Васильевич неправ, но мне придется переменить отель во всяком случае. Я уложил вещи. Григорович вообще изысканно вежлив, но не любит платить дорого и с лакеем был просто груб.

6 апреля.

Был в сакристии Марка. Очень любопытно. Сначала осмотрели Pala d'Oro, запрестольный образ, где более ста изображений тем особым способом, который называется эмалью. Золотыми волосиками рисуется изображение, волосики эти припаиваются к золотой (?) доске, и между ними наливается смесь стекла.

Удивительная работа! Григорович рассказывал о Звенигородском, который служил управляющим конторы наследника, откуда был изгнан, составлял коллекции эмалей из кавказских монастырей, где подкупал он монахов, и они для него выкрадывали. В сакристии много прекрасных вещей, меч Морозини, посох. Сегодня мы взглянули в нижний этаж со стороны кампаниллы дворца Дожей: оказывается, там десятки золотых колонн с капителями, которые не пошли в дело при постройке дворца. Венецианцы накрали их с избытком.

7 апреля.

Ездили в Падую. Туда час, оттуда 2 часа тащились. Первый класс туда и обратно 4 лиры 80. Самое замечательное — фреска Андрея Монтенья в церкви Eremitani; некоторые фигуры прекрасны. В Madonna del Arno фрески

*Мой друг *(франц.)*.

Джотто и церковь Св.Антонио. Это прелесть по наружности, несколько странной, неуклюжей, с небольшими куполами и башенками, внутри решетка по скульптурам Ломбарди, Джакомо Сансовино, бронзами Донателло и Purria (знаменитые канделябры необыкновенной красоты). В сакристии прекрасная скульптура из дерева; два монастырских дворика с колоннами очень хороши; из одного из них прекрасный вид на собор. Салоне — огромная зала, похожая на теперешние железнодорожные вокзалы, где деревянная модель лошади, сделанная Донателло для конного памятника.

На Plato della Valle 82 статуи воспитанников университета, между ними Стефан Баторий и Иоанн Собесский.

9 апреля.

Сегодня Григорович уехал. Мне и жаль, и я рад. Нельзя так долго оставаться вдвоем. Я ему и он мне, мы начали друг другу надоедать. Он повторялся, я иногда злил его. Удивительные у него иллюзии: он воображает, что если он умрет, то жена его будет неутешной вдовой. Он и мысли не допускает, что она сможет очень скоро утешиться. Несколько лет тому он содержал девочку, которую встретил в Москве, привез в Петербург и устроил. Она стала изменять ему. Он ее подкарауливал, сидя напротив в трактире, на Садовой, по целым часам. Он накрыл ее с „типографщиком", как он называл, вероятно, с наборщиком, и никак не мог утешиться, что она его на него променяла. „Но он был молод?" — спрашивал я его. „Да, молодой, но как она могла променять меня, который ее устроил, хотел сделать порядочной?" Здесь, в Венеции, он мне говорил, что во всю свою жизнь только две невинности имел.

—

Письмо от Ольги Леонардовны. Говорит, что Чехов жалуется ей на расстроенные нервы. Я ей отвечал. Из Венеции не хочется уезжать. Если бы знать язык, больше было бы удовольствия вступать в разговоры.

13 апреля.

Сегодня праздник св. Марка. В церкви много народу, много освещения, стоят и сидят, полны хоры. Но если счесть, то процент иностранцев большой. Поют плохо, орган играет тоже неважно. Открыта баптистерия и часовня Зено, обыкновенно запертые. В баптистерии огромный камень и гора Табор, а в стене под головой Иоанна Крестителя вделан будто бы тот камень, на котором отрублена его голова. После обедни прошла процессия Обществ спасения и помощи с знаменами, 6 знамен, и музыкой мимо св. Марка. Вечером хор музыкантов, освещение плохое, вероятно, чтобы сделать отличие от празднования серебряной свадьбы Гумберто, когда и освещение было полное, и два хора музыки играли. Итальянские газеты жалуются, что для народа ровно ничего не сделали, во время смотра народ не пускали, места были в 10 лир; он, очевидно, нужен только для оваций. Впрочем, и газеты так говорят: мол, торжественнее было бы. Все — актеры, и короли — первые актеры, вечно играют роль, и сплошь и рядом плохо. Но и тут только таланты выдаются, а остальные только пожирают бюджет и ничего больше.

14 апреля.

Сегодня купил мебели на 1650 франков у Bottacino.

18 апреля.

Днем вчера поехал к Риетто. Показывали мне колонны, фонтан, бюсты и статуи из разрушенного дворца, обращенного в фабрику. Воспоминания о К., который покупал для Николая I зеркала для дворцов Петербурга, о Барятинском, Дурново, Башмакове. Живописец Волков имеет собственный дом. У него я не был. Он пишет акварели и сбывает их в Англию.

—

...Германия стала. Австрии нужна Болгария, Сербия и проч., то есть подобная же федеративная империя, на которую она рассчитывает в случае счастливой войны с

нами. Как она поделится с Италией — вот вопрос, и если поделится, то в будущем останутся недоразумения и причины для войны с нею. Германские императоры для Италии были гибельны, начиная с германских орд. Подарок Вильгельма II Гумберту — грошевый, бриллиант — 420 марок, статус — 3000 марок, вот и все. Экономен, а стоил его прием очень дорого.

—

Плыть под парусом по тихой волне — прелесть. Фасад св. Марка, когда солнце заходит, очарователен; все детали выпукло выступают, и все золото блестит на крестах с разветвлениями и шариками на концах, и цепи, и кадила ангелов, которые поднимаются к св. Марку, стоящему на конце цепи; и звезда на синем поле с крылатым львом св. Марка и раскрытым Евангелием, и украшения на основаниях многочисленных башенок, и совсем новая мозаика, и разноцветные колонны, и даже лошади с огромными стеклами позади них. Прелесть! Удивительно красиво нагородили венецианцы! На площади Марка встречаются венецианки, точно портреты с Тициана и Тинторетто.

20 апреля.

Был в театре Феличе и слушал „Фальстафа" Верди. Оказывается, что это просто Фарлаф Глинки из „Руслана и Людмилы". „Близок уж день торжества моего" повторено почти буквально во 2-м акте, 2-й половине, в сцене Фальстафа с Алисой (стр. 63 либретто).

Баритон Морель пропел это поистине чудесно, с мимикой и выражением удивительными и должен был повторить еще два раза. Это место имело наибольший успех, возбудило решительно восторг. Вообще весь музыкальный характер Фальстафа — это характер Фарлафа. Фарлаф в восторге ожидания, что Людмила будет его. Фальстаф воображает, что Алиса любит его, и вспоминает свои прежние года с тем же задыхающимся восторгом. 1-я половина 3-го акта прошла без хлопка. Это холодно и не согрело. Публика расходилась разочарованная.

23 апреля.

Прощай, Венеция. Очень мне жаль ее. За час до отъезда получил письмо от Ильи Ефимовича Репина насчет моего романа. Очень для меня лестно, как автора. Совершенно справедливо замечает, что все, что говорю о воспитании, тяжело и скучно. Оно понятно. Какой я педагог! Мне хотелось объяснить, почему моя героиня такая вышла, а этого объяснять совсем было не надо, потому что воспитание далеко не все значит, и мне самому всегда были противны страницы повести, где говорится о воспитании.

Уехал из Венеции в 2 часа 50 пополудни, приехал в Милан в 8 часов. Удивительно живописно озеро Гарда. Прощай, Венеция, с твоей поэзией, тишиной, красотой. Милан уже шумен, здесь промышленность и торговля.

24 апреля.

Сегодня осматривал Миланский собор. Оказывается, что вчера опускали гвоздь, найденный царицей Еленою, один из гвоздей, которыми прибит был Христос. Сколько таких гвоздей?! Канделябры вроде тех, что были в храме иерусалимском. Поехал потом в Амброджио, потом Сан-Лоренцо, около которой сохранился древний портик. Оттуда в Cenocolo Леонардо да Винчи, около церкви Maria della Gracia. Потом Брера. Показывал проводник. Есть картины прекрасные. Из курьезных Тинторетто: венецианцы ищут в катакомбе тело св.Марка; один тащил за ноги тело из гробницы, что в Вене. На полу лежит труп в ракурсе. Возле него высокий мужчина в повелительной позе. Оказывается, что искателям явился св.Марк и сказал: „Не ищите больше тела; то, которое здесь лежит и которое вы вынули первым, и есть мое тело". Есть еще ракурс лежащего Христа. Из знаменитых рафаэлевское „Обручение Марии и Иосифа", „Иосиф с жезлом, давшим ростки". Около него с жезлом, не давшим ростки, — Рафаэль, Браманте, строитель купола Петра, и еще кто-то. В новой живописи мало замечательного. Есть „Разжалование Фоскари из дожей" и „Казнь Марино Фальери". Есть также из прежних — портрет Катерины Корнаро, очень интересный. Потом в Ломбардский банк, где полу-

чил из Петербурга 3000 лир. После завтрака бродил по городу, устал. Вечером собирался в театр, но лень. Купил сапоги около 22 франков. Милан скучный город после Венеции. В магазинах ничего соблазнительного. Подражание Bon Marché*. Но у французов больше порядка, не говоря о выборе.

—

Сегодня в соборе поднятие гвоздя. Ничего ни интересного, ни трогательного. Процессия, после театрально-оперных, жалкая. Только старушки умилялись. Народу было много, именно народу, а не публики.

25 апреля.

Был в Certosa. Прелесть что такое. От Милана 3/4 часа. Потом в экипаже или омнибусе минут 7. Пешком 25 минут. Редкое здание так мне нравилось. Монастырский двор роскошный. Монахи жили преудобно. У каждого две комнаты внизу, вход под аркадами. Перед комнатами садик с цветочными клумбами. Стол и шкаф вместе: стол поднимается и образует дверцы шкафа, ниша для алтаря. Другая комната для занятий. Вверх по лестнице еще большая спальня и коридор, выходящий в садик. Взял фотографию.

Возвратясь в Милан, нашел карточку Петра Петровича. Пошел в Hôtel d'Europe. Вечером были вместе на „Damnatione di Faust“ в театре dal Vermo. Прекрасное впечатление. Капельмейстер волнуется, чудесно управляет, сидит сзади музыкантов, и все ему видно. Многое повторено. Гуно многим обязан Берлиозу, создавая своего „Фауста“.

26 апреля.

Воскресенье. Письмо от Нюры. Пишет о Стрепетовой, что брат ее мужа отобрал у нее все вещи, даже кровать ее мужа. Насилу удалось спасти несколько ценных вещей. Из взятых большая часть ее собственные, и она не знает, возвратит ли он их. Погодины всегда были мастера на то, что плохо лежит.

---

*Название универсального магазина *(франц.)*.

—

В 2 часа 30 минут концерт в La Scala, куда я взял вчера билет. Говорили с Петром Петровичем вчера об итальянцах, симпатичный народ. Во время празднеств в Неаполе Вильгельму II свистали сильно. Народу перед дворцом было мало. В Риме тоже свистали. Офицеры недовольны им, особенно тем, что говорил тот по-немецки. Газеты конфисковались за резкие статьи, но те продолжали тем не менее. Продавцы держали их в боковых карманах. Депутат Андраши писал, что Вильгельм II теперь может сказать, что у нас плохой союзник. Войск насилу набрали 25 тысяч, флот не стреляет из орудий, боясь, что они разорвутся, да и заряды стоят по 2000 лир, а в Италии денег нет. „Серебряная свадьба с помощью меди". Серебра совсем нет, и сдачу дают медью или просят доплатить полфранка или франк. Кареты привозят из города в город, лошадей также.

—

Вчера в „Secolo" прочли, что „в Крыму государь и Ксения провалились с моста. Государь спас государыню, будучи сильным пловцом. Казаки подоспели... Коронные бриллианты, посланные в Чикаго, украдены будто бы... В одной деревне евреи поссорились с крестьянами. Их вывели в количестве 200 человек в поле, и там были обезглавлены эти жертвы русского варварства". Вот какой вздор о нас печатают! К русским итальянцы хорошо относятся.

—

Слушал концерт в 7 часов Della Scala — Моцарт, Гайдн, Вагнер, Бетховен и неизвестный мне Bazzini — с поэмой „Francesca da Rimini". В театре много выходов. Сцена очень длинная; думаю, раза в три длиннее, чем наша Мариинская. Музыканты на сцене.

—

Встретил В., остановились. Брала уроки физиологии. Немец читал аккуратно, честно зарабатывал гонорар в

20 гульденов. Говорил о девстве, приводил факты, при этом опускал голову. Она сама его спросила смело об этом. Удивилась от полученных сведений. Такая малость, но в животном царстве только у женщин это есть. Не будь этого, дело изменилось бы чрезвычайно. Редкая девушка не соблазнилась бы. Теперь все-таки страх удерживает. А когда не будет девства и есть средства не рожать, кто станет воздерживаться?

28 апреля.

Был на миланском кладбище. Впечатление красивое, спокойное. Исключая часовен или больших мест, все остальные равны, не выше, не ниже. Большею частью плиты с портретами; цветы, бюсты, кладбище для детей отдельно. Просто вроде мраморных крестиков, все равных; бронзовая женщина лежит под одеялом на подушке, с открытой грудью, крест. Крематорий смотрел, один при помощи дров, другой газом, остатки костей и пр. — известь. Вставляется в ящики из глины, закладывается двумя камнями и мраморной доской, на которой надпись, ящик над ящиком, квадратами, как шахматная доска. Открытые отделения в три стены, довольно высокие, со сводами, где помещаются группы. Больше 10 000. Папа не позволял, но священники сжигаются, по желанию. Есть ниши с урнами, мраморные и из терракоты. Труп сжигают в 40 минут. За кладбищем видны Альпы.

В Милане много зелени. Кроме чудесного и обширного городского сада с зоологическим садом, где много птиц, много частных садиков.

—

Вечер в театре Манцони. Давали драму в 3-х действиях Ибсена „Архитектор Сольнес“. Гильда — необыкновенная девушка. Мне кажется, необыкновенные девушки и женщины существуют только в романах и драмах. Мужчина-автор ищет вечно идеалов, хочет „построить“ женщину на свою стать, дать ей ум, фантазию, крылья, но женщины в действительности — самки и ничего больше, подчиненные существа, которые сами по себе — ничто

или очень мало, но которые нужны для того, чтобы воодушевить мужчину, дать ему бодрость, энергию и силу. Это они делают любовью, страстью. Они умеют возбуждать, но не умеют держать мужчину на высоте, и те срываются с этой высоты, как сорвался Сольнес, и погибают.

—

Дождь и холодно. Купил книгу Николая Нотовича „Alexandre III et son entourage“*. Посвящает какой-то француженке. „La c' Russie est un peuple de chevaliers égarés au milieu du XIX[e] siècle“*, — говорит он в предисловии. Вот удивительный наглец. Книга льстивая, плоская и достаточно глупая. Лорис-Меликов раз мне говорит:

— Не знаете ли вы Николая Нотовича?

— Нет, не знаю.

— Это брат редактора „Новостей“. Просился в шпионы, но боюсь: надует, пожалуй, подлец.

Это было мое первое знакомство с именем этого негодяя. Книгой он думает вылезть в люди. Но, даже по нашим временам, это едва ли ему удастся. Он не сообразил того, что его рекомендации того или другого в министры и послы, например, Ону в послы в Константинополь, Плеве — в министры внутренних дел и т.д., пожалуй, не удадутся. Говоря о наследнике, сравнивает его рост и фигуру с Александром Македонским и льстит ему так, точно предвидит скорое его восшествие на престол. Всем тем, кто раскусил его, он пропел разные колкости — Победоносцеву, Нелидову и др. Увы, нельзя ничего предвидеть, и, может быть, вся та лесть так и останется в воздухе и не даст того, что ожидает автор. А впрочем, кто знает: всяко бывает! Но прошлое у этого господина уже слишком замаранное, его проделкам счета нет. Очень может быть, что чем больше их, тем труднее в них разобраться.

* „Александр III и его окружение“ *(франц.)*.

* Россия — это народ рыцарей, заблудившихся в середине XIX века *(франц.)*.

3 мая.

Приехал в Париж. На границе история с 5-рублевой бумажкой, за которую я дал 13 франков.

4 мая.

Встретил Алекс. Андр. Любимова и Башмакова на бульваре.

5 мая.

Любимов передал мне приглашение на обед к Шарко во вторник. И хочется и колется. Заказал себе фрак и хочу идти. Буду страдать, но ради такого случая стоит. Вчера обедал у Песковского. Был с ним в отеле Друо на аукционе и сегодня опять. Толпа огромная. Приходил какой-то Больман, дал ему 10 франков. Очевидно, один из русской сволочи в Париже. Павловский рассказывал о Черткове, с которым он познакомился в прошлом году у Ф.Н.Берга и который оказался мошенником: продал вместе с сыном московского полицмейстера (?) лошадей, взятых в татерсале, сыну Ристича. Лошадей полиция отобрала, россияне просидели три месяца в тюрьме и выпущены без суда. Встретил у Павловского художника Чумакова. Ему за 70 лет. Помнит Пушкина. Дочь за ливантинцем, который женился на ней без позволения родителей, запер ее там. Насилу выручили потом родители. Занимается живописью. Павловский хвалит французских девушек-гимназисток, прилежно учатся, совершенно новое поколение. Дочь Шарко знает по-русски.

—

Видел Салон в Palais d'Industrie и на Champs-de-Mars — бывшее здание машин Всемирной выставки. Художник Монтигелло — наброски, вблизи черт знает что, издали очень красиво, перспектива, краски. Прославился после смерти.

—

Был вчера в „Pôle du Nord", где на искусственном льду катаются.

6 мая.

Вчера обедал с Павловским в Olympia. Прекрасная зала, вверху с рядом лож. На сцене гимнасты и проч. Переделано из Montagnes Russes, которые дали владельцу капитал для этого. Женщины известного рода. Во втором этаже — выставка. Чепуха невероятная, смесь пошлости, детства и чего-то смелого. Вот часть женского тела в разных видах. На велосипеде впереди голая женщина наклонилась так, что задом выгнулась назад, в нее устремлены глаза двух людей, сидящих на том же велосипеде сзади. Голое женское тело в безобразном виде. Рама, завешенная темным полотном, с советом поднять и увидеть... удачные карикатуры Доде и Золя в японских костюмах. Кое-что как будто есть во всем этом, но преимущественно похабное и физиологические отправления. Скульптурное изображение бюста Сарры Бернар в карикатуре и шансонетной певицы Иветты Гильбер.

7 мая.

Катался в Булонском лесу. Хотел попасть во Французскую Комедию — не нашел билетов. Читал вечером „Les jeunes Revues", „La plume" и „Mercure de France". В обоих хвалят роман „L'Animal" par Rachilde. Оказывается, что автор — женщина. Просмотрел „L'Animal" и читал статью в „Mercure de France" какого-то Camille Manclaire. Хвалит г-жу Рашильд за то, что она в своем романе поклоняется плоти и говорит: „J'aime la luxure"*. „Все трагическое, — говорит он, — воплощается в прикосновении человеческом („dans l'attouchement humain"), а все трагическое не безнравственно".

Откровенно, хотя неубедительно. Но вот что: добродетель — воздержание, порок — невоздержание. Но невоздержание — почти общая участь. В пороке много прелести и удовольствия, но последствия очень известны, и их никто не отринет. Мужчин это истощает — сумасшествие, табетики, удары. Призывы к сладострастию — либо увлечения молодости, либо сластолюбивый цинизм старости. Роман г-жи Рашильд — плохой роман, плохо

*Я люблю роскошь *(франц.)*.

написанный, но у нее самой просто влечение... сколько влезет, или приятные воспоминания о том времени, когда хотели, чтобы она...

—

Был Татищев. Проболтали часа три. В половине второго поехали с Любимовым в Сальпетриер. 6000 населения, часть — богадельня, часть — больницы, исключительно для женщин, только в последние годы отделение мужское — всего 40 человек. Есть идиоты дети, для них школы. Большое здание. Шарко как раз подходил к воротам, как мы подъехали. Выше среднего роста, молодой, статный, серьезное лицо матового цвета, бородка и усы. В белом переднике (в лаборатории в блузах — вот где работа настоящая, а не в гостиных и фраках). Несколько дворов, поле свое и огороды, аллеи каштановые, целый город с улицами, домами старого стиля, основан в XVI столетии, в первой половине. Кабинет доктора. По стенам фотографии и снимки с картин известных художников, собранные Шарко во время путешествия по Италии и Испании. Это исцеления разные, есть истеричные, сумасшедшие, художники с натуры писали и верно: исцеление немого одним патером, который кладет ему палец в рот и прижимает там нерв, — истеричная немота излечивается этим приемом. На столе разные вещи: желтоватая бумага, окрашенные в разные цвета стекла, тамтам, треугольник металлический (начал выбивать мелодию, истеричка заплясала, а ударял в тамтам, как колокол, она прислушивалась, сделала шаг вперед, начала креститься, опустилась на колени — погребение). Пузырьки с духами — нюхала один, подносила ко рту и как будто пила, от другого — с отвращением отвернулась. Разноцветные стекла тоже возбуждали разные ощущения, когда ставили их перед глазами. „Я не знаю, что она увидит". Красное поставил, говоря, что оно — или пожар, или кровь, — и тогда с ними делается истерика. Объяснил подробное состояние больной. Она 10 лет представляет машину, все воспринимающую в совершенстве. Другие то или другое явление, более или менее хорошо, у этой все отлично.

Надавил пальцами зрачки ее глаз, и через минуту она спала, свесив голову: физиономия была спокойная как нельзя более, нисколько не изменилась. Только истеричные воспринимают это. Не надо никакой силы или способности, всякий это делает. У иных долго, у других, привычных, сейчас. Блестящий предмет — гораздо дольше. Он поднимал руку, повертывал голову то на один бок, то на другой — она падала, не валясь, наклонив тело и проч. Это первое состояние. Он открыл ей глаза — каталепсия, члены приобретают то положение, которое им дают, как и самое тело, но неизменно при соблюдении равновесия. Когда равновесие теряется, то есть когда дают телу такое положение, что оно нарушает закон равновесия, то человек падает как в нормальном, так и в этом состоянии. Но трудные положения сохраняет — согнутые колени, наклонения на бок, одна нога твердо на полу, другая упирается на пол только носком. Закройте ей глаза — погружается в первое состояние. В каталепсии поднимет руку — остается в этом положении. У здорового человека вытянутую руку можно некоторое время держать, но усиливается и давление, и сердцебиение, и рука начинает дрожать, а тут человек сохраняет совершенно спокойное положение, ровно дышит. Но может быть, это шарлатанство? Для этого есть доказательства, открытые Шарко: стоит прижать лучевой нерв, пальцы сгибаются с такой силой, что я насилу мог высвободить руку. Прижимая нервы на лице, на лбу, вызывают улыбку, гримасы, такие движения, которые при всей воле не сделаешь. Лекция Шарко — где и доктора, может быть, сами не знают, где такие нервы за ухом, а больная знает.

9 мая.

Был какой-то мужик, служил у Адлерберга в Лондоне. „Говорят: французы любят русских, я и приехал сюда. Обещают работу, а не дают. Когда граф помер, я остался ни при чем“. Жаловался, что у него сапоги разорваны. Дал 3 франка.

—

Обедали: де Роберти, Скальковский, Татищев, Бестужев-Рюмин и я. Де Роберти говорит, что есть кафе, где г... ж... что он был там с Paul Adam, молодым автором „Critique des mœurs". Поехали. Маленькое кафе. Г... ж... почти совсем, только прозрачные рубашки, груди наружу. Де Роберти говорит, что водил сюда женщину из общества, в маске, чтобы посмотреть. Взяли пива, пробыли 10 минут и в Moulin-Rouge. Мельничные крылья с фонарями. Вход 2 франка. Гимнасты, потом канкан на сцене — 2 мужчин и 2 женщины. Мужчины проделывают ногами, что и женщины. В зале танцы, образуется круг зрителей. Женщины в штанах, развевают юбками, нога выше головы, держит ее рукою и кружится на одной. Гулю — высокая брюнетка. Вид женщин очень милый, добродушный; иногда физиономии не только красивые, но совершенно приличные, хотя в любое общество. В Moulin-Rouge попадают уже те, что прошли кабачки пониже, потом Casino de Paris, Olympia и т.д., карты, все отели. Градации тут есть. Своего рода воспитание. Народа масса. Великое переселение народов. Театры пусты, в этих кабачках гибель всякого искусства. За 2 франка идет сюда всякий, пьет, смотрит и выбирает девку, которых сотни, если не тысячи. Ходят по две, по три вместе, многие с мужчинами. Мужчин все-таки больше. На столбах, поддерживающих крышу, гербы, деревянная мельница с массою французских флагов. Своего рода увенчание национальными флагами распутства. Городовые в форме. Господин с надписью на фуражке: L'Inspecteur*. Другой с золотыми лаврами на фуражке. Перилами отделяется несколько повышенный пол со столиками. Перед перилами бархатные диванчики. Де Роберти перелез к девкам. Бестужев-Рюмин: „Escaladez, escaladez"*, но он обошел. Для тайного советника это казалось бы неприличным.

—

Старый армянин долго жил в Gr. Hôtel, водил девок к себе — позволяли. Новый директор, когда девка утром

*Инспектор *(франц.)*.
*Лезьте, лезьте *(франц.)*.

вышла, остановил. Она к нему. Он — счет и выехал. Прошел год. Он скупил 1000 акций (всего 4000 акций), роздал их и выбран директором-распорядителем. Прогнал всех директоров и поваров, из которых один получал 200 000 франков в год, то есть крал. Сам ездил на базар. Акции повысились. Это *мщение армянина*. Капитал завещал городу Парижу, фамилия его — Бенардаки. Желал „спасти" своего брата, который жил с еврейкой, уговорил одного полковника за 3000 франков жениться на ней. Пока это устраивалось, сам влюбился и захотел жениться. Полковник запросил 90 тысяч. Бенардаки дал и женился. Это испортило ему всю карьеру, лишился придворного чина, уехал в Париж, где жена его слыла первой красавицей одно время. Видел двух его дочерей, очень хорошеньких. М-м Бенардаки вела не строгую жизнь...

—

Черткова — муж идиот — в Петербурге пользуется репутацией злого языка. Чертков купил ее у исправника, женой которого она была. Умная баба! Влияла на него решительно. Проиграла на бирже до 3 миллионов рублей.

—

В Париже бега каждый день. Рулетка в игорных домах. Известные части Парижа только и живут женщинами, их развратом, а если прибавить, что Magasins du Louvre, Bon Marché и большая часть прочих торгуют только для женщин, то женщины управляют миром.

—

Боголюбов говорил, что начали дело, на каком основании в Саратове музей назван Радищевским, именем революционера. На него и на школу Боголюбов пожертвовал 160 тысяч. Дурново ответил, что это только формальность, когда Боголюбов написал, что будет жаловаться государю. Государь прислал ему 15 тысяч франков, просил на аукционе купить что-нибудь Мейсонье.

11 мая.

Обедал у Шарко.

— Школа Нанси имеет у вас последователей и сказателей?

— Как всегда, — сказал он, — она доступнее и далеко идет, а это любят.

После обеда он вернулся к этому, упомянул Бергейма, сказав, что все это не доказано. Чтобы доказать самые простые вещи, надо много „изучения, труда и методы"...

Всюду гобелены, ценные вещи антикварные, много вкуса и комфорта. Лампы над столом газовые и антикварные, на камине два большие рожка. Стол прекрасно убран. Дочь Шарко брала русские уроки, читала Пушкина и Лермонтова. Очень миловидная девушка. Жена маленькая, седая. Обедало 10 человек, был один художник. За обедом Шарко сказал сыну, что надо было публиковать одно démonstration*.

„Это дело шефа клиники". — „А ты что делаешь, разве сам ты не мог бы сделать? Вечно на других ссылаются". — „Что Вы сердитесь, папа?"

Шарко ел мало, пил шампанское за столом и после, играл на бильярде с Любимовым и выиграл у него партию. Говорили о животных. Он — зоофил. У него много собак, одна такса с эпилепсией, точно такое же явление, как среди дворянства, когда оно слишком близкие связи заключает.

— Я своим собакам поставлю памятник в Сальпетриере. Вальян написал о тех, которые собирают животных, ухаживают за ними, что это вырождение, сильные люди были сильны на войне, не сентиментальничали и т.д., я тоже к вырождению принадлежу. Я зоофил, но мне всегда приходит в голову, что есть люди сильные, которые были тоже зоофилы. Леонардо да Винчи, например, был художник, инженер, скульптор, ученый, а он ходил на рынки, покупал птиц и отпускал их на свободу. У Шекспира можно найти много мест, где он говорит о любви к животным. Человек менее гениальный, Гюго, смеялся над котятками. Все это зоофилы, и в такой

*Представление, демонстрация *(дослов., франц.)*.

компании не стыдно быть. Зверя воспитывают, ласкают, приручают, даже кормят его из своих рук, например оленя, а потом вдруг берут ружье и нападают на несчастного, убивают его и несут как трофеи, хвастаются убийством...

— Ну, ты опять за свое, — сказала жена и обратилась ко мне: — Вы охотник?

— Нет, madame.

— Да, опять за свое. Я не могу выносить этого и равнодушно говорить об этом. Какой-то праздник убийства делают, радуются, кричат, глаза горят. Что же восставать против тех, которые убивают людей, взрывают динамитом, против войны? Это тоже спорт. Убивайте, убивайте, увидите, до чего дождетесь. L'âme moderne* не выносит этого.

После обеда я сказал ему о „голубиных садках".

Он живо подхватил.

— Да, да, это возмутительно. И такую охоту любят более всего дамы, преимущественно француженки, испанки, русские. Поверьте, это самые худшие женщины делают. Такие, которые не заслуживают ничего.

И он сделал презрительную улыбку.

После обеда Шарко много говорил о гипнотизме. Любимов сказал, что он никогда не делает опытов над животными. Вспоминали Боткина и его семью, жену, зятя его и его жену. Это был замечательный человек. Я сказал, что теперь нет такого авторитетного.

— Ça viendra*, — сказал он, — нельзя все разом. У вас есть хорошие медики. У вас все еще только начинается.

Я сказал, что имя Шарко теперь суют всюду — и в телепатию, и в спиритизм, и в книги о бессмертии души.

— Да, и меня уже называют отсталым. Я открыл им ящик Пандоры, они ухватились за все, что вылетало из него, извратили многое, многое стали развивать и бросают вперед, в воздух. Но все это пройдет, и, может быть, останется только то, что открыл Шарко. Я не знаю, существуют ли привидения, я их не видал, а потому не

*Современная душа *(франц.)*.
*Это еще придет *(франц.)*.

стану говорить ни „за“, ни „против“. Говорят, можно гипнотизировать на расстоянии. Я этого не знаю. У меня и своего дела очень много. Поверьте, чтобы доказать и малые явления, надо очень много труда и метода. Если бы я стал за всем гоняться, во что бы обратился мозг мой? Частички моего мозга перепутались бы. Надо иметь „bon sens“*. Я не знаю, есть ли на русском языке такое слово, но „bon sens“ должен руководить. Бессмертие души — хорошо бы, я бы этого желал, но вечно жить в раю и слушать ту же музыку — это скучно.

— А ангелы, наверно, плохие композиторы, — сказал я. Он улыбнулся.

— В науке надо еще искусство, уменье проверять опыты, избрать их, направлять их. Недостаточно быть ученым, надо быть еще артистом.

Когда он с любовью показывал артистические вещи, которыми наполнены несколько комнат, я сказал ему, что он столько же ученый, сколько артист. Он отвечал:

— Presque*.

Потом изложил свой взгляд на „переведение“ одного человека в другого.

— Личность одного человека можно перевести в другого, случаи такие видел, но это редкость. Вообще гипнотизм — это патология, а не физиология. Такие типы, которые вы видели в Сальпетриере, очень редки, может быть, десять за все время. Но гипнотизм встречается всюду — и среди женщин, и среди мужчин. Даже среди ваших гвардейцев, среди пруссаков, как во времена Фридриха II, есть истеричные люди. Не смотрите, что на вид они так крепки, и с гвардейцем может сделаться истерика. Милитаризм доводит до этого. Что сталось с солдатами Фридриха II, то будет и с новыми, все больше и больше истерических явлений. У женщин двойственность чаще: сплошь и рядом сегодня встречаешь ее в одном настроении, завтра в другом, и притом противоположном. Они не лгут, но это вследствие истеричности. Бывает, что

---

*Здравый смысл (*франц.*)
*Почти (*франц.*).

два состояния, как в Сальпетриере, которые друг друга совсем не знают, но бывает так, что одно состояние знает другое, но уже это другое не знает первого.

— Французы ставят Корнеля и Расина выше Шекспира, — сказал я.

— Это естественно. Чтобы понимать Шекспира, надо читать его в подлиннике, а его язык — несовременный, в нем много слов и выражений устарелых, которых нет в современном английском языке. Я говорю охотно по-английски, и так как я изучал Шекспира, то часто употребляю шекспировские слова, и англичане мне это замечают. Красоту и величие писателя можно ценить только в подлиннике, и понятно, что французы, среди которых мало распространен английский язык, не ценят Шекспира в его настоящую величину...

Разговор о Ламброзо и Монтегацца:

— Это — Vulgarisateurs*, которые все упрощают и обобщают.

Все испанское, индийское, кое-где Спарта! Вот куда деваться от этого Moderne**! Он показал свою библиотеку в два этажа с галереей и лестницами; множество книг с бумажками, которые торчали из них. За Буддой ящик с карточками, очень большой. „Все это надо перечитать, отметить и т.д.". Показывал стеклянный бокал с гербом, из которого цари пили в день венчания. В нем бумажка с объяснением. Показывал другие вещи, подарок Александры Иосифовны, „duchesse Constantin" — эмалированное серебро, два кокошника, душегрейки, несколько вещей, им купленных в Москве. Москва теряет свою физиономию. „Это я называю dégoût[Δ]".

13 мая.

Вечер в Ambassadeur. Роберти рассказывал о концерте в пользу алжирцев, устроенном „Courrier Français". Все „знаменитости". Одна танцевала голая, в вуали.

---

*Популяризаторы *(франц.)*.
**Модерн *(франц.)*.
ΔОтсутствие вкуса *(франц.)*.

14 мая.

Вечером в кафе Ша-нуар. Больше мужчины. Платные песни. Сутенеры. На фортепиано аккомпанируют. На стеклянных дверях профиль осла. Голова ослиная из терракоты. На буфете из терракоты голая женщина. На стене терракотовый монах и много рисунков. Хозяин копирует проститутку, голую женщину. Распятый Ротшильд с бакенбардами, лысый, две голые женщины — отчаяние проституции. Рисунки — голая женщина, сидящая на гильотине и приглашающая любовников, Робеспьера и т.д. Голая женщина — республика. На осле красивая голая женщина в черных шелковых чулках, в перистиле — храм на Монмартре. Подпись: „C'est moi qui suis le Sacré-Cœur de Montmartre"*. „Карикатуры. Quand ce coq chantera, crédit on fera".* Хозяин поет песни. Дамы приличные. Все литераторы и артисты. Поэт читал стихи, которые продавал по франку.

15 мая.

Утром в Theâtre Libre. Пьеса Гауптмана „Die Weber" (Les Tisserands). Очень сильная вещь. Большой успех. Познакомился с Потапенко. Очень симпатичный человек. Вечер в Variétés, пьеса Мильме „Ma cousine". Режан очень изящная женщина и очень талантливая актриса. Очень мне напомнила тонкостью своей игры Дузе.

16 мая.

Жду Татищева, чтобы ехать в Фонтенбло. На обратном пути Татищев говорил много интересного об истории Александра I, которою он занимается. За 1801 год он списал все то, что есть в Государственном архиве, чего не подозревает начальство архива. Император Павел, желая попасть в гроссмейстеры иезуитского ордена, вызывал папу в Петербург для личных переговоров. В Вильне при Александре I были все иностранцы. Разговор Балашова с Наполеоном в книге Татищева „Alexandre et Napoléon" с указанием пропущенных мест в книге, изданной Акаде-

*Это я — Святое Сердце Монмартра *(франц.)*.

*Когда этот петух запоет, тогда и поверим *(франц.)*.

мией Наук. Упоминание о Бенигсене: „Как, он протягивает окровавленную руку, *убившую своего государя и отца императора?*“ Балашов выскоблил вторую половину фразы, на свет можно прочесть (?).

17 мая.

Утром пришла Пуаре, только что приехавшая из Петербурга, остановилась у брата, Карандаша. Потом Маковский. Маковский 3 месяца был в Америке. Говорил, имя его там хорошо известно. „Брачный пир“ каждому мальчишке известен. Купивший у него картину рекламировал себя и рекламировал художника. Показывал мне купленный им складень за 180 франков, очень древний и оригинальный. За портрет заплатили ему в Америке 3000 долларов, угощали обедом. Верещагин, по его словам, не имел там успеха и продавал дешево. Айвазовский — тоже ничего не продал, остались картины на комиссию. Говорил о своем разводе. Жена его требует 9000 рублей пенсии. Он отдал ей две картины — „Невесту“ и „Вакханалию“ и говорил, что у нее есть 100 тысяч рублей, так как все деньги он отдавал ей. Вид его не блестящий, немножко конфузится. У него двое детей, мальчик и девочка. Лет ему 54, как говорит.

—

Вечером в Армии Спасения. У дверей толпа плохо одетых молодых людей и мальчиков, которые стараются пройти в дверь, но два молодых человека из Армии не пропускают, но не всегда успешно. Нам и Бестужеву-Рюмину дали билеты. Поднимаемся в первый этаж. Довольно большая зала, несколько рядов стульев, подмостки с рядом стульев, пианино и кафедра, обитая темно-красным сукном. Сзади к стене — герб Армии — крест, обвитый буквою S, и два меча, кругом надпись: „Sang et feu“* и „Armée du Salut“**. Над кругом корона с тремя звездами. Французские флаги по сторонам. На стульях человек 20, большею частью в темных платьях и в шляп-

*Кровь и огонь *(франц.)*.
**Армия Спасения *(франц.)*.

ках высоких, старого фасона, закрывающих лица. На отворотах кофты — буква „S“, на воротнике, застегнутом пряжкою с надписью „Armée du Salut“, обведенном красным шнуром, на рукавах тройной красный шнурок. Два капитана — девушки. Одна высокая, худая, с продолговатым лицом, другая с круглым, выразительная физиономия. Они выходят из боковых дверей. На эстраде справа от зрителей женщины, слева мужчины. Заседание открывается несколькими словами и молитвою, причем становятся на колени. Господин седоватый, закатив глаза, читает ее. Проповедница, закрыв глаза руками, облокачивается на кафедру и повторяет: „Oui, oui“*, как бы подтверждая слова молитвы. Открывает книжку „Chants de l'Armée du Salut“* и говорит: „№ 27“. Читает 4 первые стиха, комментируя их более или менее пространно, потом запевает и все собрание хором. Напев приятный, хотя однообразный. Снаружи доносятся шум и свист. Начинаются возгласы в собрании измененными голосами. Ораторша сначала не обращает внимания, пение помогает заглушать нарушителей тишины. Но она говорит долго, и смех, и крики. Она останавливается, говоря, что так нельзя продолжать, что она просит о снисхождении. „Мы никого не боимся, мы убеждены в правоте своего дела, и нам не впервые это“. Смолкают, и опять. На кафедру входит мужчина, читавший молитву, говорит, что он не праведник. „Что он такое? Просто то, что называют честным человеком. У меня эгоизм, зависть и т.п., но я сознал свои грехи и стараюсь исправиться“. Его почти не слушают, и он говорит среди шума. После него опять женщина.

— Кто там прячется?

— Он боится, — восклицает резким голосом мужчина с неприятным сердитым лицом.

— Да, боится. У него совесть не чиста, и он прячется.

Говорит, не слушают. Мужчина резким голосом: „Silence!“△

— О-о-о! а-а-а!

Мужчина выходит и говорит, что это свинство, что не

---

*Да, да *(франц.)*.

*Песни Армии Спасения *(франц.)*.

△Тихо! *(франц.)*

дают говорить „aux braves filles"*. Выходит, я жду. Кричат, подражая.

— Ну, что это значит: „Des bêtes féroces, des brutes"*.

Собачий лай, мяу, мяу на разные голоса. Покричал, сел.

Девушка встала и говорит с улыбкою:

— Кажется, между нами есть животные.

Смех одобрения. Смущены нарушители. Вообще женщин слушают с большим приличием, чем мужчин.

После этой бурной сцены тишина. Слушают довольно долго.

Мужчина: „Благодарю нежно, что слушали".

Опять смех и крики.

Девушка говорит, чтобы вышли нарушители, иначе нельзя продолжать заседания. „Что это за люди. У них совесть неспокойна, нет религии, нет Бога. Не может быть. В глубине их сердца есть Бог, но они его забыли. Не может не быть Бога. Они ведь знают, что человек не может поручиться ни за минуту своего существования. Может быть, через полчаса кого-нибудь уже не будет, он умрет и предстанет перед Богом".

Другая девушка — о сеятелях, дурная почва и хорошая. Читает Евангелие. Это слово Божие. „Так было и при Христе, так же слушали. Павел вообразил, что он приносит пользу римлянам, спасает государство, народ, когда гоняет христиан, но слепота его прошла, и он стал одним из первых. Так и у нас. Эти крики, этот шум от тех, которые хотят нас заставить замолчать. Но мы прочли слово Божие, не наши это слова, а Божие, чрез мои слабые уста говорит Бог" и т.д. Просто, весьма убедительно и сердечно говорит.

18 мая.

В Maisons Laffitte с Татищевым у Маковского, который купил у Верещагина за 45 тысяч франков его помещение. Это почти даром. Верещагин заплатил за одну землю, на которой ничего не было, 50 тысяч франков (19 000 квадратных метров), сам посадил деревья, платя иногда по

---

*Этим хорошим девушкам *(франц.)*

*Животные, грубияны *(франц.)*.

100 франков за дерево. Мастерская огромная, красиво декорированная картинами, антикварной мебелью, коврами, гобеленами и проч. У Маковского двое детей от новой супруги. Она просила меня поговорить о разводе мужа с его женою, Ал. Петр. „Положение фальшивое", — говорит она. Понятно. Отец ее бывший казначей, честный человек. Лечится в Париже. Мать ее живет с ними. Видел эскиз „Минина". Эффектная будет картина. Но Минин едва ли выйдет. Пейзаж прекрасный. Много этюдов с натуры в Нижнем.

—

Скальковский рассказывал о Сбышевском, командире корабля, все сдал честно и уехал на восстание. (Уроженец Николаева, Скальковского знал он мальчиком, когда был морским офицером в Одессе.) Пока добрался, восстание кончилось. В Париже выдавали. Он пробрался в Англию, работал в Шотландии на железоделательном заводе простым рабочим, не зная языка. Потом переехал в Париж, первый стал интересовать французов русскими делами, имел миллионы, потом все потерял. Теперь занимается комиссионерством. Прощен, ездит в Петербург. Ему 65 лет, но еще бодрый и деятельный.

—

Обедал в Café de Paris с Татищевым, Бестужевым и Петипа. Последние уехали в цирк. Мы с Татищевым оставались. Он рассказывал мне чрезвычайно интересную историю свою во время кампании, когда он приехал в Белу с депешами от Горчакова. Сухой прием, не пригласили к обеду. Суворов заметил, сказал государю. Тот позвал его. Говорил с ним. Перемена. „Да, Ваше Величество. Нет, Ваше Величество". Окружающие: „Как можно! Надо: точно так, Ваше Величество". „Никак нет, Ваше Величество"... Управлял дипломатическим Комитетом (?) у Тотлебена и сносился с королем румынским Карлом. Гринвицкий редут. Две роты. „Пусть просит письменно. Я должен отказаться от трона, если признаю свою армию трусливою". Скобелев и румынские офицеры, с которыми

он поехал на аванпосты, трусы. Воспитанники французских школ. Князь Имеретинский, которого хотели назначить послом в Константинополь, умный, деятельный. Тотлебен ему многим обязан... С женщинами слаб. В 1875 году обедал в Пеште с императором Францем-Иосифом. Приехал с красносельских маневров генерал Дегенфельд. Последний хвалил русскую армию, пехоту, солдат. Но что касается артиллерии, инженеров, то говорил, что все это слабо: „Напоминает состояние этих частей у нас при Евгении Савойском". Татищев, несмотря на этикет, сказал: „Да, может быть, лучше было бы, если бы и в австрийской армии эти части напоминали Евгения Савойского: тогда были бы победы, а не поражения вроде Кениггреца". Все смутились. Император покраснел и, обращаясь к Дегенфельду, сказал: „Это первый секретарь русского посольства" (Татищев был во фраке, а потому генерал не знал, что это русский), — и к Татищеву: „Вы совершенно правы". Вена недели три говорила об этом.

25—30 лет тому назад Татищев играл выдающуюся политическую роль. Он очень даровитый человек и повредил себе и тем, что даровитых не любят, и тем, что у него кружилась голова, и своим языком. Он сам это говорил. У меня к нему невольная симпатия, и я желал бы ему всего лучшего.

—

Лобанов, будучи послом в Константинополе, прозевал Критский договор во время берлинского конгресса, когда целость Турции была признана. Не прозевай он этого, а сообщи вовремя — берлинский договор мог бы иметь другой исход.

В цирке мисс Дудлей ногами держится за трапецию, висит вниз головой, поет, и в это время на трапеции, которую она держит руками, атлеты упражняются. Потом держится зубами. Глупо и скучно. Шансонетки, певица, открытая спереди и сзади, похабщина, а патриотизм воспевает.

19 мая.

Татищев видел Довеля, который говорил, что французская армия не обладает ни дисциплиной, ни выдержкой

прусской армии. „Для нее нужна идея, одушевление, как было при Наполеоне I. Это одушевление даст французам русский союз. Распадется он — у нас не будет армии".

—

Жена Монтебелло и жена Шишкина поссорились между собою, а отсюда и мужья их.

—

Моренгейм не может забыть Рибо, который его выдал. Дерулед и Мильвуа что-то затевают против правительства.

—

Бернштам делает группу Христа и Магдалины, и я к нему еду посмотреть. Де Роберти говорит, что „Tisserands" напоминает всего более русскую действительность. У Бернштама. Масса бюстов: Ренан, Боголюбов, Ришпен, Золя, Сарду, Доде и т.д., целые десятки. Великие князья Владимир и Алексей. Сергей в боярском костюме, но накинута сверху шуба. Проект памятника Ильину при Чесме: на пушке бюст и кругом якоря. Палач с блюдом, на котором голова Иоанна Крестителя, девушка у столба, привязанная. „Христос и Грешница": та у ног его сидит, стыдливо закрыв лицо полою его одежды. Христос положил руку на голову, сам смотрит вдаль. Лицо доброе. Работа только что начата. Небольшая статуэтка, изображающая государя, снята с карточки. Хочет изобразить Дмитрия Донского, попирающего ногой татарина. Поговорили о том, что у нас нет памятника Дмитрию Донскому, Ермаку, Ивану III, Михаилу Федоровичу, Алексею Михайловичу, царствование которого так значительно. Это было бы хорошее поощрение русскому искусству.

—

Был редактор „Gaulois". Де Роберти говорил о Павловском. С.В.Ковалевская изобразила его историю с Гончаровой в рассказе „Нигилистка", который вышел и по-русски (в „La Société Nouvelle", январь).

20 мая.

В „Gaulois“ мой разговор с редактором. Все преувеличено, есть вещи прямо глупые, например: „Всякий крестьянин читает привычно *свою* газету“. Недостает: „за чашкой шоколада“. Я написал письмо Ларозу и говорил Павловскому, чего он смотрел? Лароз отвечал, что оговаривать всегда неудобно, что ввиду этого он показывал статью Павловскому, а тот сказал, что „c'est très bien“*. Павловский подхалимствует перед старыми журналистами, а мне говорит, что он умеет высоко держать свое достоинство. „Он мне этого не посмеет сказать“, — говорил он. Погорячился и бросил. Agence du Nord телеграфно передало мой разговор в Петербург. Коломийцев уведомил, что цензор запретил депешу „Gaulois“, и спрашивал, надо ли переводить разговор, когда получится. Отвечал, что нет. У этих французов столько фантазии и такой изверченности, что они не способны понимать простой язык и так украсят вашу речь, что стыдно становится.

21 мая.

Сегодня с Бильбасовым мы были у Пирлинга. Пирлинг о Самозванце издает письма иезуитов, бывших при нем. Он вполне верит в его царское происхождение. Доказательства слабы. Говорит речь о своем происхождении — его нет; говорят о лице, которое было при нем, — неизвестно кто. Напоминает Петра I — хочет учеников и учителей иностранцев.

У Моренгейма. У Рамбо, не застал. Дело Савицкого, застрелившегося нигилиста. Плетнев вечером уехал в Америку. О Лабунской Пуаре говорила, что она записана как „девушка, не имеющая любовника“ — en titre*!

23 мая.

С Татищевым в Версале. Дворец. Фонтаны. Встретил вместе с Скальковским Платонову, жену бывшего статс-секретаря Царства Польского, который живет в Париже, очень миленькая. Мне рассказывали в прошлом году в

---

*Это очень хорошо *(франц.)*.

*Официального *(франц.)*.

Биаррице, что это — простая девушка, чуть ли не прачка, к которой Платонов привязался и женился на ней. Я видел в Биаррице ее с молодым Меттернихом. С Татищевым. Начался обед в 9 часов, и просидели до 1-го часа разговаривая. Он мне рассказывал историю ближайших людей к Александру I, особенно Панина.

—

Утром подали карточку В.П.Буренина, я обрадовался, но вместо Буренина вошла дама, которая извинилась, что употребила такое средство. Барцалу в лицо дала. Приставал к ней, будто „отличное контральто". Не знаком ли я с Кузнецовым, с Гир.? Говорила, будто посол предлагал ей 100 франков, а у нее описана квартира за 700 франков. Плакала. На шляпке блестящие крылья бабочки.

—

...У нас еще нет свободы лошадей и экипажей, свободы костюма и обуви. А вдруг не пропустят на извозчике на праздник? Странные русские мысли на каждом шагу! В Париже рабочей толпе везде дорога. Подковы лошадей без шипов.

25 мая.

Татищев рсказывал свою историю с Люси Бетман. Банкир, владелец Ариадны, Даннекер. В Вене с княгиней Меттерних, у ней 14—15-летняя дочь. Замок на Рейне. Поэтому девушки знакомы, Меттерних и Бетман. Поехал в Пешт. Телеграмма Новикова — ехать с депешами к Александру II. Увидел на скачках Франца Иосифа. Кланяются царю. Приехал во Франкфурт к консулу. Царь на два дня запоздал. Встречает приятелей, англичан, с которыми был знаком. Один ухаживал за Маргаритой Ротшильд. У него бал. Татищев не едет. В 4 часа ночи приезжает. Приглашал на пикник в Висбаден. Знакомство с Люси. Встреча с Гербертом Бисмарком, которого просит сказать Вильгельму. Вильгельм принимает его, знакомит с графиней Меренберг, дочерью Пушкина. Говорит, что не один, а с Бетман. „Хочу познакомиться". Татищев

передает Бетману. Радость общая. Приглашают приехать на обратном пути. Во Франкфурт не едет, а едет в Вену. Встреча в Париже, ложа в цирке. Видит Люси. Отстает от Меттерних. Князь говорил ему в Вене, что пора „обвенчаться". Дипломаты по закону не могут жениться на иностранках, но всегда это обходят. Уезжает во Франкфурт, живет у Бетман. Объяснение с родителями, с Люси, с Ариадной. Встреча со Скобелевым, который только что женился. Телеграмма Новикова приехать — восточный вопрос. Уезжает, послал письмо. Разрыв. Сходится с теперешней женою, ребенок. Смерть Бетмана, который просит ее выйти за Шванебаха. Встреча при объезде Европы, в Вене. Очень интересные подробности. Рассказывал прекрасно.

—

Слух о Дурново, будто выходит в отставку.

26 мая.

Прочел, что собирается митинг протеста по поводу приговора суда по делу самоубийцы Савицкого, в субботу. Завтракал со Скальковским, ходили с ним в отель Друо. Встретил Маковского, говорили насчет цен картин и других вещей. Он прав, говоря, что нападки на то, что дорого платят за картины, никуда не годны. Кому это вредит?

27 мая.

Заходил Любимов. Вечером с Татищевым в Булонском лесу. Рассказывал о жене Корвина. Она выпросила себе концессию после войны у старого Адлерберга, который был уже слеп, на панораму Карса и продала ее Французской компании за 40 тысяч. Потом явилась в Петербург продавать шампанское от какого-то фабриканта. Жила с дочерью, воспитанною в Германии, учила ее французскому, английскому и немецкому языкам, чтобы сделать из нее гувернантку. Понесла письмо на почту. Нет марки. Молодой человек, англичанин, предложил ее. Вышла за него замуж.

—

В Café de la Paix, мой портрет рисовал карандашом француз за 2 франка. Пришли де Роберти с женой и Скальковский. Портрет жены де Роберти. Старик с седой бородой, согбенный, продавал „Chansons superbes" — желтые книжечки, другой — каламбуры, молодой — веера деревянные. „Вот купите в Тверь", — говорит де Роберти. „Вся Тверская губерния удивится", — говорит продавец по-русски. Подошел еще молодой человек, предлагал рисовать портреты. Оказался тоже русский. Вероятно, оба евреи. Вспомнил, что в Биаррице в прошлом году были русские продавцы мехов, а один одеяла из оческов шелка выдавал за московские, а мне говорил, что покупал их в Лионе: „Bonnes marchandises!"*

29 мая.

Вчера был в театре. Шла пьеса „Jeanne la Reine". Ну уж трагедия: чепуха невероятная, местами бессмысленна, но имеет успех. Актеры ни слова по простоте. Г-жа Дудлей в 4 акте минут 20 ревет, бегает по сцене, видит призраки, кричит, ломается — просто беда. В последней сцене она хорошо гримируется старухой, и есть места у нее недурные, но таланта на грош. „Маленькая Год", играющая Катарину, пожалуй, лучше всех. Вормс постарел, Ламбер (Apiarias) школы Муни-Сюлли. Все напыщенно, изломанно, и ни у кого ни слова правды. Французы в комедии мастера, но трагедия у них просто невозможная чепуха. Мне было смешно в разных трагических местах.

30 мая.

Скачка в Лоншане. Тысяч 200—250(?) народу. Экипажей тысяч 15—20, в разных аллеях растянулись страшно, на несколько верст. Мальчишки и взрослые. Чтобы привести экипаж — 5 франков. Разъезд продолжается 2 с половиной часа. Я вернулся в половине восьмого. Экипаж разыскивал два часа. Наряды. Одни они несколько миллионов. Кормилицы с грудными детьми, целыми семьями. Продавали и частные люди билеты на вход с надбавкой.

---

*Прекрасный товар! *(франц.)*

У кассы длинный хвост в несколько рядов. За решеткой ряд будок тотализатора. Около них толпы. Богатый народ. Всех положений. В одном углу каскад воды. Экипажи, шляпы, зонтики, наряды — чудесная рамка.

Вечером в Jardin de Paris. Вход 10 франков. „Ils ont doublé le bureau"*. Хохот, танцы, крики. Веселятся, как пьяные, но не пьяны. У нас сейчас была бы драка и скандалы. Здесь шутки все понимают. Человек 40 мужчин и человек 10 женщин, взявшись за руки, с криком пробегают, крича: „Vive le midi"*.

Salut militaire^ — поднятая нога. Grand écarté■ — раздвинутые ноги. Славянский помощник директора полиции все это изучал и делает в совершенстве. Женщина поднимает юбки, показывая штаны до талии, мужчина берет женщину и, поворачивая ее головой вниз, показывает на воздухе. Около танцующих группы. Хохот, аплодисменты, браво. Встретил Лабунскую, говорит, что приглашена в оперу за 1000 франков в месяц. Она была с приятелем Алек. Петр. (он агент по закупке металлов; говорит, что назначено свидание с Ал. Петр. в С.-Морисе, где и в прошлом году они были вместе), который познакомил со своей подругой.

Встретил Скальковского и опять Лабунскую с тем же и ловким французом, незаконным сыном Анатолия Демидова. Обеднел, бедняга, мать его наследовала миллион после одного скупца Карташова, который повесился или застрелился.

—

Видел индийского принца со свитой, в сюртуках и в белых чалмах, которыми закутывают шею и часть лица. С ним два англичанина.

—

Город Петербург ничего не делает. Забывает, что всякие расходы на благоустройство в сущности производи-

*Они удвоили цену билетов *(франц.)*.

*Да здравствует полдень! *(франц.)*

^Военное приветствие *(франц.)*.

■Ноги врозь *(франц.)*.

тельны. Требуют капиталов, рабочих. При Наполеоне говорили, что Гаусман разорил Париж, 300 миллионов долга, а в сущности он его обогатил, сделал более гигиеничным и доставил работу массе рабочего населения. Петербург дохнет, как Вена. Берлин не определился. Уж это не немецкий город и еще не общеевропейский, но жителей в нем больше, чем в Петербурге.

2 июня.

Павловский сегодня говорил, что нам дадут сыщика Россиньоля для осмотра вертепов. Скальковский говорил, что в улице de la Paix ряд карет перед домом портного Дусе, все женщины, примеряющие платья. У него был закройщик, грек Леонидас, невзрачный и грязный, но обладавший талантом придавать платьям особое „каше“. Два года тому назад он умер, искренно оплакиваемый прекрасным полом.

—

Газеты пишут себе рекламы вполне бессовестно. Сегодня „Figaro“ расхваливает свое издание „Figaro illustré“, как ни один модный магазин не расхваливает свои товары. „Fruth“ прекрасное американское издание, издаваемое в „New York“, подписка полгода 4 доллара. Раскрашенные рисунки — просто прелесть. „Tudge“ — гораздо хуже.

3 июня.

Вчера купил часы за 312 франков, другие (empire*) 50 и третьи 15 франков — 377 франков, с прежними 601 франками — 978 франков. Вечером с Россиньолем с 10 часов вечера до 12 часов вечера. Кварталы около Notre-Dame, B-d Sébastopol и Halles centrales*. Нечто вроде нашей Вяземской лавры. Кабачки с деревянными скамейками и столами, довольно темно и грязно. Спят сидя. Много мужчин, женщин мало. В другом спят на голом полу, бывший дом Габриэль д'Эсте — теперь логовище. Такое же логови-

*Стиль „ампир“ (*франц.*).
*Севастопольский бульвар и Центральный рынок (*франц.*).

ще — дом Джон Ло, остались только двери из bois sculpté*. Кафе и публичный дом, где платят 1 франк 10 сантимов. Все в рубашках, одна в платье все танцевала. Улицы грязные, узкие, с высоченными домами. Rue de Venise, где экипаж никогда не проезжал. Внизу комнатка с дверьми на улицу, в комнатке кровать, у дверей женщина-проститутка. Россиньоль говорит, что они платят 6 франков (?) в день за эти помещения. Тут же ваза с цветами, цветы приготовляли женщины. Одна садилась на корточки и пускала струю, встала и предложила себя. Дома то согнулись, то наклонились. Вонь и грязь. Публичный дом, где несколько женщин. Узкая лестница... поднимаются и смотрят на натянутое полотно, через которое видна освещенная комната. „Салоны" крошечные. Женщины вытянулись, как солдаты, отвислые груди. У одной замечательное лицо, черное со светлыми глазами. В салоне альбомы — „Studio", разные изображения... Около Halles Centrales заезжий дом, три этажа и два подземных, вроде пещер, где и публичный дом, и кофейная. В Ш. 20 франков, в других 5 франков, но сплошь и рядом также женщины, которые переходят из дома в дом.

4 июня.

Очень милый литвин, Сипайло, Иван Францевич. Школа инженеров. Приходят в 9, потом ворота запираются. Опоздавшие проходят другой дверью, и записывают их. В 11 часов они завтракают, потом от 5 часов опять на запоре. Все лекции даром. Русские правой и левой стороны враждуют. На левой есть *русские* и из *России*, большею частью евреи. Правая сторона делится по священникам — одна Рождественская, другая — В... Славянская черта!

—

Франко-русские симпатии — иллюзия, их нет. Французы симпатизируют только тем, которые деньги оставляют. Поставили себя дурно. Англичанин заходит только

*Резное дерево (*франц.*).

в те магазины, где „english spoken“*, и этим заставляет учиться по-английски.

—

Новые академики — Брюнетьер и автор „Les pêcheurs d'Island“, а не Доде, не Золя, не Шарко. Академия представляет аристократов — Брольи и т.д. Везде партии.

—

...Греки — лучшие хлебные торговцы. Россия первая стала вывозить хлеб. Преследуемые в Турции, греки поселились в Одессе и овладели торговлей, Соединенные Штаты стали вывозить во время Крымской войны. Индия — со времени Суэцкого канала. Хлебная торговля требует капитала и большого риска и расчетов.

—

...Правительств хороших нет, ибо правительства — произведения стран!

—

...Социализм германский основан на теории эволюционизма. Возьмут социалисты власть в руки — и человечество достигнет высот своего развития. Но, увы, в эволюционизме есть эпохи упадка, уклонения, и эволюционизм не есть прогресс постоянный.

—

Ничего не делал. Бродил. Обедал со Скальковским. Ходил в Champs-Elysés.

7 июня.

В субботу вечером был у Потапенко с Павловским. Вернувшись в отель, нашел письмо от Потапенко, где он просит у меня 300—400 рублей. Сегодня я дал ему 300. Вчера обедал с ним у Ledoyen'a. М.Андр. живая и интересная женщина. Манерой говорить страшно напоминает Е. К-ю, что я ей и сказал. „Мы вместе учились, вместе жили и, вероятно, друг у друга заняли“. Она верно судит о

*Говорят по-английски *(англ.)*.

литературе, об искусствах. Потапенко мне сказал, что на нее находит меланхолия иногда. „Я стара, жизнь моя разбита“, — сказала она. Потом говорила, что ей надо лечиться, что надо сделать какую-то операцию, а денег нет. Потапенко работает много, через силу и не скрывает от себя, что это его истощает; но работает скоро, почти не поправляет. „Шестеро“ написал в несколько дней и даже не перечитал. Говорил мне, что Шубинский в письмах к нему меня выставлял человеком, который мешает его щедрости. Вот оно что! Потапенко случайно узнал, что именно я ему помог, вопреки Шубинскому, который не хотел давать ему вперед, когда он бедствовал. Павленко платит Потапенко за том в 15 листов с 5000 экземпляров 500 рублей. Это очень мало. Чертков поместил один его рассказ в „Библиотике для интеллигенции“, ничего не заплатив. Я вспомнил свое письмо, которое написал Черткову из-за границы в прошлом году по поводу того, что он не платит писателям, загребая жар чужими руками. Написал я ему, что вследствие письма ко мне Чехова, который именно жаловался на Черткова, Потапенко хочет написать „Консерваторские воспоминания“. Он учился 6 лет пению, композиции, но голос пропал.

—

Читал „Новое Время“. Дрянно и бесцветно ужасно.

—

У Жюля Леметра вчера читал о евреях и отложил этот фельетон.

—

...„Souffles nouveaux“, стр. 104—110 и далее: „Заменяет ли наука религию? Мы видим себя не потому, что знаем, а потому что любим. К науке обращаемся в страстях, когда можем в ней найти сообщницу. Наука делает ученых, но не людей. Ученые запутываются в тесном кругу своей специальности, пишут пространные сочинения, но остаются порочными людьми“.

9 июня.

Мильвуа обещается „разыграть“ Клемансо. У меня к этому господину ненависть, и я верю, что он и К.Г. продавали Францию. Дерулед вчера его обработал превосходно, без брани, но ядовито и последовательно. Клемансо вызвал обоих — они оба отказались драться, говоря, что с таким человеком, как он, не дерутся.

—

Третьего дня смотрел на танцы в Jardin de Paris: француженки веселятся как дети; кружатся в одиночку, одна подняла ногу и чуть не задела по лицу Скальковского, обводя ногою как бы сияние вокруг его лица. Он вспомнил одну сцену в „Nana“, где кокотки говорили о воспитании своих детей и вообще на известные темы, а вовсе не разговоры своего ремесла. Ремесло остается ремеслом, и так они на него и смотрят, как другие женщины смотрят на свое. Тут стыда никакого, как во всяком ремесле, только забота о заработке.

—

Безобразов писал Скальковскому, что князя Вяземского застал муж Бобринской со своей женой. Надо помнить первую обязанность женщины: de bien fermer la porte*.

Лабунская начала с того, что у Дюссо в Москве являлась по требованию гостей, когда они хотели иметь женщину.

—

Квартира нашего консула низенькая: cabinet*, спальня и salon△, окна которого выходят на помойную яму. Консул должен быть невысокого роста, иначе голова его будет подпирать потолок. Сказать об этом в газете.

—

Paul Desjardins, „Journal des Débats“: „Речи немного значат, они ведь лживы, обращаясь к публике. Совесть не в себе,

*Хорошо запереть дверь *(франц.)*.
*Кабинет (*франц.*).
△Гостиная (*франц.*).

а на лицах, которые слушают. Довольны они, и я доволен. Публика всегда любит старое, знакомое, известное. Новая мысль или претендующая быть новой сбегает с публики, как масло с мрамора".

18 июня.

Все сижу с Кравченко, который пишет мой портрет. Зачем я снимаю свою старую рожу, не понимаю: никому она не интересна. Был с Кравченко в Армии Спасения. Говорила Бутс-Клидбери: хвастливая неискренняя речь. Все „чудеса членов Армии". Бог их везде слушает.

Когда мы вошли, была спевка. Сидя на корточках на столе, в красной куртке, молодой человек повторял стихи, за ним собрание. Он жестикулировал, вытягивался, поднимал руки вверх, закатывал глаза, гримасничал, изменял голос, то громкий, крикливый, то тихий, переходящий в шепот, в таинственность, и собрание повторяло за ним, иногда по нескольку раз, с криком. Молодой человек и девушка, заигрывая, посылают рукою издали щелчки, трогают руку. Девушка жеманничает, переглядываются. Юноша обнимает ее, но потом, испугавшись, опускает руку и долго держит ее за спиной девушки. Эти девушки, вероятно, приготовляются в солдаты, как и молодой человек, который всем им знаком. Тут не без грязи в этом „святом" обществе, которое напоминает наших раскольников.

20 июня.

Видел Балкашина, молодой человек, анархические мысли. Заикаясь, говорит быстро, трудно разобрать. Очевидно, ничего не читает, кроме социалистических брошюр и листков. Еврей. Их ограничивают, потому что они заполнили бы учебные заведения. Так как нет основания думать, что все окончившие курс выйдут замечательными людьми, то нет основания и не ограничивать их. Неограничение их прав будет поощрением: они лучше учатся и лучше достигают. Есть все основания предпочитать своих, защищать их.

—

Несколько времени тому говорил с Лабунской. Как она учитывает свечи! Приносит прислуга огарки. „Нет, принеси мне и подсвечники с огарками, иначе можно одну свечку разрезать на несколько частей — вот и огарки“. Предпочитает пьющих прислуг, ибо они „не собирают ничего, дорожат местами, тогда как непьющие копят, дерзки и местами не дорожат“.

—

Студенты Ecole des Beaux Arts* устроили демонстрацию против Bérenger сенатора, который основал лигу против нарушения уличного благоприличия, обратил внимание на бесчинства бала Quat'z-Arts, где женщины были одеты в костюмы картины Рошгросса, т.е. были голые. Студенты прошли по разным улицам, неся на плечах кого-то и в такт напевая: „Bérenger, Bérenger, Bérenger“. Что-то бессмысленное. Полиция вмешалась, и была схватка. Многие ранены и арестованы. В „Figaro“ и „Journal des Débats“ было описание этого суда, очень интересного по ответам действующих лиц. Суд приговорил главных участников к штрафу в 100 франков.

—

Был в Maison du peuple. Заседание анархистов. Ораторы говорят прямо: „Убивайте, режьте, берите все — вы правы. В то время когда многие из нас голодали, ничего не ели, и есть нечего, там на Champs-Elysés катаются в колясках, запряженных лошадьми в 10 и 20 тысяч франков. Если мы воруем, то потому, что нам нечего есть, а там воруют, потому что все большего хочется. Панама — вот вам правительство. Говорят, мы устанавливать хотим беспорядок. А там смотрите, что такое. Если у нас будет довольство, мы не будем воровать, а там привыкли воровать, потому что им все мало, все большего хотят. Это уже вошло в их привычки, в их натуру. У бедного больше совести, потому что он привык работать и довольствоваться малым“. Протестуют одни, другие одобряют. Жен-

*Школа изящных искусств *(франц.)*.

щина, большая, сильная, говорит ярко, коротко, потом предлагает собрать для детей. Кладется на стол лишнее — сапоги, рубашки и проч. Кто хочет, тот возьмет. Если возьмет ненуждающийся — это на его совести останется.

25 июня.

Вчера закрыли Bourse du Travail*. Беспорядки на Place de la République перед театром и т.д. Мы тратим свое золото, а они только жетоны.

—

...Немки каждую дырочку заштопают, англичанка не обратит на нее внимания, но не наденет ни белья, ни платья с пятнышком.

...Мефистофель — соблазнитель, черт и т.д. Ругательные имена вместо нежных иногда невольно просятся, потому что трудно выразить все удовольствие. Странная русская черта. Русская ли только? Путешественники-иностранцы пишут, что говорили в Древней Руси: „Что же это за муж, если не бьет свою жену? Он бьет любя". В грубых первобытных натурах и нежность может проявляться грубостью.

—

...Какое глупое положение в одиночестве! Я совсем к нему не привык, и в одиночестве и работать не могу. Мне все надо на миру, как актеру.

—

...Женщину надо держать на известной нравственной высоте, иначе она по своей природе быстро способна принизиться и брать черт знает чем. Влиять на женщину, потакая ее инстинктам, ничего не стоит: она это быстро усваивает и потом так удивит, что ахти малина. Она принимает сначала с негодованием, потом с удивлением, потом начинает смеяться и наматывать себе на ус, потом вас же проведет самым незаметным образом.

---

*Биржа труда *(франц.)*.

6 июля.

Вчера в Штуттгарте. Поехал из Бадена в Вильдбад, желая там остаться неделю и отдохнуть. Приехал в дождь и слякоть, местность мрачная, узкая горная долина, комнату порядочную не нашел, все спрашивали: „Надолго ли я", а я говорил: „Не знаю" — и через полчаса уехал в Штутттарт. Приехал с тою боязнью смерти, от которой не могу избавиться вот уже несколько дней.

Выехал из Штутттарта в 1 час 38 минут, был в Нюрнберге в 6 с четвертью.

27 июля.

...Женщины — артистки — для декоративного искусства. Не ремесленницы. Говорят: посредственные художники должны обратиться к декоративному искусству. Но и там они будут посредственными. В самом деле, каким чудом чувство формы, инстинкт гармонии, вкус линий и колорита будут у людей, которые этим не обладали? Женщины не могут считать прикладное искусство средством к жизни, разумеется, есть исключения, но исключения редки, как и среди мужчин.

—

...Некий товарищ министра говорил: „Я-то ему товарищ, да он мне не товарищ".

—

... La patience est fade*. (Клеопатра у Шекспира.) Сложная штука жизнь, и печальная, и тяжелая, а все-таки веришь, что не всегда будет людям так плохо, что найдут же они выход из трудных положений и что наступит время царства Божия.

...„My brain is weak" — мой мозг слаб, говорят англичане.

...„Так хочется верить всему светлому, хорошему, чистому, что чувствую присутствие *духа* в себе и в вас, что такое ужасное сцепление обстоятельств кажется таким бесчеловечно жестоким и несправедливым". Я говорю „да будет воля Твоя", но внутри меня все возмущается и ропщет, и хочется воскликнуть: „Oh, la patience est fade".

*Терпение не имеет вкуса *(франц.)*.

30 июля.

Сообщение министра финансов о торговых переговорах с Германией. Вечером читал отрывок своей статьи о сообщении и потом написал:

Зачем сии известности
Попали в наши местности?

Это по поводу реклам разным увеселителям. Потом в декадентском духе:

Я мрачно сегодня настроен
И странными мыслями полон.
Я слышу, как мухи жужжат
В моей голове постоянно.
Я чую, как ползают мухи
По моей мозговой оболочке.
Я чую, что каплями там
Садится мушиная дрянь.
Как садится она на стекле,
И пакостит мысли мои,
И ум затемняет совсем.
Скорее, хирург, мне череп раскрой
И выгони пакостных мух,
И чистой водой кипяченой
Обмой хорошенько мой мозг,
Иначе с ума я сойду...
„Не мухи сидят в голове, —
Хирург отвечает с усмешкой, —
А старость пришла, и твой мозг
Поедает она беспрерывно
И воду в него подливает“.

26 августа.

В Берлине. Обедал два раза с Гарденом, раз был и отец Алексей. Анекдоты о Победоносцеве. Ему показывал монах в Киеве мощи. „Благодарю Вас, желаю и Вам после смерти сделаться такою же хорошей мощей“, — сказал он монаху. Было дело о „вбитии клина в хвост святого духа“. Отец Алексей, рассказывая это, говорил в объяснение, что у нас все олицетворяется, так и голубь, над царскими вратами висевший и треснувший в хвосте, вызвал такое дело.

31 августа.

Писал все утро. После завтрака читал книгу о „будущей войне", о которой хочу написать. Усилие воли необходимо, — правда, это в детских тетрадях стоит, но взрослые меньше всего об этом думают.

5 сентября.

Вечер у отца Алексея. Очень занимательная беседа. По поводу таможенной войны: „Вот теперь пусть покажут, что могут обойтись без Германии (?). Как два щедринских генерала, которых питал мужик". Император Вильгельм построил себе новый трон. Про него говорили, что к трону он велел устроить велосипед, чтобы постоянно кататься по Германии.

6 сентября.

Выехал из Берлина в Париж.

7 сентября.

Дорогой спал плохо, читал „L'œuvre" Золя, есть очень хорошие места о творчестве, которые подходят более или менее ко всем нам, пишущим, особенно стр. 350—353. Но читать несколько романов Золя сразу довольно утомительно. Он однообразен по приемам, по анализу впечатлений, по описаниям. Даже характеры довольно однообразны.

8 сентября.

У Моренгейма. Он был весел и оживлен. Рассказывал, что у него просили деревню Malakoff переименовать в Fédora villa. „Почему Fédora?" — „Потому что императрица — Fédora, то есть Феодоровна". Моренгейм послал чиновника объяснить им, что императрица — Мария, а Феодоровна — отчество, да и то неправильно, ибо отец ее Христиан.

9 сентября.

Золя говорил, что у Достоевского ничего оригинального нет, что он все взял у Жорж Санд и Эжена Сю.

—

У Доде атаксия, — трясутся руки, голова. „C'est l'œuvre de sa femme“*. Говорят, что жена его болезненно страстная и что она довела до этого.

10 сентября.

Сегодня в газетах о примирении Вильгельма II с Бисмарком. Хвалят, как необыкновенное дело. За что? Узнал император, что князь болен безнадежно, и только тогда протягивает ему руку. Газеты шумят ужасно. Что будет? Нотович уже являлся к Моренгейму, предлагал себя в распорядители от русской колонии для приема моряков. Надеюсь, ему будет в этом отказано. Впрочем, тут так много русской сволочи, что, пожалуй, Нотович будет на своем месте.

14 сентября.

В Биаррице. Много русских: Дурново, Безак, великий князь Алексей, Лейхтенбергские и другие. Любимов назвал Юрьевскую „дурою“. Он продолжает ее лечить, но наставником у нее Четвертинский. Была „половиной“ у императора, теперь „четвертью“, черт знает у кого. Глупая острота, но дуре и это хорошо. С.П.Боткин рассказывал мне, что Александр II, отправляясь на смотр 1 марта, с которого он вернулся мертвым, повалил Юрьевскую на стол и... Она Боткину это сама рассказывала.

15 сентября.

Вчера встретил на пляже Ламанскую. Рассказывала мне о Ратькове-Рожнове, как он нажил состояние, будучи управляющим у Громова; жалованья он получал 25 тысяч и проценты с торговли лесом. Этих процентов он получил в первый год 50 тысяч. К жене Громова питал платоническую любовь, как она говорила. Имения лесные в Олонецкой губернии все распродал, так что Громовой осталась только дача. Она хотела вести с ним процесс, но вышла замуж за какого-то полковника.

---

*Это дело рук его жены *(франц.)*.

17 сентября.

Был в Байонне. Подал телеграмму домой. Мне бы и хотелось остаться, и нельзя. Никогда еще я так не шатался в своих решениях, как теперь. Внутреннее беспокойство просто грызет меня, и я не знаю, что делать, как быть. Зачем меня понесло сюда? Я прекрасно вижу, что я — мешок с деньгами и ничего больше. Интерес ко мне исчерпывается таким образом. Я, впрочем, этому нисколько не удивляюсь, но это тяжело. Вся жизнь потрачена на труд, и к старости, когда смотришь в могилу, нет никого, кто принимал бы сердечное участие, кто берег бы.

—

...Скука и тоска. Тоска человека, выброшенного из жизни, общипанного, куцего какого-то, переставшего жить. На рубеже прозябания, бездействия мозга и мысли, когда будут говорить только инстинкты.

20 сентября.

Говорил с Яковом Поляковым о таможенной войне. Уверяет, что нам полмиллиарда стоит.

21 сентября.

Три дня тому мы сошлись с Антокольским и долго с ним говорили. Сегодня опять сидели вместе. Он плохо говорит по-русски до сих пор, но мысли у него оригинальные, иногда глубокие; он, очевидно, много думал о художестве и значении его. Мысль его постоянно ищет образов, и говорит он хорошо, его язык был бы очень красив. Пишет он, вероятно, гораздо лучше. Сегодня он говорил, что всякий художник должен ходить на трех ногах: чувство, рисунок и краски, то есть колорит. „У Рафаэля мало колорита". Микеланджело очень любит за его необычайную силу. „Прежде художники были всем — архитектор, живописец, скульптор. Леонардо да Винчи был и ботаником, и мыслителем, и проч. Теперь пустились в самые мелкие специальности. Пейзаж — это переход от натюрморта. По-моему, художества разделяются на одушевленные и неодушевленные. Все, что для

человека, — неодушевленно: архитектура, артистические вещи, посуда и т.д., человек сам — одушевленный". Говорил о греках, как они хорошо и артистично все устраивали: тога и т.д. Когда работал „Сократа", убедился, как удобно греческое кресло. „Дуга сзади на спине почти подпирает под мышки, передние ножки немного длиннее задних, телу чрезвычайно удобно, оно не скользит вниз, — спине хорошо".

В лице Антокольского грустная складка. Когда он улыбается, улыбается грустно. О французах говорил, что они ленивы, их идеал — отдых, лень, а потому работают как каторжные, лишая себя всех удобств и копя деньги. Когда француз скопит ренту, ликвидирует дела, меблирует комфортабельно дом, заводит лошадей, то ничего не делает, иногда в 45 лет. Многие удивительно сохранились.

23 сентября.

Говорил с Морозовым П.Т. — братом Саввы. Он передавал мне о кустарях и все, что сделало для них московское земство. Сам он вышел из университета с переутомлением, с ненавистью говорит о классицизме. Лучшие годы ушли, не мог жениться за болезнью. „Благодаря классицизму — никакой промышленности, никаких школ и учителей. Учителей приходится посылать за границу учиться".

—

Это удивительная чепуха — отсутствие всякой экономии жизни. Только хотят вычеркнуть из жизни молодые годы. Кузьмин, московский профессор, медик, сказал студентам: „Фистула — хлебная рана, ее никогда не следует залечивать". Московские медики вообще образовались под руководством Захарьина на принципах наживы, и, чтобы больше брать, устраивают осмотр больных в несколько часов. Ни для чего другого вся эта комедия, изобретенная Захарьиным. Морозов занимается живописью.

—

Вечером опять долго говорил с Антокольским.

„Глина — жизнь, гипс — смерть, мрамор — воскресение, но не совсем. Лучше всего глина, она мягка — тело мягко"... О Стасове говорит с восторгом. О Крамском, как критике, что он не прямо подходит к предмету... „Отец нового пейзажа — Руссо. Русский пейзаж правдив, но малопоэтичен... В искусстве мало правды, нужна художественная, поэтическая правда, то есть творчество..." Антокольский коллекционирует. В деятельности своей хочет воспроизвести мучеников идеи — Христос, Сократ, Спиноза.

—

После был В.С.Боткин, который приехал из Америки. Американская палата постановила иметь посольства там, где державы европейские согласятся посылать в Соединенные Штаты послов. Наша миссия послала в Петербург бумагу, говоря, что хорошо бы нам первым это сделать. Но наше министерство не отвечало на это. Англичане сделали это первые, потом французы и немцы, а мы все еще думаем. Наша выставка была не готова, другие тоже мало готовы были, но все-таки были выставлены хорошие вещи. Президент говорил любезности: благодарил за то, что прислали прекрасные вещи. Везде одно и то же. Перед русским отделом замялся, ибо хороших вещей не было, а были только десятки комиссаров. Он наконец сказал: „Благодарю Россию, что она прислала таких почтенных мужей". Это очень мило и зло!

—

Вандербильд, когда у него погибла яхта, сказал: „Я жалею, что погибло два ружья, к прицелу которых я привык".

—

24 сентября.

Великий князь Алексей играет в баккара, но не садится.

Ставит 500, 1000 франков, Лейхтенбергский садится за стол.

—

25 сентября.

Прочел, что в Лондоне выставка церковных предметов, между ними и священные вещи, похищенные из Севастопольского собора в воскресенье 8 сентября 1855 года. Лабушер советует возвратить.

—

Познакомился с молодым Гайдебуровым: вылитый отец, но еще больше его в нос говорит. Едет в Тулон.

26 сентября.

Прекрасный теплый день, чисто весенний. К 9 часам вечера небо покрылось, и накрапывал дождь. От Ал. Петр. Коломнина телеграмма из Парижа, что Плещеев умер от апоплексии.

30 сентября.

Опять в Париже. Завтрак у Дюрана, давал Каниве. Говорил Каниве, отвечал де Роберти тостом за французскую прессу. Я сказал: „Вы забыли одну важную вещь". — „Что такое?" — „Вы сказали: ...La presse, mais il faut dire: Sa Majesté la presse"*. Это понравилось. Ранк — очень симпатичный человек. Я спросил его о смерти Гамбетты, говоря, что правда ли замешана женщина. Отрицал энергично. Гамбетта сам себя ранил: виделся с генералом Тома, говорил с ним, потом хотел ехать и остался, и увидел полуразряженный револьвер на столе, взял его и ранил себя в руку. Рана зажила, но сделалась другая болезнь от лежания, от которой он и умер. Г-жа Леон была любовницей Гамбетты, он хотел на ней жениться вопреки советам друзей, но она была совершенно порядочная женщина. Раз Гамбетта был очень весел и

---

*Пресса, но нужно говорить: Ее Величество пресса *(франц.)*.

доволен, болтал и т.д. Я спрашивал его, говорит Ранк: „Что с Вами?“ „Я со Скобелевым виделся“, — отвечал он. Оба были удивительно талантливые люди и понимали друг друга. Скобелев говорил Маслову: „Я напоил Гамбетту, и он все мне выболтал“. Он был тоже доволен этим свиданием с Гамбеттой.

5 октября.

Русские моряки в Париже. Ездили встречать в 8 часов на Лионскую железнодорожную станцию в двух экипажах от прессы. Девель рассказывал Татищеву, что в первый день чуть не случился скандал. Морской министр, принимая Гирса, не посадил его. Гирс написал ноту, требуя удовлетворения. Морской министр говорил, что он впопыхах ничего не сообразил. Уладили и забыли. Говорили даже, что будто король и королева датские действуют на государя в пользу Вильгельма II, боясь быть проглоченными Германией. Сведения эти из английского королевства от герцога Валлийского.

10 октября.

Обед в Cercle de la Presse. Скульптор Фальер, композитор Сальвер, де Роберти, два Гайдебуровых, Комаров и я.

Комаров о демократизме русских: „Демократию организует государство“.

Почему купцы бьют зеркала? Потому что ненавидят их, боясь увидеть в них свою рожу. Русский народ — народ детей и юношества.

18 октября.

Завтрак у Каминского с Золя. Его отзыв о Доде: „Entre nous, c'est un homme perdu“*. Он много работает, голова свежая, но физических сил нет. Он начал две-три вещи и пишет их разом... „XIX век — век романа, а не драмы. Драма ничего не сказала нового, она продолжала старые традиции и не возвысилась особенно даже в произведениях Ожье и Дюма“. Хочет видеть Россию, как там, „какие вагоны, теплы ли дома“. Золя говорит, что пишут к нему

*Между нами, это потерянный человек *(франц.)*.

русские, прося позволения переводить его, но, судя по их письмам, они совсем не знают языка. „...Дюма говорит, что у меня будет 15 голосов при выборе в академию. Я этому мало верю, надо, во всяком случае, 18. Пройду весною. Доде сейчас же сделают академиком, если он поставит свою кандидатуру. Но он раз захотел на место Сандо, но ему сказали, что нет, а в другой раз и он обиделся“. О Доде: Тургенев обедал у него, и Доде спросил о своих произведениях. Тургенев хвалил, но с оговорками. Это так опечалило Доде, что он по уходе Тургенева плакал вместе со своей женой.

19 октября.

Де Роберти говорил о Почетном Легионе, который ему хочется иметь. Я непременно скажу Моренгейму.

—

Был у Доде. Очень грустное впечатление. Сердечно его жаль. Страшно изменился, поседел, волосы редки на голове и бороде. Сидит, 6 лет атаксия. Припадки. Постоянно страдает, но причины невыяснимы.

„Я стал добрее, лучше; я только 20 лет просидел в заключении, а страдания изменяют к лучшему. Если бы я был на банкете, непременно предложил бы тост за Толстого. Его „Война и Мир“ — incomparable*. Я этот роман знаю наизусть. Не правда ли, Левин — это сам Толстой?“ „Крейцеровой Сонаты“ и философии Толстого не любит. „Я люблю любовь, юность, жизнь, а эти произведения старика (d'un vieux) безжалостны“.

О сыне говорит, что он мистик. „Я с ним друг и брат, но нет места, и если поплывем с одного берега к другому, то поссоримся. Ничего общего, совсем другие мысли, идеалы; стремится к анархии. Ах, как много хотелось бы вам сказать! Отчего вы так долго не были?“ — „Дурно говорю по-французски“. — „Ах, какой вздор. Мы понимаем друг друга; есть течения, что с полуслова понимаешь“.

---

*Несравненный *(франц.)*.

24 октября.

Берлин. Был у посла Шувалова. Говорили о политике. Шувалов не только умный, но остроумный человек. По поводу Витте и бездействия министров: „Не все же устрицы, приятно видеть между ними и омара". Надо союз русских с пруссаками. Будет этот союз, нам нечего бояться. Хвалил немцев за дисциплину, за то, что они умеют быть единодушными, когда надо. О Витте, что он „конфиденциальное" сообщение Шувалова о министрах прусских, которые требовали отдыха, обнародовал. „Конечно, я ничего против этого не имею: коли надо, пусть, а все-таки как-то неловко мне было". „А немцы действительно просили об отсрочке?" — спросил я. „Действительно и серьезно просили". О франко-русских праздниках: „Императора не видел с тех пор, как приехал в Берлин, но слышал. Одни говорят, что он сердится, другие — что он спокоен, третьи относятся иронически". О Бисмарке: „Он — мой друг, и я бы не хотел, чтобы он знал, что я говорю: он такой еще живой, что, пожалуй, вызовет на дуэль и убьет. Но он никогда не любил России. Он только настолько любил, чтобы пользоваться ею". И в этом отношении так умно говорил, что заставлял с собой соглашаться. „Если правду говорить, Каприви больше расположен к России, чем Бисмарк, и для России положительно счастье, что Бисмарка уволил император".

—

Вечером с Татищевым были в театре Лессинга. Актрисы — кухарки или девки. Голоса противные, не умеют ни держать себя, ни ходить.

25 октября.

Нашел у себя карточку Тимирязева, нашего уполномоченного по торговому трактату. Пошел к нему в отель на Вильгельмштрассе. Черный, с бородкой с проседью; надеется, что трактат будет заключен. „Может быть, мы уедем за новыми инструкциями, но приедем опять и достигнем своего. Я еще далеко не истощил тех полномочий на уступки, которые имею, но по некоторым ста-

тьям достиг соглашения более для нас благоприятного, чем то, на которое имел полномочия. Нам приходится торговаться как на базаре, и мы должны скрывать пока результаты". Завтра у него завтракаю в 12 часов.

—

Татищев был у секретаря французского посольства Суланж де Бодена, который рассказывал ему все детали о франко-русских праздниках. Как только во время маневров, когда все газеты пели хвалы оружию и били в барабаны по случаю прибытия неаполитанского принца, последовала телеграмма о посещении русской эскадры, тотчас газеты переменили тон и смолкли в ожидании. Когда началась агитация парижской печати, газеты приняли иронический тон, особенно после заметки „Journal de St.-Pétersbourg", которую сочли ушатом воды, вылитой на эти празднества. Встреча в Тулоне считалась некоторым фейерверком, вспышкою, к ней относились иронически, с насмешками. Но когда празднества перешли в Париж, дело показалось настолько серьезным, что газеты не стали ограничиваться перечнем событий, после телеграммы государя в особенности. Император германский зол. Правительство беспокоится. Главный штаб понял, что начать теперь войну невозможно, ибо одни силы Франции почти превосходят силы германские, а огромная масса русских войск составляет перевес. Расчет на союзников плохой. Всеобщая подача голосов в Австрии, падение министерства Таафе, который управлял 15 лет, боязнь того, что при всеобщей подаче большинство будет славянское, а потому немцы, венгры против, вообще беспокойство в Австрии лишает Германию надежды на этого союзника; Италия загорается, поэтому решено полагаться только на свои силы и усиливать войска и флот балтийский, соображая, что Россию надо поражать на море и взять Петербург как весьма уязвимую столицу. В этом смысле решено усилить флот и напечатано, в угоду Франции, в „Norddeutsche Allg. Z.", что Германия не имеет интересов на Средиземном море. Вместе с тем газетам дан лозунг, что союз Франции с Россией направлен против Англии. В „Kölnische Zeitung" — статьи, составленные в Министерстве

иностранных дел. Французскому правительству дано знать, что Германия готова ему даже помогать в Африке против Англии. Французское правительство уведомило об этом русское правительство, чтобы оно знало об этом демарше.

26 октября.

Завтракал у В.И.Тимирязева. Разговор о тарифе. Он очень высок и совершенно случаен. Отмена соляного налога заставила Бунге просить о том, чтобы восполнить потерю повышением всех пошлин на 10%. Когда Бисмарк повысил пошлины, мы повысили свои на 20% еще. Вышнеградский приехал на Нижегородскую ярмарку. Курс был высок, и потому, чтобы угодить купцам, принят был средний курс, то есть тариф еще был повышен в пользу купцов. Бисмарк давно уже, лет 14 тому назад, говорил, что надо ввести дифференциальный тариф на русскую рожь, чтобы заставить Россию понизить свои пошлины. Германия долго медлила, пока не решилась в 1891 году. Если мы примем все требования Германии, то и тогда не будем в убытке. На шляпки с фунта 18 золотых рублей, на куклу с шелковым поясом 4 золотых рубля. За платье готовое от Ворта с вшитым в подоле свинцом, чтобы оно держалось, платят 8 рублей 50 копеек золотом, как за шелк. Перед придворными балами мужья в Таможенный департамент ездят хлопотать и платят огромные пошлины.

Вышнеградский говорил: „С богатым человеком гораздо приятнее иметь дело, чем с бедным". Главное не тариф, а налоги, надо лучшее распределение налогов и повышение сбережений и благосостояния. Чем выше благосостояние, тем больше покупают и тем дешевле можно производить.

27 октября.

Чайковский погребен вчера. Страшно жаль его. Лечили его Бертенсоны, два брата, и не сажали в ванну. По-моему, репутация у этих Бертенсонов, которой они совсем не заслуживают.

—

Обедал у посла. Был Тимирязев, говорили о трактате: „Автономный тариф с политической точки зрения — самый справедливый. Отношение ко всем странам равное. Как скоро являются дифференцированные тарифы, являются друзья и враги. Отстаивание с этой стороны Витте справедливо. Но тариф 1891 года был нехорош для Германии. Если будет другой, он будет для нас лучше. При 5 марках мы все-таки могли вывозить. Если Германия уступает до 3,5 марок, то она требует и уступок с нашей стороны. Тариф на железо 101%, германский тариф на хлеб тоже 101%.“ Тимирязев может уступить до 110 марок (вместо 150), немцы хотят 90... „Невозможно всех удовлетворить. Нехорошо, когда вся страна недовольна, а одно сословие — неважно“.

Из-за 10 копеек нельзя воевать. Немцы нам уступают до 20 миллионов пошлины, мы должны им уступить столько же. Это понятно и справедливо. Вышнеградский ничего не хотел уступать, но хотел, чтобы ему все уступали. От наших уступок выиграют помещики и крестьяне. Если фабриканты потеряют, то беда невелика, уступки поддадут им энергии, о которой они совсем стали забывать. Наш тариф в сущности запретительный, а поклонники его при всякой уступке готовы кричать о фритредерстве. Если сравнить то, что сделало правительство для помещиков, то купцы получили больше покровительственными пошлинами.

28 октября.

Завтракал у графа Шувалова. Он любит говорить, и говорит много. Когда я сказал ему об искательстве Германии около Франции (Африка), он сказал: „Пошлем гончих“, что повторил потом своему русскому лакею. Из тяжелых обстоятельств выводил его этот русский простой человек своим советом.

Пришел Извольский, наш поверенный у папы. Он еще молод, но действительный статский. Государь сказал о молебнах, которые служили католики о русских: „Как он (папа) умно поступил!..“ Но папа больше политик, чем

религиозный человек. Он не хочет, чтобы во Франции католицизм служил какой-нибудь одной партии, но чтобы он влиял на всю страну, глубоко проник ее.

Савойская дипломатия может потерять свой престиж. Первое проигранное сражение может свергнуть ее. Виктор-Эммануил имел заслуги объединения Италии, а сын — никаких. Папа не хочет, чтобы вопрос о нем решала Италия, — решение должно быть международное. Он ждет перемены обстоятельств, настоящий порядок считает непрочным, неустановившимся. Республиканская партия очень велика, регионизм постоянно заявляет претензии, и ни одно министерство не может составиться, не удовлетворив югу, средней и северной Италии. Каждый противник Италии даст козырей папе. Римляне говорили Извольскому, что нынешний режим стоил каждому половины состояния. „А если бы Вы это знали, пожертвовали ли бы Вы половиною состояния, чтобы изменить порядок вещей, существовавший во время светской власти папы?“ — „Пожертвовал бы, потому что я испытал весь гнет поповского правления, хуже которого едва ли что можно выдумать. Но мой сын — другое поколение, не испытавшее этого гнета, — уже другое дело: он жалуется на гнет теперешних налогов (50%) и не любит правительства“.

Финансы Италии плачевны, и налоги огромны.

—

Сидел отец Алексей Мальцев. Очень приятный вечер. Отец Алексей большой умница, не без юмора, но без ханжества.

Анекдот об Иннокентии. Художник представил образ Иннокентия с благословляющей рукою, желая польстить владыке.

— А Вы читали житие св. Иннокентия?

— Нет, так, мимоходом.

— Жаль, Вы бы узнали, что он был простым монахом и не имел права благословлять, а потому дайте-ка ему посошок в руку — это будет правильнее.

При Янышеве, когда он был ректором академии, не постригали в монахи молодых: он отговаривал, но его

наследники каждую субботу стригли совсем безусых.

Святой синод сделал выговор за присуждение награды ученому, который относил к числу легенд явление к святому Владимиру представителей разных вер.

Приглашают в Синод тех, которые просятся. Синод выдумал особую науку, которая должна все научные открытия астрономии, антропологии и т.д. согласовать с Моисеем! Богословие не сравнительное, а прямо *обличительное*. Есть православные фанатики! У Иверской банка с деревянным маслом, деревянная ложка, масло прогорклое, с мухами и отеками от свечей, и монах желающим выливает ложки этого масла в рот. Преподавание Закона Божия нельзя делать предметом, как другие. „Отче наш“ нельзя долбить, а выучить на молитве.

—

...У нас пьянство извиняет, в Германии — усугубляет преступление, и это хорошо. Пьяный разоряет свою семью и т.д. Сквернословие!.. Отчего бы не завести конфирмацию?

1896 год

20 января.

Приехав домой из театра, я нашел у себя письмо М.Феоктистова. Он уведомлял, чтоб в 4 часа я был у И.Л.Горемыкина, который желает со мною говорить об очень важном вопросе. Было уже 4 часа. Я приехал в начале 5-го, и в половине меня повели к министру. Поздоровались. „Вот русские люди, никогда не закрывают двери", — сказал он, запирая дверь кабинета. Я извинился, что приехал поздно. Он сказал, что это кстати, так как он беседовал с доктором. „Я хочу Вас побранить", — сказал он потом. Мы сели. Он взял из папки номер „Нового Времени" от 1 января. Вверху его синим карандашом было написано государем: „Обращаю внимание на статью „На рубеже", которая меня очень удивила". Статья была в разных местах подчеркнута построчно синим карандашом; между прочим, там, где новое царствование сравнивалось с весной, где автор указывал на деятельность земства по грамотности, где указывалось на отметки государя о земских начальниках, которые, дурно поняв свое положение, секли крестьян, где автор говорит о необходимости отнятия у земских начальников права суда, и проч. „Вы, быть может, этой статьи и не читали?" — сказал Горемыкин. Я отвечал, что, напротив, я над ней работал, смягчал, вычеркивал, сокращал, изменял резкие выражения, что статья очень не нравилась и т.д. — „Государь недоволен статьей". Горемыкин говорил в том смысле, что газеты не должны предупреждать события, подсказывать правительству, подчеркивать, что это-де мешает правительству действовать. Точно он намерен тайно действовать в таком направлении, которое должно пока считаться тайной. Он говорил совсем не умно. Грозил дворянам: они-де что-то затевают, — „я знаю, что они хотят агитировать в „Новом Времени" и „СПБ. Ведомостях". Агитато-

ром называют Ромера. Он, очевидно, слышал звон, да не знает, где он. Он уверял меня, что отговорил государя от того, чтобы дать газете 3 предостережение. Я полагаю, что он просто врал; ведь он знал, что я не могу спросить государя об этом, и потому врать мог свободно.

—

Дело Тальмы. Убита в Пензе генеральша Болдырева. Первый ее муж — Тальма. От него сын, полковник Тальма. По смерти мужа она прижила от кого-то другого сына, и этого сына усыновил ее законный сын, полковник Тальма. (Говорят, что убийцу она прижила с полковником Тальмой.) Усыновленный Тальма убил свою мать и осужден присяжными в каторгу. Дело это громкое. Рассказывают удивительные подробности и хлопочут о том, чтобы объявить осужденного Тальму невиновным: судебная ошибка! Едва ли так. Тальма жил на одном дворе с матерью, во флигеле. Мать и горничная были убиты, в доме разлит керосин, и дом подожжен. Главное — оказался сломанным телефон, соединяющий дом с флигелем. Полковник Тальма, несколько лет тому, прислал мне свою трагедию, недурно написанную, — прислал „Святоша Окаянный". Цензура на сцену ее не пропустила, так как Борис и Глеб, герои трагедии, погибающие под руками убийц, святые. А святым воспрещено являться на сцену.

16 февраля.

Третьего дня приехал в Москву с Чеховым. Вчера были с ним у Л.Н.Толстого. Пришел Б.Чичерин. Зашел спор по поводу картины Ге из жизни Христа. Как ни горячо доказывал Толстой, что у современного искусства — свои задачи, что Христа можно изображать иначе, чем Рафаэль, с тем чтобы показать, что мы своими действиями постоянно „распинаем Христа", Чичерин говорил свое, а его подзуживала графиня Софья Андреевна, и это волновало очень Льва Николаевича. Он вообще, кажется, был не в духе. По поводу смерти Н.Н.Страхова сказал, что он оставил небольшой литературный багаж, хотя его хвалили и хвалят. Когда я сказал, что всего лучше умереть

разом, он заметил, что, конечно, это хорошо, но лучшая смерть была бы такая, если бы человек, почувствовав приближение смерти, сохранил бы свой разум и сказал бы близким, что он умирает, и умирает со спокойной совестью.

О поэте Верлене: Толстой не понимает, почему о нем пишут. Он читал его. По поводу декадентов сказал об интеллигентном обществе: „Это — паразитная вошь на народном теле, а ее еще утешают литературой".

Чехову он сказал:

— Я жалею, что давал Вам читать „Воскресенье".

— Почему?

— Да потому что теперь там не осталось камня на камне, все переделано.

— Дадите мне прочесть теперь?

— Когда кончу — дам.

Графиня показывала его корректуры. Теперь уже не она, а дочери работают над перепиской.

Смерть пыталась зайти в их дом. Сначала графиня болела, потом он. У него камни в почках, и он страшно страдает; на счастье, не так это часто. Он спит внизу. В последний раз от мучительной боли он не мог терпеть дольше, поднялся вверх по лестнице и упал в зале. Он кричал. Ему ставят горчишники, горячие компрессы; лекарств не принимает.

Толстой о Софокле говорил: „Он пишет о том, что считает самым важным".

17 февраля.

Приехал в Петербург, читал в „Гражданине" от 13 февраля об Александре III: „Миропомазанный глаз ясно и твердо отличал правду от лжи, фразу от дела, холопство от преданности, вельможу от куртизана, заслугу от сделки, твердое убеждение от шатающегося оппортунизма!" Ловко!!

—

В „Северном Вестнике" печатает свои воспоминания Тучкова-Огарева. В февральской книжке, стр. 87—89, она рассказывает о Ш. (Шелгуновой), которая бросила мужа,

сошлась с С.С. (Серно-Соловьевич), от него родила сына и отправила его к мужу. Потом С.С. посадили в дом умалишенных. Шелгунова названа буквою Ш., Серно-Соловьевич — С.С., но в другом месте — полной фамилией, а потом и на стр. 88 тоже полной фамилией. Сама Шелгунова умна, сын ее тоже умен. Он пошел к Л.Я.Гуревич для объяснений с ней и плюнул ей в лицо.

3 марта.

Вчера рассердился на заметку о праздновании 20-летия газеты. В заметке названы подарки, поднесенные мне, а ни слова нет о том, что я дал 5000 рублей в кассу наборщиков и 10 000 рублей в кассу сотрудников. К тому же заметка явилась на другой день. Никто не удосужился написать несколько строк. На обеде тронула меня речь Андриевского, который признал во мне писательский талант и сказал, что придет время, когда меня будут „изучать". Это чересчур. Я написал ему письмо, когда пришел домой, благодарил его. М.Г.Черняев сказал два слова о том, чем он обязан „Новому Времени", а я тут тоже сказал, чем „Новое Время" ему обязано, то есть тем, что он заимствовал у нас план командования сербскими войсками... поехал в Сербию, проникся сочувствием к „угнетенным братьям".

—

Когда 12 февраля я был у Толстого, он говорил, что Казнаков был глуп. „Вы были с ним знакомы?" — спросил он. „Нет, я познакомился с ним у Богдановича, но он сразу ушел, и мы не сказали друг другу и пяти слов". „Он произвел на меня впечатление крайне неважное", — добавил Толстой.

—

Кайгородов говорил, что великий князь Константин Константинович заинтересовался двумя приложениями к „Новому Времени" и вызывается сказать о них государю. Я говорил, что приложения не настолько ценны. В 1888 году я подавал прошение графу Е.М.Игнатьеву и министру Д.А.Толстому о том, чтобы испросили высочай-

шего соизволения насчет приложений. Но министр не довел моего прошения до государя. Два раза возил меня Игнатьев в Главное управление и сказал, что на столе у него лежала книга „Правда о России" Стэда, который был у меня и которому я рассказывал о приложениях. Он взял мой рассказ и поместил в своей книге. Книга Стэда была в руках у министра, отмеченная бумажками, которые высовывались из нее, и я подумал, что Толстой, прочитав это, не довел до сведения государя моего прошения.

23 марта.

Сегодня страстная суббота. Был с Чеховым в Александро-Невской лавре и, по обыкновению, пошел на могилу моих мертвых.

Сколько трагического зарыто в этих могилах, сколько скорби и ужаса! Если бы они встали и рассказали всю правду, ничего не скрывая ни о себе, ни о других своих близких, какая бы это повесть вышла! Литература знает только поверхность человеческой жизни, и если чтение — такая потребность, то потому, что всякий человек чувствует себя в книге, которую читает, и ищет там самого себя.

На могиле Горбунова мы открыли фонарь, висевший на кресте, вынули оттуда лампаду и зажгли ее. Я сказал: „Христос воскресе, Иван Федорович!" Могилу его я узнал по ленте от венка, на которой стояло: „Новое Время". Около его могилы — могила Костылева, профессора земледелия, который, кажется, потом был директором департамента Министерства государственных имуществ. На ленте от венка написано: „Защитнику правды". Говорят, он был из крестьян, как и Горбунов. Горбунов скрывал всегда свое происхождение. Странно это.

—

Какие тяжелые условия печати! Возились, возились со статьей Лебедева о растрате денежной. В статье — эффектный конец. Надо было ее показать. Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих „государственных людей", которые, в сущности, государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злить-

ся в душе и на себя, и на свое холопство, которое нет возможности скинуть.

—

Скоро ляжешь в ту могилу, в которой трое лежат уже. Легко себе вообразить все это — как понесут, как поставят в церковь и где, как и что будут говорить, как опустят гроб, как застучит земля о крышку гроба. Сколько раз я все это видел, но никогда мне это не было так тяжело, как при похоронах Володи. Меня положат около него. Я так и Чехову говорил. Кладбище очень близко от Невы. Душа моя будет выходить из гроба, опустится под землею в Неву, там встретит рыбку и войдет в нее и будет с нею плавать. Как-то давно в „Новом Времени" я написал маленькую статейку, еще при Саше, когда мы жили в Павловске, о том, как меня похоронят, как я буду все слышать, потому что душа расстается с телом только тогда, когда оно все истлеет. На эту тему было написано. Саша очень огорчилась, помню. Вот чьей любви я не ценил. Если бы я любил ее так, как любил ее ребенком! Несколько месяцев я сам ее купал в корытце в теплой воде и покупал, при своей бедности, при учительском жаловании в 14 рублей 67 копеек, херес в два рубля и вливал в воду несколько рюмок, думая, что это укрепляет маленькое тельце. Крикунья она была ужасная. Анюте просто нельзя было отлучиться от нее. У нас была своя лошадь, то есть лошадь ее родителей. Бывало, поедем кататься, а нянька стоит с нею у окна, и, проезжая, мы видим, что она начинает кричать сильнее, и поворачиваем домой. Почему я так ярко помню Сашу, и именно в этом виде, маленькою? В Москве, когда я работал в „Русском Слове", в 1861 году, она любила садиться на стол и разбирать бумаги, или свертывала из бумаги кисточку, макала ее в чернила и мазала по столу. Я редко сердился на нее за это. Жили мы тогда на Большой Садовой, против Ермолова, во флигеле, который отдала нам графиня Салиас, после того как Н.С.Лесков, занимавший этот флигель, уехал в Петербург после скандальной истории со своей женой, которую он щипал и бил. Она приходила к графине и Новосильцевым (Ольга N. одна из сестер) и жалова-

лась. Раз она убежала от мужа, и он подал заявление в полицию. Графиня его усовещевала, запершись с ним в кабинете. В этом доме, у Ермолова, Гурко посватался к М.А.Салиас, которая и вышла за него замуж. Когда в прошлом году Н.С.Лесков умер, дочь его, по фамилии Нога (Лесков острил: „...у моей дочери такая фамилия, что если сидеть между нею и ее мужем, то надо сказать: я сижу между ногами"), была у меня и говорила, что мать ее жива и живет в Петербурге в сумасшедшем доме. Она никого не узнает. В этом доме, таким образом, сходились будущие знаменитости, или известности: графиня Салиас, Ольга (эти две были уже известности), Е.М.Феоктистов, Лесков, Гурко, я и Головачев, ухаживавший за одной из Новосильцевых. У Новосильцевых раз утром я встретил Крамского.

Когда я поехал в Петербург, в декабре 1862 года, в поиски секретаря редакции и сотрудника, А.Н.Плещеев дал мне на дорогу свое пальто, которое я потом возвратил. У меня не было теплого пальто, теплого настолько, чтобы ехать зимой в третьем классе в нетопленном вагоне. Анюта с детьми оставалась дома. Жили мы в это время на Плющихе в небольшой квартире около какого-то сада. На Плющихе родился Леля, вскоре после того, как мы переехали с дачи, с.Давыдово, где и Плещеев жил. Это верст десять от Москвы. За дачу, то есть за избу, мы платили 45 рублей в лето. В этой избе я написал „Солдат и Солдатка" и послал в „Современник", где она и была напечатана. За деньгами я съездил в Петербург, ничего не платя: меня провезли в почтовом вагоне как в Петербург, так и оттуда по просьбе Плещеева. Оттуда мне эту поездку устроил Арсеньев, которого о том просил Краевский. У Краевского я обедал на даче в Царском и, кажется, написал у него какие-то библиографические заметки в „Отечественных Записках". Дело шло о моем поступлении в „Голос", который в это время проектировался или, видимо, был решен как орган Головнина. Арсеньев об этом говорил мне подробно. В принципе дело это было решено тогда же между мной и Краевским, а я пока должен был писать в „Отечественных Записках" и „СПБ. Ведомостях". Но потом А.Н.Плещеев и другие стали меня

отговаривать, советуя поступить лучше к В.Ф.Коршу, который брал „СПБ. Ведомости", направляемый Блудовым. Плещеев свез меня к Коршу, который жил на даче. Краевский писал мне, предлагая быть секретарем редакции и писать по 8 фельетонов за 2400 рублей. Дело было почти решено, и я получил записку от Галунова, книгопродавца в Москве, на авторский аванс 200 рублей, сколько помню. Я качался между Коршем и Краевским и наконец поступил к Коршу.

Из этого впоследствии вышла для меня очень неприятная штука. Ведя уже фельетон в „СПБ. Ведомостях" и полемизируя с „Голосом", я написал, что Краевский приглашал меня в „Голос" на таких-то условиях, но я отказался, потому что Краевский получал субсидию. Я написал в фельетоне именно так, как было дело, как мне советовали поступить Плещеев и др., мотивируя отказ тем, что „Голос" — газета независимая. Но Краевскому я написал свой отказ совсем не так, что исчезло у меня из памяти. Краевский, прочитав мой фельетон, напечатал мое письмо, очень вежливое и даже льстивое, которым я известил его, что не могу к нему поступить, причем уверял, что он приглашал меня только в секретари редакции на 50 рублей в месяц. Это было ужасно. Я совершенно потерялся. Анюта пошла в редакцию „Голоса" и потребовала показать подлинник письма, мы жили в то время на Бассейной, дом Попова. Ей отказали. Стали мы искать письма Краевского, в котором он предлагал свои условия, и не нашли. В то время я не думал прятать письма. Таким образом, даже не мог доказать, что он предлагал мне именно 20 рублей в месяц. Разбит был во всех отношениях, но отвечал что-то. К Коршу я поступил на 2000 рублей в год, но плата повышалась с 1867 года понемногу, так что с 1872 года я получал 375 рублей в месяц. С этой платой я вышел из газеты в 1874 году, когда перешел к Башмакову. Построчных я тогда не получал, а в газете был секретарем редакции, читал с Коршем корректуру номера, корректуру объявлений, писал заметки, составлял „хронику", писал фельетоны, театральные рецензии, ходил в цензуру со статьями непропущенными и т.д. Одним словом, делал все, что поручали. В редакцию отправлялся

в 10 часов утра, приходил домой в 5 часов, обедал, приносили объявления, я их размечал, часто вместе с Анютой, и часов в 10 уходил в редакцию, где работал до 2—3 часов утра, а иногда и позже. Времени было так мало свободного, что когда я года два писал фельетоны в „Русский Инвалид" (кажется, в 1863, 1864 и 1865), то обыкновенно работал целую ночь, так что один день в неделю совсем не спал и, окончив фельетон часов в 9 утра, сам относил его в „Инвалид". В „Инвалиде" я подписывался, кажется, А. И–н. До фельетонов в этой газете я писал еще разные заметки. В 1863 году написал одну передовую статью о бале у киевского губернатора Анненкова. В этой статье я говорил, что на бале присутствовали также и публичные женщины, что-то вроде этого. „Инвалиду", то есть Романовскому, дали нагоняй, и государь спрашивал имя автора, меня позвали. Я сообщил то, что говорили в Петербурге.

Деньги мне заплатил Н.Г.Чернышевский. Это было незадолго до его ареста. Он вышел ко мне в халате, с лицом намыленным — он брился. В кабинете я у него сидел с час. Кто-то пришел к нему — не помню кто, и он нам рассказывал о лекциях в Думе, о том, что он был у губернатора Суворова и доказывал ему, что нельзя так поступать. Чернышевский говорил бойко, много, самоуверенно, с тою авторитетностью и как будто хвастливостью, которые к нему располагали, ибо думалось: „Вот он какой молодец!" Во время разговора приехала его жена с дачи, и он бросился к ней в переднюю, и они целовались очень нежно. Получил я за рассказ 60 рублей. Чернышевский рассказ похвалил, просил писать еще. Кажется, я ему привез письмо от Плещеева.

В Давыдове Анюта, беременная Лелей, ходила в Москву пешком закладывать серебро, которого у нас было немного, и снимала дорогой башмаки, чтобы их сберечь. Денег у нее совсем не было. Туда иногда приходил А.И.Плещеев и останавливался у меня. В это же время в Давыдове я написал „Аленку", но отдал ее во „Время", когда был уже в Петербурге. Но „Время" запретили, и у меня осталась корректура „Аленки" из „Времени". Потом я ее отдал в „Отечественные Записки", где она и была

напечатана. Я был у Дудышкина, который со мною торговался. Я выпросил 65 рублей за лист, но деньги получил только частью, так как Дудышкин просил рассрочить до подписки, жалуясь на бедность. Я получил их в декабре. На Плющихе я написал по заказу Л.Н.Толстого биографию Никона, патриарха, для яснополянских крестьян. Толстой сам принес мне за биографию деньги — 50 рублей. Рассказ мой „Гарибальди", напечатанный в „Воронежской Беседе", читал в это время Садовский на литературных чтениях, и читал изумительно. На одном чтении меня стали вызывать, я хотел уйти, но меня задержали. Это был первый мой успех. Как ни слабы были мои статейки в „Русской Речи", но они обращали на себя внимание. Сужу по тому, что Салтыков вместе с Чижевским и Плещеевым хотели издавать журнал и на совещание меня пригласили. Мы вместе обедали в трактире. Но дело кончилось одним разговором. Чаще всего я бывал у Плещеева, иногда у И.С.Аксакова. По заказу А.П.Строгановой, председательницы „Общества распространения полезных книг", я написал „Ермака" и „Боярина Матвеева", которые были напечатаны, и „Смутное время", которое цензура не пропустила. Рукопись недолго у меня оставалась. Часть ее переписана Анютой. Эта работа сделана была в начале 1862 года, когда я остался без денег и места. Графиня ничего не брала с нас за флигель, но жить было нечем. Помню, перед Пасхой я вдруг получаю 150 рублей. Оказалось, это награда, полученная мною за учительство в Воронежском уездном училище, которое я оставил для „Русской Речи". В Воронеж я перешел из Боброва. Там мне повезло. Я получил уроки в двух девичьих пансионах, у графа Ферзена (урок его дочери), у Стаховича, отца того Стаховича, который написал „Ночное" и был убит крестьянином. Одно лето, 1860 года, мы провели с женой и Сашей в деревне его, где я занимался с сыном его и дочерью. Когда мы уезжали, Стахович дал нам свою крепостную девушку, которая жила у него в няньках. Стал я писать в „Русскую Речь" из Воронежа под псевдонимом Василий Марков. В.В.Марков был мой товарищ по Дворянскому полку. Вместе с ним я вышел в статские из Дворянского полка. Побывали мы в Петербурге и пере-

брались в Москву, где и расстались. Он написал мне в Бобров два письма, потом перестал. Я не знал, где он, и псевдонимом я хотел ему напомнить о себе. Графиня Салиас стала со мной переписываться и звала в Москву. Я в это время хотел держать экзамены, чтобы поступить учителем в Министерство народного просвещения. Мне все это советовали, только Анюта просила меня не терять времени и ехать. Графиня предложила мне место секретаря редакции на 50 рублей жалованья, а потом прибавила еще 25, когда узнала, что я в Воронеже зарабатываю больше. Летом с одним знакомым, Запольским, я и отправился на долгих в Москву. Графиня Салиас жила на даче в Сокольниках, куда я и отправился. У нее в доме в это время жил Н.С.Лесков и был болен. Меня поместили рядом, в дощатом помещении наверху, в маленькой клетушке под крышей, так что я там не мог стоять. Анюта приехала уже в сентябре в дом на Патриарших прудах — маленький флигелек.

...Однако светает. Не знаю, как это я расписался так. Христос воскресе! Чудная это ночь на Руси! И она, видно, навеяла мне это давно прошедшее, когда я был беден, полон жизни и надежд. Нет, неправда. Я, кажется, никогда надежд не знал. Я вообще довольствовался тем, что было. Но без Анюты, которая подбивала меня, ободряла и вообще имела на меня большое влияние, я, вероятно, так в Боброве и проспал бы целую жизнь. Когда мне предложили перейти из Бобровского училища в Воронежское, я мимоходом сказал об этом Анюте. А она заставила меня ехать в Воронеж и хлопотать. С предложением графини Салиас было то же самое. Она нимало не задумывалась, что надо ехать в Москву.

На этих днях умер Анатолий Богданов. У него в доме жила Анюта, когда я уехал к Коршу в „СПБ. Ведомости" в Петербург. Случился пожар. Она ни на минуту не потерялась. Вынесла детей (было трое), уложила, что можно было, и все не торопясь. Богданов принял в ней участие и поместил ее в другом своем доме временно, где я был на Святой, когда на первые три дня приезжал в Москву (1863 г.). Анюта в то время слушала акушерство и управлялась с детьми и лекциями, нанимая только ку-

харку. Она сама убирала комнаты и мыла полы. Раз Богданов застал ее за этим занятием, и она, смеясь, рассказала мне, как она сконфузилась.

Этак записывать — пожалуй, много бы написалось!

8 апреля.

Головокружения усиливаются. Мне надо ждать удара. Я боюсь, что будет у меня удар — и дело станет, хотя оно могло бы продолжаться и без меня, если бы не было столько влияний.

—

Сейчас видел один акт „Принцессы Грезы". Что за чепуха. Как не стыдно слушать подобную белиберду, да еще при участии Яворской. Буренин для нее переделывает свою переделку из А.Мюссе, стараясь насовать всевозможных эффектов из разных пьес. Он воображает, что дело в эффектах. Вот даровитый критик, бесподобный памфлетист.

—

...Природа сверхъестественна. Все в ней чудо. События, существа, вещи — все это явления. Ничего более тайного, как невидимое. Для обыкновенных людей все это — одна видимость. Только гений проникает до сущности вещей, только для него открываются двери в тайны природы. Оттого скептицизм так распространен между учеными людьми.

14 апреля.

Министр внутренних дел Горемыкин призывал сегодня меня и говорил назидательные речи о „Маленьком письме", помещенном в №.., где я немножко осуждал девальвацию. С.Ю.Витте пожаловался. Низкий он человек. Он говорил Кочетову, что назначит на место Феоктистова главным начальником по делам печати такого человека, при котором „Суворину будет петля". Благодарю покорно! Горемыкин мягко стелет, да жестко спать. Ни при Толстом, ни при Дурасове министры так ни разу не грозили. Этот в течение трех месяцев дважды призывал.

Вчера не упустил заметить: „Помните, я за Вас тогда заступился." (В январе была статья, написанная на новый год, на которой государь написал, что обращает на нее внимание.) В статье, кроме благонамеренных речей, ничего не было. Витте жаловался Кочетову, что устроил для меня торговлю на вокзалах железных дорог книгами и газетами, а я так его отблагодарил. Я очень сожалею, что обратился к нему с делом, которое он устроил при 8 000 рублей аренды в год и нормальных ценах на газеты. Я обращался к нему потому, что Нотович, давая ту же арендную плату, уменьшил цену газет ниже той цены, которая существовала в Петербурге. Я находил невозможным со стороны дороги доводить условия торгов до такой конкуренции и поехал к Витте, чтобы он повлиял на это. Он призвал чиновника и сказал, чтобы Варшавскую дорогу отдали мне. Недаром мне стыдно было просить его об этом, и только желание, чтоб другим не доставалась дорога, заставило меня это сделать.

Горемыкин сказал: „Не подумайте, что мной руководит в данном случае желание защищать министра финансов. Нет, тут и общие причины есть. Еще в прошлый четверг государь сказал мне, что ему надоела эта болтовня о девальвации и что он на моем месте давно бы принял меры против этой болтовни о девальвации. Но я никаких мер не принимал. Пусть говорят. Я допускал всякую критику, но дельную. Но статей, подобных Вашей, допустить не могу. Ведь выдумывать все можно".

—

...У Потемкина Таврического был секретарь Попов, который, пользуясь своим положением, приобрел себе землю в Крыму, между прочим, имение Тарханкут. У одного из потомков этого Попова было два сына. Младший женился на дочери управляющего, за что был отцом прогнан и лишен наследства. Перед концом жизни старик простил сына благодаря увещаниям отца Иоанна Кронштадтского, но завещание не стал переделывать, так что все имение досталось старшему. Но он уступил просьбам брата и часть имений, между прочим, Тарханкут, отдал брату, но поделиться пополам не захотел. Тогда Зеленко

вступил в переговоры с младшим Поповым на таких основаниях: если он, Зеленко, путем суда или воздействием административным заставит старшего брата отдать остальную, недоданную часть состояния, то младший брат даст Зеленко 250 тысяч. Зеленко соединяется с Меранвилем, жандармским полковником. Меранвиль едет в Париж, получает командировку по наблюдению за нигилистами. Там он является к старшему Попову в качестве посланного офицера, предъявляет какие-то документы и заставляет его согласиться на дележ с братом. Получив от младшего Попова за эту услугу 250 тысяч, он говорит Зеленко, что Попов дал им для дележа 60 тысяч на том основании, что он получил наследство не путем суда или административного воздействия, а по приказанию государя. Поэтому Меранвиль взял себе 40 тысяч, а Зеленко дал 20. Старший Попов как-то узнал, что сделался жертвой обмана и, имея связи по жене (Скалон), которая поехала с мужем в Париж для усовещевания Попова помириться с братом. Оказалось, что эти дельцы находятся в положении родственном. Министр внутренних дел Горемыкин женат на сестре Зеленко, а Петров, бывший товарищ министра земледелия, на другой его сестре.

—

...О Тургеневе я уже говорил в газете. Среди общества он явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, которые оставались образцами. Он делал моду. Его романы — это модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покрой, он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались...

19 апреля.

Получил прелюбопытное письмо:

„Многоуважаемый Алексей Сергеевич!

И как Вам сказать. Право, мне не очень жаль прошлой соблазнительности. Дело в том, что женщине без состояния красота лишь горе приносит, если она обладает некоторой душевной опрятностью. Мне лично красота куда тяжело оплатилась. От 17 и до 37 лет — или по крайней

мере до 33 — только и приходилось слышать в ответ на желание что-либо делать путное: „Зачем хорошенькой женщине работать?" И это — на всех языках и от всех, до полицейского комиссара в Париже включительно, его я раз просила помочь достать работу.

Сие было в 1873 году, когда я была наивна и добродетельна и голодала... буквально! Хорошенькой и бедной „одна открыта торная дорога". Так и живешь, как лакомый бифштекс, на который у каждого глаза и брюхо разгораются. Если Бог при этом наградил либо горячечным темпераментом, либо полным отсутствием души человеческой, либо жадностью до денег, то и прекрасно. Но помните Некрасова:

„Блажен, кому мила дорога
Стяжания, кто ей верен был
И в жизни ни однажды Бога
В пустой груди не ощутил.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце — пропадешь..."

Я в жизнь свою никогда не разыгрывала сцен рвущейся к добродетели молодости, ибо, во-первых, к чему? — все равно никто не поверит, — а во-вторых, рваться — так не словами, а делом. Этим объясняются мои всесветные странствия. За театр я держалась, как утопающий за соломинку, — последняя надежда достать независимость. Но слаб человек вообще, а баба и подавно, а в театре как плыть против течения одной против всех? Просишь: дайте роль, хочу работать, а ответ — „такой хорошенькой к чему?" Так и пропал талантишко, „не успевши расцвесть". Лишь один раз встретила я, если и не совсем бескорыстную, но все же дружескую помощь от покойного Мошкина — Царство небесное ему. Он дал мне средства уехать в Вену и работать *свободно*. И как я работала! — как лошадь! Знаете, каково выучиться в 10 месяцев чужому языку? Это, батюшка, чудо! Спросите профессоров. И вот после 4 лет работы адской, жизни монастырской, когда ступила наконец-то на первую ступень успеха в Берлине, — опять соблазнительность все убила. Линдау и его последствия — и начинай сначала! Нет, право, Господь с ней, с красотой! И последние остатки молодости мне лишь горе дают. Будь я совсем старуха, не стали бы меня

путать с Гарденом, не пришлось бы отвечать за его поступки, да и не так бы была ему нужна. Свобода! Боже мой, как я ее люблю, и всегда ее уничтожает вот эта соблазнительность. Нет, не жаль мне ее. Нисколько не жаль!

Да и что значит молодость? Для нас, баб, — возможность иметь любовников. Экая невидаль! Что в них? Слыхала я часто от страстных женщин охи и ахи. Не знаю, обидел меня Бог чувственностью или что иное! Да что же это я Вам рассказываю безобразия? Вот, право... А счастье, конечно, — в любви, да только любовь-то не в чувственности. Для женщины и совсем не в ней. Право, две трети баб грешат не ради собственного желания, а чтобы любимому человеку удовольствие доставить. Так зачем же молодость? Да я теперь была бы гораздо счастливей, то есть даже счастливей, чем когда-либо прежде. Разве легко жить на чужой счет? Как ни брыкайся, а все же гадость. Ну ладно, выбираешь того, кто нравится, а что значит нравится? Вопрос: понравился ли бы, если бы не необходимо было выбирать? Ведь вот жила же я в Вене и до Берлина 4 года, и никто не нравился. А счастье — прежде даже про это удовольствие не знала. Вот я теперь села на пароход и блаженствую, буквально *блаженствую*. А прежде вечно в уголку души — мысль: а что, верней, кто будет завтра? Я ведь по улице идти не могла без горького чувства при виде одной из дам тротуарных. Точно солдат с мыслью: „А, может, следующая пуля тебе". Как знать! Ах, не говорите! Черт с ней! Ни одного дня молодости нет, о коем пожалела бы. Живу, человеком стала — счастье что есть, поверила лишь только теперь. Гарден выучил, — пусть тоже не бескорыстно, — да ведь все равно, благодеяние-то остается неоплатным —и Вы, Вы даже бескорыстно, оттого я так к вам всей душой, и все зря и болтаю. И если понадобится Вам человек для чего бы то ни было, вспомните: есть такая, что за Вас на рожон лезть готова — и баста!

Это — ответ на соблазнительность. А Вы чего молодость жалеете? Или она у Вас была счастливая? Ну тогда другое дело, конечно. Но только я говорю: пока душа и ум молоды — черт ли в годах или в морщинах! Это для

дурочек-кокеток и актеров — верно, а не для нас с Вами.

А вот хворать нехорошо. Я так беспокоилась, долго не получая от Вас известий, только иногда читала статьи, — значит, все же не было опасного ничего.

Гардену я о Вашем романе уже давно говорила, еще когда он был — рассказ, и после чуть не всякую главу. Он очень интересуется и говорит: „Так-то так, что любовь — вернее любовники — женщину от дела отрывают, но все же и не совсем верно, ибо все знаменитые бабы были развратные!" Ну, мое мнение, кое он разделяет, Вы прочтете в Стринберговском фельетоне, он, кажется, объясняет противоречие. Но роман очень его интересует и он говорит, Варенька — совсем новый тип, еще нигде не бывалый. Мы часто думаем: что же будет? Ведь совсем иначе, чем рассказ, и очень оригинально. О Виталине говорит Гарден, что таких и здесь много, но Мурин — совсем особый русский. Жаль, что так коротко и раз в неделю. А Вы скажите, он уже готов, или Вы отрывками пишете? Я очень любопытствую.

Теперь о Вильгельме, что знаю.

Рост — точь-в-точь наш наследник, но носит двойные каблуки. Выглядит полней благодаря ватированным (здесь у офицеров принято) мундирам. Волосы — цвет — две капли мои, средне-белокурые, от фиксатуара спереди темней, причесаны всегда очень гладко. Усы слегка светлей, закручены в ниточку. Глаза — серые с темными ресницами. Цвет лица — серовато-зеленый, совсем болезненный, и правая сторона губ иногда подергивается легкой судорогой. Голос — резкий тенор. Говорит слегка картавя, на манер прусских офицеров, отрывисто, точно отрубая слова. Левая рука — сухая и короче правой. Но это незаметно. Он всегда опирается ею на эфес сабли и имеет манеру особенно крепко пожимать руку, чтоб доказать ее силу. Не раз неподготовленные просто вскрикивали. Поводья может держать свободно и ездит верхом недурно. Но для еды должен иметь особый снаряд — нож и вилка на одной ручке. Снаряд всегда возит с собой, и он кладется ему на всех парадных обедах. Привычек масса: 1) переодевается по 6 раз в день. Имеет до 700 разных мундиров и т.п.; 2) любит очень много покушать,

особенно простые блюда, между прочим, русскую окрошку; 3) любит слушать пикантные анекдоты, особенно из военно-морской жизни. Из приближенных первый друг — Филип Эйленбург. Дружба такая, что некоторые уже подозревают любовь à la Ludvig von Bayern*. По части дамской — до женитьбы имел массу историй, весьма скандальных, в обществе принца Вельского, что часто стоило много денег и неприятностей. Потом угомонился, играя роль примерного супруга. Но с прошлого года (конечно, ради Бога, между нами) есть официальная любовь — франкфуртская еврейка-банкирша, отчего и его склонность к евреям, коих он прежде терпеть не мог. Муж барыни занимает ему деньги, а жена сопровождает его на морских поездках. Императрица уже заметила, начинает ревновать и ездить с ним вместе.

Особая примета — любит лесть до невозможного. Жена часто краснеет и уходит, слыша, как его в глаза приравнивают к Фридриху Великому и Александру Македонскому. Снимался в виде Фридриха Великого, обожает позировать для портретов, в год по 6—8 раз непременно.

Некоторые ученые-медики находят в нем сходство с Фридрихом-Вильгельмом III, кончившим помешательством, и уверены, что он кончит так же. Действительно, он страшно капризен, переменчив, хватается за все новое и бросает немедля и не знает меры ни в важном, ни в мелочах.

Политических подробностей могу сообщить еще кучу, если пожелаете. Но пока о его внешности вот все, что знаю. Да еще страсть производить впечатление, быть на виду, занимать собою печать, чисто актерская. За верность сих сведений ручаюсь, ибо они от лиц, его долгие годы и очень близко знавших. Любимый цветок — ландыш. Parfum# был chipre△, но последнее время еженедельно новый, какой в Лондоне изобретен. Любимые цвета — белый и красный. Любимое вино — Редерер и старые ликеры, джин, коньяк и арак. Любимых книг не имеет, ибо читает мало. Из французов считает Онэ классиком (что и

---

*В стиле Людвига фон Байерна *(франц.)*.

#Духи *(франц.)*.

△Шипр *(франц.)*.

сообщил Jules Simon за обедом во время конференции о рабочем вопросе). Интересуется лишь газетами о себе. Ежедневно читает „Zukunft" и даже раз выразился (по поводу „Königs Phaeton") весьма одобрительно, что не помешало на следующей неделе предать Гардена суду за „оскорбление величества". (Дело пойдет на следующей неделе и на этот раз наверное укатают за статью „Monarchenerziehung".) Из художников любит Конера (своего портретиста — бесталанность полная) и Пегаса, скульптора даровитого. Но судит без толку — по личным симпатиям, а не по достоинству. Обожает латинские цитаты, но плохо понимает их и часто пишет невпопад (смотри „Zukunft", № последний, в конце заметка есть — примеры сих перевираний). Из музыки любит все без разбору, но к Вагнеру особой симпатии не имеет. Из драматиков — Вильденбруха — за лесть, а не за качество, ибо его лучшие пьесы не даются, а лишь последние, прославляющие „монархизм"! Ну, вот все покуда. Если еще что хотите узнать, то черкните.

Теперь расскажу свою биографию.

Родилась 18 апреля 1855 года в Екатеринославской губернии, Бахмутского уезда, в деревне Ступки. Воспитывалась в Харьковской гимназии. Кончила курс 14 лет. Болталась без дела два года. 16-ти лет поехала в Париж учиться петь (побочные — частные причины — до официальной биографии не касаются, для Вас скажу: братья увезли от некоего Видамина, о коем говорить не хочу, ибо он всю мою жизнь испортил ради безбожного удовольствия развратить невинного до идиотства ребенка. Господь с ним, но этот первый „полуопыт", должно быть, и убил во мне навсегда всякий идеализм любовных отношений, показав гадость страсти тогда, когда ребячьи душа и тело оной вовсе не желали и не искали... Бр... противно вспомнить!).

В Париж приехала в 1872 году, немедля после Коммуны — развалины еще всюду виднелись. Поступила в класс пения г.Вартеля, но пробыла всего 3–4 месяца и потеряла голос. Горе какое! — голос был чудный. Что делать? — поступила на драматический класс консерватории Брессано. Пробыла два года. В России братья потеряли деньги

(небольшие) на какой-то пряничной фабрике некоего Леонтьева и написали: „Вернись, нет больше денег". Тут-то я и голодала, не желая вернуться в лапки сего господина. Поступила на сцену Taitbout в оперетку, играла маленькую роль вместе с Céline Chaumond. Потом в „Gaîte" (у Оффенбаха), в „Орфее" — одну из граций. Надоело, ибо жалованье 60 франков и собственные костюмы. Встретила Федотова, пригласившего в Питер, на павловский театр. Приехала в 1876 (или в 1875) году в Питер. Играла раза два по-французски (с Céline Chaumond) и по-русски (помню, в „Убийстве Коверлей"). Но с Федотовым вышла какая-то неприятность. Потом была в Михайловском, в год с Берт Стюарт, и тоже ничего не вышло. Все бросила, уехала в провинцию. Для пробы — есть ли талант — играла в Харькове Катерину, с заряженным револьвером в кармане. Если нет таланта — жить не стоит. Оказалось — есть. Успех после 3, 4, 5 действий был громадный. Ну значит, опять надежда явилась выбиться. Получила ангажемент в Таганрог, затем в Одессу и Киев. В Одессе и Киеве имела массу успеха, право, даже заслуженного, но всюду все не то было. Все мне приходилось слышать: „Что Вам в театре? Жили бы так". В 1882 году, кажется, в год открытия Корша, поступила к нему. Играла в „Кручине" (Поленьку) и еще в 2-3 пьесах, но около Гламмы и Рябчинской места не было. Ушла в артистический кружок, а там беспорядки сами знаете какие. Наконец, познакомилась с Поссартом, который такого наговорил о истинно-художественной жизни немецких театров, что я решила уехать, и уехала. В Вене училась с 1883 до 1884 года по-немецки, в консерватории и у профессора Стрибена. Потом играла в Аугсбурге и Базеле с громадным успехом по два года. В 1888 году приехала в Берлин в Residenztheater и опять дебютировала с громадным успехом (в „La petite Bachelley"). Наконец вздохнула свободно, думала отбилась. Не тут-то было — Линдау! Бог бы с ним, все ему могу простить. Но ему театр был не по душе, отвлекал от него. Репетиции, уроки — неудобно. Ему выгодней, чтобы в каждую минуту была к его услугам. Директора спешили угодить важному критику и ролей мне больше не давали. Я скоро поняла, в чем дело, и объявила Линдау, что не хочу больше с ним жить, ибо

театр мне дороже его. Результат известен — я целый год еще пробыла у Барная (пока контракт не кончился), получала жалованье и ни разу не вышла на сцену. Конечно, за тот год отвыкла, ведь на чужом языке практика — первое дело, я потеряла известность, словом, театр надо было оставить в стороне. Спасибо Гардену, надоумил писать, нянчился первое время, ободрял, поправлял, словом, — выучил. Тут и Вы явились, дай Вам Бог здоровья, словом, вышла на свободу. В 1891 году шел мой „Berühmter Mann" и „Горькая судьбина"; в 1892 — „Agrippina (в императорском) и „Innerlichen" (в Lessing); в 1893 году должна была идти еще пьеса, да пока цензура запретила. Вот и вся биография.

А в сердце я не могу забыть сцену. Кабы писать можно все, как фантазия просит, может, и утешилась бы. Но этого нельзя. Вам пиши политику, здесь — сахарные рассказы. Пишешь коли от души, и не примут, либо полиция запретит. А на сцене ведь жизнь переживаешь. Знаете, если бы не жаль Гардена, уехала бы в Россию и опять на сцену пошла. Очень уж больно, что писать нельзя, что хочется. У нас в России оно еще можно. Я читаю вещи, кои здесь ни за что не поместили бы. Но, живя за границей, как пересылать рассказы? Переписчиков нет. Пропадешь (вот как у вас завалялось где-то „Жизненный" — хоть волком вой). Самой переписывать 10 раз — ведь мука. Словом, трудно. Вот оттого и радости мало.

А Вы, право, позвольте мне хоть раз в месяц фельетон писать. Где ее, политики, наберешь? Все то же, о чем писать не стоит в сотый раз. А Вы же печатаете и Ежова и Чехова. Что бы и меня попробовать? Напишу что-либо хорошенькое, право!

Да, впрочем, как знать, когда увидимся и как. Мне на днях Шувалов передавал предостережение. Его спрашивали, знает ли он Proteus'a, и что обратили внимание, что он, Proteus, в дружбе с „оскорбителем величества", издателем „Zukunft". Какие шпионы здесь! Пожалуй, желая насолить, его друга, Proteus'a и по этапу вышлют! По совести, я ничего. Пусть. Мне домой давно хочется. И работу найду в России еще легче, ибо у нас меньше журналистов, чем

требуется. Но как же не злиться за даже остатки жалкие молодости, коли все за других приходится отвечать?

Пьеса моя в суде. Адвокат надеется — пропустят. Дай-то Бог! Сразу стану знаменитостью. Но не верится в счастье такое.

У Блюменталя и у Корша что-то не клеится, хотят друг друга надуть. Ну и трудно их согласить. Жаль, уж я заранее радовалась Вас видеть. А какой Шувалов милый, что меня предупреждает! Конечно, это ради Вас, но все же мило. Ну простите, безбожно длинное письмо. Приказали подробнее сведения — сами виноваты. Жму крепко Вашу хорошую лапку и желаю скорей окончательно выздороветь. Да не забывайте так подолгу Вашу искренно преданную"...

20 апреля.

Вчера дебютировала у нас Марья Августовна Крестовская. (Крестовоздвиженская по отцу, статскому советнику, в Москве) в „Не так живи, как хочется". Сегодня я говорил с ней. Она — обстоятельная девушка, очень неглупая, ей 26 лет. Она рассказывала, что 18-ти лет она была в Киеве и должна была играть роль в какой-то пьесе. Вдруг ей говорят, что вместо нее будет играть любительница Борисова (Яворская). „Любительнице лучше играть", — сказали ей, когда она заявила свои претензии. Играла Борисова, а на афише стояла Крестовская. Борисова плохо играла, ей шикали, когда муж и друзья подносили ей корзину цветов. При Крестовской говорили: „Газеты хвалят Крестовскую, а играет она — из рук вон". „Я — Крестовская, — сказала она этим господам, — а играет Борисова". Она пошла на сцену и разрыдалась. Яворская распускала слухи, что Крестовская посадила к ней клакеров. Крестовская рассказывала это так просто, что ей нельзя не верить, да это и вполне отвечает характеру Яворской.

21 апреля.

Ложась вчера спать, я вдруг громко сказал: „Скоро буду лежать в гробу". Сказал — и удивился. Но было что-то такое, что объясняет мне это восклицание. Днем так

устанешь, что, когда ложишься, мною овладевает приятное чувство успокоения. Ну а в гробу будет совсем спокойно. Сколько людей я знал, и все они успокоились. Странно кажется это.

—

Давыдов третьего дня подал в отставку. Мне лично успехи Александринского театра дороже успехов нашего Малого Художественного театра, потому что тот — наш русский театр, народный, всем принадлежащий. Сегодня слышал от Сазонова, что дело, кажется, уладится. А с неделю тому назад Давыдов говорил мне, что желал бы поступить режиссером в наш театр, но я сказал ему, что не следует предпочитать императорский театр частному, и я даже говорить об этом не хочу. Начальнику театральной конторы Гершельману я вчера сказал, что легче переменить 20 раз директора, чем найти одного природного актера.

27 апреля.

...Шекспир не знал пренебрежения к интриге, и это пренебрежение доказывает не столько любовь к искусству, сколько не бедное воображение. Без интриги трудно располагать наблюдения и идеи, давать выпуклость характерам, выразить ясно мысль сочинения. Интрига, как для романиста, так и для драматурга, — способ сделать идеи более живыми, выпуклыми. Пренебрегая интригой, романисты не рисуют нам жизни в том виде, в каком она существует. Жизнь совсем не монотонна. Борьба существует, большая и малая. Демократия, льстя желаниям всякого, увеличивает размеры честолюбия, и соперничество делается более ярким. Социализм и борьба классов ввели даже в жизнь новый трагический элемент.

—

...Слава — прекрасная вещь, но кроме того, чтобы ею пользоваться в течение всего одного года, надо 365 раз и обедать! Поэту надо денег!

—

...У Жорж Санд есть выражение в одном из ее сельских романов: „Rien ne soulage comme la rhétorique!"* Мне думается, что это верно. Логика — тоже риторика. Интуиция — тоже риторика.

30 апреля.

Вчера Буренин очень резко говорил со мною по поводу Яворской. Сия актриса решительно поссорит меня с Бурениным. Он не хочет понять, что невозможно делать театр театром Яворской. Он говорит, что театр сам собою делается той актрисы, которая выдвигается. Да, но это всегда искусственно или из-за расчета, из боязни, что не будет иначе сборов. Наш театр не должен быть таким. Он должен давать простор другим артистам и артисткам. Яворская только и знает, что заботится об удалении не только соперниц, но даже предполагаемых соперниц.

Будущий сезон — с 15 сентября по 25 февраля 1897 года — Хомяков советует, чтобы Корделасу поставить предельный бюджет 1500+200 =1700 рублей в месяц, за 5 месяцев — 8500 рублей. Театр стоит 23 000 рублей, труппа — 12 000 рублей в месяц, в 5 месяцев — 60 000 рублей. Спектаклей всего будет около 130. Если средний сбор будет меньше 1000 рублей, то убыток несомненный. А я никак не могу решиться отказаться от этого дела, что было бы самым благоразумным.

—

Сегодня в „Ночном" спали штаны у актера, который играл в пьесе. Картина, нечего сказать! Дебютировала Владимирова. Очень мило вышли у нее некоторые сценки. У нее талант на бытовые роли.

—

Вчера написал о расколе.

1 мая.

У Витте вечером, от 9 до 10. В „Berliner Tagebladt" явилась статья, в которой говорится, что в милостивом манифесте по поводу коронации стояла первоначально статья о сня-

*Ничто не утешает лучше, чем риторика *(франц.)*.

тии предостережений, но Витте якобы из злобы на печать восстал на это, и статью исключили.

„Если у Вас об этом будут спрашивать, скажите, что это вздор. Мне на днях Нотович говорил, что в городе ходит этот слух, и затем это явилось в „Berliner Tagebladt"!

Он рассказал, что в манифесте действительно была эта статья. При предварительном просмотре Витте не обратил на нее внимания или не заметил. В Комитете министров против статьи этой говорил Сипягин, желая насолить Горемыкину. Витте сказал, что в манифесте, где прощаются разные преступники, действительно такой статье не место. Предостережение не есть преступление, и это обидно было бы газетам, что их включили в число преступников. Поэтому он высказывает мнение, что статью эту исключить, но вместе с тем просить министра внутренних дел войти с представлением немедленно, обычным порядком, о снятии предостережений и о том, чтобы дать предостережениям известную давность. При этом Витте говорил о том, что предостережения без обозначения давности неудобны ни для газет, ни для правительства, которое не дает 1-го предостережения, чтобы не разорить газету, а других способов у него нет.

—

Кандидаты на „Московские Ведомости": Грингмут, Иловайский, графиня Салиас, Цертелев. Избран Грингмут, за которого говорил Витте. Было совещание из министров внутренних дел, финансов, народного просвещения, Островского, Победоносцева.

„Иловайский был мне всего удобнее, — сказал Витте, — потому что он — ярый протекционист, но этот человек в шорах, он слишком узок". До этого совещания был вопрос о главном начальнике по делам печати, и назван был Грингмут. Горемыкин настаивал на том, чтобы он был и редактором „Московских Ведомостей", и главным начальником по делам печати. Вот умен-то! Я не верил своим ушам, когда Витте мне это рассказывал. А говорят, что Горемыкин — голова. Когда Грингмут пришел Витте благодарить, то Витте сказал, что будет говорить против соединения в его лице и начальника по делам

печати. Грингмут сказал, что министр настаивает на этом, но что он, Грингмут, сам понимает, что это неудобно. Витте слышал, что начальником Главного управления Победоносцев называл Соловьева, который в „Московских Ведомостях" пишет художественную критику.

—

„Гражданин" на днях сделал выписку из газеты „Владивосток" с либеральным оттенком. Государь прочел и говорил об этом Витте. Витте ему сказал, что провинциальные газеты выходят подцензурно, а пишут гораздо либеральнее, чем столичные. Он знает это по своей провинциальной жизни. Государь обратил внимание на газетные резюме о заседаниях Вольно-Экономического общества. Витте сказал ему, что говорится больше и резче, чем передается в газетах. Государь сказал, что министр внутренних дел должен бы обратить на это внимание.

„Да, Вольно-Экономическое общество находится в Министерстве земледелия", — сказал Витте и передал этот разговор Горемыкину. Тогда последовала трусость в среде этого общества. В это время и меня Горемыкин призывал за мое письмо о денежном обращении.

—

Витте видел на столе у государя „СПБ. Ведомости" и „Новое Время". Из остальных газет ему дают только вырезки.

—

С.И.Смирнова рассказывала вчера, что Малов, муж Пасхаловой, опять ее бил головой об стену, ни за что ни про что, ревнуя ее. Горничная вступилась и отняла свою госпожу. Вероятно, он убьет ее когда-нибудь.

2 мая.

То, что рассказывал мне вчера Витте, вероятно, требует поправки. Александр Петрович говорит, что Сипягин восставал против включения в манифест о снятии предостережений, причем заметил, что всякий издатель, имеющий предостережение, может обратиться прямо к государю, и он, Сипягин, с удовольствием доложит.

—

Сегодня в конверте с печатным адресом и именем князя Э.Э.Ухтомского я получил два письма Гольмстрема, который не раз присылал мне статьи, которые я отвергал, и который работает в „СПБ. Ведомостях". В этих письмах он советует князю Ухтомскому „разнести" меня по поводу того, что говорил я относительно веротерпимости и старообрядцев. В этой статье Гольмстрем видит „скрытую злобу", называет статью „гадостной", „злобной", „нетерпимой" и предлагает просить ответа и просит передать его, Гольмстрема, мысль князю Мещерскому, а потом перепечатать у нас. Это в присланных письмах зачеркнуто, но на свет можно прочесть. Этот Гольмстрем писал мне 12, 17 и 23 апреля письма, называл себя „поклонником автора „Маленьких писем". „Il n'y a pas deux comme vous, pour mettre toute chose à sa place"*, — вот мысль, которая всегда является у меня при чтении Ваших „Маленьких писем". Стоило отказать ему в помещении его статей, и он спешит подольститься к противнику. Зачем князь Ухтомский прислал мне письма этого господина, не сопроводив их со своей стороны ни одной строкой? Это новый прием — посылать чужие письма, вероятно, без ведома автора.

Я написал князю Э.Э.Ухтомскому следующее:

„Князь Эспер Эсперович. Сегодня я получил два письма г-на Гольмстрема в такой обстановке, которая вынуждает меня беспокоить Вас этими моими строками. Письма были вложены в конверт с Вашими печатями, и мой адрес, сколько мне кажется, надписан Вашею рукою. Г-на Гольмстрема я лично не знаю, но получил от него в прошлом апреле несколько льстивых для моего авторского самолюбия писем, а также газетные статьи, которые я ему возвратил по их полной неудовлетворительности. Так как присылка двух писем г-на Гольмстрема не сопровождалась с Вашей стороны ни единой строкою, что увеличивает для меня загадочность этой присылки, то, надеюсь, Вы найдете совершенно ясной и понятной мою покорнейшую просьбу уведомить меня, с ведома ли г-на Гольмстрема Вы препроводили ко мне его письма обо мне к Вам, или

*Никто не может лучше вас расставить все вещи по своим местам *(франц.)*.

без его ведома, и в обоих случаях мне было бы приятно узнать, с какою целью это сделано или, как говорится, на какой предмет. Пользуюсь этим случаем, чтобы уверить Вас, что ни малейшей „злобы" к Вам я не питал и не питаю и воспользовался Вашей заметкой только как благодарным поводом для того, чтобы повторить о расколе то, что выражал я неоднократно. В ожидании Вашего любезного ответа я прошу Вас принять уверения в моем совершенном уважении. А.Суворин".

5 мая.

Приехал в Москву. Нашел себе комнату в гостинице „Дрезден" за 450 рублей. Отдельные же квартиры внизу в 3–4 комнаты стоят от 300 до 600 рублей. Пара лошадей с экипажем — от 700 до 1200 рублей. Я ничего не делаю и разговариваю с кем придется. Я люблю шум, движение, толпу. Но удовольствие отравляется только мыслью, что, пожалуй, надо будет писать, а что напишешь? Я никогда не любил отказывать и не умею отказывать. А для впечатления мало глубокого материала. Все эти процессии, конечно, — прекрасные зрелища, но они такие вымученные и так скучно и тяжело всем тем, или большей части тех, которые в них участвуют. Тянется два часа процессия, для того чтобы дать поглазеть народу. Его сотни тысяч. Говорили мне, что в охрану записано добровольно явившихся сто тысяч человек, есть богатые купцы и люди всякого звания.

9 мая.

Погода хорошая. Есть облачка. Выезд царя. Остаюсь в гостинице „Дрезден". У меня в номере Яворская, Литвин. Сам смотрел из квартиры П.А.Шувалова. Народ стал собираться в 5 часов утра. Все заметили, что государь был чрезвычайно бледен, сосредоточен. Он все время держал руку под козырек во время выезда и смотрел внутрь себя. Императрицу-мать народ особенно горячо приветствовал. Она почти разрыдалась перед Иверской, когда государь, сойдя с коня, подошел к ней высадить ее из кареты. Дочь Кривенко слышала в том доме, где она смотрела на выезд, смех американцев над этой помпой. Они делали ядовитые замечания и говорили, что это сказочно.

—

В губернаторском доме случилось два пожара: загорелось в церкви за час до появления государя перед этим домом на Тверской, а потом загорелось одно из украшений во время иллюминации. То и другое скоро потушили.

—

Прусский принц Генрих очень недоволен тем, что его никто не встретил.

—

Иллюминация великолепная. По улицам не только проехать, но и пройти мудрено было.

10 мая.

Член Государственного совета Анастасьев говорил по поводу вчерашней церемонии:

„Ну что? Чувствовался подъем народного духа, мощь?"

Трудно сказать, что чувствовалось. Я стоял у окна, на плечо мне опиралась М.Я.Гурко, которую я не видел с 1862 года и которая стояла на стуле. Я ничего не чувствовал, кроме того, что все было красиво. Попробовал вчера писать, ничего не выходит. Встретился с Маковским (К.Е.) и его женой (новой). Он думает взять, то есть желал бы взять 100 000 рублей, говорит, что картина ему стоила 35 000 (жена его говорит: „*нам* стоила"). Он сказал мне, что наконец Юлия Павловна соглашается на развод за 40 000 рублей. Он не может говорить о ней без негодования. „Если б у меня не было сына, я бы ей дал себя знать. Дочь не так ответственна. Она выходит замуж, носит фамилию мужа, но сын — другое дело. Ведь она до того пала, что писала мне письма, что она готова втроем с нами жить. Что это за женщина, которая предлагает это!"

Константин Егорович рассказывал, что в Испании его выгнали из отеля за то, что к нему ходили модели с табачной фабрики. Только что он успел нарисовать одну, как хозяин объявил: „Вон!" Это было перед „святой", мест в отелях нет.

—

Умер барон Бюлер. Он встал, вообразил, что сегодня будет в архиве государственном, велел давать одеваться, сел в кресло и умер. Точно архивная бумага. Взяли ее, запечатали в конверт и положили. Но бумага будет сохраняться, а барон Бюлер был только при жизни начальником архива, а после смерти — ничто.

—

В Успенском соборе государыня-мать прикладывалась к мощам и иконам первая, потом государь и государыня.

Когда государь был в Успенском соборе, митрополит Исидор повел его не в те двери, а в те, где устроены временные. Великий князь Владимир во все горло закричал: „Государь, назад!“ Рассказывал Вис. Комаров.

—

М.А.Стахович привез прочесть письмо Толстого о патриотизме к американцу Максону и письмо о том же к поляку. Патриотизм вреден. Эгоизм считается злом, а патриотизм гораздо вреднее. Частный человек призывается на воровство и грабеж, а государства воруют и грабят безнаказанно, отбирая чужие земли. Патриотизм — „удержательный“, чтоб удержать завоеванное, и патриотизм — „восстановительный“, чтоб возвратить отнятое, самый вредный, ибо самый злобный. Эгоизм — чувство естественное, прирожденное, патриотизм — приобретенное. Надо заботиться о слабости своего отечества, об его уменьшении, а не наоборот. Патриотизм противопоставлен христианству. Все мы живем в лицемерии. Лицемерие фарисеев — Христос раз разгневался, и это было против лицемерия фарисеев — в сравнении с нашим ничто, их лицемерие в сравнении с нашим — детская игрушка. Вся наша жизнь с исповеданием христианства, учения смирения и любви, соединенного с жизнью разбойничьего стана, не может быть ничем иным, как сплошным ужасным лицемерием. Императора Вильгельма Толстой называет „одним из самых комических лиц нашего времени: оратор, поэт, музыкант, драматург, живописец и патриот“. По поводу его известной картины: все народы Европы стоят

с мечами и смотрят по указанию архангела Михаила на Будду и Конфуция. Толстой советует поучиться смирению и кротости у Будды и благоразумию у Конфуция и Лао Тзе.

—

Письмо Толстого к Горемыкину. Женщина, дочь Холевинского, немолодая, слабая здоровьем, прекрасная по душевным качествам, была обыскана и посажена в тюрьму. Она дала по просьбе Толстого рабочему одно из запрещенных его сочинений („В чем моя вера“ или „Царство Божие внутри нас“, написано сначала последнее, потом первое). „Я думаю, что такого рода меры неразумны, бесполезны, жестоки и несправедливы“. Неразумны потому, что страдает один, а бывает, что многие и не попадаются, бесполезны потому, что не могут искоренить зла, ибо нельзя всех арестовать. Он просит обратить эти меры против настоящего виновника, именно его. „Прямо этим самым письмом заявляю, что я писал и распространял те книги, которые считаются правительством вредными, и теперь продолжаю писать и распространять и в книгах, и в письмах, и в беседах такие же мысли“. Слова Гамалиила (в Евангелии): „Если дело это от человеков, то оно разрушится, а если оно от Бога, то не можете разрушить его; берегитесь поэтому, чтобы вам не оказаться богопротивниками“. Он говорит, что вовсе не думает, что его „популярность и общественное положение“ ограждают его от обысков, допросов, заключения и т.д. Напротив, он думает, что если правительство поступит с ним решительно, то общественное мнение не возмутится, а большинство одобрит правительство. „Бог видит, что, писавши это письмо, я не подчиняюсь желанию бравировать власть, а вызван к тому потребностью, чтоб снять с невинных людей ответственность за поступки, совершенные мною“.

14 мая.

Коронование. Был в Успенском соборе. Пришел туда в 7 часов 30 минут, окончилось в 12 часов 45 минут. Вечером смотрел иллюминацию. Таким образом, 6 часов на

ногах в церкви и часа два вечером ходил. Отлично спал и сегодня бодрее проснулся. Очевидно, правильная жизнь именно в этом, а не в том, как я живу. В соборе Владимир Анат. оправлял так усердно порфиру на царе, что оборвал часть цепи Андрея Первозванного, которая надета была на государе. Государь прекрасно прочел „Верую“, но молитву поспешно, неуверенно. „Новое Время“ напечатало молитву, которую произносил Павел Петрович. Я послал ее туда, вырвав из брошюры о коронации Павла I, и думал, что молитва эта остается тою же. Оказывается, что ее всю сократили, не желая утруждать императора долго стоять на коленях. Много недовольных милостями и наградами, но много и довольных. Ратьков-Рожнов в отчаянии, что сыновей его не сделали камер-юнкерами. Воронцов-Дашков сказал: „Пускай они знают, что деньги еще не все“.

Сазонова говорила, что самое дорогое блюдо — от Царства Польского, 24 000 рублей. На нем изображена шкура льва с отрубленными когтями лап. Выходит, символ какой-то. Почему шкура, а не весь? Москва — блюдо в 5000 рублей. От тульского дворянства собрано на блюдо 3000 рублей, блюдо заказали в 1000, а остальные пожертвовали. Дворянству не дали собраться, а то оно хотело вместо блюда пожертвовать капитал. Набралось бы миллиона два. Государь не хотел принять подарка ни от волостных старшин, ни от населения. Он выразился, что ему дарят такие вещи, которые у него не находятся в употреблении, а потому такие подарки бесполезны, затем, дорогие подарки, как он сказал, ему прямо неприятны.

Раздача объявлений о коронации привела к беспорядкам — кого-то избили, опрокинули карету... Оказалось, что это устроили скупщики, которые наняли по 30 копеек всякий сброд, который толкался гурьбой и выхватывал листы. Скупщики платили еще и с листа. Объявления эти продаются по 5 рублей. Нажива, стало быть, знатная.

Богданович со своей свояченицей ездят с картинами. Я ему сказал сегодня по поводу раздачи его бесплатных книжек (он получает за них деньги. При прошлом царе ему выдали 10 000 за эти портреты, где в середине Божия матерь, а по бокам государь и государыня, чтоб народ молился на Богородицу и уже кстати на царя и царицу),

что он воображает, что Николай II короновался не один, а вместе с Богдановичем и что как это странно, что пишут о коронации государя, а не пишут о коронации Богдановича. Его свояченица говорит: „Евг.Вас. — народный человек". Вот некому изобразить этого удивительного плута и лицемера.

Он сегодня был у королевы греческой и судачил с ней об императрице, что она кланяться не умеет. „А Суворин это заметил?" — спросила будто бы она его. „Я, — сказал он, — признаюсь, соврал: сказал, что и Суворин заметил". Удружил, нечего сказать! Думаю, что греческая королева видит насквозь этого господина, лицемерию которого конца-краю нет. А, впрочем, черт с ним! Иногда он удивительно жалок.

—

Актер Правдин рассказывал мне, будто Александр III, проездом через Москву 13 мая 1894 года на юг, пожелал посмотреть труппу Малого театра. Дали пьесу Боборыкина „С бою". Он остался доволен исполнением, но не пьесою, которую нашел скабрезною. Ему было жарко. Просил, чтоб открыли форточку. Но окно было заделано. Призвали слесаря. Он начал вынимать раму при государе. Государь посмотрел, посмотрел на его работу, взялся сам за раму да и выломал ее.

Вчера в соборе познакомился с Мэккензи Уоллесом, автором книги о России. Хотел зайти. Я сказал ему несколько любезностей.

Повторение иллюминации сегодня менее эффектно. Ветер был, и выходило неэффектно там, где горели свечи в склянках. Но где было электричество, там хорошо.

Правдин говорил, что вчера толпа студентов шла по Тверской и пела „Боже, царя храни". Он видит в этом манифестацию за царскую милость. Я слышал вчера, как в полвторого ночи пели „Боже, царя храни" перед генерал-губернаторским домом, потом крики ура.

Сегодня тоже в полвторого ночи толпа молодежи человек в 50 прошла мимо генерал-губернаторского дома и пела „Спаси, Господи, люди твоя". На Тверской мало народа.

18 мая.

Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до 2000 человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. Место ухабистое, с ямами. Полиция явилась только в 9 часов, а народ стал собираться в два. Бэр публиковал несколько раз о кружках, и в Москву в эту ночь по одной Московско-Курской дороге приехало более 25 000. Что это была за толпа и что это за ужас! Раздававшие бросали вверх гостинцы, а публика ловила. Одна баба говорит: „До 2000 надавили. Я видела мальчика лет 15-ти, в красной рубахе. Лежит, сердечный". Сзади мужик лет 30-ти возмущается: „Я бы мать высек за то, что она пускает таких детей. До 20 лет не надо пускать. Ишь, позарилась на такой пустяк. Кружку эту через две недели можно купить за 15 коп." — „Кто же знал, что беда такая будет?" Было много детей. Их поднимали и они спасались по головам и плечам. „Никого порядочного не видел. Все рабочие да подрядчики лежат", — говорил какой-то мужчина о задавленных. Справедливо говорят, что ничего не следовало раздавать народу. Теперь не старое время, когда толпа в 100 000 человек была в диковинку. Собралась полумиллионная толпа, и это должны были предвидеть. В 20 минут 4-го государь и государыня проехали обратно по Тверской, сопровождаемые криками. Сколько я мог разобрать, враждебности в толпе не было заметно. Воронцов, министр двора, сам в 9 часов дал знать государю, что задавлено 2000 человек, по слухам, и сам поехал на место, чтобы проверить. Говорили, что царь под влиянием этого несчастья не явится на народном гулянье. Но он был там. Я только что уезжал с Ходынки, около 2 часов, когда он ехал к Петровскому дворцу. Это несчастье омрачило праздники и омрачило государя. Что-то он говорил и что он думал! Еще вчера в театре он был весел. Что за сволочь эти полицейские поголовно и это чиновничество, которые стараются только отличиться! Где проезжает высшее общество, там приготовляют все места за два, за три часа, расставляют городовых непрерывной цепью, казаков и т.д., а о публике обыкновенной, о народе нисколько не думают. Как это возмущает душу! Я, было, написал о коронации и получил корректуру своей статьи сегодня

здесь, но после всего этого стыдно говорить в том тоне, в каком я написал.

Сегодня как раз обед старшин в Петровском дворце. Гибель тысяч едва ли прибавит им аппетита. Несколько трупов привезли в часть, расположенную на Тверской площади, против дома генерал-губернатора. В Москве все просто делается: передавят, побьют и спокойно развозят при дневном свете по частям. Сколько слез сегодня прольется в Москве и в деревнях! 2000 — ведь это битва редкая столько жертв уносит! В прошлом царствовании ничего подобного не было. Дни коронации стояли серенькие, и царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации — яркие, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверное. Кто сгорит в нем и что сгорит? — вот вопрос! А сгорит, наверное, многое, но и многое вырастет! Ах, как надо нам спокойного роста!

Государь дал на каждую осиротелую семью по 1000 рублей.

Камергеру Дурасову я сегодня напел резких речей, когда он сказал, что напрасно доложили государю о погибших. Их — 1138. Завтра на Ваганьковском кладбище будет устроен морг, и там будут разложены трупы для определения их фамилий и проч.

Следующие коронации, если они вообще будут только, обойдутся уж без кружек и царских гостинцев. Это — последняя даровая раздача. Сегодня отменили раздачу жетонов в церквах. В прошлую коронацию в одной из церквей народ повалил престол, и священник должен был спасаться в амбразуре окна в алтаре.

Обер-церемониймейстер Долгоруков доволен Власовским.

„По-моему, он прекрасно распорядился, но так как необходима жертва, то он будет жертвой!" Я думаю, что и Воронцову-Дашкову влетит, хотя он тут и ни при чем. Многие московские газеты раздували народный праздник и его устроителя Бэра, печатали его портреты, сулили чего-то необыкновенного. И вышло необыкновенное.

Вчера придворная цензура задержала статью для „Русского Слова", где говорится, что радоваться нечего, а следует печалиться об умершем императоре, который так много сделал.

Многие хотели, чтобы государь не ходил на бал французского посольства, то есть, иными словами, чтобы посольство отложило свой бал ввиду этого несчастья. Командир кавалергардов Шипов говорил: „Стоит откладывать бал из-за таких пустяков! Это всегда бывает при коронациях". Граф П.А.Шувалов не поехал на бал.

Как противен Богданович со своим лицемерием, многословием, ханжеством и выставлением себя самого впереди всех! Что он говорил сегодня! И как у него уживается ханжество и благочестие с самою надменною разнузданностью? Но этого человека еще многие боятся.

Толпа — всегда толпа. Самая просвещенная — все-таки толпа. Вчера во время торжественного спектакля в коридорах во время антрактов около столов была давка. Около закуски давка. Во время несчастий в театрах — самая отчаянная паника.

Кто виноват в несчастье? Нераспорядительность. Полиция поверила в народ, в тишину, в спокойствие. Власовский говорил, что 100 казаков и городовых достаточно.

19 мая.

Сегодня был на Ходынском поле. Всюду настроили треугольных павильонов, иллюминовали все, что только было возможно, выписали моряков, чтобы приделать электрические лампочки на игле Спасской башни, наделали павильонов для делегаций на пути въезда царя, но даже не закрыли колодцев, не разровняли рва, около которого построены бараки, из которых выдавались царские подарки... был там сегодня и наслушался рассказов. Бараки построены друг около друга, выступая ко рву острым углом, и между ними проход для двух человек. Их целый ряд. От угла бараков до рва шириною в 70—80 шагов — 25 —26 шагов. Ров песчаный, весь изрыт глубокими ямами. Есть два колодца, заделанные полусгнившими досками. Один господин рассказывал, что он говорил члену Городской управы Белову и архитектору думскому, чтобы засыпали колодцы, — не обратили внимания. Из колодца глубиною, кажется, до 10 сажен, вырытого во время выставки 1882 года, вынуто 28 трупов. Сегодня утром вынуто 8, говорят, есть еще. Велено было через газеты соби-

раться со стороны Тверской. „Если бы нам сказали: от Ваганьковского, мы и оттуда бы пошли, нам все равно, там этих ям нет, и там во время раздачи было просторно". Вся вина в том, что начали раздавать раньше 10-ти, как было объявлено, часа в 3–4. Многие спали и все знали час. Но когда распространился слух, что раздают, сразу бросились, попадали в ямы, в колодцы, падали и мертвыми телами делали мост. Подъем изо рва к баракам крутой, точно крепость, и бараки, находясь в 25 шагах ото рва, представляли собою именно крепость, которую надо было брать. Те, которые благополучно перешли через ров, столпились около бараков. „Караул! спасите! ой! ай!", слезы, отчаяние. Сотни казаков, расставленных по ту сторону бараков, пропускали тех, которые не хотели ничего брать и молили только, чтоб их пустили. Другие перелезли через ограду, которая на расстоянии сажен 50 отделяла одну часть бараков от другой. Образовалась толпа и с той стороны бараков. И в этих воронках легли целыми кучами мертвые. Один рассказывал:

— Не иначе как заговор был. Около меня были две барышни, лет 16-ти. Прижали нас в проходе. Я и говорю: „Вытащим барышень". А мне говорят: „Зачем они пришли!" Я старался раздвинуть руки, а мне кричат: „Не толкайся!" Я насилу вышел.

— А барышни? — спрашиваем мы.

— Их подавили. Я видел их мертвыми.

Другой, квасной торговец, рассказывал: „Я пробрался почти к баракам. Начали давить от бараков, я упал навзничь в ров и скатился в яму. Кричу, протягиваю руку. Кто-то подал мне руку. Я стал лезть, но руку выпустил и полетел в другую яму. Падали и навзничь и прямо. Кто где. Посмотрите, что это такое — яма на яме". — „Где больше всего попало?" — „У проходов. Тут становились на плечи, карабкались под крышу бараков, пролезали внутрь, влезали на крыши, отрывали доски. Крики, стоны. Я убежал". К 8 часам многие ушли, а тела скучили. В 9-м часу пришла полиция. Стали убирать мертвых: побрызгают водой — не оживает, — тащат и кладут в три ряда, „как дрова в сажень", — выразился один. Государь встретил один из возов на Тверской, вылез из экипажа, подо-

шел, что-то сказал и, понурив голову, сел в коляску. Настроение сегодня мрачное, ругательное. Один торговец говорил: „Этих распорядителей надо на Сахалин. Да и этого мало — куда-нибудь подальше и похуже. Кровопийцы, народной кровью напились!" Рассказы однообразные, но отражающие момент этого ужаса. „Теперь станут говорить, — сказал один крестьянин лет 45-ти — что народ виноват. А чем мы виноваты? Вот теперь на Ваганьковском кладбище 1282 трупа, и все кладбище окружили войсками, точно мертвые в этом нуждаются. А вчера не было ни городовых, ни войска. Народу миллион было. Как тут самим управиться?" Говорят, были пьяные, угощавшиеся водкой около рва. Затем босые команды были. Винят Власовского (вчера говорили, что он стрелялся, но адъютант подтолкнул руку, и он выстрелил в картину — ничего этого не было), но он не о двух головах. Три начальства. Великий князь Владимир враждует с Воронцовым и не давал войска. Сергей тоже не хотел признавать Воронцова — и вот результат. Народ и говорит не без оснований, что нарочно это устроили. „Нам западни устроили, волчьи ямы". Государю следовало бы поехать посмотреть эти ямы и брустверы. Он увидел бы, как его подданные брали штурмом крепость его подарков. Эти ущелья г-на Бэра должны остаться историческими. „Бэровские ущелья!" Ничего не сообразили. Но кто-то зато сообразил заказать кружки за границей и брал командировку за границу, чтобы посмотреть, как заготовляют кружки. Если сообразить, что кружек заказано 400 000, что каждая из них стоит 10 копеек и еще на 5 копеек гостинцев с тощей брошюрой „Народный праздник", то всего-навсего эти подарки составляют по большей мере 60 000 рублей. Но стоимость полиции гораздо дороже обошлась. Другие увеселения и театры, на которые отпущено 90 000 рублей, ничего не стоили по своему значению. Вообще, тут делалось все без головы, делалось чиновниками, которые свои квартиры во время иллюминации украсили разными орденами в виде лампочек. „Они хотят указать царю, какие ордена они желают получить", — сострил кто-то.

На Ваганьковском кладбище трупы лежали в гробах и без гробов. Все это было раздуто, черно, и смрад был такой, что делалось дурно родственникам, которые пришли отыскивать своих детей и родных. Одна женщина сказала мне: „Я узнала брата только по лбу".

—

Во время коронации у Набокова, который нес корону, сделался понос, и он напустил в штаны.

—

В „Славянском Базаре" сегодня масса завтракала. Около нас сидел Монтебелло с женою, Бенкендорф и еще кто-то. Вообще, зала „Славянского Базара" соединила все племена и наречия.

—

Если когда можно было сказать: „Цезарь, мертвые тебя приветствуют", это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему „ура", пели „Боже, царя храни", а в нескольких саженях лежали сотнями еще не убранные мертвецы.

20 мая.

Сегодня бал у великого князя Сергея Александровича. Окна освещены и открыты. Блестящие фигуры дам и кавалеров ходят по залам. Очень нестройные, но крики „ура" временами раздаются. Сегодня виделся с Вл. Ив. Ковалевским. Очень светлый и ясный ум. Он говорил о Государственном совете, о том, что этот совет не имеет инициативы законодательства, а имеют ее только министры. Губернаторы в своих сметах указывают на нужды, государь делает отметки, но от министров зависит предложить тот или другой закон. Нет ревизионного сената, который был при Петре Великом. В Государственный совет попадают люди совсем отжившие. Хорошо бы, если бы Государственный совет имел право образовывать при себе комиссии и принимать в них экспертов для разбора тех законопроектов, которые в него поступают. Говорил об одном американце (журналисте), которого принимал

Николай II, говорил с ним полтора часа, и он говорил, что для конституции Россия еще не готова по той причине, что она еще не объединена, что собранное или не доросло, или переросло. Он обещал мне дать прочесть это.

—

У Воронцова-Дашкова сегодня совещание, в котором участвует следователь по несчастью 18 мая. Государь каждый день по нескольку раз справлялся о результатах. Юзефович („Южный край") и Комаров хотят ходатайствовать о том, чтобы государь принял журналистов. Я завтра уезжаю.

—

Рассказывал сотрудник „Киевлянина", что будто 18 мая некоторые рабочие пакостили в свои картузы и клали их у царского павильона, говоря: „Вот тебе подарок". Этим протестовали против жертв. „В царских подарках" все было довольно гнило. Оно и возможно, потому что 400 000 порций можно было заготовить только заранее.

21 мая.

Богданович очень интересно рассказывает о Драгомирове, о том, как его держат в опале за то, что он сказал, что австрийцы потому были разбиты, что эрцгерцог начальствовал; о том, как он страдал, когда два его сына, один после другого, застрелились; о его взглядах и т.д. Он иногда красиво говорит и одушевленно, но иногда просто болтает, и тогда скучно.

—

Государь, говорят, подошел к Власовскому и сказал ему, что он на него не сердится, потому что Воронцов сознался, что он один во всем виноват.

22 мая.

Одна дама слышала разговор двух мужчин в вагоне по-английски, которые говорили, что во время народного праздника в Москве будет много убитых. Она сказала

тогда же об этом полковнику Иванову, служащему при градоначальнике, и теперь телеграфировала великому князю Сергею Александровичу. Может быть, это просто сумасшедшая какая-нибудь.

Я в Петербурге. Мне показалось дома так жутко, точно я умираю. Как это ни странно, но именно такое настроение странное.

Вчера перед отъездом я видел d'Alheim, корреспондента „Temps". Он мне рассказывал, что 19 или 20 мая великий князь Владимир, принц Неаполитанский и др. забавлялись возле Ваганьковского кладбища стрельбой голубей, в то время когда на этом кладбище происходили раздирающие сцены. Принц Неаполитанский убил, кроме того, коршуна. Народ тоже не похвалит за это, когда узнает. А узнает он наверное. D'Alheim спрашивал, не достанется ли ему за то, что он поставил рядом эти два „события", гибель людей и голубей, столь же невинных, как люди, и так же связанных и посаженных в клетки, как связаны и посажены были в ямы люди.

30 мая.

Вчера опять приехал в Москву. Остановился в „Дрездене". От Чехова получил телеграмму, что он приедет сегодня в 10 часов, ибо должен присутствовать на экзамене в своем училище. Вчера завтракал в „Славянском Базаре" вместе с Садовским, Мих. Пр. Он говорил, что его дворник был на Ходынке и погибал. Увидев человека, закричал: „Помогите!" Тот протянул ему руку, и он, было, полез, но в это время за пояс его ухватились люди и не пускали. Пояс был с пряжкой, кожаный, он расстегнул его одной рукой и вылез, а пояс оставил в руках тех, которые ухватились за него. В толпе он заметил девушку: она была мертвая, но в толпе стояла, сжатая ею, и голова ее то наклонялась на грудь, то опрокидывалась назад. Таких мертвых было много, которых толпа в движении своем носила, ибо упасть им было некуда.

К нам подсел один полицмейстер, или что-то вроде. Он говорил, что Власовский отказывался от устройства народного праздника с одною полицией и просил войска, но великий князь Сергей отказал в войске, сказав, что во

время похорон Александра народ вел себя примерно и что он поэтому и тут не ударит в грязь лицом. Архитектор Николин, строивший буфеты, показал, что ямы во рву нарочно не зарывались, чтоб они сдерживали народ. Хотя местность эта отведена была в ведение дворцового ведомства, но полиция все-таки имела право наблюдать за ней и приказать выровнять ямы.

Е.В.Богданович говорил, со слов якобы великого князя Константина Константиновича, что императрица Мария Федоровна говорила государю, что он может ехать на французский бал, но чтобы не оставался там более получаса. Но великие князья Владимир и Сергей уговорили его остаться, говоря, что это — сентиментальность, что тут-то и надо показать самодержавную власть, что в Лондоне будто бы погибло на каком-то празднике 4000 человек, и ничего.

Говорят, что назначено следствие под начальством графа Палена. Но также говорят, что оно отменено по настоянию великого князя Владимира, что государь на одном дню три раза менял свои решения. Он издал манифест о том, что чувства „одушевленной любви и безмерной преданности своему государю" послужили ему утешением в „опечалившем его посреди светлых дней несчастии, постигшем многих из участников празднества" на Ходынском поле. „Русское Слово" (№143) об этом напечатало статью.

—

В „милостивом" манифесте упомянуто слово „ликовать" или ликование. Митрополит Сергий при встрече их величеств в Троицкой лавре сказал между прочим: „Великая обитель сия, преданная тебе, со священным ликованием сретает тебя, моляся, да благополучно будет и долговременно твое царствование".

В моей первой повести „Чужак" („Воронежская Беседа") выведен мужик-ханжа, живший с красивою бабою и проводивший с нею ночи. Он говорил, что вместе с бабою „они ликуются". Это слово действительно употребляется.

—

Е.В. Богданович говорил, что будто 13-го найдена целая лаборатория и что некий Модестов сослан. Изготовляли динамитные орешки. Один студент выдал. Явились листки и по поводу Ходынской катастрофы. Во „Всей Москве" есть Бор. Петр. Модестов, служащий в обсерватории.

—

Про Горемыкина говорят, что он ни разу не принял начальника жандармов, генерала Штама, и ни разу не был на Ходынке, ни до ни после катастрофы.

9 июня.

Живу в деревне в усадьбе „Тасино" г.Нижинского в 10 верстах от ст. Максатиха по Рыбинско-Бологовской дороге. Приехал сюда 3-го из Москвы, где провел несколько дней.

—

На Ваганьковском кладбище был с Чеховым неделю спустя после катастрофы. Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты в строю, большею частью шестиконечные, сосновые. Рылась длинная яма, и гробы туда ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставились друг на друга, в три ряда. Кресты на расстоянии друг от друга аршина на 2. Карандашные надписи, кто похоронен, иногда с обозначением: „Жития его было 15 лет, 6 месяцев" или „Жития его было 55 лет", „Господи, прими дух его с миром", „Пострадавшие на Ходынском поле", в одном месте — „Пострадавшиеся", „Новопредставленные", „Внезапно умершие", „Внезапно скончавшиеся", „Путь твой скорбный всех мучений в час нежданный наступил, и от всех забот и горя Господь тебя освободил". На крестах образки Божией матери, кое-где Спасителя. На одном кресте серебряный крестик на шнурке с шеи погибшей. „Рабы божии Анна и Мария и девица Варвара, погибли 18 мая. Тульская губ., Богородского уезда" — под одним крестом все трое.

—

Среди рабочих в Москве большое движение. В Петербург их стянулось до 30 тысяч. Говорят, въезд государя в Петербург отложен по этому случаю. Боятся, что рабочие станут подавать прошения. Среди фабричных ходит слух, что якобы в милостивом манифесте сказано о 12-часовом дне, но господа это скрыли. Петербургский градоначальник Клейгельс запретил лавочникам отпускать в кредит рабочим, чтобы заставить их работать. Рабочие не пускали на фабрику тех, кто не принадлежал к стачке. Жандармы и казаки били рабочих. Настроение было грозное. Ходит слух, что стачечники получают пособие от тред-юниона.

13 июня.

Сегодня видел сон. Будто в многочисленном обществе, что-то вроде залы, где сидели за столами по двое, по трое. Я иду и вижу Плещеева. Он смотрит на меня. Я подхожу с мыслью, что увидеть мертвого в живых — к смерти, и говорю: „Я скоро умру" и палкой, которая у меня в руках, начинаю сдвигать с носа Плещеева очки. Физиономия его стала меняться, и он стал не походить на Плещеева, и я проснулся.

25 июня.

Читал драму „La porteuse du pain" par X. de Montépin et Jules Dorney (Paris, 1892), и там, на странице 28, следующая фраза: „Gardien: Mes jablotchkoff sont éteintes"*. Это — имя Яблочкова, электрические фонари которого горели в Париже и носили название „jablotchkoff". Драма представлена была на Ambigu 11 января 1889 года.

—

Эти дни переводил купленную мною за 1000 рублей пьесу „The Paris of Gross" Wilson Barett.

В литературном отношении вещь неважная, хотя эффектная, но пропустить ее едва ли могут.

---

*Сторож, мои лампочки Яблочкова погасли *(франц.)*.

—

Н.Ф.Сазонов достал через одного знакомого следственное дело о Ходынке с пометками Муравьева. Все направлено против Власовского и Бэра, слава Богу, „виноватых“ нашли! Когда разобьется поезд, всегда виноват стрелочник. Впрочем, Бэру поделом. Если его уберут, это хорошо.

3 августа.

Получил телеграмму, что Яворская женит на себе князя Барятинского. Она старше его и не любит его. Если она не родит от него, то не уживется с ним долго или он не уживется с ней.

5 августа.

Сидел вчера вечером у С.Ю. Витте часа три. У него зашиблены ноги. Говорили о разных разностях. Почти кончено дело с Китаем, Сибирская дорога прямо пройдет на Владивосток и оттуда к Желтому морю. Остается только уладить вопрос о ширине рельсов. Китай просит, чтобы мы приняли ширину его рельсов на китайской территории, мы не соглашаемся. Говорил об Ухтомском, который говорит государю все.

—

Была Т.Л.Щепкина-Куперник и рассказывала о неблагодарности Яворской. За завтраком, где была Яворская с мужем Барятинским и Щепкина, разговор зашел о прошлом этих двух дам, о котором столько болтали. „Нет дыму без огня“, — сказала Т.Л. „Как?! Так правда то, что говорили о тебе и обо мне?“ — воскликнула новая княгиня Барятинская. Т.Л. поправилась и сказала, что она разумела только себя, что она, Щепкина, вела себя так, что остались одни перья. После завтрака Яворская-Барятинская накинулась на Щепкину при горничной, говорила на французском языке — укоряла ее в болтовне и т.д. Одним словом, новая княгиня ругалась за намек на это прошлое, полное скандалами и любовными связями, о которых Щепкина хорошо знает. „С мужем истерика“, — сказала она. „Если хочешь, я пойду к нему и объяснюсь, что я тебя

совсем не разумела". — „Он тебя больше видеть не хочет, и ты должна сейчас же уехать". — „Но я в блузе, позволь мне переодеться". -- „Переодеться можешь". И. Щепкина уехала не переодевшись. Она взяла у меня 500 рублей и собирается ехать слушать лекции в Лозанну. Огорчена она очень. Говорила, что молодой князь ругает Буренина, но что Яворская еще держит его около себя, думая, что он еще будет нужен ей или ее супругу в его литературных упражнениях, довольно глупых и детских пока.

—

Читал „Следственное производство судебного следователя по делу беспорядков 18 мая 1896 года на Ходынском поле во время народного гулянья" и „Записку министра юстиции" по этому делу. „Записку" эту упрекали в пристрастии, говорили, что Муравьев хотел подслужиться к великому князю и свалил всю ответственность на министра двора Воронцова. Это неправда. „Записка" написана основательно, и основательно обвинены в „бездействии власти": Власовский, помощник его Руднов, полицмейстер московской полиции Будберг и начальник особого установления по устройству коронационных народных зрелищ и праздника Бэр. Витте вчера справедливо заметил, что Воронцов назначил в коронационную комиссию разную великосветскую дрянь и что этот человек, если бы кто попробовал ему советовать, ответил бы, как Власовский: „Это не Ваше дело, а мое".

Самое следствие очень интересно. Это действительно страшная драма, в которой начальство является поистине презренным, достойным народной расправы. Оно и в высших и в низших своих представителях являлось ничтожным и дрянным. Как Власовский ничего не делал, так и городовые. Как он говорил, так и они. Бэр с Николиным — поистине вопиющая дрянь, которую могут держать только в таком изношенном министерстве, как Министерство двора. И как это начальство в своих показаниях лжет, лицемерит, оговаривает других, является малодушным! Показания простых людей и правдивее и интереснее. Вот несколько выписок, бессвязных, на которых я останавливался при чтении.

В коронации 1883 года было 100 буфетов, в коронации 1896 года — 150.

„В проходах между палаток (так называет мещанин Зернов „буфеты") теснилась масса людей, которые поднимали руки вверх, кричали, гикали и ловили бросаемые из палаток узелки и отдельно сайки. Выбрасывали узелки спешно. Кто мог из толпы вылезть назад с полученным узелком, был весь оборван, как будто из паровой бани. Слышались крики о помощи, визги женщин и детей; последних даже передавали поверх голов публики. Народ с наружной стороны перелезал через палатки и набегал к проходам палаток с внутренней стороны. И с той и с другой стороны давили друг друга. Часто прибывали свежие партии людей и устремлялись к проходам между палаток, и еще более энергичная происходила давка, так как стоявшие в стеснении вследствие обессиления не могли сопротивляться свежим людям. Кто падал, того топтали, ходили по ним. Особенную давку с топтанием людей можно было видеть на углу против шоссе, так как сюда масса людей шла от Тверской заставы. Много лежало на земле раненых. Около навеса лежало много задавленных. Это было около 7 часов утра. Многие влезали на палатки, ломали крыши и доставали узелки с верхних полок. Я расспрашивал одного из охраны: „Отчего это началась выдача несвоевременно?" — „Артельщики баловали: стали выдавать своим знакомым по нескольку узелков. Когда же народ это увидел, то начал протестовать и лезть в окна палаток и угрожать артельщикам. Те испугались и стали выдавать. Передо мной упали люди, я на них, на меня следующие. Я лишился чувств, может быть, на полчаса, может, на час. Когда меня привели в чувство и подняли, то надо мной было трупов 15 и подо мной — 10 трупов".

„Я споткнулся на мертвого человека, когда толпа меня понесла, на меня упало несколько человек. Тут я чувствовал, как народ перебегает по тем, которые на мне лежали".

С вечера было много народу. „Кто сидел около костра, кто спал на земле, кто угощался водкой, а иные пели и плясали". Много одетых налегке: портки, рубаха

неподпоясанная и фуражка, а многие были босоногие. „Около меня оказался мальчик, который сильно кричал. Я и еще кто-то приподняли его над толпой, и он пошел себе по головам".

„Мой локоть оказался на руке какой-то женщины. Я слышал, как у нее треснула рука, и она упала на землю".

Когда перед царской палаткой начальник губернской дворцовой охраны Кристи расставлял охрану, из толпы кричали: „Передайте государю, что из-за Власовского не одна сотня душ положила здесь свои головы".

„Где же Власовский?" — спросил Воронцов-Дашков. „Я здесь, Ваше сиятельство, давно здесь, — отвечал он. — То есть не так давно..." — „Сколько жертв?" — „Сто, Ваше сиятельство, и их увозят".

Около 3-х часов дня народ говорил: „Что же вы нас умирать заставляете в давке". Около 4-х часов передавали людей над головами без признаков жизни.

„Через полчаса я выглянул из будки (показание одного из раздававших) и увидел, что в том месте, где ждала публика раздачи, лежат люди на земле один на другом, и по ним идет народ к буфетам. Люди эти лежали как-то странно: точно их целым рядом повалило. Часто тело одного покрывало часть тела другого — рядышком. Видел я такой ряд мертвых людей на протяжении 15 аршин. Лежали они головами к будкам, а ногами к шоссе".

Городовые шли к „трибунам", охранять их.

Уже около часу ночи из толпы были вытащены девушка в бесчувственном состоянии и несколько подростков. К 4-м часам народ стал волноваться у буфетов, которые трещали. Из толпы говорили: „Скоро ли будут раздавать?" Во внутренней площади набралось народу тысяч 15. Но как только началась раздача, бросилась толпа к буфетам и смешалась с толпой, кинувшейся к буфетам снаружи. Невообразимая давка. В проходах люди падали.

Чижевская, одна из раздававших, рассказывает так:

„Приемка гостинцев началась 13 мая. Ящики вскрывали на Ходынке и распределяли по буфетам. Работали по 12 часов в сутки до 17 мая. В то же время доставляли сайки на фургонах и телегах. На каждую будку приходилось от 2000 до 5000 ящиков. Артель пригласила еще

приказчиков, конторщиков, купцов и рабочих. Среди купцов был Мих. Фед. Москвин. Всего раздававших было 800 человек. Участие их было безвозмездное. На каждую будку было от 3 до 7 человек. В 5-м часу уже нельзя было удержать толпу. Максимов пошел разыскивать полицейского полковника, которого кто-то видел, но не нашел. Встретил Бэра и его помощника Иванова, которых сопровождал Лепешкин Вас. Ник., начальник какой-то части охраны. Тут же был и капитан Львович, морской комендант. После совещания стали раздавать. Это — в 3/4 шестого. Узелки бросались в толпу, но не могли упасть на землю, так как толпа была плотная. „Я видела, как из толпы, которой удалось пробраться внутрь площади через проходы, выбегали люди в растрепанном виде, большею частью женщины, в разодранном платье, с дикими глазами, мокрые, с непокрытыми, всклокоченными волосами, и со стонами прямо ложились, падали на землю. У многих не было в руках узелков. Иные крестились, говоря: „Слава Богу, что остались живы". Некоторые кричали, что у них сломаны ребра. У некоторых на лице была кровь. Пехоты было 400 человек и 13 офицеров. Им было наказано, что, когда их поставят в цепь, чтобы пальцем не смели трогать, а убеждали бы словами. Было 10 казаков. Полицию вызвали около 6 часов. Солдаты стояли на расстоянии 8—10 шагов как от толпы, так и от палаток. Но толпа разорвала цепь, и солдаты стали в проходах. Офицеры уговаривали толпу не напирать. Народ вел себя смирно, но сзади напирали. Многих спасали, выхватывали из толпы, из передних рядов, но тем, которые стояли глубже, не могли помочь. „Народу на наших глазах погибло много, но мы ничего не могли сделать потому, что нас было слишком мало, и в особенности потому, что уж слишком тесны были проходы между буфетами". Солдаты входили в толпу аршина на три и выхватывали „ослабевших". „Тут мы, то есть я и еще три солдата, встали в проходе между двумя будками. С толпой мы были почти нос к носу. Тут по толпе сверху, по головам, стали катить бессознательных людей, которые, прикатившись к первому ряду толпы, скатывались к нам на руки. Таких людей мы приняли человек десять. Среди них был и крепкий народ, хотя больше было слабых, детей и женщин".

„Я обратился к городовому (другой рассказчик) дать умирающему воды и вообще оказать какую-нибудь помощь. Он отвечал: „Нам ничего не приказали".

„Распорядительство" не заготовило и ведра воды!

В 1883 году проходы были шире, на 4 человека; местность не была так изрыта; буфеты были без углов; была полиция и войска; был забор вокруг всей площади и 2 забора примыкали к Петербургскому шоссе. Проход между буфетами — 2 аршина. Архитектор Бадер устраивал тогда. Наряд полиции в 1883 году был назначен за два дня до гулянья.

Пожарные дроги с мертвыми, положенными грудами. „Из этих груд торчали конвульсивно сведенные руки и ноги, выбившиеся из-под недостаточных покрышек. Толпа крестилась и роптала, мужчины и женщины плакали и недоумевали".

В 5 колодцах не оказалось ни трупов, ни трупного запаха, ни следов крови, ни обрывков. 1 колодец — 5 аршин глубины.

Раздача продолжалась полчаса.

Толпа была страшно возбуждена против полиции, негодуя, между прочим, и на отсутствие воды, которой не было для оказания первой помощи пострадавшим, и на отсутствие медицинской помощи.

„Всего больше тел было в углу пересечения линий буфетов. Здесь на небольшом пространстве лежало до 300 трупов. Вся местность составляла второй район, куда наряд полицейских был назначен к 9 часам Власовским". Первый наряд — к 5 часам. Архитектор Николин говорит, что по желанию Бэра вместо шестиугольной формы буфета, бывшей в 1883 году, приняли пятиугольную. Расстояние — 2 аршина, то же самое.

„Уборка трупов и подача помощи началась не раньше 9 часов. Убирали пожарные и народ..."

„Из толпы часто кричали: „Уберите мертвецов".

Полк. Подъяновский старался осадить задние ряды. Послан был офицер и 20 солдат. Они углубились на 100 шагов в толпу, но дальше не могли.

Наряд полиции 20 мая 1883 года был 1200 человек, а 18 мая 1896 года — около 1800 человек и 100 человек пехоты и 4 сотни казаков.

„Покойников, которых я вытаскивал из толпы, я находил стоящими в толпе. Толпа с ужасом старалась от них отодвинуться, но не могла этого сделать" (передает один унтер-офицер).

Около пивных бараков было по 6 городовых, а народа — тысячи. Все они были разбиты, но никто не пострадал.

Форкатти не было дано знать, когда начинать представление. В самый день гулянья Особое Установление выпустило афиши, на них было назначено начало в 12 часов, но эти афиши Форкатти увидел только 27 мая. Форкатти издал особый „Народный альбом" с портретами членов Особого Установления, которые прислали свои портреты, но альбом этот не раскупался. Из показаний Форкатти ясно, что узелков было недостаточно, вероятно, менее 400 тысяч, а потому говор толпы, что надо торопиться, а то не достанет, — понятен.

13 августа.

Третьего дня был в Царском в гостях, говорили о Яворской. Е.В. говорил, что Анат. Барятинский, брат мужа Яворской, говорил, что будто государь обещал развести их. Но это — вздор. Ал. П—чу Кол—ну Анат. Барятинский говорил: „Нельзя ли развести?" Ал. П. отвечал, что это весьма мудрено. „Да ведь они женились без позволения начальства". — „Ничего не значит, за это священник ответит. А у нас если несовершеннолетний женится, и то не разводят".

—

От Гольдштейна телеграмма из Вены: „Envoyez argent Vienne Residenzhotel par télégraphe Goldstein"*.

Он взял в редакции 600 рублей и сейчас уже просит денег снова. Это — невозможный человек.

Гольдштейн говорит, что будто поездка высчитана в 1400 рублей и что он купил круговой билет по Дании и Англии, когда этого вовсе не было определено.

---

*Вышлите деньги телеграфом в Вену, Резиденцотель. Гольдштейн *(франц.)*.

—

Сегодня ночью почти не спал. Очищал свои корзины от бумаг и порвал целую груду.

—

Приехала Пасхалова. Такая же неинтересная и бесцветная.

14 августа.

Вчера, 13-го, уехал в Вену государь.

—

Сегодня был в Озерках, видел Райскую. Федоров-Юрковский видит в ней чуть не звезду. У нее есть средства, приятный голос, хорошая наружность, но большая неопытность и как будто говорение роли с чужой указкой, без внутреннего огня, по шаблонному приему.

—

От Гольдштейна ни письма, ни телеграммы. Послал ему сегодня телеграмму: „Вена. Residenzhotel.-Ни письма, ни телеграммы. Очевидно, так надо понимать Вас: Вы взяли из „Нового Времени“ 600 рублей для своего семейства, из „Петербургских Ведомостей“ — 200 для себя и предоставили мне послать другого корреспондента, более добросовестного. Не забуду этого никогда. Никто еще так не поступал. — Суворин“.

17 августа.

Вчера был Леонтьев-Щеглов, которого приглашают редактором в „Новости Дня“, вследствие гонения, воздвигнутого на эту газету Соловьевым. Соловьев требует соиздательства Щеглова, говоря, что его надуют, что „жидишки“, как он выражается, контракты заключают для того, чтобы их нарушать. Главный сотрудник Липскерова, Гурлянд, предложил Щеглову просить разрешения на новую газету и бросить Липскерова — пускай погибает.

—

Была С.И. и очень хвалила норвежскую пьесу „У врат богатства“, которую я ей рекомендовал.

—

Была Яворская — княгиня Лидия Борисовна Барятинская. Когда она сказала, за что она поссорилась с Щепкиной, — она вся вспыхнула и начала говорить вздор, что она нервная, что та рассердилась за то, что Лидия Борисовна отсоветовала ей ехать в Москву, а она „поклялась гробом матери“ — „она религиозная, мистическая. Отец ее женился на третьей жене и бросил Таню на руки бабушки“ и проч. Звала к себе, говорила о муже с горячностью. „Едем на два месяца к моим родителям, а потом, может, за границу“. — „Стало быть, зимой вы не будете здесь?“ — „Может быть, вернемся в Петербург. Я уговариваю мужа устроиться в Петербурге. Он подал в отставку, а затем хочет служить по Министерству иностранных дел. Муж хочет ехать, слушаясь советчиков, которые говорят, что надо уехать на год, чтоб все забылось. А я думаю, что надо здесь оставаться. Зло не забывают“. Это умно, опять-таки. Вообще она умная. „Во вторник, — говорила она, — вышел развод, а в пятницу мы поженились“. О муже говорила: „У него так расстроены нервы! Согласитесь, чтобы сделать, что он сделал, надо было очень много решимости и нервов. Теперь они у него истрепаны“.

—

Сыромятников говорил, что гравер экспедиции заготовления государственных бумаг Орлов изобрел средство печатать с одного клише гравюру в несколько красок. Немцы дают ему за изобретение 4 миллиона, а экспедиция дала 4 тысячи жалованья и честь изобретения купила за 7000 рублей. Орлов — крестьянин. Он говорит, что его изобретение — железо в красках.

—

Амфитеатров просит 1000 рублей. Надо выдать.

—

Подумаешь, сколько видишь, сколько говоришь, сколько волнуешься ежедневно. И все по пустякам. „А жизнь — пустая и глупая шутка“. В драме Байрона „Вернер“ есть эта фраза, и Лермонтов, конечно, оттуда и взял.

—

Был Филиппов и предлагал взять на себя издание „Научного Обозрения“. Он представлял расчет в 19 000 рублей, едва ли верный. Все у меня в среднем ящике стола в пакете.

3 сентября.

С 23 августа в Феодосии. Вчера приехал Чехов из Кисловодска.

—

Вчера Булгаков описывал положение помещиков. Члены совета банка (здесь отделение) — купцы; имея кредит и делясь с директором, они дают помещикам из 12%. Помещики не имеют никакого кредита.

—

Вчера послал телеграмму, чтоб открыли спектакли не „Властью Тьмы“, как было предположено, а „Женитьбой“ и „Игроками“ Гоголя и „Сценой у фонтана“ Пушкина. Лучше ли это? Веселее, по крайней мере.

13 сентября.

Завтра день моего рождения. Я почему-то считал 10-го или 11-го, а на корпусном жетоне сказано 14 сентября. Правда, там же год 1834 обращен в 1837. Впрочем, не все ли равно, когда родился. Скверно, что чем раньше родился, тем раньше умрешь. Чехов сегодня говорит: „Мы с Алексеем Сергеевичем умрем в XX столетии“. „Вы — да, но я умру в XIX непременно“, — сказал я. „Почему вы знаете?“ — „Совершенно уверен, что в XIX веке. Оно и нетрудно отгадать, когда с каждым годом становишься хуже и хуже и только ешь много, к сожалению, не щадя старого и уставшего желудка“.

22 сентября.

„Чайка“ Чехова пойдет 17 октября в бенефис Левкеевой. Она на днях была у меня и говорила о распределении ролей. Потом был Карпов. О том же говорили. Он рассказывал, что даже автор очень доволен.

—

Завтра у нас идет „Граф Ризоор“ („Отечество!“) Сарду. Поставлено очень хорошо. Правдин — понимающий человек. Я в нем ошибался. Пасхалова на репетиции была очень хороша.

23 сентября.

„Ризоор“ — большой успех. Публика очень довольна постановкой.

24 сентября.

Был у Литвинова с драмой „Новый Мир“. Слова совершенно простые и добродетели простые и проч. из Евангелия вычеркиваются. Слова Муция „Раздай имение и иди за мной“ зачеркнуты; но Литвинов, очень разумный и благожелательный человек, не пропустил „Ганнеле“.

Литвинов рассказывал, что шиллеровский „Вильгельм Телль“ был пропущен для сцены в 1865 году, но после покушения Каракозова постановлением совета Главного управления по делам печати был приостановлен.

—

Читал драму Гнедича „Разгром“. Интересная вещь, но конец плох.

12 октября.

Я записываю очень неаккуратно. Когда есть что записать и стоит, я либо не имею времени, либо забываю. Таким образом, моя запись — совершенно случайная. С 24 сентября ни строки не записано, а столько людей видел и столько слышал вещей интересных. Но раз не записал, все это исчезает из памяти.

—

В четверг, семнадцатого, был Д.В.Григорович. Он совсем умирающий. Чехов, который с ним говорил о болезни, по тем лекарствам, которые он принимает, судит, что у него рак и что он скоро умрет. Сам он не подозревает этого. Заболел он на Нижегородской выставке, где работал как вол. Он вдруг почувствовал отвращение к пище.

Затем еще у него был злокачественный насморк, и ему делали операцию в носу. Пожалуй, и у меня так во рту — какая-то рана, которая долго не заживает. Сегодня меня это очень беспокоит.

—

Чехов говорит, что у него недавно было опять кровохарканье. Он здесь для постановки „Чайки". Савина сказала, что роль для нее слишком молода. Она отказалась в пользу Комиссаржевской, сама взяла Машу. У нас в театре тоже перемены. Яворская снова выступает. Она была у меня вместе с мужем и сказала, что желает 1500 рублей в месяц, так как бенефиса по своему положению она взять не может: продажа билетов из квартиры, за что обыкновенно платят дороже. Говорил с А.П.Коломниным и Бурениным. Оба находят, что дорого. Холева совсем ее не хочет. Коломнин предлагает 800 рублей. Холева справедливо говорит, что это недостойно кружка. Маслов сказал, что в деле поступления есть сторона нравственная. Могут сказать, что кружок бьет на скандал, что он пользуется своим влиянием на князя, который не может устоять против этого влияния и влияния своей жены. То, что касается князя Барятинского, доходит до государя, и потому о нас могут говорить скверно. Я это рассказал князю и его жене, извинившись, что принужден говорить откровенно. Князь сказал, что это не имеет значения, что отвечает он, а никто другой, так как он это дозволяет.

— А если государю угодно будет передать Вам, что он этого не желает?

— Государь может только посмеяться, — сказала она.

— Если государь мне скажет, — сказал он, — я ему скажу: дайте мне 20 тысяч, и тогда я этого не сделаю.

— Значит, Вы не позволили бы ей, если бы у Вас были деньги?

— Да, но тогда я в своих салонах сделал бы для нее, как артистки, гораздо больше, чем она может получить на сцене.

Далее говорил, что для кружка это важно (этого отрицать невозможно), что если он позволит своей жене вновь вступить на сцену, то тем самым показывает свое уваже-

ние к кружку. Мать его не против того, что она — артистка, а только против того, что она — разводка. Одним словом, пришлось этот вопрос устранить. Я сказал, что предлагают ей 800 рублей. Она тотчас сказала, что согласна. „Но, может быть, дирекция еще подумает и согласится на тысячу", — сказал князь. Ранее этого он говорил, что мать его сказала, что, если он женится, ему придется жить на средства жены. „Но предоставь мне знать, на какие средства я буду жить". Разговор был длинный и откровенный. Мне будет трудно помирить влияния в труппе. Юрковский прямо против ее вступления. Говорят, что скажут, что кружок прибег к Яворской, как к якорю спасения, что без нее он бы погиб. Для наших премьерш это прямой зарез. Пасхаловой обещали роли в двух пьесах, и обе придется передать Яворской. Друг друга они ненавидят. Яворская ненавидит Ге и просит, если она поступит в труппу и будет играть „Принцессу Грезу", чтобы играл не Ге, а Судьбинин. Одним словом, начинается переделка. Самое распределение уборных вызовет неудовольствие. Черт меня дернул на старости лет погрузиться в эту театральную пучину. Денег она стоит пропасть, а удовлетворения от нее очень мало. Князь обещал приехать и узнать, берем ли мы ее или нет.

13 октября.

„Женитьба Белугина". Пискарева плоха.

—

Был у князя Барятинского и его жены Яворской. Взяли Яворскую в труппу на 800 рублей без бенефиса, потом 600 и бенефис.

—

Ужинали — Чехов, Давыдов и я. Давыдов сказал: „По-моему, талантливый человек не может быть мрачен. Он все замечает, все видит, вечно заинтересован чем-нибудь". Он разумел актрис и актеров. Думаю, что это не совсем справедливо. В разговоре Давыдова много талантливости и жизни. Критикуя mise en scène* „Чайки", устро-

*Постановка *(франц.)*.

енную Карповым, он много сказал правдивого. „Надо, чтобы все было уютно“ — и это правда. Он многое видит и чувствует и говорит о том, с каким удовольствием он стал бы учить молодых.

—

Был на репетиции „Злой Ямы“, комедии Фоломеева. Комедия была написана в 4-х действиях. Я просил автора сделать из них 3, это было нетрудно. Пьеса груба, но талантлива. Автор настаивает на том, чтобы брат ударял сестру сапогом по лицу, говоря, что это „высшее оскорбление“. Я сказал, что не допущу этого. На сцене достаточно намеков. Ведь нельзя же человека раздеть и сечь его розгами.

—

Яворская оплетает своего мужа. Князь Барятинский не хотел, чтобы она брала бенефис. Сегодня А.П.Коломнину она уже говорила о бенефисе.

—

Щеглов мне говорил, что М.П.Соловьев желает со мною познакомиться. Завтра к нему поеду, в час. Его называют крокодилом. Сегодня Чехов говорил Щеглову: „Спросите Соловьева, разрешит он мне газету или нет“. Висковатов говорил, что в „Новости Дня“ назначен редактором какой-то Смирнов из „Московских Ведомостей“. Туда прочили Щеглова.

—

Нет ни одного актера и ни одной актрисы в нашем театре, который бы мог удовлетворить вполне. Все это средние таланты. Даже Далматов, по-моему, не такой актер, который давал бы удовлетворение полное. Он, бесспорно, хороший актер, но и только хороший. Конечно, это много, но не все. Театр меня мучит. Каждую минуту у меня желание отказаться от директорства и каждую минуту другое желание — остаться. Мне страшно подумать, что, отказавшись, я снова должен сидеть вечера дома и заниматься целые сутки газетой. Она взяла

всю мою жизнь, дала много горечи, много удовольствий. Она держала меня в струе умственных интересов и дала мне значение и состояние, но все это ценою только каторжного труда, что я не жил, как все живут, теми удовольствиями и радостями, которые всех притягивают к жизни. Но, может быть, эти радости и удовольствия не стоят ничего? Нет, стоят, я знаю, что стоят.

16 октября.

В полученном сегодня номере „Русского Слова", которое издает в Москве доцент университета Александров, явилось стихотворение — акростих, которое читается так: „Александров дурак". Оно получено из Воронежа, от г-жи Алябьевой, будто бы найденное в бумагах ее бабушки, а дедушка ее, прасол, будто бы был другом Кольцова. Стихотворение будто написано в 1840 году Кольцовым. Я поместил это в „Новом Времени", № 7414.

17 октября.

Сегодня „Чайка" в Александринском театре. Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видал такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала к нам его сестра, спрашивала, где он. Она беспокоилась. Мы послали к театру, к Потапенко, к Левкеевой (у нее собирались артисты на ужин). Нигде его не было. Он пришел в 2 часа. Я пошел к нему, спрашиваю:

— Где Вы были?

— Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача.

Завтра в 3 часа хочет ехать. „Пожалуйста, не останавливайте меня. Я не могу слушать все эти разговоры". Вчера еще после генеральной репетиции он беспокоился о пьесе и хотел, чтобы она не шла. Он был очень недоволен исполнением. Оно было действительно сильно посредственное. Но и в пьесе есть недостатки: мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров

неважных, неинтересных. Режиссер Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным, плохо овладевшим пьесой и плохо репетировавшим ее. Чехов очень самолюбив, и когда я высказывал ему свои впечатления, он выслушивал их нетерпеливо. Пережить этот неуспех без глубокого волнения он не мог. Очень жалею, что я не пошел на репетиции. Но едва ли я мог чем-нибудь помочь. Я убежден был в успехе и даже заранее написал заметку о полном успехе пьесы. Пришлось все переделать. Писал о пьесе, желая сказать о ней все то хорошее, что я о ней думал, когда читал.

Если бы Чехов поработал над пьесой более, она могла бы и на сцене иметь успех. Мне думается, что в Москве ее сыграют лучше. Здешняя публика не поняла ее. Мережковский, встретив меня в коридоре театра, заговорил, что она не умна, ибо первое качество ума — ясность. Я дал ему понять довольно неделикатно, что у него этой ясности никогда не было.

—

Татищев сегодня говорил, что Соловьев, начальник по делам печати, говорил вчера при двух директорах департамента Министерства внутренних дел, что он запретил „Гражданина" по настоянию министра внутренних дел, а для него, Соловьева, „Гражданин" стоит всех „Вестников Европы". Это рекомендует его искренность. Запрещение „Гражданина" не рекомендует ни ума, ни беспристрастия Горемыкина, который сделал это из-за вечного недоразумения за статьи, которые его касались. Какой это государственный человек?!

18 октября.

Сегодня был у Карпова, говорил о „Чайке" Чехова, просил его сделать репетицию и изменить mise en scène. Написал Чехову. Он сегодня уехал с поездом в 12 часов дня, очень недовольным. Я ему послал вслед телеграмму, просил вернуться, чтобы подготовить пьесу к понедельнику.

—

Приехал князь Барятинский, остался обедать.

Я писал статью о „Чайке“. Мне стало тяжело писать, нет ни одушевления прежнего, ни легкости в работе. Маслов говорил, что Росоловский пьет. „И я скоро пить буду“, — заметил я. „Я у Вас заметил, что Вы не так сердитесь, не так, как прежде, волнуетесь“, — сказал он. Я сам давно это заметил и знаю, что начало моего конца давно началось.

20 октября.

С.С.Татищев рассказывал о пререканиях в Министерстве иностранных дел. Нелидову ничего не писали о парижских событиях. Написал ему Татищев, со слов Ганото. Когда государь вошел в оперу с государыней, зала закричала: „Vive l'empereur! Vive la Russie!“* и разразилась рукоплесканиями. Ганото, сидевший с Шишкиным, сказал: „N'est-ce pas chaleureux accueil?“ (Не правда ли, горячий прием?) — „ Oui, il ne manque que les sifflets“. (Да, недостает только свистков.) Ганото сконфузился и не понял. Моренгейм восставал против программы празднества, оберегая монархические принципы, в то же время иронически относился к государю и его антуражу, например, говоря: „Les angartes bagages“, чем приводил в смущение республиканцев.

О печати. Я сказал, что повторятся республиканские годы, то есть цензура будет преследовать всех тех, которые говорят о современных вопросах жизни с достаточной свободой, и будет оставлять в покое все то, что будут писать радикалы и социалисты. „Да, это естественно, — сказал Татищев. — Когда Вы пишете о министрах, то как бы становитесь выше их. Государь может сказать: „Однако такая-то газета говорит умнее, чем министр“. Понятно, что этого они не выносят и потому закрывают глаза на все радикальное, которое их не трогает. Соловьев ничего не понимает, Горемыкин еще меньше его понимает. Это — средний человек, совсем не государственного склада.

---

*Да здравствует император! Да здравствует Россия! *(франц.)*

—

Вечером у князя Э.Э.Ухтомского. Он говорил об армянах, которых он изучал во время поездки на Кавказ. Потом о М.П.Соловьеве, которого он знает 15 лет. По его мнению — умный, талантливый человек, художник, мистик. Он несколько раз видел перед собою черта. Князь не одобряет его крутых мер против Меншикова и других. „Я ему говорил, что своими мерами он поставит меня в оппозицию".

21 октября.

Сегодня был у меня М.П.Соловьев. Это меня удивило чрезвычайно. Отдает ли он мне визит или делает первый визит? Его карточка заказана так: „Михаил Петрович Соловьев, начальник Главного управления по делам печати. Александринская площадь, д.2, кв. 41". Это — литографировка. Затем, его рукою написано: „Временно исполняющий обязанности" и поправлено: „начальника". Я его спросил, за что он прекратил „Гражданина". Он отвечал: „Помилуйте, разве можно так относиться к Фору". — „Но Фора французы ругают сами". — „У них свобода печати, и правительство не отвечает за печать. А у нас правительство отвечает. Называть его „tonneur"*, „Мамзель Фор!!" Извините, он не „tonneur", а президент Французской республики! Наши законы обязывают печать относиться с уважением к главам дружественных держав". Когда мне министр сказал, что 3-е предостережение значит „закрытие" газеты, я ему сказал, что нет. Князь Мещерский может подать прошение на высочайшее имя, и, конечно, Вы, Ваше превосходительство, поможете ему в этом. Он сказал: „Конечно, конечно". По-видимому, судя по тону, которым он говорил о Мещерском, Ухтомский был прав, говоря, что у Соловьева есть свои личные счеты с князем Мещерским.

Говорили о предостережениях. Он мне сказал, что их не снимут и амнистии не будет, что они имеют „воспитательное значение", заставляя осторожно относиться к своему делу журналистов. Он считает, что у „СПБ. Ведомостей" два предостережения. Я ему сказал, что князь Ух-

---

*Громовержец *(франц.)*.

томский не может отвечать за Авсеенко, что на нем не лежат ни долги Авсеенко, ни предостережения. Это — арендная казенная статья, а она не может быть запрещена или обесценена. „Мне министр тоже говорил, — возразил Соловьев, — но я ему сказал, что предостережения даются газете в лице редактора". — „Прекрасно! Газета имеет предостережения в лице редактора Авсеенко, но в лице князя Ухтомского она их не имеет". — „Пожалуй, Вы правы", — сказал он. „Но все равно в законе стоит: „газете"!! — „Но газета без редактора не существует". — „Да, Вы правы, Вы правы", — повторил он. Говоря о запрещении „Гражданина", он прибавил, что на замечание министра в пользу газеты он сказал, что может последовать „Дипломатический инцидент", если не принять такой меры. Можно удивляться, что министр сказал ему, что это глупо до последней степени. В разговоре с Соловьевым меня удивляла какая-то черта не то глупости, не то наивности, зависящей не от ума, а от того, что он совсем не приготовлен к своей работе.

—

Сегодня второе представление „Чайки" Чехова. Пьеса прошла лучше, но все-таки как пьеса она слаба. В ней разбросано много приятных вещей, много прекрасных намерений, но все это не сгруппировано. Действия больше за сценой, чем на сцене, точно автор хотел только показать, как действуют события на кружок людей, и тем их характеризовать. Все главное рассказывается. Я доволен сегодняшним успехом и доволен собой, что написал о „Чайке" такую заметку, которая шла вразрез со всем тем, что говорили другие. Видел в театре Нотовича. Очевидно, он сам выругал в своей газете пьесу и Чехова и пришел для поверки на второе представление. Видел в театре М.В. Крестовскую и говорил с нею. Писала ли она пьесы? „Раз, лет 13 тому назад, она переделала „Нана" Золя в пьесу, но цензура запретила. С тех пор она не пробовала.

22 октября.

Письмо от князя Барятинского. Дозволяет своей супруге выступать под фамилией Яворской. Она еще вчера

говорила мне, что очень благодарна за эту деликатность, с которою я намерен объявить о вступлении ее в труппу под псевдонимом Орской, что я и сделал сегодня. Какое лживое создание! Она вся состоит из притворства, зависти, разврата и лжи. А муж в ней души не чает. Если б он знал хоть сотую часть ее жизни; я напишу ему, что для меня и для нашего дела решительно все равно, под какой фамилией она выступает. Он пишет, что этим согласием он надеется „доставить удовольствие и Вам, и Вашему делу“.

—

Сегодня в № 7419 моя заметка „Чайковский и Бессель“ с подписью Т. А-ий, то есть Тимон Афинский. Этим псевдонимом, Тимон Афинский, или Тимон Афинянин, я несколько раз подписывался. Сколько помню, первый мой псевдоним в „Весельчаке“, в 1859 или 1860 году, под драматическим циклом — А. Суровикин; в „СПБ. Ведомостях“ потом — А. Бобровский (под этим псевдонимом явились и „Всякие“, сожженный роман), Незнакомец; в „Русском Инвалиде“ — А. И-н., в „Вестнике Европы“ — А.С. и А—н. Эти же инициалы в „Новом Времени“. Потом, помню, я подписал один фельетон Карл V. Других не помню, но их было довольно. Неподписанных статей и заметок прямо тысячи и в „СПБ. Ведомостях“, и в „Новом Времени“ особенно.

23 октября.

Приглашение завтра, в 5 часов, быть у министра внутренних дел. Это в третий раз в течение министерства Горемыкина. Вначале ему хотелось сделать из „Нового Времени“ свой орган, и он говорил мне, что двери его кабинета всегда открыты для меня. Я, разумеется, ни разу не воспользовался этим дозволением. Во все время моего издательства меня приглашали только Лорис-Меликов и Игнатьев, да и то „для разговоров“. Терпеть не могу эти приглашения. Едешь, словно на пытку, и передумаешь Бог знает что.

—

Вчера „Злая яма" имела успех. Студенты сыскали автора и благодарили его. Пьеса мне показалась очень грубою, грубее, чем на репетициях. Потемкин называл ее бездарною, характеры трафаретными. Это слишком строго. Чехову она нравилась в рукописи, но он говорил против ее грубости. Автор Фоломеев говорил режиссеру, что я к нему „придираюсь". А я только старался очистить пьесу от грубых слов и действий и уничтожить длинноты.

24 октября.

Был у министра внутренних дел. Очень любезный прием. Говорил о золотой валюте, желает, чтобы не было „шумового зайца". Теперь много говорят, много пишут. Я сказал, что Витте летом говорил мне, что, если не пройдет реформа в Государственном совете, то он подождет ее применять. Горемыкин сегодня дал мне понять, что она совсем не будет проведена, что даже до Государственного совета едва ли дойдет. „Я от государя", — сказал он значительно. Лукавит он со мной или говорит правду — Господь его знает. Говорили о предостережениях. Он резко выражается об этом законе как о нелепости. „Надо подождать, а потом можно что-нибудь сделать. Я представил в Комитет министров об амнистии — там подняли шум, говорят, что с печатью трудно будет управиться". — „Помилуйте, всякую газету можно уничтожить в три дня". Он передал мне, что испросил у государя позволение не применять к „Гражданину" примечания к статье, по которому после третьего предостережения он должен подлежать цензуре. Говорил с раздражением как о бестактном человеке. „Я вовсе не желаю отвечать за то, что они будут печатать под цензурой".

26 октября.

Яворская приезжала просить взаймы 3000 рублей, так как хотят описывать их квартиру, говоря, что им (ей и мужу) сказали, что если они теперь заплатят, то им дадут 15 тысяч, и тогда она отдаст и эти 3000, и 1200 рублей, взятые ею прежде у меня. Я дал 3000 рублей под расписку ее в конторе.

—

Князь Д. Оболенский был и рассказывал, что от сына его убежала жена, Дондукова, с юнкером Вангаром и живет с ним в деревне. Мать ее умерла, а брат и родные ничего не могли с нею сделать. Она приехала с Кавказа, где муж ее был эскадрон-командиром, для свидания будто бы с отцом, в Москву во время коронации, и я видел ее в квартире Оболенского, которую он нанял ей и хотел сдать мне, говоря, что снова княгиня уезжает к мужу, так как его не пускают в отпуск. На самом деле она сказала князю Д. Д-чу, что любит другого и уезжает с ним. Он поехал в Пятигорск, чтоб известить сына. Тот едва не бросился из окна, вышел из полка, чтобы драться с Вангаром, но княгиня приехала к мужу и просила его не стреляться. Она оставила мужу сына, которому теперь 9 месяцев. Князь распространялся о том, что ребенок необыкновенно здоровый. В прошлом году у князя Д. Д-ча утонула дочь, только что вышедшая замуж, а теперь это несчастье с сыном.

—

Соловьев, главный начальник по делам печати, велел сказать Шубинскому, что „Павел I может быть сумасшедшим для него, Шубинского, но не может быть таким для публики“. Пришлось в ноябрьской книжке „Исторического Вестника“ перепечатать 3 страницы. Шубинский хотел идти объясниться к Соловьеву, но Коссович ему сказал: „Если он в таком же настроении, как в эти три дня, то лучше не ходите. Мы даже боимся ходить к нему“.

—

Были Невежин и Потапенко. Говорили о театре. Невежин уверяет, что пьеса его имела успех и что он не намерен потакать публике и прибегать к грубым эффектам. А знает он их очень хорошо.

27 октября.

Заседание по делу типографии; я, Леля, Коломнины. Леля и Ал. вели себя сдержанно, и я думаю, что для всех это было полезно и хорошо. Говорили о конкуренции с

другими газетами, которые польются с нового года чуть не целым десятком. Уменьшение если не подписки на десятки тысяч, то уменьшение на это число тиража газеты возможно. Леля правду говорит, что если произойдет уменьшение и на 3 тысячи, то это сделает меня нервным, тревожным. Способность писать я теряю и теряю. Дал бы Бог, чтоб явились новые силы.

28 октября.

Была Евг. Матв. Воскресенская, принесшая две пьесы. Из них одну берут на императорскую сцену („В свете и дома", 5 д.). В прошлом году я читал ее комедию „Гуси", где выставлены киевские журналисты. Все это талантливо. Оказалось, что по первому мужу она Желудкова.

—

Яворская в „Принцессе Грезе" — в первый раз по возобновлении. Большой успех. Но мне она продолжает не нравиться. Дикция ее какая-то не то что небессмысленная, а случайная. Кое-что хорошо, кое-что опять скверно, кое-что опять хорошо. И это идет так, но все в приподнятом тоне и с широкими жестами, которые у нее иногда хороши. В театре было много хорошей публики. Сбор — 1221 рубль. Вчера — 1226 рублей.

30 октября.

Сегодня „Усталая душа" („Le mariage blanc"). Успех. Сбор более 800 рублей. Последние четыре представления дали 4000 рублей.

—

Был князь Барятинский, благодарил за 3000, которые я дал. Говорили о Париже.

31 октября.

Был И.П. Коровин. „Говорит ли государыня по-русски?" — „Нет еще, она знает, но не решается говорить". На половине великой княжны Ольги Александровны в клетке канарейка, которая поет „Боже, царя храни". Ив. Павл. слышал и говорит, что поет очень хорошо. Выучивший птицу получил высочайший рескрипт.

—

Е.В. Богданович говорит, что будто правительство в rue Grenelle, где помещается наше посольство и где останавливается государь, скупило 8 домов за 1 800 000 франков, чтобы иметь право наблюдать за жильцами и обезопасить пребывание государя.

—

Приезжал „Петр Иванович Иванов, управляющий князя В. Барятинского, Казанская ул., дом 33, кв. 8" (его карточка). Не понимаю, зачем он приезжал. Он говорит, что нанимал кормилицу для князя Вл. Вл-ча, что он его любит, он поздравлял его с браком, причем молодая сказала: „Если бы Вы не позаботились об его кормилице, он, может быть, не был бы таким здоровым". Трогательно! Показывал мне векселя князя Александра на 16 тысяч и князя Анатолия на 36 тысяч. Первому векселю срок в ноябре. Он думает, что необходимо братьев помирить с Вл. Вл-чем, чтобы всем им троим действовать сообща перед родителями и бабушкой. Единственное, по его мнению, средство заключается в том, чтобы передать эти векселя Лидии Борисовне. „Когда они спросят о векселях, я скажу, что они у Лидии Борисовны". Я ему сказал, что никакого совета я ему дать не могу (он просил о совете), а его образ действий считаю рискованным. Но он возразил, что так именно он помирил князя Александра с князем Анатолием, когда последний женился на Свечиной (разводке). Он долго сидел, говорил, что бабушка отделила по миллиону внукам и по 500 тысяч дочерям и что эти деньги лежат в банке и, во всяком случае, князю Вл. Вл-чу миллион достанется. Уходя, он заикнулся о том, что хорошо было бы, если бы Лидия Борисовна могла где-нибудь достать денег, чтоб отсрочить вексель в 15 тысяч. Я пожелал ей удачи. Сам ли он выдумал это или сообща с Лидией Борисовной?

1 ноября.

Написал „Маленькое письмо" об Екатерине II, по поводу столетия ее годовщины.

4 ноября.

У Богдановича обедали с женою. Великий князь Сергей Александрович возвратился в Москву. На фонарных столбах полиция срывала афиши: „Возвращается князь Ходынский для охраны Ваганьковского кладбища". Сибирский исправник, разославший циркуляры по селам, требуя, чтобы крестьяне убрали солому даже с крыш при проездах Куломзина, умер.

—

Сегодня Ф.А. Юрковский отказался от режиссерства в театре, обидевшись моим замечанием во время репетиций „Севильского обольстителя". Замечание было пустое, но сказано было повышенным тоном. Мне это очень неприятно. Напишу ему, но дело не поправишь. Яворская недовольна, муж ее также. Далматов стоит за меня, но едва ли искренне. Пока режиссирует Быховец–Самарин.

Завтра карточку М.П. Соловьеву.

6 ноября.

Репетиция „Севильского обольстителя". Праздновали Екатерину II Градовский, Яворская, музыка Иванова М.М.

8 ноября.

Пьеса Маслова „Севильский обольститель". Успех.

—

С.Ю. Витте, желая конкурировать со „Всей Россией", которая стоит 150 тысяч, велел отдать Лейферту и Ефрону право сообщать объявления под фирмой департаментов, чем эти господа полностью и воспользовались. Агенты писали на своих карточках, что они — „Департамент мануфактур и торговли", и выжимали объявления с наглостью. Во всяком случае, эта книга „Вся Россия" тянет меня в бездну неудовольствий и грозит в будущем.

10 ноября.

Был М.А. Стахович. О памятнике Тургеневу. Хочется купить его усадьбу в селе Спасском, там 26 десятин. Можно устроить там учительскую семинарию или зем-

скую школу. Рассказывал о Л.Н. Толстом. Этим летом он страшно ревновал свою жену к музыканту Танееву, как Левин, как герой „Крейцеровой сонаты". Дело доходило до жарких сцен, до скандалов, и Танеева наконец он выжил. После этого он с графиней поехал в Оптину пустынь, где она говела и каялась. Он не говел, но посещал службу, был у старца Иосифа, может быть, каялся перед ним. Он пишет теперь из кавказской жизни, читает о Кавказе, справляется со своим дневником и не дает переписывать даже своим дочерям. Для этого он нашел какого-то глухонемого, которому сам отдает рукопись и сам берет ее. Никто не знает, что это такое.

11 ноября.

Леля вчера сказал, что Сигма от нас уходит. Его приглашает Гайдебуров редактором „Руси". Там будут Вл. Соловьев, Энгельгардт и проч. Они соберут свежие силы, а мы останемся при старых. Мне жаль этой потери.

12 ноября.

После театра („Севильский обольститель") был у Яворской и ее мужа. Пили чай, закусывали, говорили до половины второго часа ночи. Яворская рассказывала, что князь Волконский („Нивский" — б.ред. „Нивы") говорил, что наш театр всем обязан Гнедичу, что он все делает, всем указывает и необыкновенно храбро отвечает. Гнедич, конечно, — знающий человек по декорациям и т.п., но ничего другого он не делал, а вечно жаловался мне на Карпова, который его третировал, и на Юрковского, который тоже его третировал еще больше.

15 ноября.

Был у князя Ухтомского. Говорил ему о необходимости правительственной помощи в деле доставки пожертвований в Индию, причем сказал ему, что Витте обещал доставку хлеба дать по уменьшенному тарифу. Князь вызвался написать государю, просил дать ему телеграмму полку (?) о пожертвовании 1600 четвертей, чтобы показать государю. Государь сказал, что через неделю он это устроит, и написал на телеграмме: „Истинно добрые

люди". Князь Ухтомский — хороший человек, и это приятно, что государь через него может знать часть правды, которую ему так мало говорят.

—

Пасхалова написала мне, что она готова отказаться от роли Муции в „Новом мире", а взять роль Вероники. Лучше ли будет Яворская — еще вопрос.

—

„Разгром" Гнедича репетируется.

—

Вчера был Сигма, заявил, что он выходит. Я сказал ему, что очень жаль. Буренин сказал ему: „А мне нисколько не жаль. Вы в последнее время плохо писали, и все о том, что я, да я, да я..."

Вейнберг вчера говорил: „Соловьев рассказывает, что он разрешает газеты, чтобы убить „Новое Время". Думаю, что это вранье.

28 ноября.

И записываешь и не записываешь — все одно и то же. Сколько дней не записывал, и все эти дни прошли, не оставив после себя воспоминания. Рассказывали о московской истории студентов, ходивших справлять панихиду по убитым на Ходынке. За великим князем Сергеем Александровичем останется позорное прозвище — „князь Ходынский". Бартенев прибавлял: „На места генерал-губернаторов назначают боевых генералов, а великий князь Сергей—боевой".

—

„Разгром" Гнедича прошел с успехом. Сбор около тысячи, во второе и третье представления — по тысяче с небольшим. Нехорошо. Судя по успеху первого представления, можно было ожидать лучшего. Сегодня дал согласие на постановку „Трильби" в переделке Г.Г. Ге. Этим я удовлетворяю его желанию явиться перед публикой в хорошей роли.

—

Поехал сегодня Б.В. Гей в Берлин, чтобы посмотреть пьесу Гауптмана „Потонувший Колокол". Дал 250 рублей. Как надоел мне театральный мир, а отделаться от него трудно. Что-то притягивает.

—

Сегодня юбилей Н.Н. Каразина. Какие глупые речи говорились! Сигма говорил о „Журавле" (книга Каразина). Я ему сказал: „Зачем Вы говорили о птице, у которой длинные ноги и маленькая голова?" Мусин-Пушкин сказал речь, в которой за шумом совсем ничего нельзя было разобрать. Почему-то упомянул о Кане Галилейской. Когда он подошел ко мне, я сказал: „Вы так много говорили, так много напустили воды, что только Христос мог бы обратить ее в вино". Отошел с неудовольствием. Сам Каразин говорил о художнике, его вдохновении, его страданиях, когда он видит, что идеала не достигает. Все это было так ординарно. Кто-то говорил о животном, которого называют человеком, о том, чем отличается человек. Ерунда ужасная! Встретил дочь И.Н. Крамского. Поговорили. Я сначала ее не узнал. Говорит, что пишет, „мажу красками", как выражается она. Говорила наша актриса Писарева, хотела что-то сказать об „отзывчивых сердцах", ничего не вышло. М.И. Черняев заметил о ней: „Какова дурость!"

—

Сидел между Гнедичем и В.И. Данченко. Данченко — совсем неинтересный собеседник. Как писатель, он несравненно интереснее. У него горячее воображение, сильные краски.

—

Амфитеатров просит аванс в 5000 рублей и 600 рублей ежемесячно, с тем чтобы 100 рублей вычитать на уплату аванса.

29 ноября.

Был М.А. Стахович. Рассказывал о приеме своем у государя. Он говорил ему о дворянской записке, которую

министр внутренних дел не дозволяет прочитать в дворянских собраниях, но каждому отдельному дворянину говорить можно. Дворянство считает Россию земледельческим государством вопреки Витте, который считает ее государством промышленным. Стахович говорил государю: „Если мы ошибаемся, то ошибаемся искренне. Но предположим, Ваше Величество, что мы правы, — разве не стоит нас выслушать?" и т.д. Разговор продолжался 20 минут. Государь был очень милостив, говорил, что непременно прочитает записку, что министр внутренних дел, может быть, потому так распорядился, что государь еще не прочитал записки. На слова Стаховича, что в печати и обществе громят дворянство за то, что оно получает подачки, государь сказал: „На меня это не может влиять".

1 декабря.

Вчера Крылов приглашал слушать свою пьесу, предназначенную для нашего театра.

—

На нашем театре драма в одном действии Зудермана „Фрицинька". Громадный успех.

—

Холева вернулся из Тулы и говорит, что Т.Л.Толстая вышла замуж за мужика, который имеет лавку в Ясной Поляне. Думаю, что это непроходимый вздор.

2 декабря.

Стахович принес „Записку губернских предводителей дворянства, вызванных, с высочайшего соизволения, г. министром внутренних дел для совещания о нуждах дворянского землевладения". Он рассказывал, что сегодня все директора департамента у Витте на совещании, что составленная таблица показывает положение благосостояния России с 1884 года, и притом крестьян. Взяты цены рабочих, количество снятых крестьянами земель, лошади, скот, количества потребные вина и хлеба.

Письмо Яворской довольно нагло. Я ответил так: „Княгиня Лидия Борисовна! Извините меня, пожалуйста, за

маленькое замечание, которое я хочу сделать по поводу Вашего письма, мною сейчас полученного. Вы подписали его так: „Уважающая Вас", а следовало: „Не уважающая Вас". Все равно я бы не обиделся, ибо содержание Вашего письма считаю несправедливым. Примите уверение в моем уважении".

Письмо Шабельской о пьесах. Ответил.

11 декабря.

Вчера „Трильби". Большой успех. Объяснение с Яворской, переписка с ней, ее претензии. Я сказал ей, что Трильби играет Пасхалова, потом Новикова, что это сделано по распределению. „Я не хочу чередоваться с выходной актрисой", — говорила она. „А я ее не знаю, может, это талант, и монополии на роли я не признаю". Льстя мне, она рассказывает обо мне разную гадость. В этом болоте мне и умереть! Как надоело! Театр — это табак, алкоголь. От него так же трудно отвыкнуть.

—

Вчера был у Горемыкина по поводу моего „Маленького письма". Оно возбудило всех. Нашли, что невозможно так говорить. Горемыкин ничего против этого не имел, но предупредил насчет будущего. Я поблагодарил и обещал прислать ему статью Розанова (которому заказано об университетских беспорядках) в корректуре.

16 декабря.

Был князь Ухтомский. Разговор о М.П. Соловьеве. Он просто с ума сходит. Пишет проект о налоге на газеты, обещая казне 7 миллионов, из которых должна продовольствоваться цензура, получая тем более, чем больше имеет доходу газета, у бедных — бедно, у богатых — богато. Он нам запретил бесцензурное получение „Intransigeant", „Ças", „Gazeta narodowa". По его распоряжению на польских книгах предписано делать русские заглавия. Министр внутренних дел, узнав об этом, отменил. По его распоряжению статьи князя Ухтомского не перепечатываются в провинциальных газетах. Он сам рассказывает, что ему в образе Хитрово является дьявол. Он

пишет миниатюры. Хитрово попросил их показать одному из великих князей. Проходит несколько дней, является Хитрово и приносит миниатюры. Он кладет их в стол и запирает. Через несколько дней он открывает стол и не находит миниатюр, поднимается шум, делаются обыски у прислуги, у полотеров, он рассказывает своим знакомым, что обокраден. Слышит об этом Хитрово и спешит его успокоить: „Да миниатюры у меня, я их Вам не возвращал". — „Но Вы мне их приносили". — „Нет", и т.д. Он убедился, что дьявол приходил к нему и смущал. Князь Ухтомский говорил об этом Горемыкину. Горемыкин говорит, может быть, я заменю его, но некем. Куда его девать? и т.д.

17 декабря.

Сегодня в Александринском театре. Давали „Непогрешимого" Невежина. Я был один в ложе. Скальковский говорил, что на Кавказ был назначен Куропаткин и военный министр поздравлял его, но великий князь Николай Михайлович написал государю письмо против Куропаткина, и государь назначил князя Голицына.

—

Государь сказал, чтобы урегулировали рабочий вопрос. Витте работает над введением 8-часового дня, но в величайшей тайне. Пройдет ли это — вопрос еще!

—

Около Кривенко сидит брюнетка на месте начальника по делам печати. Это во втором ряду. Генерал Зыков говорил генералу Гюбенету: „Правительство назначает на такой ответственный пост, как начальника по делам печати, бог знает кого, какого-то щенка" и т.д. Брюнетка покраснела и говорит: „Я — дочь М.П. Соловьева". Генералам оставалось только провалиться сквозь землю. Вот человек, о котором двух мнений нет.

Крылов сидел и ехидничал насчет постановки „Непогрешимого". Карпов ехидничает на его счет, говоря, что он пишет трилогию „Квартирный вопрос", „Налог на собак" и еще что-то, чего Софья Ивановна Сазонова не решилась мне передать. Благодарю покорно.

Меня обвиняют в том, что я ставлю „Квартирный вопрос". А для меня это любопытно: придет ли публика, и какая? Если бы он поставил эту пьесу на Александринском театре, он был бы побит. У нас своя публика, а Александринская, большинство ее огромное, не посещает наш театр.

Когда наши артисты стали презрительно относиться к пьесе Крылова, он, очевидно, струсил и говорил мне, не сделать ли так: объявить в газетах, что он жертвует свой гонорар за „Квартирный вопрос" в пользу театрального общества. На другой день он раздумал. „С кем я ни советовался, все мне говорят, что это было бы глупо". Но было бы доброе дело.

—

Вчера в панаевском театре подходит Пятницкая. „О каких вещах писали Вы мне, чтобы я Вам их возвратил?" — спросил я. „А Вы отчего мне не отвечали на предложение купить у меня материал для драмы?" — „Да зачем я буду покупать?" — „Вы напишите пьесу". — „Я не пишу пьес и материалов никогда не покупал". — „Покажите мне сцену". Я повел ее и говорю: „Отчего Вы не пишете?" — „Я потеряла свой талант". — „Почему же Вы его потеряли? На чем?" — „Я сумасшедшая". — „Я читал Ваш рассказ в „Вестнике Европы", помните, который я забраковал. Он очень плох".

Она заплакала и сломя голову бросилась вон. С ней сделалась истерика. Призвали доктора.

—

Говорят, что у государя головные боли, что на затылке образовалась шишка вследствие японского удара. Вздор. Государь сегодня был на охоте. Больной он не поехал бы.

22 декабря.

Читал вечером драму Немировича-Данченко „Цена жизни". О ней много говорят. Она действительно интересна; но философ — просто франт, совершенно достойный Клавдии. Все мозги она у него вытрясет и бросит. Они этого достойны, ибо никакой философии подобная

дрянь породить не может. Автор, очевидно, думает, что он создал личность в этом философе, и в этом малая величина Данченко и сказывается. Он хорошо рисует житейские отношения, но когда приходится разбираться — у него довольно бестолково все, хотя и довольно искусно для сцены. Похоже на „Грозу".

26 декабря.

Привезли письменный стол из Москвы от Шмидта. Очень доволен, но это одна роскошь, а не потребность.

28 декабря.

Какая-то Варвара Гавриловна Шершова приходила просить публиковать, что она находится в несчастии с дочерью своей, пансионеркой Павловского института. Сказал, что этого нельзя. Тогда публиковала о продаже ее дачи в Гатчине. „Меня все знают. Мать моя была придворною дамой. Кирасир Гессе лишил мою дочь невинности, сделал ей ребенка и теперь переведен в пограничную стражу. Я жаловалась прокурору, целый год хлопотала, допрашивали меня и Маню. Говорят, что свидетелей не было, что он обольстил, и отказали. А он такие пакости написал про меня и Маню, что будто я ее продавала великому князю Михаилу Александровичу. Была у Рихтера, он дал мне 25 рублей, говорит, чтоб я подала просьбу государю", и проч. и проч. Дача ее заложена за 3 тысячи рублей, вся развалилась. Сын служит в жандармах, должен был выйти из лейб-драгун по случаю этого несчастия с сестрой. Мать скрыла от него сначала, чей ребенок, но потом он узнал.

—

Сыромятников привел какую-то даму, маленькая, в платке. Трое детей, муж бросил, надо ехать в Харьков. Что-то тихо рассказывала, я почти ничего не понял. Дал 10 рублей.

—

Писарева-Звездич прислала фельетон. Написано недурно, но не годится. Возвратить надо.

—

Вчера кто–то Росоловскому сказал, что художник Шишкин умер. Он написал несколько сочувственных строк. Сегодня оказалось, что Шишкин и болеть не думал. Несколько дней тому назад то же случилось с сыном Булгакова.

1897 год

1 января.

Веселая встреча Нового года. Много говорилось. С.И. Сазонова упала в обморок, послали за доктором. Сазонов ночевал с нею у нас. Шабельская передала мне выписку из „Frankfurter Zeitung“ о моем романе.

—

Был у Витте по его приглашению. Указ о чеканке империалов и полуимпериалов достоинством 15 рублей и 7 рублей 50 копеек. Он победил в совете, который собирался под председательством государя. Просил напечатать статью Гурьева, которая написана по его поручению ранее появления указа. Я дал согласие, и мы выпустили № 7490, только вторым изданием, с этой статьей и указом, перепечатав его из „Правительственного Вестника“. Он говорил, что до этого указа он ожидал благоволения Государственного совета, а после указа Государственный совет будет ожидать его благоволения, как он говорил государю. Это девальвация. Что ни пиши, ничего не поделаешь. Говорил о предостережениях, о „Всей России“. Департамент мануфактур и торговли создал конкуренцию этому изданию, отдав на откуп объявления Лейферту и Ефрону, которые собирали объявления от имени департамента принудительным образом, требуя по 500 рублей за брошюру. В.И. Ковалевский издал циркуляр против Лейферта. Вся эта махинация сделана была без него, он напрасно бесился и волновался, ничего не мог сделать против своих чиновников. Витте обещался исправить.

—

„Новый Мир“ — большой успех. Я ничего не писал об этой пьесе. Мне надоели эти толки, будто я рекламирую свой театр. Если б я решился на это, то сумел бы это сделать. Вся журналистика против меня, все это задетое самолюбие, завистники. Пьесу Нотовича — „Без выхода“ — в прошлом году мы отвергли и в нынешнем отвергли его переделку из романа Гюго „Les misérables“, под названием „Отверженные“. Московский отдел Литературно-театрального комитета разрешил эту переделку для императорской сцены с сокращениями. Вероятно, из либерализма. Но переделка — прямо детская по бездарности.

—

Курьезное письмо актера Анчарова-Эльстона от 30 декабря, из Киева. Он справляет свой 10-летний юбилей и просит ему прислать жетон от Литературно-артистического кружка и собрать подписку на подарок ему. Князя В.В. Барятинского, мужа Яворской, он просит тоже увеличить число приношений в виде адресов, подписки артистов и публики. Можно быть таким нахалом! Я написал ему, что его претензии смешны, что я знавал лично Щепкина, Садовского, Васильевых, Самарина, Самойлова и проч., и ни от них, и ни об них ничего подобного не слыхивал.

Какие это эгоисты — господа родовитые! Молодой князь Барятинский понятия не имеет о деликатности. Так он настойчив со своими пьесами. Все для них делай, — вероятно, привычка родовитости.

15 января.

13 января шла пьеса Авсеенко „Водоворот“. Может быть, успех, а может, и нет. В пьесе кое-что есть, кое-какие заметки о типах, которые автор наблюдал. Публика кое-где смеялась; последняя сцена сделана Далматовым (застрелившуюся героиню он выносит из-за кулис, кладет к себе на колени и говорит над ней несколько

слов. Это оригинально! У Авсеенко этого не было: героиня оставалась за сценой). Успех или неуспех — это видно будет по второму представлению. „СПБ. Ведомости“ (князь Голицын) о пьесе отозвались нехорошо и слишком жестоко. На спектакле был великий князь Владимир Александрович с женою. Вчера был Гославский, автор „Подорожника“. Сомнительный успех в Москве. Флеров в „Московских Ведомостях“ написал, что „описание характеров“ в пьесе „превосходно“, но пьеса построена недостаточно хорошо.

—

Сегодня г–жа Ярцева принесла пьесу П. Ярцева „Сумерки“. Напоминает Чехова. Автору 26 лет. Был артиллеристом, еще в корпусе интересовался театром. Служит в земстве. Пьеса еще не пропущена цензурой. В ней любовь зрелой дамы к гимназисту, который в конце пьесы стреляется (за сценой).

18 января.

У графа Толя было заседание „Индийского Комитета“, то есть по сбору голодающим индусам. Были Верховский, князь Ухтомский и правитель канцелярии Лилиенфельд, кажется, так. Оттуда ехал с Ухтомским. Он мне сказал: „Государь спросил Горемыкина, что это за Соловьев, на которого все жалуются?“ Горемыкин отвечал: „Я ищу ему преемника“.

—

В 5 час. Холева, Ал.Петр. Коломнин, Маслов и Далматов. Разбирательство оскорбления, нанесенного Далматовым Холеве при выдаче жалованья и наложения штрафа. Далматов кричал. Холева сказал, что не даст денег, и положил на них руку. Далматов бросился вырывать, и вырвал. Деньги были разорваны (350 рублей), и я поехал в банк, чтобы разменять их. Я истощался в красноречии, желая помирить их. Далматов, конечно, самодур, но Хо-

лева, при всей своей сдержанности, груб и как-то высокомерен и грубо настойчив. Я достиг, по крайней мере, того, что они подали друг другу руки.

7 февраля.

Бессонница несколько дней. Встал в 6 часов. Затопил камин. Просматривал календарь свой. Просматривал программу „Нового Ларуса", энциклопедия в 6 томах (160 франков) и порывался издавать его. Так и не удастся исполнить заветное желание моей всей жизни — издать энциклопедический словарь. Дни нерешительности относительно найма театра. И хочется и колется. Мой убыток будет более 30 тысяч. И все тащат! Чтоб Яворской дать собрать с бенефиса до 2 тысяч рублей, которые она получит, вероятно, я истратил 1200 рублей на декорации и 800 рублей дал ей на приобретение пьесы „Изеиль" от Армана Сильвестра, то есть 2000 рублей. Для этой актрисы я сделал больше, чем для кого-нибудь. Я дал ей взаймы прошлый год 1200 рублей, дал ее мужу, через нее (князю Барятинскому), 3000 рублей, поставил для нее несколько пьес. Яворская однообразна до безобразия. Дикция противная — она точно давится словами и выпускает их как будто не из горла, а из какой-то трещины, которая то уже, то шире; и эти два звука чередуются таким однообразием, что мне тошно.

—

Далматов сегодня взял у меня 500 рублей, причем рассказал трагическим голосом трогательную историю. Он любил девушку 22 лет, дивную, „которой я не стоил, чудную девушку"; она родила, ребенка вытащили щипцами и щипцами же будто отравили ее кровь, она страдала 6 дней и умерла. Хоронить ее надо в Петергофе в это воскресенье. Насколько тут правды, бог весть. Но, чтоб он влюбился, не верится, ибо в это же время он стольких любил, и, вероятно, все „чудных".

—

Мне хоть на пальцах гадать — брать театр или не брать. Если брать, наверно, еще тысяч 30 надо, но эта суета мне любезна и приятна. В театральной атмосфере что-то ядовитое, как в алкоголе или никотине.

—

„Новый Мир" продолжает делать сборы, и без него убытки были бы больше. Помимо всех расходов, я не считаю, что заплатил рублей 500 за перевод двух драм, из них одна не пошла, другая запрещена цензурой; за „Новый Мир" заплатил 100 фунтов стерлингов, а сам сделал перевод двух актов. Перечитал множество пьес, множество накупил этой дряни, давал деньги без отдачи актерам, ставил пьесы издателям. Не говорю о том, что не жалел здоровья. Да все равно, ведь умирать надо, рано или поздно.

—

Сегодня ехал из театра на извозчике. Он — Новгородской губернии Старорусского уезда, за С. Руссой 35 верст, Игнатием зовут. „Сколько лет?" — „61-й". А у него все волосы и борода черные. Лицо, как у 35-летнего. Говорит мне, что жена у него двумя годами старше его, 9 человек родила, и только спереди зубов двух нет, а то как 17-летняя девушка. Он никогда не пил ни водки, ни пива и не курил. Только 4 рюмки коньяку выпил на свадьбе у брата, 30 лет тому назад. Болен никогда не был. У сына его 6 человек детей. Отец пил. „Я насмотрелся на него и не пил. Он умер, когда мне было 24 года". Зарабатывает в зиму до 100 рублей, летом не ездит. Говорит, что их ремесло такое, что коли пить, то ничего не заработаешь.

8 февраля.

Завтракал у К.Е. Маковского. Было человек 30. Жена его называет не иначе как Константин Георгиевич. Выно-

сили детей, даже 3-месячного младенца на руках у мамки. Девочка обошла всех, и все целовали ее ручку, а мальчик тоже всех обошел и подставлял свою щеку для поцелуя. Может быть, это превосходно, а может, и не надо.

—

Н.Ф. Сазонов говорил мне, что государь желает учредить в Эрмитаже представления русских пьес. Всеволожский сказал ему, что так как „Не пойман не вор" и „Он в отставке" нравятся, то не напишу ли я двухактную вещь для этого театра, причем цензура будет самая снисходительная, так что можно писать гораздо свободнеé, чем для театра вообще.

—

С.И.Сазонова говорила, что вчера на собрании „Союза" говорили, будто я наговорил министру внутренних дел об этом союзе невесть что. Я министра видел в ноябре и никогда не говорил о писателях с ним. Подлая сплетня пойдет гулять.

11 февраля.

Был у Л.Н.Толстого, который не был в Петербурге 20 лет. Остановился у Олсуфьева, Фонтанка, 14. У него были Ге, Чертков и баронесса Икскуль. Черткова высылают за границу, у него был обыск, отобрали бумаги о духоборах. О „Чайке" Чехова Лев Николаевич сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет

— Нагорожено чего-то, а для чего оно, неизвестно. А Европа кричит „Превосходно". Чехов самый талантливый из всех, но „Чайка" очень плоха.

— Чехов умер бы, если б ему сказать, что Вы так думаете. Вы не говорите ему этого.

— Я ему скажу, но мягко, и удивлюсь, если он так огорчится. У всякого есть слабые вещи.

Заговорили о государе.

— Вам бы поехать к нему, Вы бы его убедили.

— Если жену свою не убедишь, — сказал Л.Н., — то государя уже подавно.

— Ну жена другое дело, она слишком близка.

— А государь слишком далек, — сказал Толстой.

О нормировке рабочего дня: не понимает, зачем это, это только стесняет рабочего, он хочет работать, а ему не дают. Надобна свобода рабочих. Есть движение на земле, а земли нет.

— А стачки?

— Что ж стачки? Генри Джорж справедливо говорит, что стачки можно уподобить двум богачам, которые стоят на берегу моря и бросают в него червонцы. Один бросит один золотой, другой два; первый два, второй три, и т.д. без конца.

О „Чайке" еще говорил Толстой:

— Литераторов не следует выставлять: нас очень мало, и нами не интересуются. Лучшее в пьесе — монолог писателя, это автобиографические черты, но их можно было написать отдельно или в письме; в драме они ни к селу ни к городу. В „Моей жизни" у Чехова герой читает столяру Островского, и столяр говорит: „Все может быть, все может быть". Если б этому столяру прочесть „Чайку", он не сказал бы: „Все может быть".

Л.Н.Толстой говорил, что жить осталось мало, а сказать и сделать ему хочется еще очень много. Он торопится и работает постоянно.

17 февраля.

Был на репетиции „Катастрофы" (бенефис Холмской). Пришел ко мне в ложу художник Куинджи Архип Ив. и нескладно и медленно стал рассказывать о беспорядках в Академии Художеств; ректор оскорбил ученика: „Руки по швам! Выведите его вон!" Все вступились за оскорбленного. Ректор вел себя трусливо. Собрался совет. Положили исключить всех, кто завтра не придет в Академию. Один Куинджи остался при особом мнении. Тогда профессора и И.И.Толстой отменили свое решение. Толстой

позволил сходку, на которой разгорались страсти. Рассказывая, Куинджи все выставлял, что его все ученики любят и уважают, что он ничего не знал, что он явился на сходку, где сказал, что если ученики уважают его, то пусть приходят все на работу. Узнав об этом, Толстой запер Академию и никого не пустил, к самому Куинджи никого не пустили, не пустили Менделеева. В конце концов Толстой написал Куинджи (я читал письмо), что он докладывал великому князю 2 часа, и великий князь велел ему подать в отставку. Очевидно, тут что-нибудь не так. Куинджи говорил, что с Толстым 7 лет был он в самых лучших отношениях, что Толстой ничего не делал, не посоветовавшись с ним, а в данном случае „он помешался" и стал делать по-своему, и получилось что-то невероятное. Часа два он мне рассказывал, нескладно, полуфразами.

— Если с Вами так поступили несправедливо, то остальные профессора должны бы подать в отставку.

— Они боятся. Все пристроились. У Репина такая квартира, точно церковь, за 10 тысяч такой не найдешь.

18 февраля.

Просматривал „Новое Время" за январь и февраль 1878 года, справляясь о том, что тогда говорили мы о войне с Турцией. Очень хорошо мы тогда писали и многое предвидели. Я прочел в № 697 свой фельетон, вызванный письмом ко мне технологической молодежи, которая называла себя „молодой интеллигенцией". Я говорил в фельетоне о „той клевете", которая преследовала меня с самого начала „Нового Времени". Гайдебуров, Худеков, Полетика, Градовский, Печковский, „Голос" — все соединялись вместе, чтоб ругать и клеветать. Технологической молодежи я наговорил резкой правды. Вообще, фельетон очень искренно и твердо написан.

20 февраля.

В пьесе „Катастрофа" актриса Холмская падает на грудь убитого мужа и рыдает. Буренин сказал:

Рыдает Холмская над трупом
И сцену всю закрыла крупом.

4 марта.

Сегодня молодежь университета, технологии, строит. училищ, женских курсов и проч. хотели сделать демонстрацию панихидой по девушке, говорят, еврейке, которая, пользуясь керосиновой лампой, облила себя керосином и подожгла в Петропавловской крепости, куда она была заключена за участие в каком-то политическом деле. Распространен слух, что будто ее изнасиловали, но слух этот ни на чем не основан. Девушка, говорят, была некрасива. Говорят, что она выдала кого-то из своих, подвергаясь допросу, и прибегла к самоубийству. Как бы то ни было, начальство несколько дней не допускало к ней родных, а потом сказало, что она умерла. Родные — к прокурору, который сказал, что дело это ему известно, что об нем произведено следствие, по которому оказалось, что девушка прибегла к самоубийству, что три дня ее держали в ванне от ожогов, что она очень мучилась все это время. Похоронили ее тайно на Преображенском кладбище. Панихиду разрешил митрополит Палладий. Просил разрешения начальник женских курсов Раев, о котором говорят, что он — сын митрополита Палладия. К Казанскому собору и собралась сегодня толпа. Полиция приготовилась еще вчера, окружила молодых людей и погнала их по Казанской улице в часть. Дорогой девушки пели „со святыми упокой". Масса публики наполняла площадь и улицы. Горючего материала у нас сколько угодно. О деле довели до государя.

5 марта.

Читал прокламацию литографированную, которую дал прокурор, о Марии Федоровне Ветровой — имя девушки, погибшей в крепости. Обвиняет прокурор Кичина, который отчислен в III Отделение для политических дел и получает сверх 4500 рублей еще 2000 рублей за это. Думают, что он выманил угрозою у нее выдачу какого-нибудь заговорщика и она прибегла к самосожжению

вследствие раскаяния. В публике говорят об изнасиловании, но это даже прокламация отвергает или умалчивает, ограничиваясь темными намеками партии на то, что ее высекли. Ветрова посажена была за имение у себя запрещенного чего-то, каких-то книг, и ее хотели выпустить. Как девушке, которая должна быть освобождена и знала об этом, ей ставили керосиновую лампу.

—

Вчера участников в беспорядках только переписали, но никого не арестовали.

—

Сегодня телеграмма из Канеи, что на „Сысое Великом“ убито 18 матросов нечаянным выстрелом во время учения. Это можно счесть за очень скверное предзнаменование, а греки могут это считать за наказание Божие за те выстрелы, которые, согласно повелению „концерта“, были выпущены против инсургентов.

—

Слушал сегодня в зале придворного музыкантского хора отрывки из оперы М.М.Иванова „Забава Путятишна“ на текст Буренина. Мало таланта! Что-то серединное.

16 марта.

Вчера целое заседание о типографии. Я бранился несколько дней. Наконец не вытерпел, разразился потоком и ушел, взял извозчика, и он повез меня, куда глаза глядят. Приехали в Галерную гавань, я встал и пошел пешком; зашел в новую церковь, потом был у всенощной в Казанском соборе и в 8 часов вечера приехал домой. Ночь не спал. Теперь 7 часов, я разбудил Василия, и он сделал мне кофе. Надо мне уехать. Я совсем свихнулся, просыпаюсь в три часа, засыпаю в 7 утра. Но одному везде нехорошо.

17 марта.

Достал свою „Ксению“ и проглядывал. Ее можно было бы послать во дворец тайным ходом к Димитрию от матери, предупредить его. Самозванец бежит. Вломившиеся бояре не находят его. Недоумение, допрос. Он убежал, он у матери своей. Попробуйте достать его там. „Послать к царице. Вот беда. Пропало все! Говори, ты правду говоришь?“ — „Правду? Поди, лови ее, правду! Где она, ваша правда?“ Приносят Самозванца, сломавшего себе ногу. Смерть. Смерть Павла была вроде смерти Самозванца, и я не думаю, что Шуйский и друзья его с особенной храбростью шли во дворец, как и убийцы Павла. При Павле убивали преданных, при Самозванце тоже. Трусили и там и здесь.

24 марта.

20-го выехал в Москву. Остановился в „Славянском Базаре“. В пятницу был на съезде актеров, в субботу и в воскресенье, день закрытия съезда, также. Впечатление хорошее. Глупости говорят, что мы „не созрели“ для парламентаризма. Напротив, созрели совершенно, да и созревать для этого нечего. Дело обсуждения — самое обыкновенное дело, привычное всем, а дисциплина усваивается легко, если руководитель способный человек.

—

Видел многих. Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в „Эрмитаже“. Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в „Большую Московскую“ гостиницу. Два дня лежал у меня. Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. „Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что он желудочный, а во время кровотечения, что оно геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая

тоже умерла от чахотки". Мария Павловна, его сестра, стала писать портреты.

—

Видел Ив. Леонт. Леонтьева (Щеглова). Он говорил много дельного об актерском съезде и по поводу того, что Чехов хочет издавать газету вместе с Гольцевым. „Чехову всего лучше издавать газету одному. Он человек оригинальный, своеобразный, к партиям не принадлежащий, а потому ему есть что сказать. Они вдвоем не уживутся. Разве Гольцев совсем стушуется. Иначе все будут обращаться к Чехову, и это породит ревность у Гольцева". Я того же мнения. Гольцев слишком ничтожный человек, чтоб иметь право сидеть на крыле такого орла, как Чехов.

Я спрашивал у доктора Оболенского, приятеля Чехова, который ходил к нему в эти дни, что это за кровоизлияние? Он отвечал: „Геморроидальное, но свидетельствующее, что легкое слабо, и потому при неблагоприятных обстоятельствах эта болезнь может сделаться опасной".

—

Вчера у Сухаревки молодой пьяный парень продает связку „Современника": „5 рублей дают. Разве можно 5 рублей? Барин велел просить 60, а он — пять! Тут ведь „Что делать?" Чернышевского да его примечания к „Экономии" Миля. Слышишь — Миля! А он точно за кусок мыла дает пятак. А тут не мыло, а Миль!"

26 марта.

Вернулся в Петербург из Москвы. Вчера встал в 5 часов утра, не уснул ни минуты, написал записку Чехову и сам отнес ее в „Большую Московскую" гостиницу. Потом гулял в Кремле, по набережной, к Спасу и обратно в „Славянский Базар". В 7 пришел в отель. Лег и уснул немного. В 11-м часу пришел доктор Оболенский и сказал, что у Чехова в 6 часов утра пошла опять кровь

горлом и он отвез его в клинику Остроумова, на Девичьем поле. Надо знать, что 24-го утром, когда я еще спал, Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться, он ссылался на то, что получено много писем, что со многими ему надо видеться и т.д. Целый день он говорил, устал, и припадок к утру повторился. Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а все-таки это больница, и там больные. Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежит в № 16, на десять номеров выше, чем его „Палата № 6", как заметил Оболенский. Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: „Разве река тронулась?" Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье? Несколько дней тому он говорил мне, что, когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: „Не поможет. С вешней водой уйду".

—

Холева сказал, что Гюбнер отдает нам театр. Я, было, уже помирился с тем, что театра не будет, и оно было бы лучше. Нести убытки, и притом значительные — за два года до 30 000 рублей, выносить самые придирчивые нападки газет, быть обвиняемым в несправедливостях, покровительстве, не видеть благодарности со стороны артистов, а видеть, напротив, претензии выше всякой меры, лукавить, стараться мирить, изобретать причины того или другого действия, чтоб щадить самолюбие, быть вечно в напряженном состоянии, быть готовым на объяснения, на приемы и проч., все это тяжело и неблагодарно. А впрочем, будь что будет.

28 марта.

Сегодня был граф Степан Антон. Апраксин, камер-юнкер, написавший роман „Князь Белелюбский". Это мо-

лодой человек, должно быть, совершенно глупый. Он принес мне „мысли“ из своего русского романа, написанного по-французски, и спрашивал, одобряю ли я эти мысли? Я старался ему объяснить, что такое роман и что роман должен быть художественным произведением, что „мысли“ высказывают разные люди и т.д. Ничего не понял! Говорит только, что герой его умер от чахотки в Ментоне и что мысли эти такие добрые, что генерал Богданович посоветовал ему напечатать их на отдельных листках, чтоб раздавать даром в церквах. „Ну и раздавайте, что мне за дело“. — „Но я советовался с отцом Смирновым, и он нашел, что мысли эти не могут быть пропущены цензурой“. Черт знает что! Я говорил ему резко. В это время сидел у меня Глуховской. Уходя, он спросил: „А не правда ли, это хорошо, что такой молодой человек, как я, распространяет добрые мысли?“ Я ему сказал, что молодой человек должен быть молодым человеком и что, может быть, добрые мысли окажутся совсем не добрыми. Вечером от него письмо, просит позволения, чтоб я разрешил ему посвятить роман мне. Я отвечал, что этой чести не желаю; бывают же такие идиоты! Я написал ему:

„Граф Степан Антонович, утвердительного ответа на Ваше лестное для меня предложение — посвятить мне Ваш роман — я дать не могу по многим чисто литературным причинам и обычаям, в рассмотрение которых входить здесь было бы неуместно“.

—

Вчера адвокат Петрашевский приходил к А.П. Коломнину просить меня не помещать отчета о разбирательстве у мирового судьи, который приговорил графа Шереметева, известного под именем „Пожарного“, к 2 неделям ареста за то, что он побил своего слугу, и побил за то, что тот неловко затворил форточку. Рассказывали подробности очень нехорошие о диком нраве этого господина. Граф вознаградил побиенного деньгами.

29 марта.

От Чехова, который лежит в клинике Остроумова, телеграмма: „Крови меньше, но положение неопределенное. Неизвестно, когда выпустят... Приходил Толстой". Я написал ему большое письмо.

—

Сегодня в газете Трубникова „Мировые Отголоски" напечатан удивительный донос на „Новое Время" и на меня. Я прочел его спокойно. Очевидно, он пришел к убеждению, что надо действовать доносом, чтобы ему выплыть. Года три тому он подавал государю прошение, в котором говорил о „Новом Времени" черт знает что, выставлял себя охранителем и советовал запретить „Новое Время", чтоб дать ему, Трубникову, возможность проявить свои силы. Служил в III Отделении тайным шпионом в так называемом литературном столе. Мне рассказывал об этом Плющик-Плющевский.

—

Цензор, читающий „Мировые Отголос.", доложил статью Трубникова о „Новом Времени" Соловьеву, а тот — Победоносцеву. Победоносцев написал Соловьеву, что он не давал повода применять свои заключения о печати в „Новом Времени", что это — зависть журналиста и т.д. Соловьев позвал Трубникова и передал ему содержание письма. Трубников вообразил, что Победоносцев будет рад той лести, которую он ему расточит. К тому же вслед за статьей о „Новом Времени" он написал лицемернейшую статью „Что есть истина". Она так начинается:

„Истина — во Христе.

Дойти до познания истины — значит примириться с Богом, потому что Бог дал нам во Иисусе слово примирения, покориться Богу, смириться перед Богом, и он вознесет Вас, приблизиться к нему, и он приблизится к Вам и даст Вам духа премудрости и разума, духа любви, который и есть живой дух истины. Иначе не познать Вам

истины, наоборот, Вы будете подавлять ее неправдой, лгать на истину.

Бог есть весь жизнь, весь премудрость, весь любовь. Кто не любит Бога и не исповедует Иисуса Христа, тот не познал Бога, не делает правды и не есть от Бога — это дух заблуждения. Кто от Бога и познал его, тот любит Бога, исповедует Иисуса Христа — это дух истины.

Кто говорит: „Я познал Бога", но слово его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины; а кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась и Бог в нем. А что он пребывает в нем, узнаем по духу, который он дает нам..."

Итак, чтоб познать истину и отступиться от неправды, нужно искать Бога, хотя он не далек от каждого из нас. Бог создал нас для того, чтобы мы сами стремились к нему, как к своему вечному источнику жизни и истины. Бог есть дух и т.д. Трубников нашел Бога и стремится к истине — изумительно! Он познал только истину казенных субсидий. О Победоносцеве он судил как о чиновнике III Отделения, где он служил и где занимался доносами. После этой статьи пять его сотрудников ушли от него и являлись к нам с заявлением об этом.

...В „Московском Сборнике", изданном К.П.Победоносцевым, в статье о печати задается вопрос: „Можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова?"

„Вопрос этот, конечно, разрешается в положительном смысле лишь в таком случае, когда автор печатного произведения стремится подвергнуть своих читателей игу рабства, так как с представлением о деспотизме неразрывно связано понятие о рабстве. Подобная публичная мысль лишает читателей свободы, которую даровал им Христос, так как они продают эту свободу на служение чужой совести. Но кто же пожелает носить это иго рабства под именем свободы? Конечно, никто, разве бы оно навязывалось „насильственно и безответственно" под покрывалом таинственности, как, например, посредством ежедневной большой газеты в качестве господствующего органа печати, ограждаемого кем-то и для чего-то от

вреда совместничества и ради пользы единоторжия этою газетою. Вот где является поистине деспотизм печатного слова. Такою газетою является у нас, и только у нас и нигде в мире, „Новое Время“, приобретшее в течение последних 12 лет верховенство, чуть не монополию, в столичной большой прессе благодаря тому, что не было разрешаемо новых больших частных ежедневных газет, могущих с нею конкурировать“.

Далее автор статьи о печати в „Московском Сборнике“ говорит: „Вред, который происходит для общества от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством“.

„Действительно „безграничное“ распространение газеты — это именно и есть деспотизм печатного слова, разлагающая сила. Под безграничным распространением газеты следует разуметь в данном случае такую газету, которая, благодаря многолетнему запрету издавать новые подобные газеты, завладела, кроме подписчиков, и розничной продажей в столице вследствие беспрестанных запрещений этой продажи другим газетам, кроме „Нового Времени“, равно продажею газет вообще, на станциях железных дорог, взятых г-ном Сувориным на аренду. „Новое Время“ сосредоточило на своих страницах и публикации объявлений благодаря запрещению печатания объявлений в газете „Голос“ и окончательному прекращению ее. Наконец, в распоряжение, главным образом издателя „Нового Времени“ отдано на 10 лет привилегированное телефонное агентство с крупной субсидией“.

Вот причина „безграничного“, выражаясь словами „Московского Сборника“, распространения газеты. Вот он — „деспотизм“ печатного слова, пред которым принижена вся остальная пресса; но пред этим деспотизмом нередко преклоняются даже и учреждения высшего порядка, заискивая расположение к себе издателя „Нового Времени“.

„Спрос на эту газету — применяя слова „Московского Сборника“ — был бы не такой, если бы не так ретиво было предложение. Ныне, однако, благодаря разрешению

новых газет дело принимает для „Нового Времени", по-видимому, несколько иной оборот, но только по-видимому. Нужно знать, что за все время издания „Нового Времени" Сувориным газета эта находилась в привилегированном положении сравнительно с другими газетами. Она одна изъята, совершенно случайно и не в пример другим бесцензурным изданиям, от наблюдения в установленном порядке.

В данном случае мы вовсе не против разумной свободы печатного слова. Но ведь бывает и такая свобода, которая может быть и „прикровением злобы". Бывает и такая наблюдательная власть, которая на мягком возглавии доброй воли засыпает непробудным сном, не ведая, что вокруг нее творится..."

„Между тем растлевающая, разлагающая сила „Нового Времени" порабощает читателей, деморализуя общество и остальную печать. Вкусив от древа познания добра и зла, читатели „Нового Времени" в большинстве утратили способность распознания добра и зла, и они уже не сыны свободы, а рабы страстей. Кто кем побежден, тот того и раб. Читая в течение более десятка лет „Новое Время", читатели себе уже не принадлежат: Суворин ими управляет, он действует на них и через них, так что они являются одержимыми в точном смысле этого слова. Что-то постороннее, чудовищный паразит, мысль чуждая, несоразмерная, живет в них, развивается и родит зловредные побуждения, которыми чревата. Читатели „Нового Времени" не предвидели, что все это у них явится, они не знали, что содержат в себе философские лжеучения, пропагандируемые между строк десятки лет „Новым Временем", какие последствия ядовитые и убийственные из них произойдут..."

„Московский Сборник" не отрицает, правда, за солидной газетной литературой „действительную общественную силу", которая „несомненно служит для человечества важнейшим орудием культуры", но он указывает на примеры, когда по милости легкомысленных и бессовестных газет „подготовлялись революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, пере-

ходившее в опустошительную войну". „Отсюда следует, что большая газета есть власть, потому что она власть настоящего над будущим. Но какова же эта власть в руках издателя „Нового Времени", закоренелого в отрицательном направлении мысли и с беспощадною последовательностью, хотя и в замаскированной форме, вытравлявшего в стране в течение десятков лет религиозно-нравственные основы. Всего этого достаточно для газеты, пользующейся верховенством в прессе, чтобы вырастить целое поколение на вредных идеях, и слишком достаточно, чтобы его испортить".

„Не без основания же еще в 1884 году по особому высочайшему повелению воспрещено было допускать в обращение в публичных библиотеках и общественных читальнях сочинения Суворина. Между тем с тех самых пор умами русского общества овладела больная, одряхлевшая и разочарованная газета „Новое Время" или ее руководители-книжники и фарисеи-лицемеры. Это „слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму".

„Новое Время" за все время его издания Сувориным именно, говоря словами „Московского Сборника", возбуждало „раздражение до ненависти между сословиями и народами". „Газета эта и поднесь сеет смуту, когда вооружает одну часть населения или одну национальность против другой, подобно тому как время от времени возбуждает неприязнь одного сословия против другого. Фельетонное отношение Суворина к мерам первой государственной важности и к весьма сложным общественным интересам порождает дух раздражения и отрицания, который ничего не творит, ничего не создает и который способен только озлоблять или же разрушать и мертвить. Благодаря прежде большим, а ныне маленьким фельетонам Суворина в мыслях и взглядах постоянных читателей „Нового Времени" зло как-то странно перемешивается с добром, зло зачастую считается ими добром, а добро — злом, так что многие из них взяли себе масштабом истины и добра то, что должно быть признано с христианской точки зрения меркою лжи и зла".

„Мировоззрения моралистов „Нового Времени" совершенно тождественны с лжеучением дерзкого безбожника Шопенгауэра. В стороне от высших идей христианства они смутны, полны противоречия, безотрадны и граничат с беззастенчивостью и предрассудками учеников Лойолы. Еще на днях в одном из последних маленьких писем своих Суворин, не отрицая на этот раз „существования христианской цивилизации", силится уверить между строк своих читателей, что будто бы „христианская церковь потеряла свою силу" и что будто бы „уменьшается число верующих во Христа". Нужно с ума сойти, чтобы говорить такой вздор. Легкомыслие „Нового Времени" доходит до того, что газета эта, постоянно руководясь лжеучениями Шопенгауэра и неисправимого последователя его Л.Толстого, смешивает понятие о христианских догматах с идеями философскими, христианство с буддизмом и заменяет нравственное православно-христианское учение европейским социализмом".

„Демократизация в периодической печати односторонних философских доктрин направлена к тому, чтобы уверить русское общество и высшие его сферы, что между верою и знанием союз расторгнут. Странно, что никто не замечает здесь плутни, скрывающейся в разделении веры и знания, — плутни, в которой в конце концов провозглашается чувственность единственным источником знания, мир вещественный — единственною реальностью, материализм, отвергающий Бога, — обладателем всякого ведения и знания. Куда приведет нас эта неустанная пропаганда неверия и буддийских мировоззрений — это дело будущего, но верно то, что доктрина пессимистического пантеизма Шопенгауэра построена на религии Конфуция, то есть на началах реалистических и откровенно материалистических. Это ли предмет, который может служить для популяризации в течение десятков лет в большой русской столичной газете? Это ли не деспотизм печатного слова, которым отличается „Новое Время"? Буддийское мировоззрение Шопенгауэра и Л.Толстого дает горький и наглядный урок тем, которые вне христианства ищут основ для обновления нравствен-

ной, умственной и экономической жизни человечества, а мертвый сон Китая наглядно показывает результат этих древневосточных воззрений".

„Шопенгауэр свое основное начало называет не Богом, а „Волею". Из переписки его с друзьями видно, что во Франкфурте, где он неутомимо и сосредоточенно отдавался своим занятиям философией, в его кабинете на столе перед ним находилась золотая статуя Будды, и он обыкновенно в беседах с друзьями, указывая на нее, говорил: „Вот — Бог". Цинизм его доктрин будет совершенно понятен, если прибавить, что Шопенгауэр мечтал о гаремах для ученых людей и о введении многоженства... Учения этого мечтателя, психическая ненормальность которого бросается в глаза, встречает систематическую апологию в газете Суворина. Горячие апологисты Шопенгауэра, философы „Нового Времени" в тысячный раз повторяют, что „Шопенгауэр — гений века", „истинный поработитель нашей эпохи". „Наша эпоха всевозможных удручений как нельзя более благоприятна для Шопенгауэра. Его любят, в него верят, с ним носятся. Это буквально то самое, что было в свое время с Боклем, Спенсером и др. Он — модный мыслитель". „Молодежь именно этим живет, считает его правдой жизни и ничего другого не хочет" („Новое Время", № 5605).

„Л.Толстой, называя свой принцип не Богом, а „Разумом", отрицающим жизнь, не принял во внимание того, что если бы рассудку, само по себе, была присуща истина, то истина наравне с рассудком должна была бы быть общим достоянием всех людей, — и тогда не могло бы возникнуть никаких споров о том, что истинно и что ложно, что разумно и что неразумно. Однако же этому противоречит непрерывный опыт. Разум, или logos, мудрость, слово, как называет его граф Л.Толстой терминами давно известными, не может быть определяем, ибо он сам служит для определения всего остального".

„Но доказан ли пессимистический пантеизм Шопенгауэра? Учение графа Л.Толстого есть ли истина?"

„Если все эти философские системы, пропагандируемые у нас ныне на просторе, ошибочны или злонамерен-

ны, если руководящие идеи их авторов логичны, но не нравственны, если они стремятся подкопаться под слово Божие, а доказать это нетрудно, но какую цену они могут иметь в глазах не предубежденного человека или публициста?"

„Вообще, главный софизм приведенных выше модных у нас философских учений заключается в мнении, что всякому образованному человеку предстоит отказаться от употребления собственного разума, если он хочет называться мыслящим человеком. Иными словами, лозунг современных наших моралистов: „Гоните Христа и его учение!"

Поэтому не пора ли нашим здравомыслящим и ученым писателям приняться за улучшение у нас репутации философских систем и снять с них „mauvaise odeur"* — этот мрак безбожия и что-то искусственное и напускное, которое окружает эту отрасль знания, имеющую громадное влияние на умственное, моральное и экономическое развитие русской народности, цивилизации, и государственного имущества".

„Будда-бог и Шопенгауэр, Шопенгауэр и Будда-бог, не пора ли уж им убраться из нашей компании? Нельзя ли допустить, что они уже достаточно исполнили свою миссию и что теперь могли бы удалиться?

В самом деле, человеческая душа есть бесконечно ценное в себе, перед чем бледнеет значение всех других вещей. Христос сказал: „Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" А наши моралисты и публицисты вредят именно душе русского человека".

„Иначе смотрят на свои задачи публицисты „Нового Времени". Так, например, относительно метафизика-безбожника Шопенгауэра эта газета, между прочим, настойчиво утверждает, что „для многих теория Шопенгауэра стала своего рода Евангелием" (№ 5553). Как образчик восторженных похвал и реклам, расточаемых богословско-философским сочинениям Л.Н.Толстого, может служить в „Новом Времени" от 16 марта 1891 года следую-

*Дурной запах *(франц.)*.

щая тирада: „Крейцерова Соната“, именно вследствие ее правдивой и глубоконравственной основной мысли, должна сделаться настольной книгою во всех семьях и распространяться без всяких опасений, преимущественно в среде юношей и молодых девушек“. Далее „Новое Время“ ставит „Крейцерову Сонату“ „на высоту сурового поучения духовной проповеди в художественной форме“. В „Новом Времени“ от 17 августа 1891 года Буренин хлестнул по-своему всех тех, кто имел благородное мужество высказаться против проведенной рекламы и мнимой возвышенности основной идеи приведенного сочинения Л.Н.Толстого и кто заявлял о вреде, приносимом молодому поколению этим рассказом; да кстати уже зараз клеветнически разнес и всеми уважаемого иерарха покойного архиепископа Никанора“.

„В заключение упомянем, что на днях доставлено в редакцию нашей газеты для отзыва только что вышедшее издание Суворина „Мир как воля и представление“, сочинение Шопенгауэра. В предисловии к этой книге мы читаем, что в Италии Шопенгауэр „научился презирать женщин“ и что упомянутое его произведение, „выпущенное в свет в 1818 году, прошло незамеченным и добилось признания лишь к концу его жизни, лет через сорок“. Оно ныне будто бы „пользуется широким распространением, но, к сожалению, только в среде образованной публики“. Из этой среды образованных людей автор предисловия исключает кого же? — ученых. Он докладывает своим читателям, что „люди науки, по свойственной всем специалистам нетерпимости или философскому невежеству (это люди-то науки!), доселе пренебрегают Шопенгауэром“.

„Московский Сборник“ свидетельствует, что пресса будто бы „есть одно из самых лживых учреждений нашего времени“! Автор, очевидно, вывел это заключение, читая одну только газету „Новое Время“ и не имея досуга читать все русские газеты, иначе он не пришел бы к следующему выводу.

„Тенденция газеты, ее политическая и философская мысль, подбор известий и слухов и их освещение, потвор-

ство низменным инстинктам толпы, страсть к скандалам и пряностям всякого рода, самая беседа о так называемых вопросах общественных и политических, являющаяся большею частью в форме пересуда и отрывочной фразы, пересыпаемой сплетней, анекдотом, — „вот почва, необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника; и на ней-то родятся, подобно ядовитым грибам, органы общественной сплетни, нахально выдающие себя за органы общественного мнения"... „Не говорим уже о массе слухов и известий, сочиняемых невежественными репортерами, не говорим уже о гнусном промысле шантажа, орудием коего нередко становится подобная газета. И она может процветать, может считаться органом общественного мнения и доставлять своему издателю громадную прибыль. И никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, не в силах будет состязаться с нею".

„Такая характеристика газеты „Новое Время" и ее подражателей была бы как нельзя более удачна, но ничего подобного нельзя сказать про нашу прессу вообще, так как лучшие органы ее ничего общего с „Новым Временем" не имеют и иметь не могут".

„Если общественное мнение Франции, как видно из нынешних телеграмм, пришло к убеждению, что некоторые французские публицисты дискредитируют вконец французскую литературу, которая оказывает пагубное влияние и компрометирует репутацию Франции в глазах всего мира, то не пора ли и нашей читающей публике дать решительный отпор деспотизму издателя „Нового Времени", который, пользуясь искусственно созданным верховенством в среде столичной периодической печати, насильственно ввел в нашу прессу совершенно чуждые ей и зловредные элементы парижской бульварной и каскадной печати, претендующей на роль выразительницы общественного мнения?"

23 апреля.

„Смута" графа Голенищева-Кутузова на благотворительном спектакле в зале приюта принца Ольденбургско-

го. Любители из высшего общества. К графу постоянно подходили его знакомые и говорили ему: „Какая прелесть! Это бесподобно!" А все скучали, и было от чего! Намерений драматических много, но драматических сцен мало. Я сказал ему это. Играли так себе, как любители.

26 апреля.

Из записки мин. финансов (Госуд. Двор. Зем. Банк) 7 апреля 1897 года, № 12630:

Долги землевладельцев составляли:

		Дворянскому банку млн. р.	Прочим банкам млн. р.	Всего млн. р.
К 1 янв.	1887г.	68,8	556,1	624,9
	1888г.	138,6	571,6	710,2
	1889г.	170,1	583,2	753,5
	1890г.	204,4	597,1	801,5
	1891г.	267,5	592,8	860,3
	1892г.	310,6	612,4	923,0
	1893г.	320,6	633,4	954,0
	1894г.	339,3	657,9	997,2
	1895г.	351,5	677,2	1,028,7

В среднем выводе ссуды Дворянского банка составляют на 1 десятину заложенной земли в нем 33,86 рублей, тогда как та же цифра для акционерных земельных банков равняется лишь 23,52 рублям. Объясняется это не тем только, что в залоге Дворянского банка состоят наиболее ценные земельные имущества, но также и тем, что Дворянский банк, в видах облегчения владельцам возможности перевода своих имений залогом из других банков, увеличивал свои ссуды до размера, необходимого для погашения уже обеспеченных на тех имениях долгов.

2 мая.

Чуть ли не в первый раз вмешался я в редакцию „Исторического Вестника". В майской книжке помещена статья Матросова „Заокеанская Русь", где приведена сцена допроса угроруса американским адвокатом.

— Признаете ли вы догмат непорочного зачатия Иисуса Христа?

— Признаю.

— Что он означает, как Вы его понимаете?

— Это значит, что дева Мария, зачавши Сына Божия, осталась девой, как была и раньше.

— Как же это могло статься?

— Говорят, что дух святой провинился...

Я думаю, что Матросов это сочинил и велел перепечатать страницу для иногородних подписчиков, так как петербургским книжка уже разослана. Шубинский пишет, что это значит быть цензурнее цензуры. По-моему, это значит быть только выше цензуры, которая всегда формальна и часто нелепа. Выходки такого рода мне всегда возмутительны, тем более что они преувеличиваются лицемерным отстаиванием православия. По-моему, угрорус не мог сказать этой фразы, если он мог знать, что такое „догмат". Всемогуществу Божию все возможно. Вот как он мог сказать. Во всяком случае, такие „бытовые" подробности не для читателей, среди которых множество таких, которые искренне веруют и осудят редакцию за пропуск такой „бытовой" подробности.

—

Я совсем зарываюсь в книги. Накупил много книг из библиотеки князя Воронцова, я думаю, больше чем на тысячу рублей. Целые вечера сижу за антикварными каталогами и выбираю книги. Любезная страсть! Надо иметь какую-нибудь страсть, а это — самая невинная и милая. Книгу я любил всегда, всегда ее собирал, даже тогда, когда получал, будучи уездным учителем, 14 рублей 59 копеек в месяц. В 20 лет у меня уже была библиотека, и любимыми моими лавками были лавки под Сухаревкой и на толкучке в Петербурге.

—

В какой раз возникает у нас вопрос о покупке имения? Вероятно, в сотый, и ничего не сделали. Упустили имение графа Бобринского, прекрасное во всех отношениях, по

моей глупости или, вернее, потому, что большие цены меня всегда ужасали. А цена была 150 тысяч, но, как оказалось, цена сходная. Упустил я также место рядом со мною, оно продавалось за 120 тысяч, и владелец не брал, и построил дом, и загородил мой дом от солнца. Постройки и приобретения мне никогда не удавались. Что я покупал, покупал всегда дорого.

18 июня.

Франценсбад. Я недели три уже за границей. Был в Берлине, Дрездене, Лейпциге, рассматривал антикварные каталоги, покупал книги, шлялся по улицам и наконец прибыл в это дамское место. Тут В.А.Крылов., В.И.Немирович. Рядом со мной в Villa Imperiale живет И.Н.Потапенко. У него две необыкновенные дочери. Одна 11 лет, другая 7. Первая готовится быть танцовщицей, вторая интересный ребенок, говорящий о ненависти к людям, любящий животных. Вчера она болтала так мило и хорошо, что если б фельетоны Потапенко были так же интересны, то ничего лучшего и не надо бы.

—

Театр сняли мы опять у Апраксина, и, конечно, опять будет убыток, опять будет бестолочь и вздор. У меня не хватило характера отказаться от театра, я выжидал, авось граф Апраксин не отдаст, и дело само собой устроится к моему благополучию. Но сам я поехал к графу Апраксину и в $1/4$ часа кончил с ним принципиально. У нас ни пьес, ни труппы, ни режиссера. Ничего кроме декораций, которые, однако, потребуется перерисовать, так как сцена Малого театра ниже, чем панаевского.

27 июня.

История с фельетоном Амфитеатрова о г-не Зеленко, которого сестра, г-жа Петрова, находится в дружбе с Горемыкиным Ив. Лог., министром внутренних дел. Горемыкин призывал А.П.Коломнина и говорил ему целую нотацию. Резюме этих нотаций в письме Ал. П-ча от

17 июня. Не допускают тени независимости! Говорили, что министр иностранных дел Муравьев затеял это дело, чтоб насолить Горемыкину и даже свергнуть его с престола министра, чтоб самому на оный взойти. Министерские проекты очень приятны, давая возможность распоряжаться районами по произволу. Я всегда думал: „Не тронь, ...оно не завоняет“. Но Леля думал иначе и написал фельетон. Можно подкапываться под трон государя, но отнюдь не под трон министра, который имеет полную возможность Вас устранить за какой-нибудь ничтожный пустяк. И это называется прессой? Холопы холопов поедают, и это очень естественно и удивляться тут нечему! Это говорит мне правдивый внутренний голос. Кратковременное пребывание за границей отрезвляет от русского холопства, но приедешь назад, и эти русские сети охватывают тебя плотно и становишься бессильной и жалкой рыбой.

3 июля.

Читал вырезку из „Soir“ о Яворской. Она интервьюировалась и расхвалила себя до небес. Сарду обещал ей великолепную пьесу с хорошей ролью, с великолепными костюмами. Dumas fils* был ее другом, около нее собираются „сливки общества“, она первая играла в России „Dame aux Camélias“*. „Афродита“ Буренина „a tenu longtemps affiche“△ (2 раза всего дана была!). Происходит она от „Hubenet la Motte-Bourey, — une vieille famille de la Touraine qui l'édit de Nante expatria;“... „Dumas fils, qui m'honorait de son amitié“... „J'ai été la première à jouer „la Dame aux Camélias“ en russe“■. От себя газетчик говорит: „Madame Lydie Jaworsky nous met sous les yeux de très belles photographies qui nous la montrent dans ses différents rôles... Nous en remarquons une: Mme Jaworsky est à demi soulevée parmi les étoffes opulentes, les bras nus, cerclés de serpents d'or, diademée, avec la splendeur d'une chevelure

---

*Дюма-сын *(франц.)*.

*„Дама с камелиями“ *(франц.)*.

△Долго пользовалась успехом *(франц.)*.

■„Юбене ля Мот-Буррэ — древний род из Турени, который был выслан по Нантскому эдикту“... „Я имела честь дружить с Дюма-сыном“... „Я была первой актрисой, сыгравшей Даму на русском языке“ *(франц.)*.

rutilante, qui fait ressortir le sourir infini des lèvres et la volupté des yeux"... „Je suis dans „L'Aphrodite", une pièce de V.Bourenine, un de nos plus éminents critiques"* и т.д. „J'ai méprisé les préjugés si nombreux chez nous et je me suis attirée bien des haines parce que j'ai mené le vieux théâtre russe ridicule et tout de conventions puériles"#. Чудесно, нечего сказать! Еще: „A St.-Pétersbourg, il existe le théâtre littéraire, qui par les succès retentissants, qu'il obtient d'année en année, détruit peu à peu le prestige du théâtre impérial, décrépi, et suranné, prolongeant encore dans un répertoire étouffant"Δ. Все это в Justice, 11 июля 1897.

12 июля.

Был у И.Л.Горемыкина. Говорили довольно долго. Он умно говорил о разных вещах. Между прочим о замечании государя на статью „Нового Времени" о преобладании польского элемента среди инженеров железной дороги. Государю было неприятно напоминание о факте, который он хорошо знает. Но русских инженеров нет.

15 июля.

Получил известие, что куплена драма „Дочери Вавилона" за 75 фунтов стерлингов.

—

Архитектор Сегаль принес проект сметы для удлинения сцены в 5800 рублей. А говорил, что это будет стоить около 2—3. Аптекарские счета пишут эти архитекторы.

---

*„Госпожа Лидия Яворская показывает нам прекрасные фотографии, на которых она изображена в различных ролях... Наше внимание привлекает одна из них: госпожа Яворская полулежит на ложе из роскошной ткани, на ее обнаженных руках браслеты в виде золотых змеек, на ее голове диадема, которая вместе с ее прекрасными волосами еще более подчеркивает красоту ее улыбки и непроницаемую глубину ее глаз"... „Это я в „Афродите" — пьесе В.Буренина, одного из наших самых именитых критиков" (*франц.*).

#Я презираю предрассудки, которых у нас так много, и я нажила себе множество врагов, потому что я не приемлю этот вызывающий смех старый русский театр с его ребяческими убеждениями (*франц.*).

ΔВ Петербурге есть литературный театр, который благодаря огромному успеху, которым он пользуется из года в год, постепенно подрывает престиж устаревшего и изживающего себя императорского театра с его буквально удушающим репертуаром (*франц.*).

Переписал в два дня первый акт пьесы, которую я стал переделывать из своего романа „Любовь“ в прошлом году. Был написан 1-й акт и часть 2-го. Переписал 1-й акт, дело, по-видимому, дальше не пойдет. Трудно справляться с темой фантастической. Актеры и актрисы стадами ходят наниматься в наш театр, и все посредственность и дрянь. В сущности, набирает Холева, очень искусно устраняя меня. Днепрова (Мерц) просит 950 рублей в месяц, Яворская — 800 рублей.

—

Говорили о покупке дома Пеля. Просят 700 000. Покупать страшно, потому что у меня есть только половина этих денег. Влезешь в долги и станешь стесняться в расходах по газете. Кроме того, станут говорить: „Вот миллионер“, и т.д. Купить же дом было бы необходимо, хотя Литейная и не такая улица, на которой выгодно иметь книжный магазин. Место большое, 2480 сажен, сад, оранжерея, и как раз за моим домом.

23 июля.

Чехов приехал. В субботу, 26-го, выезжаю в Париж. Чехова не мог убедить ехать. Ссылается на то, что ему все равно придется осенью на зиму уезжать за границу; хочет на Корфу, Мальту, а если поедет теперь, то надо возвращаться. Говорил, что будет переводить Мопассана. Он ему очень нравится. Он научился по-французски достаточно.

—

Несколько мыслей Чехова:

...Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь со вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я по

крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать.

...Дружба лучше любви. Меня любят друзья, я их люблю, и через меня они любят друг друга. Любовь делает врагами тех, которые любят одну женщину. В любви желают обладать женщиной всецело, не давать ее никому другому и всякого считать врагом, который возымеет желание понравиться ей. Дружба такой ревности не знает. Оттого и в браке лучше не любовь, а дружба.

...Если б женщины обращали внимание на красоту мужчин столько же, сколько мужчины обращают внимания на красоту женщин, то и мужчины стали бы так же тщеславны, как женщины. Женщины принимают и некрасивых мужчин, и это показывает их разумность и трезвость, а может быть, недостаток эстетического чувства.

...Все свое сердце мы отдаем гораздо легче, чем все свои деньги.

...Красивой женщине надо иметь много хороших качеств, чтоб сохранить верность в браке.

10 августа.

31 июля выехал из Парижа в Биарриц. 1-го был в Биаррице. Сегодня скверная погода. Сегодня окончил первый акт „Ксении". Я написал его несколько лет назад. Теперь просмотрел, поправил, переписал. Я заметил, что драма без конца, которого никак не мог найти, отчасти потому забросил драму, только по временам к ней возвращаясь. Но вот чудесная идея: Марина хочет видеть свою соперницу. Ксению выписывают из монастыря. Она является к Марине, которая говорит, что хочет взять ее в свой штат. Большего унижения трудно придумать для несчастной девушки. Она падает как сноп. Самозванец тронулся — жестокость женщины его поразила. Он велит отправить ее в монастырь. Тут и конец.

—

В „Наблюдателе“ печатается роман Джорджа Мура „Мильдред Лоссон“. Та же идея. Ничем девушка не удовлетворяется. Ее душа излилась в одном крике: „Дайте мне страсть к Богу или к человеку, но дайте страсть! Я не могу жить без нее“. Анализ можно уподобить тому, что люди веселятся и танцуют. Вдруг говорят, что под домом было когда-то кладбище, что в подвалах груды костей. Или вы кушаете говядину. Возле говорят, как резали быка, как он мычал, как бился, как кровь лилась. Вас отравляет анализ. Он идет впереди инстинкта жизни, он глядит назад и вперед, разбирает, осуждает и отравляет жизнь. Анализ — это болезнь века. Любили изящно, даже распутство было непосредственное. Анализ и распутство сделал противным, жалким, болезненным. В распутство бросаются, чтоб забыться, и т.д.

8 сентября.

Завтра едем в Париж. Читал выписки из заметок покойного Любимова — давал сын его.

Под 20 апреля 1881 года приведены слова государя Баранову: „Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?“ О студенческих сходках много любопытного. Студенты публично „судили“ государя и прямо говорили в университетском совете, что они „плюют на все“, „на всю империю“.

...30 апреля. „Истинный царский путь, указанный Мих. Никифор., принят государем. Вероятно, он и писал манифест“.

...17 мая. „Манифест писал не он, а Победоносцев. Знали дело только государь и Победоносцев. После манифеста у Лориса собрались министры“.

„Кабинет должен весь подать в отставку“ — слова Лориса. Его поддерживал Милютин. Игнатьев: „Я не подам“. Победоносцев, вставая: „Писал манифест я!“

„...Лорис спрашивал у Скальковского об английском устройстве, чтоб не показаться невеждой перед А.Д.Градовским. Допытывал, кто в Англии назначает министров — парламент или королева. И эти люди, эти невеж-

ды, хотели сочинять конституцию для России".

„...7 сентября Государь велел Игнатьеву написать Лорису, чтоб он не приезжал в Россию. Государь сказал, что он знает, что Лорис держит себя как глава оппозиционной партии, принимает журналистов, между прочим, Суворина, вообще держит себя вызывающе".

„...На записке Петра Шувалова надпись государя: „Чепуха русского аристократа, не знающего истории и жизни народа".

„...Созвездие стоит благоприятно" — из телеграммы Делянова.

„...Игнатьев хотел Земского собора. Во время спора в присутствии государя он говорил, что хотел только декоративного собора. Государь соберет представителей, объявит им свою волю, они и разъедутся". Государь ему сказал: „Я должен сказать, что Вы, Ник. Пав., самым легкомысленным образом подвели меня".

„...Государь жаловался Гурко, как трудно найти хороший табак: „Один табак мне пришелся по вкусу, я закупил теперь большую партию, но боюсь, не обманули бы, не положили бы другого табаку".

„...Государю говорил Гурко (в 1884), что очень трудно принимать меры и предупреждение антиеврейских беспорядков — войска радуются, когда евреев бьют. Государь, перебивая: „А я, знаете, признаться, и я рад, когда их бьют".

„...31 января 1885 года. По поводу Набокова, вышедшего в отставку, Катков сказал государю: „Хорошие министры не даются Вашему Величеству". Вдруг государь: „Вот это верно".

„...12 августа 1885 года Мещерский получает по 3 тысячи рублей в месяц на „Гражданина", из казенных сумм Министерства внутренних дел, получает без расписки, прямо из рук в руки от Дурново".

„...Бисмарк об Ал.III: „On ne peut pas dire qu'il sache ce qu'il veut, mais quand il veut, il le veut bien"*.

„...Под 11 марта 1887 года, рассказывает Любимов, что государь рассердился на статью „Московских Ведомо-

---

*Нельзя сказать, что он знает, чего он хочет, но если уж он чего-нибудь хочет, то хочет этого по-настоящему *(франц.)*.

стей" № 66 о Тройственном союзе и приказал дать ему предостережение, говоря:

— Статья неприличная. Катков хочет играть роль какого-то диктатора, направление внешней политики зависит от меня, и за последствие отвечаю я, а не господин Катков. Приказываю дать Каткову первое предостережение, необходимо обуздать безумие, всему же есть мера.

Такова резолюция. Победоносцев написал государю, и государь отменил свое приказание. В объяснениях Мих. Никифорович (в рапорте Феоктистова) называет себя „сторожевым" псом, который чует, если что неладно в доме его хозяина".

„...24 марта. Он (кто?) вчера говорил с Мих. Ник. В нем замечается поворот к представительству в русском смысле: сословному — организованному общественному мнению без всякого стеснения самодержавия. Это было приблизительно высказано в 1864 году после мятежа в статье „Что делать с Россией". Но есть опасения, что теперь еще рано. Кажется, это так".

„...1887 год, 8 февраля. На подготовление болгарского восстания дано по ходатайству Мих. Ник. (Каткова) болгарским офицерам 100 000 рублей. Выйдет ли толк — сомнительно. Найден жандармским ведомством документ австрийского шпиона. Ванновский встревожился, что попало в печать. Суворин, по настоянию Феоктистова, написал, что документ найден в Москве, не говоря кем..."

(Никакого настояния не было: Феоктистов передал мне об этом беспокойстве и самый документ, — я написал. Сколько помнится, документ-то был печатный, разговоры на русском и немецком языках, касающиеся военных действий. — А.С.)

„...4 марта 1887 года. Перлюстрировано было подозрительное письмо в Харьков к лицу, за которым уж следили. Письмо было подписано „А.". Письмо с почтовым штемпелем отправили с жандармом в Харьков, установили бдительный надзор. Вскоре последовал ответ на имя студента Андрианова. Стали следить за ним. Утром 1 марта пришли к нему пять человек. Андрианов пошел в трактир, занял кабинет; агент видел, как они положили

свои снаряды на стол. Когда они вышли на Невский, их схватили (рассказывал Грессер)".

„...1887, мая 17. Сегодня вечером письмо графа Толстого, вызывает Феоктистова. Тот отправляется, оказывается — письмо от государя. Моренгейм шифрованною телеграммою доложил, что Флокэ показывал Греви письмо от „имени Каткова", где говорится, что министерство Флокэ хорошо будет принято в России. Государь, видимо, ужасно сердит. Письмо в самом раздраженном тоне. Подозревает, что тут интриги Игнатьева, которому-де хочется быть министром иностранных дел. Возмущен участием Каткова: „Катков, может быть, сам и не виноват, а это все группирующиеся около него подлецы и мерзавцы — Богданович, Татищев и Цион. Зачем-де он с ними водится?"

Любимов говорит о Ционе: „Катков хотел его крестить, когда он явился к нему с рекомендацией Ротшильда о конверсиях. Цион согласился. Приготовили купель и проч. Является Цион и говорит, что он — лютеранин, а потому крестить его не надо, а нужно только произвести обряд присоединения лютеранина к православию. Оказалось, что в несколько дней он успел принять лютеранство, для того чтоб принять православие".

Любимов говорил, что у отца своего он нашел письмо Циона, который писал, что пресловутые 500 тысяч панамских франков были сданы Каткову, Моренгейму, Суворину, Татищеву, каждому по 100 тысяч, а 100 тысяч по мелочам. Подобные письма он рассылал многим. Молодому Любимову, служащему в государственной канцелярии, он предлагал „для спасения России от Витте" пересылать ему все проекты Министерства финансов в подлиннике или копии, не стесняясь расходами, даже каждый раз с отдельным посланным. Разумеется, тот написал ему, что этого сделать не может без особого разрешения статс-секретаря. Цион и оставил его в покое.

—

Маковская рассказывала, что княгиня Голицина сказала парижскому извозчику:

— Cocher, va plus vite!*

— Vous me tutoyez, madame? C'est de l'amour?**

5 октября.

Сегодня мои именины. Я их никогда не справлял. Сегодня явились поздравлять наборщики и несколько приятелей.

Приезжал князь Барятинский просить, чтобы отложили „Во имя любви“ Г.К.Градовского, где жена его (Яворская) играет главную роль: дело в том, что бабушка его, графиня Стелбок-Фермор, умерла третьего дня, похороны отложены на понедельник, так как Барятинская, дочь ее, находится в Ялте и ее будут ждать. Яворской, хотя она и была не знакома с покойной, которая не могла к тому же простить своему внуку женитьбу эту, неловко являться на сцене в день похорон. Я с ним согласился вполне, и пьесу перенесли на пятницу. Вечером в театре Яворская мне сказала, что она будет играть в среду и репертуар переменили снова. Это напрасно, по-моему. В театре была и М.Я. Пуаре из Москвы.

— Где же Ваш удар? — спросила она.

— Какой удар?

— Да все газеты прокричали, что с Вами был удар в августе.

— Слава Богу, не было, но, вероятно, будет.

Это Кугель со своей Холмской распустили. „Холмскую не пригласили в труппу, и вот эта пара мстит“, — сказал Холева.

Действительно, когда я приехал из-за границы, мне об этом сообщила С.И.Сазонова. Никто мне об этом не сообщал и никто не догадался опровергнуть этого известия в „Новом Времени“. Я бы разозлился на это, если б не чувствовал себя скверно и не ожидал удара ежедневно. Мне очень скверно. Сон совсем бежит от меня, и я не знаю, что делать. Сегодня И.П.Коровин советовал уехать в Ниццу. Чехов тоже зовет туда. Мне и хочется, и боюсь, что без меня театр пойдет еще хуже.

---

*Кучер, поезжай быстрее! *(франц.)*

**Мы уже на ты, мадам? Уж не любовь ли это? *(франц.)*

Всего хуже сознание, что чувствуется, что песня моя спета. Я не могу работать, как прежде, и меня томит тоска. Я не могу ничего не делать. Желание работать не прошло еще, но силы надорваны. Понятно положение не только раненого льва, которого безнаказанно оскорбляет всякая собачонка, но и состарившегося человека. Впрочем, я достиг таких результатов, о каких никогда не мечтал. За что-нибудь они даются, эти результаты, и это сознание успокаивает меня. В Биаррице я написал по чернякам и отчасти вновь „Царевну Ксению". Но окончить мне едва ли придется. Буренин проектировал мне 5-й акт, и проектировал хорошо, но мне хотелось бы окончить без чужой помощи. Худо ли, хорошо ли, но мне всегда хотелось писать только то, что у себя самого было, а не то, что другие подсказывают.

7 октября.

Сегодня „СПБ. Ведомости" князя Ухтомского сделали доносительную перепечатку из „Миров. Отголосков" Трубникова. Хороший союзник всегда Ухтомскому этот мерзавец! Мне надо бы написать, например, так: „Я прочел в Вашей газете скверную выписку из „Миров. Отголосков" газеты г-на Трубникова, который занимался доносами, как ремеслом, служа в III Отделении, и занимается ими теперь. Если Ваши сотрудники задались мыслью сделать Вашу газету пантеоном всякой лжи и клеветы на „Новое Время", руководствуясь правилом Мольера — je prends mon bien partout où je le trouve*, но я смею Вас уверить, что то, что Вы возьмете из ямы Трубникова, совсем не le bien, a le... Я его превосходно знаю как жулика, а как литератор он именно... и ему вполне приличествует кличка chevalier d'industrie et de*..."

16 ноября.

Звал министр внутренних дел Горемыкин. Был у него в 4 часа. Встретил у подъезда Н.И. Петрова, который выходил от него.

---

*Я беру свое там, где его нахожу *(франц.)*.
*Рыцарь промышленности и... *(франц.)*.

— Вы к нему?

— Да.

— Черт знает,что у нас делается, — сказал он.

Я с ним согласился.

Горемыкин встретил меня в мундире, весь в золоте и орденах. „Я с утра в мундире", — сказал он. Говорил против корреспонденций в „Новом Времени" о Западном крае. Зачем-де мы посылаем своих корреспондентов, производим свое следствие? „Этого не надо". Инициатива государя о молитвах перед учением: „Он желает веротерпимости". Я намекнул, что раскольников забывает.

— У Шарапова хорошая статья в „Русском Труде", я ей вполне сочувствую, хотя дал предостережение.

Статья эта против церкви и Победоносцева. Я удивился, что 4 газеты получили наказание за перепечатку прокламаций варшавских студентов, сказав, что сначала запрещено было печатать о студенческих беспорядках, а потом дозволено, и циркуляр отменен.

— Писать позволено, но никому не позволено печатать прокламаций, направленных против правительства. Ведь не стали бы Вы печатать прокламаций о деле Ветровой. (Сожглась в крепости.)

— Я бы не стал, но ведь в Варшаве эта прокламация причина беспорядков.

— Совсем нет. Было много причин.

Горемыкин говорит кратко, точно торопится. Он был не в духе. Говорят, он не крепок.

19 ноября.

С удовольствием прочел во всех газетах похвальные рецензии о пьесе Борисова „Следователь", которую я поставил на нашем театре. Режиссировал я сам.

1898 год

1 января.

Сегодня вечером Боря вошел и говорит:

-- Правда, что в Порт-Артур вошли английские корабли?

— Правда.

— Что ж это государь, проглотит такую обиду?

— Отчего не проглотит? Он только полковник.

— Ну пускай он произведет себя в генералы и таких обид не прощает.

Когда государь окружен глупцами или прохвостами, вроде графа Муравьева, которого Витте называет „сыном Ивана Александровича Хлестакова“, то не это еще будет. Он воображает, что он — сила, а на самом деле он — очень маленькая величина, без ума и дарований. Император Вильгельм II сердится на него за депешу к Фору с поздравлением с Новым годом. Депеша послана из Гатчины. Две императрицы враждуют: одна тянет во французский союз, другая в немецкий. Государь сидит между стульями очень неловко.

—

Встречали Новый год весело. Горбунова недоставало. Какой талант!

Роздал сотрудникам 35 тысяч рублей. Потом еще Скальковскому 2500 рублей да еще одному сотруднику. Всего 38 или 39 тысяч.

6 марта.

С 1 января ничего не записывал. В это время рассердился на меня К.А.Скальковский, которому я не выдал пая, потому что он богат и без того; работая в газете, он оставался на службе, играл на бирже, и счастливо снача-

ла, и сам говорил, что у него до миллиона рублей. Он утверждал, что болтал о своем состоянии „для баб“, что его нет у него в таком количестве, в каком он болтал. Я велел ему послать 2500 рублей, хотя не нахожу, что это справедливо, ибо, помимо сказанного, он не работал пять лет сряду, когда сделался директором Горного департамента.

—

Моя пьеса „Татьяна Репина“ поставлена в Праге 11 марта 1898 года с огромным успехом, как пишет мне переводчик Прусик и директор драматического театра Шуберт. Мне присланы вырезки из немецких и чешских газет, выходящих в Праге.

—

Написал духовное завещание. К нему надо было бы объяснение. Но и без оного дело обойдется. Я распределил все справедливо.

—

Сезон театральный у нас кончился без убытка. Помогла пьеса Бухарина „Измаил“, затронувшая патриотические чувства.

—

Сегодня Татищев в магазине очень резко говорил Н.Г.Гартвигу о политике Муравьева, по поводу того, что нас выгнали из Кореи. Гартвиг сначала защищался, а потом сам стал рассказывать о графе Муравьеве анекдоты. Он ведет личную политику, то желая понравиться вдовствующей императрице, то назло С.Ю.Витте.

„На днях мне говорят: что Ваш бульдог?“ — „Какой“, говорю, „бульдог?“ — „Да Ваш министр, граф Муравьев“. — „Почему же Вы его бульдогом величаете?“ — „Да он у великой княгини Ксении Александровны играет роль бульдога“. — „Каким образом?“ — „А вот каким. Он

носит монокль, выбрасывает из глаза. Ксения Александровна говорит: „пиль“, и он подбрасывает его и на лету ловит его глазом. А она смеется. Хорош министр, нечего сказать!“

—

Здоровье все хуже и хуже, и необъяснимое отвращение к врачам. Мне ни с кем не хочется посоветоваться. Только злишься на эту старость, которая съедает и энергию, и талант, съедает душу. Очень скверно, но ничего не поделаешь.

12 марта.

„Гражданин“ назвал сегодня „Новое Время“ горохом. Я бы ему ответил, если б можно было, что при царе Горохе только и можно быть горохом газете, а гороховыми шутами — министрам. Князь Мещерский всегда был гороховым шутом, шутом царя Гороха.

—

Привозил в цензуру драму графа Алексея Толстого „Царь Федор Иоаннович“, не дозволенную к представлению. Плющевский говорил о ней в цензуре, написал маленькую докладную записку в несколько строк. Я прочел ее. „Вам надо подписать“, — сказал А.П.Коломнин.

„Этого не надо, — сказал Плющевский. — Я поставлю марку, и подадим так“. Я понял, что он хотел сделать это от себя. Господь с ним, пусть делает. И.М.Любимов, цензор, давно мне сказал, что драму пропустят, если сделать исключения, которые я и сделал. Плющевский говорил и о „Поручике Гладкове“ Писемского, о котором я хлопотал еще в 1895 году, когда только что открылся наш театр.

15 марта.

Я совсем расклеился. Вспыльчивость становится прямо сумасшедшей. Я не могу удержаться, чтоб не вспылить, не наговорить всякого вздора и обидных слов. Это

делает меня невыносимым. Я сознаю это. Даю себе слово воздерживаться и при первом же случае все забываю. Никакой злопамятности у меня никогда не было. И теперь вспылишь — и через минуту готов просить прощения. Однако его не просишь, и это скверно. Кончится тем, что порвется сосуд и отправишься туда, откуда не приходят. Мне тяжело становится от бессилия работать. Напряжение утомляет, и становишься никуда не годным. Сегодня накричал на Плющика. Я видел, как он взбесился сам. Этот чиновник сованьем своего носа всюду сделался мне невыносимым.

2 апреля.

Александра Никол., издатель „Игрушечки", рассказывала мне в книжном магазине, что она только что приехала от Л.Н.Толстого. Он получает угрожающие письма, одно от какого-то духовного братства, другое — от человека, который писал: „Я — христианин. На меня выпал жребий убить Вас. Я возьму на себя этот тяжелый грех, и Вы будете убиты 3 апреля". Льва Николаевича это тревожит, особенно ввиду того, что на днях он шел по улице, к нему подходит человек и спрашивает: „Какого Вы мнения о чуде в Курске?" „Это дело моей совести", — отвечал Толстой. Человек поглядел на него и ушел далее. Вероятно, это дикие угрозы, или шутка чья-нибудь, или ненависть, ограничивающаяся словами. Меньшиков поехал вчера к Толстому.

—

Разговор о Лескове, его лицемерии, жестокости. „Ты о Христе пишешь, а сам — черт чертом, только рогов недостает", — сказала ему девочка, его приемыш, которой он дал две пощечины за то, что она завила себе волосы.

—

Холева сказал в одной речи: „Государственная тайна здесь оканчивается, начинается тайна корсета". Другой

адвокат: „Это — гвоздь дела, который мы разберем психологически“. Это гвоздь-то?

Один почтовый чиновник промочил пролитою водою на несколько рублей почтовых марок и с отчаяния, что заплатить нечем, пошел и повесился.

3 апреля.

Из „Всеподданнейшего отчета тверского губернатора действительного статского советника Павла Дмитриевича Ахлестышева“ за 1896 год, стр. 17—18:

„Для характеристики двух партий — либеральной и крестьянской — возможно указать на земские прения по поводу народного образования. Когда один из либералов, гласный новоторжского земского собрания Малевский-Малевич, указал на то, что министерский каталог книг для народных библиотек состоит из плохих книг, и ходатайствовал о пополнении его массою книг, очевидно, неудобных, недоступных для народного чтения, как, например, сочинения Салтыкова (Щедрина), книги под заглавием „Фабрика, что она дает населению и что она берет”; „Торгово-промышленные стачки“ (Д.Пихно); „Протекционизм, или теория происхождения богатства от непроизводительности труда“ (Вильяма Грегама Соммера); „Основания политической экономии“ (Джона Стюарта Миля); „Начала политической экономии“ (Рикардо); „История экономического быта Великого Новгорода“ (А.П.Никитского); „Переселения в русском народном хозяйстве“ (А.А.Исаева); „А.М.Унковский и освобождение крестьян“ (Г.Джаншиева); „Государственный строй Северо-Американских Соединенных Штатов (А.Шенбаха); „Запросы народа и обязанности интеллигенции в области умственного развития и просвещения“ (А.С.Пругавина); „Что такое женская эмансипация“ (Кеттлер); „Основы судебной реформы“ (Г.Джаншиева), и указал, между прочим, на книгу „Гражданский брак“ Суворина, то крестьяне громко восстали против этого предложения, настаивая на приобретении книг по каталогу министерства, причем высказали, что „крестьянину нужно жить по церковному браку, а не по гражданскому“. Тем не менее предложение это прошло незначительным большинством голосов“.

Что это за фраза: „Местное население тяготится режимом либеральной партии"?

Любопытно, что такие лживые доносы пишет губернатор Ахлестышев. Чего ему надо, дураку?

15 апреля.

Хотел ехать в Париж, куда приехал Чехов из Ниццы, но заболел и сижу дома. Читал об эпилепсии Ковалевского, все по поводу Самозванца, и Ломброзо.

Если мигрень — форма эпилепсии, то и я эпилептик. Взрывы гнева и проч., и проч. До 7 лет включительно у меня были эпилептические припадки. Потом головные боли лет с 17-ти, сначала редкие, потом почти ежемесячно. Только в последние годы, со старостью, реже.

27 апреля.

Париж. Здесь я с 20 апреля. Выехал 18, в субботу. Здесь Чехов. Все время со мной. Он мне рассказывал, что Короленко убедил его баллотироваться в члены Союза писателей, сказав, что это — одна формальность. Оказалось, что среди этого Союза несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за „Мужиков", где он будто представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу. Поистине, ослы эти господа, понимающие в литературе меньше даже, чем свиньи в апельсинах, и эти свиньи становятся судьями замечательного писателя! Вот она, эта толпа, из которой выскакивают бездарные подлецы и руководят ею! „Меня чуть не забаллотировали", — говорил Чехов.

—

Вчера были выборы в Палату депутатов. Избран Дрюмон в Алжире, забаллотирован Рейнак. Дрейфусарам не повезло. Смешно мне было говорить с де Роберти, который в „синдикате", как он выражается. У Щукина он говорил об этом деле с таким пафосом, что можно было подумать, что дело идет о самых драгоценных его интересах. Онегин смеялся над ним, что он хлопотал о том, чтоб попасть в свидетели по делу Золя. Он будет пока-

зывать, что Золя честный человек, точно для этого надо свидетельство де Роберти, и что Россия сочувствует Золя. Комедия! Я спросил его, видел ли он Золя? „Видел". — „Что же он, говорил что-нибудь о Дрейфусе?" — „Он говорил, что убежден в его невинности". — „Ну, а доказательства?" — „Доказательств он не имеет".

—

Был у отца Пирлинга в его монастыре, против Bon Marché. Огромное здание с широкими коридорами, с деревянными крутыми лестницами. Келья маленькая, в одно окно. Около стены шкаф с книгами, почти все в переплете. Я ему привез историю Александра I Шильдера, в благодарность за портрет Лжедимитрия. Говорили об этом. Он приходит к заключению, что это Отрепьев. Он отыскал донесение Рамполлы. Думает, что в Путивле он сносился с боярством; главный — Шуйский. Сначала он хотел взять с собой только татар и казаков, но поляки предложили ему свои силы. Пирлингу царь позволил ездить в Россию, и он туда собирается. Относительно Шереметева выражается с иронией. По мнению Платонова, который с Пирлингом переписывается, Бестужев-Рюмин был уже слаб критической силой, когда переписывался о Самозванце с Шереметевым.

—

Чехов рассказывал о русском шпионе в Ницце. Он получает 700 рублей.

28 апреля.

Обедал у И.И.Щукина. Были Чехов, Скальковский, Онегин, Боткин и де Роберти. Пробыли до 10 часов. Ив.Ив. угощает чисто по-московски, с большою любезностью. После обеда оживленная беседа. Де Роберти доказывал, что образованным людям надо есть устрицы и пить шампанское, чтоб проповедовать идеи народу. „А не то что отдавать народу все то, что имеешь. Если мы народу отдадим то, что имеем, то он только пропьет и

проживет, а идеи значат гораздо больше. И чтоб иметь их, надо быть образованным, иметь досуг, довольство“ и т.д.

— А Христос? — сказал Скальковский.

— Да что Христос?.. У него все было: женщины ему хитоны делали, вино он пил и так далее.

Онегин читал письма Жуковского к Пушкину перед дуэлью с Дантесом. Письма эти точно написаны для оправдания Жуковского, что он, мол, принимал все меры, чтоб не допустить до дуэли, и ничего не мог сделать. В письмах говорится о „тайне“, которая известна трем-четырем человекам. „Тайна“ эта, очевидно, в том, что Пушкина жила с Дантесом, и в этом не сомневались ни Пушкин, ни Жуковский. Жуковский выгораживал молодого Дантеса и старого Геккерна, который хотел спасти своего сына. Геккерн говорил Онегину, что Дантес целился Пушкину в ногу, но пистолет отдал, и пуля попала в живот.

2 мая.

Сегодня с норд-экспрессом уехал Чехов. На станции видел Сабашникову, которая дала сто тысяч Евреиновой для „Северного Вестника“. Сабашникова вышла потом замуж за двоюродного брата Евреиновой, который просадил состояние своей жены на сахарные дела. Длинная, некрасивая особа. Когда-то Евреинова прочила ее за Чехова, и он смеялся над этим. Мне кажется, он в Париже поправился.

5 мая.

Обедал у Щукина. За обедом споры между Скальковским и де Роберти. Был Валишевский. Говорил о гонораре во французских журналах: „Revue de deux Mondes“ платит 10 франков за страницу, „Revue de Paris“ — 15 франков страница. Вообще, гонорар очень неважный. Лучше других платит „Figaro“: за первую статью в номере (Premier Paris) до 200 франков.

—

...У Римлян — Тацит, у нас — Татищев. Щукин уничтожал Тацита, Скальковский защищал его.

—

Онегин сказал мне, что он готов читать корректуру академических изданий Пушкина, исправлять и добавлять, где надо, даром, не требуя за это ничего. Он просил меня сказать об этом Л.Майкову.

—

Запрашивал телеграммой Петербург, как принята в России речь Чемберлена, сказанная 1-го мая, кажется. Ответ: телеграфом речь эта передана кратко. Очевидно, граф Муравьев задержал телеграммы, по своему обыкновению, и, может быть, совсем о речи этой нельзя будет говорить. Сегодня у Щукина все возмущались. Такую речь можно сказать только в пьяном виде. Чемберлен применил к России поговорку, что „обедать (ужинать) с чертом можно, только имея длинную ложку". С англичанином и с длинной ложкой ничего не достанется — все возьмет себе и сожрет.

—

Вчера сидел у меня граф Ржевусский. Он потерял все свое состояние (60 000 рублей ежегодного дохода) на женщинах и игре и теперь принужден gagner sa vie* литературной работой. Он расспрашивал меня о театре, предлагает прислать мне свою пьесу для Малого театра. Я предложил ему написать о парижской журналистике и театрах. „Заплатите мне, по крайней мере, по 90 копеек", — говорил он. „Петербургская газета" платит ему по 5 копеек. Валишевский находит, что у него большой талант, но он не заботится о нем, и когда писал свои романы, то забывал имена действующих лиц и называл их на разных страницах разно. В Париже очень трудно

*Зарабатывать на жизнь *(франц.)*.

„arriver"*, как говорится, — известность достается очень трудным путем. Один известный художник говорил Щукину: „Прежде чем я стал продавать свои картины, у меня ими было набито две комнаты".

—

В субботу 2 мая был Татищев под влиянием речи Чемберлена. Проговорили часа три. Ганото ему сказал: „La Russie a perdu la Chine"*. Германский посол наш рассказывал ему о занятии (Киау-чоу) немцами. Государь написал Вильгельму II на его запрос, можно ли Германии занять эту гавань, так: „Ни позволить, ни запретить не могу". Потом, когда Вильгельм принял это за согласие, министерство воспротивилось, говоря через посла, что Вильгельм не так понял письмо государя. Дело дошло до того, что посол наш не мог найти ни Вильгельма, ни министра, чтоб передать протестующую ноту. Государь велел тогда уведомить Германию, что наш флот войдет (в Киау-чоу) вместе с германским, но только на другой день, и эта угроза была взята назад.

12 мая.

Де Роберти был на процессе Золя. После него на улице смотрели на манифестацию. „Какие идиоты!" — сказал де Роберти, сказал, конечно, громко. Вдруг к нему подошел француз: „Я понимаю по-русски. Вы сказали: какие идиоты! Вы не меня разумели?" Семенов, корреспондент „Новостей", бывший с ним, поспешил сказать, что его не разумели. Спор: правильно ли поступил француз?

—

Вчера обедала у меня Барятинская; она (Яворская) приехала, по ее словам, больная и есть не будет. Однако отлично ела.

---

*Сделать карьеру *(франц.)*.
*Россия потеряла Китай *(франц.)*.

—

Познакомились с Ростаном, были у Сары. Ростан: „Как считают Яворскую? Талантливой?" — „Да". — „Она, кажется, любит подражать?" — „Да". Вообще, о Яворской недоброжелательно. А она говорила, что он в нее влюблен. Вчера, когда я ехал с ней, она мне говорила, что ее поклонники постоянно угрожают застрелиться, когда она не отвечает на их любовь. „Да Вы бы им сказали: „Стреляйтесь". Охотников не нашлось бы".

—

П.И. Щукин, основатель музея, говорил о своем детище. У него множество рукописей. У него одна помощница. Когда поступила, не умела читать столбцы, а теперь читает лучше ученых. Много писем о Пушкине, Грибоедове в бумагах Муханова, которые он приобрел. Есть любовные письма Корсакова конца XVIII века, из другого архива.

—

Прочел драму Корвин-Круковского, которая когда-то была представлена под заглавием "Comtesse Borovska". Недурная.

—

Дюма-сын, желая уплатить долги отца, купил с публичного торга право на его сочинения, уплатив за это всего 38 тысяч. Они приносили ему до 60 тысяч в год. В уплату долгов отца, конечно, пошли только эти 38 тысяч.

10 июня.

Вернулся из Парижа 5 июня, в пятницу. Боря кончил с золотой медалью. Все им не нахвалятся.

—

Объяснение с Лелей, кажется, 7-го. Очень тяжелое, почти невыносимое. Все в Петре Петровиче. Я уступил и

жалею. Я его понять не могу. Какая-то сумасшедшая мстительность.

16 июня.

Завтра еду в Ефремов, где находится семья.

—

Вчера и сегодня был на аукционе вещей княгини какой-то. „Ваша цена?“ Аукционист кладет на счетах. Большая разница с „Hôtel Drouot“ в Париже. Купил два комода (140 и 105 рублей) и два кресла (82 рубля). Вещи шли по огромной цене. Киевский торговец всех забивал, большей частью набавляя „пятачок“ или целую сотню рублей. Я доходил до 458 и затем стушевался.

—

Вчера был у Гартвига. Он мне предложил напечатать выписку из „Journal de Genève“ против парламентаризма, присланную оттуда нашим посланником Иониным с некоторыми его рассуждениями. Царь ее читал. Я отказался, ибо не нахожу, что парламентаризм плохая вещь. Наши теперь ловят такие мнения: „Швейцария республика, а против парламентаризма“. Но Швейцария не за самодержавие, а за народное голосование законов.

1899 год

25 марта.

Обедало много. Был разговор о том, что клевета распространяется насчет циркуляра от 17 марта. На самом деле этот циркуляр состоялся для ограждения принятых 17 же марта распоряжений в Совете министров, именно закрытия университета на 18 марта и на объявление 19 марта распоряжения министра просвещения Боголепова об увольнении всех студентов и новом приеме их.

Плющик-Плющевский сегодня говорил, что будут не приняты около 300 студентов. Ждут новой стачки. В Академии Художеств, большинством 80 против 60, решена обструкция. А.П.Никольский рассказывал, что в 3-й гимназии, где учится его сын, в 4 классе произошла обструкция. В классе 36 воспитанников. 14 явились, а остальные собрались на сходку в Летнем саду и объявили обструкцию. Причина та, что вопреки обычаю, когда 3 дня говельной недели не учились, ныне заставили учиться и в эти дни. Так заразительна стачка.

Плющик говорил, что сегодня должна решиться общая стачка рабочих на петербургских заводах.

Витте действует с Плеве, расставшись с Муравьевым, с которым не поладил. 17 марта в Совете министров он говорил за такие строгие меры, что Победоносцев воскликнул будто бы: „Нет, Сергей Юльевич, так нельзя". Он ошибся совершенно в своих предположениях, о которых говорил мне до высочайшего постановления от 20 февраля, что учащиеся примут с восторгом инициативу государя. Оказалось, никакого восторга, а напротив — стачка за стачкой!

—

Послал письмо к П.Н.Исакову следующего содержания:

„Так как Комитет Союза взаимопомощи писателей собрался меня предать суду чести, о чем уже явились обязательные публикации в газетах, и так как перед Комитетом во время или тотчас после окончания заседания собрания 19 марта произнесена была публично против меня самая бесчестная для писателя клевета, то я просил бы Вас употребить свои усилия на то, чтобы суд чести мог собраться на этих же днях. Состояние моего здоровья требует уехать из Петербурга, но клевета меня здесь удерживает. Не боясь клеветников, не желаю снабдить их поводом к сочинению новой клеветы, что я бежал от честных людей. Будьте любезны и добры, сделайте мне одолжение поспешить делопроизводством. Сколько мне известно, Комитет следствий не производит. Он только получает заявления и клеветы и передает их судьям чести. Времени для этого от 19 до 26 марта было довольно. Если Вы не поспешите, мне остается начать дело о клевете на меня в окружном суде, так как мое присутствие там не потребуется".

26 марта.

Наконец, это глупо. Я стал малодушен, нервен, как женщина. Я пишу письма, велю их набирать, а затем бросаю их. К одному Исакову написал три письма и, слава богу, ни одного не послал этому „начальнику III Отделения собственной канцелярии Союза". И тайные советники, и шпионы, и ложные доносчики, и в „Сыне Отечества", и в „Новостях", и в „Народе", где выступал Трубников, желающий теперь служить 3-му отделению Союза, после того как служил он III Отделению Собственной Его Величества канцелярии по столу о печати. Какой-то Филиппов, бездарный человек, Назарьев, выгнанный из „Нового Времени" за подделку, истеричные бабы и проч.

В чем дело? В том, что я просто посмотрел на столкновение полиции со студентами. Из этого случая захотели сделать политическое событие и сделали. Поставили во главе полицейского происшествия государя, уверив его (Витте), что молодежь будет в восторге после назначения Ванновского. Я уверял Витте, что этого не будет.

Так и вышло. „Третье отделение" Союза меня хочет судить. Я ему скажу, чего оно стоит. По сущности дела надо было бы сказать: „Убирайтесь все вы к черту", и больше ничего.

—

Телеграмма из Берлина об успехе Савиной в „Татьяне Репиной" и об успехе самой пьесы.

—

Этот месяц, прожитый мною, равняется годам. Никогда я так не волновался. Мне казалось, что все против меня и что я гибну.

—

Вчера слышал, что Мамонтов и Морозов затевают газету с капиталом 250 тысяч на первый год. Сотрудникам жалованье платят вперед за 9 месяцев. Хотят сыграть на неудовольствии против „Нового Времени" и спешат. Приглашали Амфитеатрова в редакторы.

—

Потапенко ушел. Вот о ком не жалею. Средний талант, но необыкновенно продуктивный.

—

Леля говорил с Розановым, приглашая его в редакцию, обещал 300 рублей жалованья и 8 копеек со строки. Он на службе 22 года, и ему жаль пенсии. Резон — получает он в конторе 2200 рублей да работами в журналистике около 1500—1800 рублей.

27 марта.

Амфитеатров ушел из газеты, написав мне обидное и фальшивое письмо.

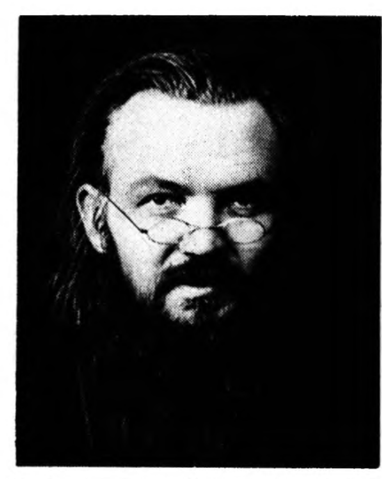
29 марта.

Письмо А.В.Амфитеатрову. Написано 29 марта, но не послано.

„Я получил Ваше письмо с намеком на „общественные условия", которые побудили Вас выйти из газеты. Сын мой, Леля, бывший у Вас после, разъяснил мне, что Вы под этим разумеете ту клевету, которая пущена против меня, что я будто бы выпросил у министра циркуляр от 17 марта. Значит, Вы уходите по благородству и честности!

Но ведь недостаточно для благородства и честности только считать себя честным и благородным. Надо уважать права другого на это же самое, в особенности между людьми, давно друг друга знающими и кое-чем друг другу обязанными. Ведь я думал, что Вы способны защитить меня от клеветы. Когда про Вас после Вашей театральной катастрофы рассказывали мне прямо бесчестные вещи, я им не только не верил, но я помог Вам, когда Вас все оставили, не исключая московских купцов. Почему же Вы поверили тем мерзостям, о которых Вам рассказывают „верные" люди? Потому, что иначе Вам трудно было выйти из „Нового Времени" и стать во главе новой газеты, которая хочет воспользоваться моментом и отнять у „Нового Времени" занятое им положение. Но не проще ли было бы, если бы Вы прямо сказали, что условия, Вам предложенные, лучше тех, которые Вы имеете у меня, что самостоятельность соблазнительна и проч. Да у меня язык бы не повернулся Вас отговаривать, хотя Вы еще так недавно так горячо говорили мне о своей преданности и желании оставаться в „Новом Времени". Я очень хорошо понимаю стремление к независимости. Но Вы непременно хотите выйти из газеты, опираясь на клевету, как на меч, поднятый над моей головой. Если бы Вы были злой человек, я понял бы это. Но я помню наше объяснение по поводу фельетона Буренина. Вы кричали, ругались, и я кричал. Мы оба выходили из себя и, накричавшись, стали говорить мирно. Злые люди так не делают. Вы ни Буренина не убили, ни меня. Зачем же теперь Вы хотите меня убивать, выходя с мечом клеветы? Для кого это, кому Вы хотите угодить? Кто Вам поставил

А. С. Суворин. 1879 г.



Газетный киоск контрагентства А. С. Суворина на Варшавском вокзале в Петербурге





НОВОЕ ВРЕМЯ

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНІ



Император Александр II



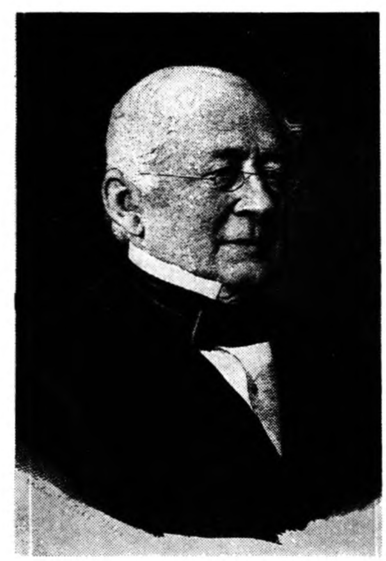
Княгиня Юрьевская



Александр III с семьей в Ливадии. 1893 г.



А. А. Абаза



А. М. Горчаков



Д. А. Милютин



М. Д. Скобелев



Э. И. Тотлебен



К. П. Победоносцев

Цесаревич Николай Александрович



Матильда Кшесинская



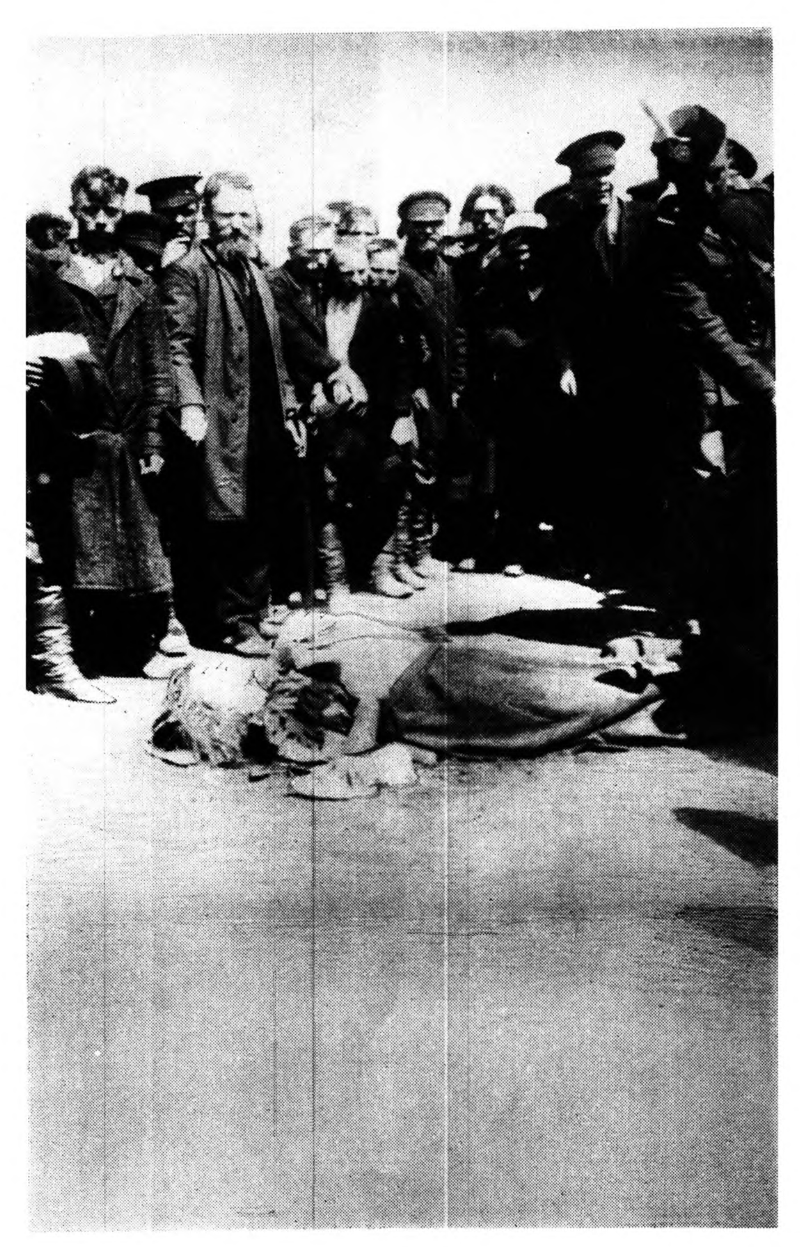
Цесаревич Николай Александрович с невестой Александрой Федоровной (слева) и ее сестрой Елизаветой Федоровной



Коронация Николая II в Кремле



Ходынское поле перед трагедией



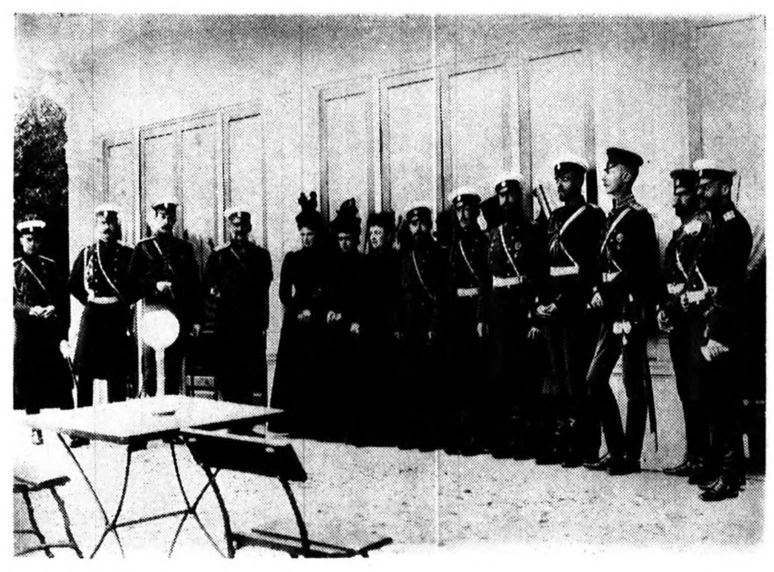
Жертвы Ходынки

Великий князь Сергей Александрович





Николай II (стоит слева) с великим князем Сергеем Александровичем (сидит справа) и его женой Елизаветой Федоровной (сидит вторая слева)



Николай II с членами царской семьи. Слева направо: Андрей Владимирович, Петр Николаевич, Павел и Владимир Александровичи, императрица Александра Федоровна, Елена Владимировна, Мария Павловна, Николай II, Петр Александрович, принц Ольденбургский, Константин Константинович, Сергей Михайлович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович



Великий князь Михаил Николаевич

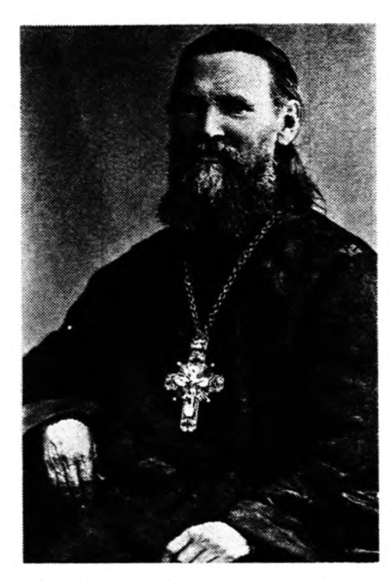


Великий князь Алексей Александрович





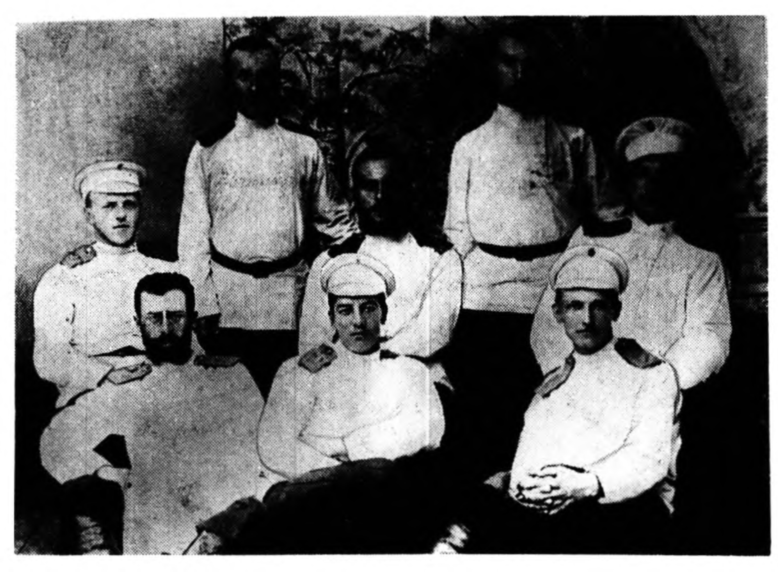
С.Ю.Витте



Отец Иоанн Кронштадтский



Студенты в тюремной камере. 1902 г.



Группа студентов, отданных в солдаты за участие в студенческом движении



Ссыльные по дороге в Сибирь. 1902 г.



З. П. Рожественский



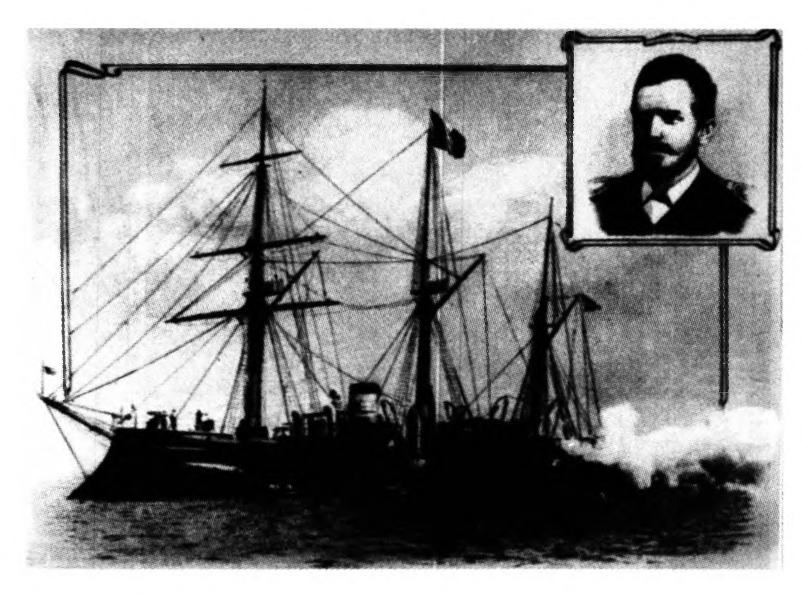
Е. И. Алексеев



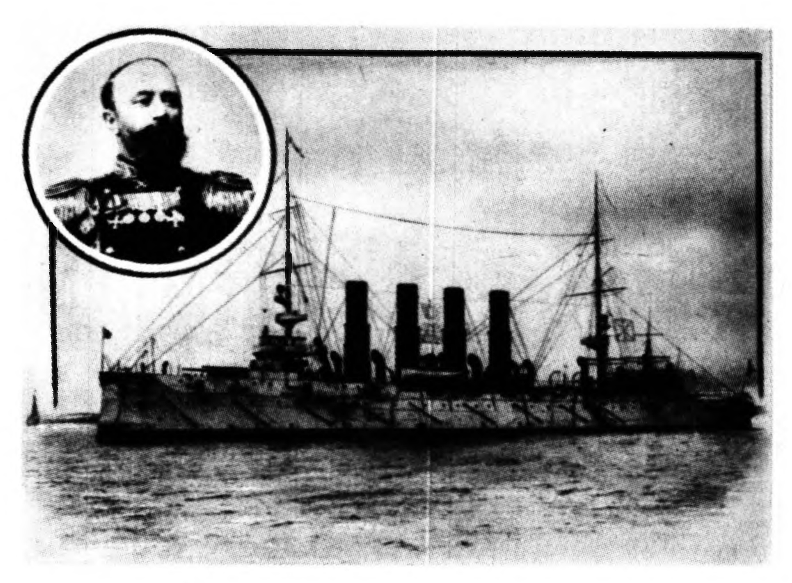
А. М. Стессель



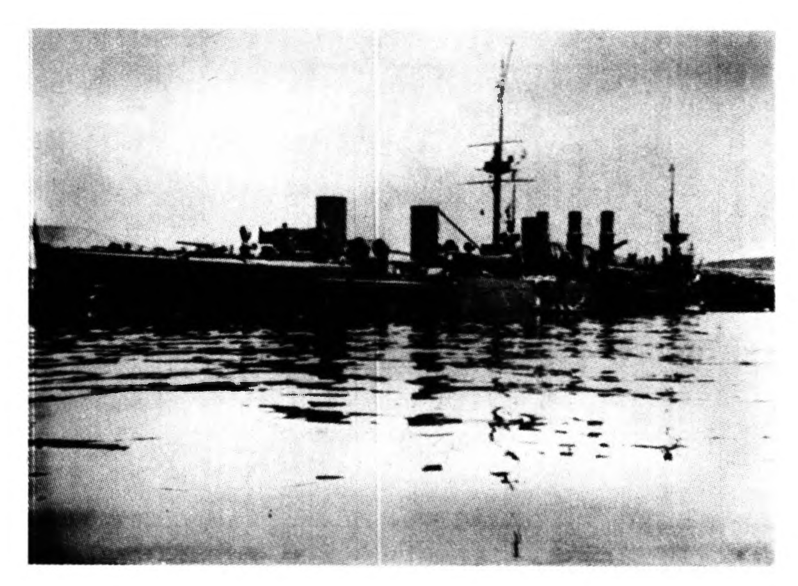
А. Н. Куропаткин



Канонерская лодка „Кореец“

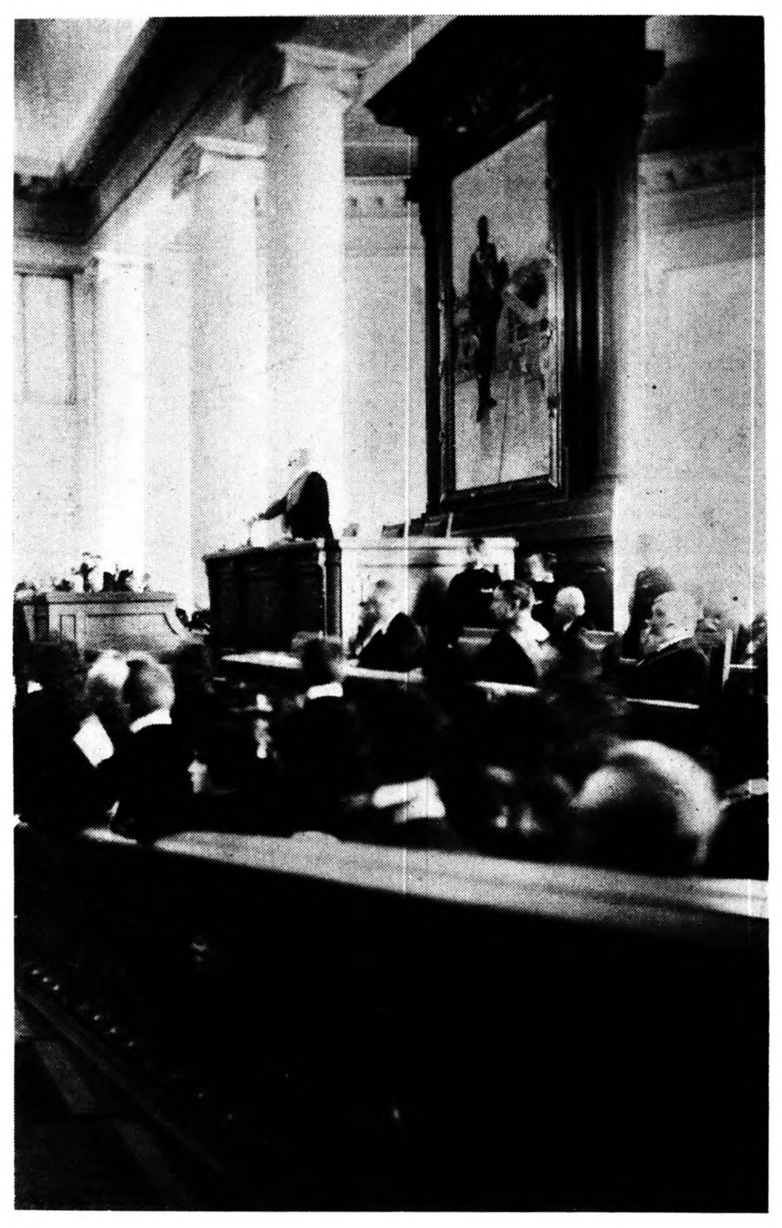


Крейсер „Варяг“



Крейсер „Новик“

Оборона Порт-Артура



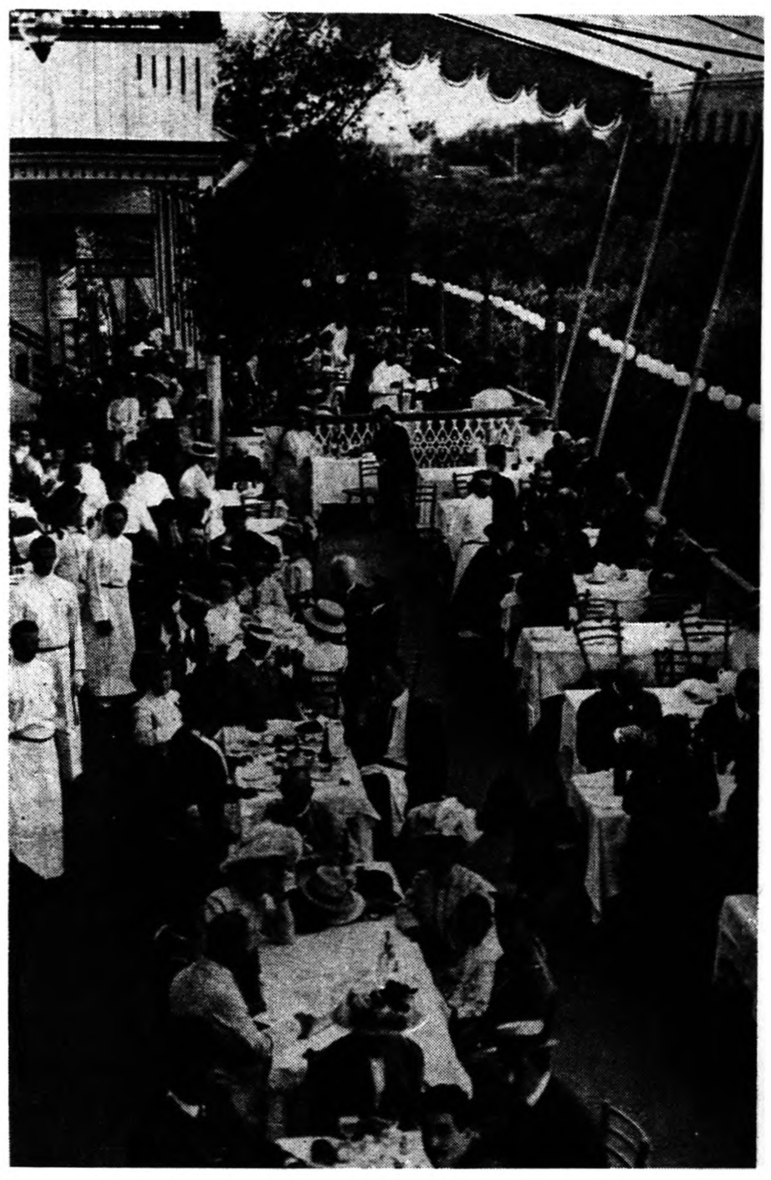
Заседание I Государственной думы. 1906 г.



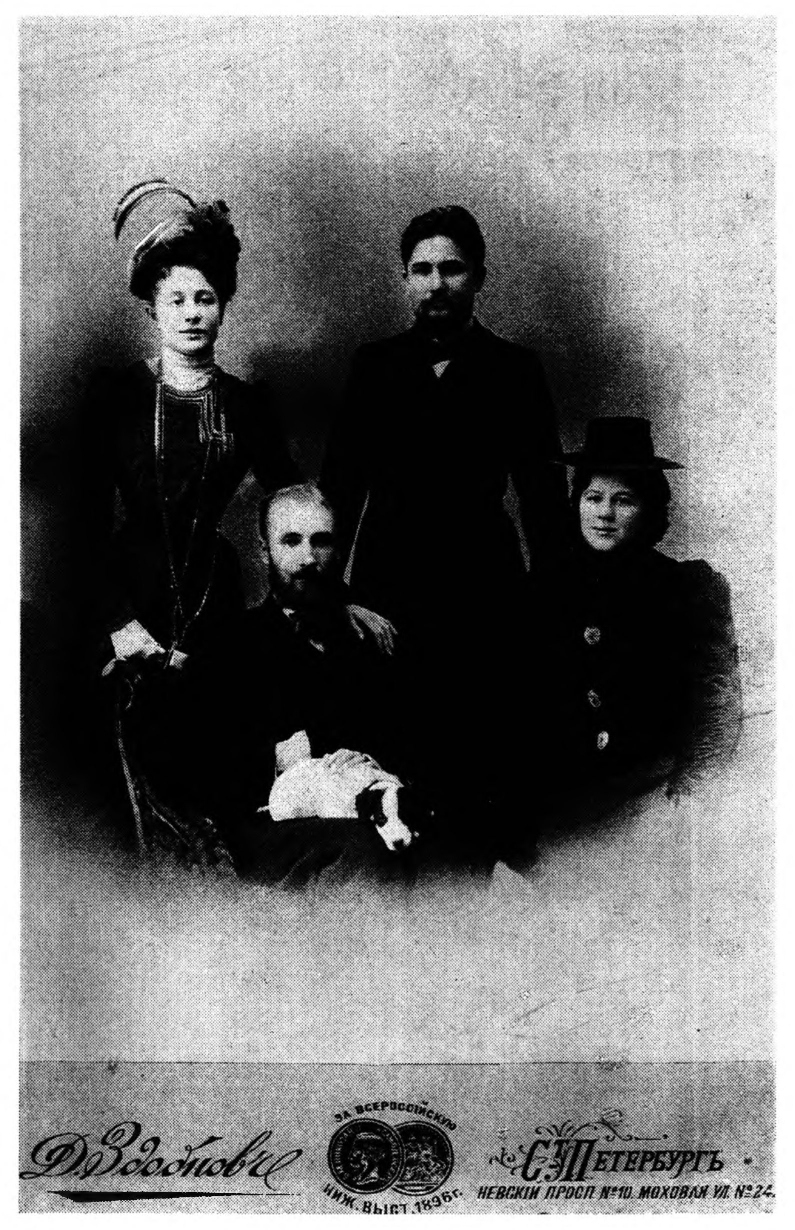
Петербург. Невский проспект



Москва. Камергерский переулок



Москва. Воскресный день в парке „Сокольники“



Л. Б. Яворская (стоит) с князем В. В. Барятинским и Т. Л. Щепкиной-Куперник (сидят)



Петербург. Суворинский театр



О. Г. Гуриэлли



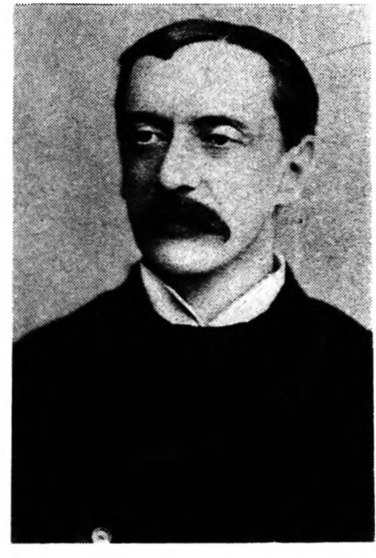
П. Н. Орленев



Петербург. Александринский театр



М. П. Писарев



И. А. Всеволожский



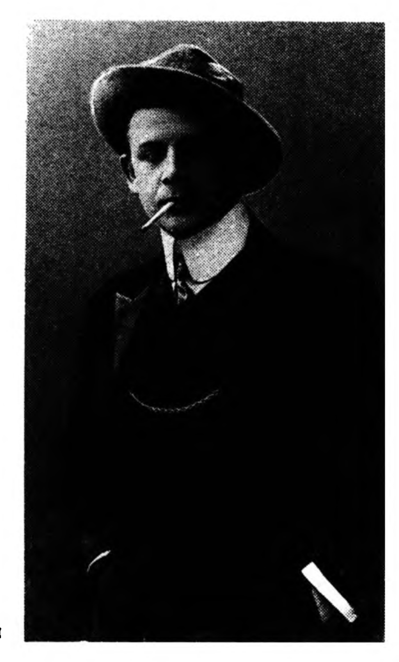
П. А. Стрепетова и Е. Г. Стремлянинова в спектакле „Каширская старина". Александринский театр



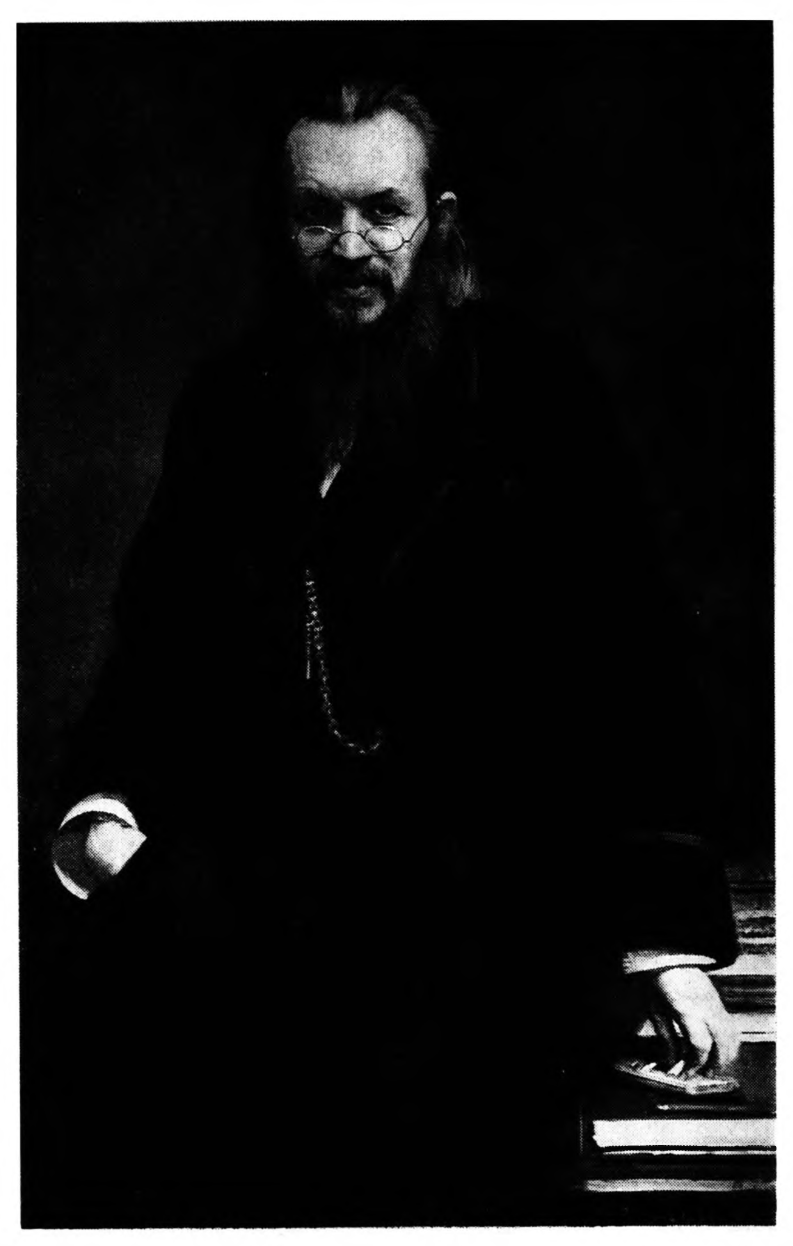
М.Г.Савина



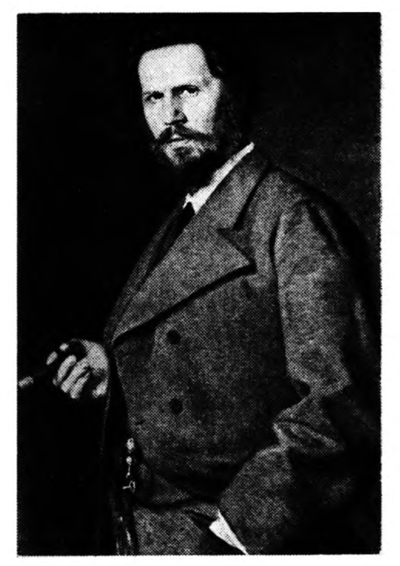
Сцена из спектакля по пьесе А.С.Суворина „Он в отставке". Александринский театр. 1893 г.



П.М.Садовский



Портрет А.С.Суворина (художник И.Н. Крамской)

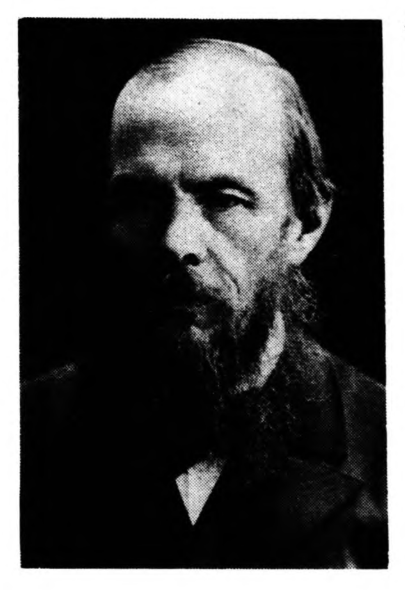


И. Н. Крамской



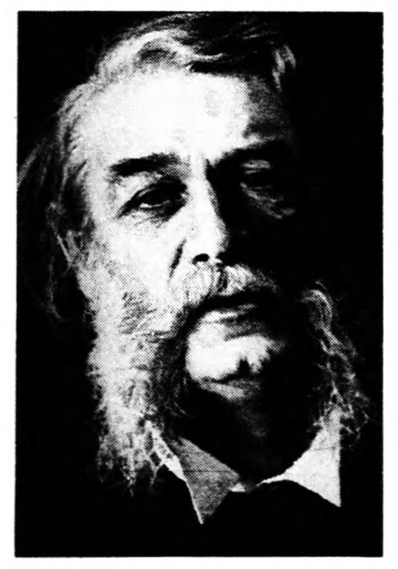
И. К. Айвазовский

И. Е. Репин, В. И. Суриков, К. А. Коровин, В. А. Серов, М. М. Антокольский в гостях у С. И. Мамонтова

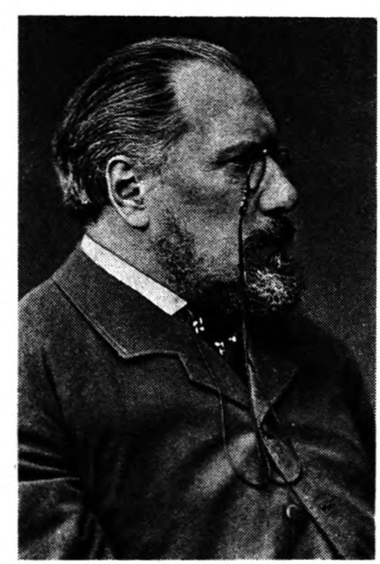


Ф. М. Достоевский

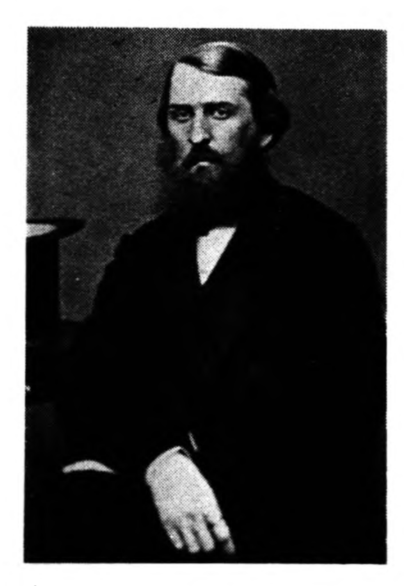
Столовая в квартире Достоевских



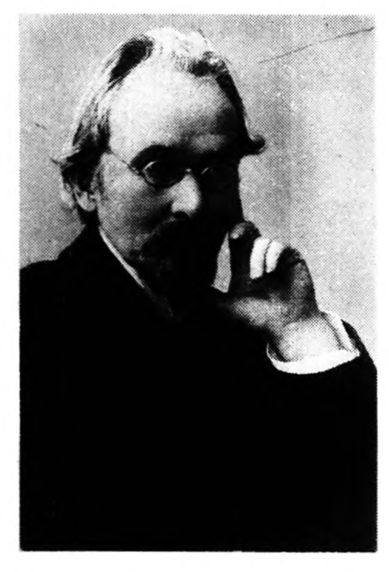
Д. В. Григорович



Н. С. Лесков



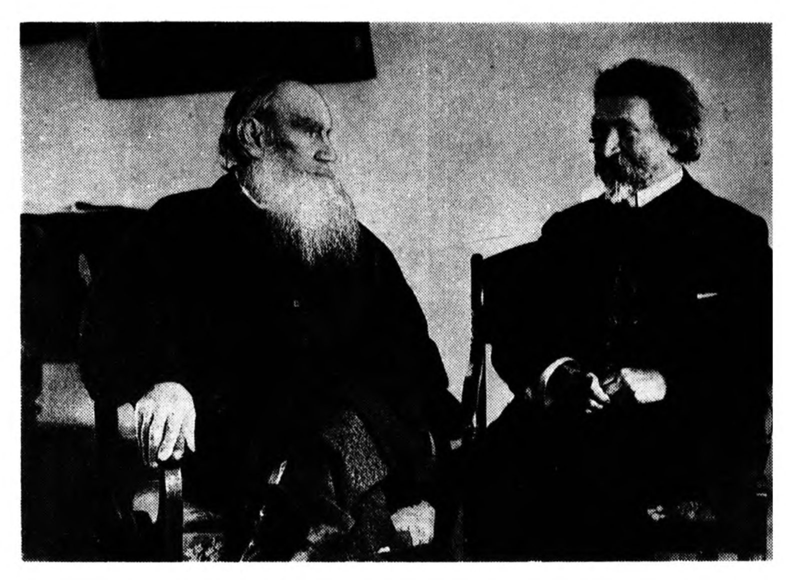
А. Н. Плещеев



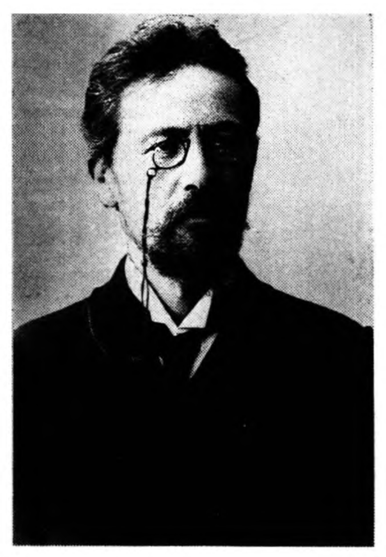
В. В. Розанов



Л. Н. Толстой с издателем В. Г. Чертковым



Л. Н. Толстой и И. Е. Репин в Ясной Поляне. 1908 г.



А. П. Чехов



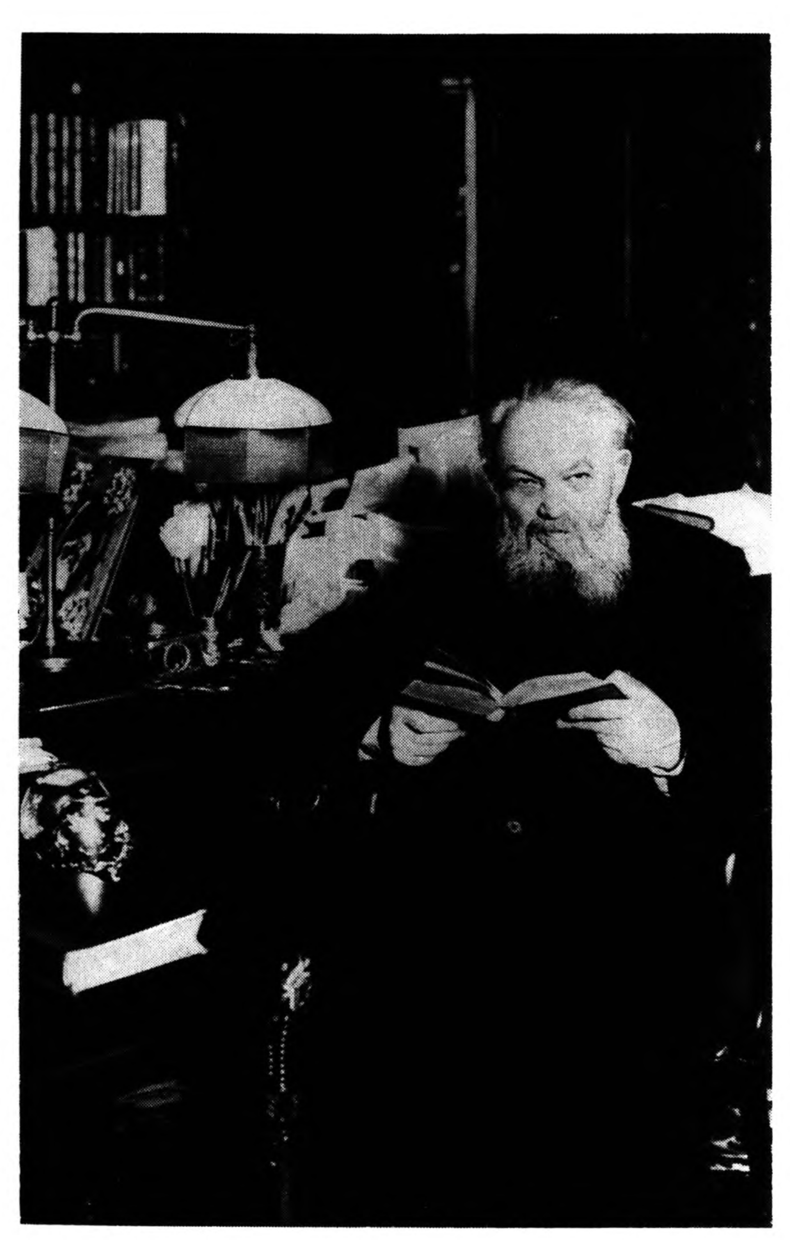
О. Л. Книппер



А. П. Чехов читает „Чайку“ артистам Художественного театра. 1898 г.



С. П. Дягилев



А. С. Суворин

такие ужасные условия? Ведь Вы даже не объяснились со мною, не пришли ко мне и не сказали, что я Вас обвиняю в том-то и том-то. Кто же так поступает, скажите пожалуйста! В застенках так не поступают. Вы меня страшно обидели, и это подавило меня больше, чем самая клевета. Я знаю, что благодарность — порок, но я не знал, что клевета — добродетель. Чего Вы обещали мне, как милость великую, не говорить против меня? Ведь, выйдя из газеты с таким оружием, Вы невольно должны за него держаться и поддерживать клевету всеми зависящими от Вас мерами, как свое достоинство, свою честь. Разве и там Вам пришла бы в голову такая „милость"? Вы должны были бы знать, что я ее отшвырну от себя. Вы хотели обидеть еще и этим: „Никогда ни словом не выступлю против Вас", чтоб больше было обиды. Знаете ли, что меня утешает? Меня утешает только то, что люди, так поступающие, как Вы, в глубине души своей чувствуют себя скверно. Выругать хозяина, которому задолжал, обидеть хозяина смертельно, которому обязан, чтоб перейти к другому, — это русская черта, одна из самых худших. Я переменил дважды хозяев, но так не поступал. Прощайте.

А.Суворин".

—

Написал Витте:

„Многоуважаемый Сергей Юльевич, мне всегда казалось, что Вы принимали во мне некоторое участие, и, когда я обращался к Вам, я обращался не как к министру, а как к умному и талантливому человеку. Так было и 11 марта, когда я был у Вас и говорил с Вами о студенческих волнениях и полемике против меня и „Нового Времени". Не знаю наверное, кому я обязан циркуляром Главного управления по делам печати от 17 марта, запретившим эту полемику как раз в то время, когда события университетской жизни доказывали, что я был прав. Но этот циркуляр доводит меня до полного отчаяния. Мои противники пустили очень искусно в ход клевету, что я его выпросил у министра внутренних дел. Позвольте

препроводить Вам копию с моего письма к министру И.Л. Горемыкину. Я пойду и далее. Я употреблю все средства, для того чтобы вывести наружу правду. Я обращусь к государю, но я не оставлю клевету ей самой. Я вначале не обратил на нее внимания. Но нашлись ловкие люди, которые захотели ею воспользоваться во что бы то ни стало и всякими клеветническими средствами. Я пока думаю: бог не выдаст, свинья не съест. А выдаст — значит, так и надо, так и следует по делам моим, чтоб свинья съела".

—

Писал письма Горемыкину, Витте и т.д. Такое дурацкое положение с этой клеветой. Не все ли, в сущности, равно, клевещут или нет? Когда на меня не клеветали? Когда мне отдавали должное. Вот Савина теперь со своей труппой в Берлине играла „Татьяну Репину". Газеты отдают должное и пьесе. А у нас только ругали с „видом знатока", а главное, завистники. Сам В.А.Крылов написал о ней прямо ругательный фельетон в „Новостях" с выражением даже своего удивления, что дирекция императорских театров ставит пьесу автора, который так много ругал дирекцию.

—

В университете сегодня экзамены. Приглашаются группами, с билетами. Первая группа 1-го курса в 100 человек. Пришли только 17. Экзаменатор Георгиевский — политическая экономия. Когда он сел, встал один студент и сказал, что студенты решили добиваться правды и до тех пор не слушать лекций и не экзаменоваться, „а кто придет на экзамен, те подлецы". Затем встал другой и обругал профессора матерными словами. Их схватили и увели. Остальные экзаменовались. В городе стали говорить, что профессора прибили.

—

Царь сказал, что жалеет, что даже Боголепова не послушался прежде 20 февраля, ибо лучше тогда было принять строгие меры, чем теперь, что он очень жалеет, что его впутали в это дело. „Один Суворин говорил правду". Другие прибавляют, что будто царь сказал, что „перед ним и общество и я виноваты".

—

Послал Вл.Ив.Ковалевскому такое письмо:

„Многоуважаемый Владимир Иванович. Амфитеатров говорил моему сыну, Ал.Ал–чу, в прошлую субботу, что Вы слышали из „верного источника" о том, что я выпросил у министра внутренних дел циркуляр от 17 марта, которым запрещена полемика между „Новым Временем" и другими газетами по вопросу о волнениях учащейся молодежи. Амфитеатров говорил, что слышал это от Вас самих. Вы можете себе представить, как я обрадовался, что наконец я могу узнать тот „коренной источник", из которого потекла клевета на меня самая позорная. Я ни у кого не просил об этом циркуляре, никому я не писал „Маленьких писем", никого не уполномочивал за себя хлопотать, единственное административное лицо, у которого я был с ноября 1898 года вплоть до самого получения циркуляра 17 марта, был С.Ю.Витте; 11 марта я сидел у него вечером, но ни о чем его не просил. Да Вы сами хорошо знаете, что С.Ю.Витте скорее мог дать мне департамент в Министерстве финансов, чем циркуляр из Министерства внутренних дел. Значит, не он этот „верный источник". Если Вы могли сказать Амфитеатрову так положительно о нем, то можете сказать и мне. У меня вся душа изболела от этой клеветы, которой несколько дней я не придавал никакого значения. Будьте добры, скажите, кто это? Я Вам дам честное слово, что Вас не назову и это останется между нами. Вы должны сказать. В моей жизни были ошибки, но такой никогда, никогда, никогда.

Уважающий Вас А.Суворин".

Далее письмо Соловьеву:

„Многоуважаемый Михаил Петрович, препровождаю Вам для сведения копию с письма моего к министру внутренних дел. Дело о циркуляре 17 марта так разрослось, что я не могу ничего предпринять для своей защиты, кроме этого письма, в котором излагаю свою просьбу.

Искренне Вас уважающий А.Суворин".

31 марта.

Ездил на заседание Пушкинской комиссии. Ничего интересного. Скучно и вяло. Говорили о памятнике Пушкину, о сборах на него „Новым Временем". Я сказал великому князю, что можно собрать 50 тысяч в несколько месяцев.

— Без думских? — спросил он.

— Без думских.

Витте предлагал что-то в пользу того, чтоб Комитет по сбору пожертвований состоялся у меня при обществе из разных представителей литературы, искусства и музыки. Я сказал, что желаю остаться при своем и буду собирать и ничего больше.

У П.Н.Исакова я спросил, получил ли он мое письмо. „Получил, начал ответ писать". — „Благодарю Вас".

Разговаривал с академиками о том, что у нас без шуму ничего нельзя сказать. Перед началом заседания Витте все ходил с графом Голенищевым-Кутузовым. Он был бледен и озабочен.

—

Вчера было экзаменующихся в университете человек 30. Старший курс будет экзаменоваться в гимназиях, для чего некоторые гимназии дали свои залы. Вчера говорили, что сегодня или завтра будет манифестация.

Молодость обнаруживает силу. Деятельная часть прибегает ко всем средствам. В Киеве анонимные письма к студентам и их женам, списки нежелающих забастовки выставляются на дверях и расклеиваются во все уголки заведения, чтоб на них смотрели, как на прокаженных. Инородцы — вот деятельный элемент.

Экзаменовалось в университете человек 5—7. Полиция на экзамене присутствует. Забрано в манифестации несколько сот студентов. Говорят, что 400—500. И потом развозили: на дрожках городовой и студент. Стоявшие на мосту студенты подбегали к дрожкам, спрашивали фамилию увозимого и отходили. Был совет у Горемыкина. Говорят, Витте за строгие меры. Просвещенное самодержавие почти два месяца борется с правительством.

1 апреля.

Гессе говорил на днях о том, что государь хвалил меня за статьи. У Саблера разговор обо мне. Митрополит Антоний интересовался мною.

Амфитеатров забрал вперед — тысяч 20 и улизнул, прикрывшись благородством.

—

Послал еще письмо Витте:

„Как Вы обо мне думаете, я никогда не мог определить для себя самого. Но я о Вас неизменно думаю, что Вы самый талантливый и умный из администраторов не только настоящего времени. Я хотел Вам сказать, что я чувствовал молодежь, всем говорил против привлечения государя к разбору дела между нею и полицией. Но я все-таки не знал ее. Она оказалась упорнее, чем я мог предполагать. Когда я был у Вас 11 марта, встревоженный и усталый от борьбы, которая досталась на мою долю, я слышал от Вас, что дело это такое, что через две недели все войдет в колею. Оказалось, нет. 17 марта нам запретили полемику о беспорядках и стали распространять слух, что я выпросил циркуляр. В Союзе писателей поднялся целый бунт против меня, хотели судить мою деятельность. Амфитеатров воспользовался этим слухом и вышел из газеты, даже не увидевшись со мною. Московские купцы хотят организовать „Народ“ при помощи Министерства финансов. Довольно странная компания: Амфитеатров, Ковалевский, Мамонтов, Морозов. Амфитеатров поступил как человек неблагодарный. Нечего говорить, что я ни при чем в циркуляре 17 марта. Хотело ли спасать

меня правительство или нет — я этого не знаю. Знаю только, что оно меня оставило 25 дней совершенно одного и начало спасать, когда я нимало не нуждался в его спасательных инструментах. Вы говорили о просвещенном самодержавии, о земстве и проч. А на самом деле против всякого самодержавия общество недовольное, изверившееся, революционизированное чуть не со времени убийства Павла. Если ближе присмотреться к истории, то ряд революционных вспышек окажется почти непрерывным. То, что я вижу и наблюдаю теперь, — это бессилие правительства против кучки нигилистов. Что оно будет делать против обструкций общества, которые и теперь, и были во время нигилизма. Общество каких-нибудь 30—40 энергичных людей боролось против полиции, жандармерии и убило императора. Весьма возможно, что обостренная молодежь пойдет дальше и станет отказываться от воинской повинности. Не могли же сладить с духоборами и допустили их переселение, точно для того, чтобы очистить самодержавную землю. Истинно преданных самодержавию очень немного. Народ, нечего сказать, ибо движение идет из столиц и городов, и либерализм овладевает всеми. Тут крутыми мерами ровно ничего не сделаешь. Надо что-нибудь поднимающее дух".

—

Писал Исакову:

„Петр Николаевич. Получив Ваше письмо, спешу Вас уведомить, что я совершенно не понимаю, почему Комитет Союза так долго надо мною издевается. С 17 марта до 1 апреля он занимался тем, что давал возможность распространиться самой подлой клевете на меня, которая все время держала меня в нервном, напряженном состоянии. Я наконец написал Вам 29 марта и просил уведомить меня о тех махинациях членов Союза и Комитета, о которых приходили ко мне известия из частных источников. Вы теперь отрицаете, что в Союзе и в Комитете говорилось о клевете относительно циркуляра 17 марта. А я знаю, что говорилось, именно 19 марта, и только это меня и возмущало. Вы уведомляете меня теперь, что

17 марта вы предали меня суду чести, а 19 марта допустили публичный скандал, устроенный мне и г-ном Филипповым, и г-жой Назарьевой из побуждений, которые легко было бы Вам извинить, если бы Вы прочитали их письма, как составленные „Не сообразно со смыслом параграфа 30 устава". Из этого выходит, что Вы и Ваш Комитет даже смысла параграфа 30 устава не понимаете. Ваше это сознание поистине замечательно, ибо оно показывает, что Вы предали меня суду чести, не понимая устава. Получив мое письмо от 29 марта с просьбою ускорить „суд чести", Вы постановили 30-го или 31-го марта в другой раз предать меня суду чести. Эти два „предания" несомненно доказывают, что, во всяком случае, Вы и суд чести понимаете этот параграф каждый по-своему или по обстоятельствам. Для меня это совсем неожиданно, а потому спешу Вас предупредить, что мне, может быть, придется поискать путь к его разъяснению, по крайней мере, через консультацию юристов. Вы говорили, что „мнения и предположения отдельных членов Союза не подлежат критике, поскольку они высказываются частным образом, и совершенно свободны". Но ведь эти мнения и предположения, высказанные публично в стенах этой залы, где только что прервано было заседание и где устроен был скандал, явно заранее приготовленный. Вы говорили, что „мне предстоит еще скандал в общем собрании, имеющем установить весьма определенный взгляд Комитета на подобного рода действия" как действия г-на Филиппова и его собратьев. Но что всего удивительнее в Вашем письме — это обязательный совет мне „возбудить перед судом чести частное обвинение против г-на Филиппова", которому пришла охота выкрикивать против меня гадости и распространять их в публике или литературных кругах. Мне передавали, что было. Если это так, что, очевидно, подтасованное большинство может делать все что ему угодно, имея заручку в Комитете. Вы, очевидно, полагаете, что когда в залах Союза устраивают мне скандалы, то для прекращения я могу возбуждать процессы против скандалиста. Вы заканчиваете: „Из вышеприведенного Вы изволите усмотреть, что Комитет Союза по своей обязанности был на стороне

чести и достоинства как учреждения, так и каждого из его членов" и проч. Нет, я усмотреть не изволю, выражаясь Вашим слогом. Я усматриваю совсем другое, как, надеюсь, усмотрит и всякий непредупрежденный человек. Я усматриваю нечто такое, что не дозволяет мне оставаться в этом учреждении и дозволяет перенести это дело на суд публики.

На мое письмо от 29 марта Вы отвечали мне письмом от 31 марта, которое я получил 1 апреля. 30 марта, встретив Вас в Высочайше учрежденной Пушкинской комиссии в Академии Наук, я спросил Вас, получили ли Вы мое письмо. Вы отвечали, что получили и что начали писать ответ. Из Вашего письма от 31 марта несомненно следует, что Вы писали его 31 марта, а не 30-го; ясно также, что, получив мое письмо, где я просил Вас ускорить судом чести, Вы собрали Комитет, прочли мое письмо и постановили предать меня суду чести в другой раз. В первый раз, по Вашим словам, Вы судили меня 17 марта, чему я мало верю, ибо постановление о том состоялось 19 марта после скандала, устроенного Филипповым. Это говорил кн. Ухтомский В.П.Буренину и М.А.Суворину и прибавил, что он того постановления не подписал. Кто-нибудь тут говорит неправду. Вы теперь отрицаете клевету насчет циркуляра. Об ней не было „суждения". Я имею основание в этом сомневаться. Клевета вышла не только из заседания Союза писателей, но и из Комитета Союза. С 19 марта по 1 апреля члены Союза весьма деятельно распространяли ее, и в печати являлись намеки на меня".

3 апреля.

Получил обвинительный акт из суда чести как отделения Союза писателей.

Ответил так:

„Г. непременный член суда чести при Союзе взаимопомощи русских писателей, уведомляю Вас, что не имею ни малейшей причины к отводу кого-либо из судей чести и их кандидатов. Но я имею все причины отвести ту полемическую статейку, которую Вы мне прислали в качестве не то обвинительного акта, не то насмешки над здравым смыслом и уставом Союза писателей. Об этом

завтра я напишу в Комитет, если позволит мне состояние моего здоровья.

А.Суворин".

—

По поводу этого пришлось обратиться письменно к Исакову.

„М.Г.Петр Николаевич, я получил от непременного члена суда чести выписку из журнала Комитета Союза взаимопомощи русских писателей. Этот документ есть не что иное, как полемическая статейка по шаблонному образцу статеек подобного рода, с тенденциозным подбором отдельных фраз из четырех моих статей без всякой связи с предыдущим и последующим, с навязыванием мне того, чего я не говорил, и с тщательным убеганием от главного предмета — стачки молодежи, о которой я только и говорил. Я такому документу могу удивляться, но принимать его серьезно не могу, когда идет дело о вопросе крайне серьезном. Стоит только вырванные фразы поставить в мои статьи на свое место, и документ этот окажется совершенно бесполезным. Тем менее могу я серьезно его принять теперь, когда молодежь так страшно платит за свои увлечения, за свою непосильную борьбу, от которой я ее предостерегал, принимая на себя за это удары не только от нее — что очень естественно, — но и от тех, которые спокойно сидели в своих кабинетах и платонически желали ей победы, не шевеля для того и пальцем, если не считать всяческую брань по моему адресу, точно во всем виноват я".

—

Сегодня в заседании в присутствии нескольких художников (Вилье, Бруни и др. — 5 человек) я наговорил Исакову невероятных вещей. Я был просто в бешенстве и вылил на него все, что у меня накипело. Я назвал его „нулем, ничтожеством в литературе", „прихвостнем радикальной партии", „Сен-Жюстом в комитете du salut

public"* и черт знает чего еще. Я говорил, что он должен был бы сложить с себя чин действительного статского советника, если он хочет действовать в союзе с этой партией. Я говорил, что правительство не стоит никакой поддержки, что оно глупо, нелепо, бесхарактерно и что не ради него я писал свои статьи, а ради царя, на шею которого взвалили полицейское столкновение со студентами, и ради молодежи, которая, вижу, как гибнет, и до чего ее это все довело. Исаков старался не потерять спокойствия, выбегал и возвращался и стал около меня просто лебезить. Он уверял, что заступался за меня, что спорил с членами Комитета, что судьи чести все честные люди, что необходимо наконец разобраться в этой сутолоке и проч. в том же роде.

Через час художник Вилье встретил меня в магазине и сказал: „Ну поговори Вы со мной, как с Исаковым, я бы Вас отдул". — „Да и я бы то же сделал". Но вот подите!..

4 апреля.

Уведомил суд чести, что откладывать не желаю.

8 апреля.

Шильдер рассказывал, что будто царь был у умирающего Нарышкина. У него сидели еще трое его друзей. Они хотели уходить. Но царь их оставил. Нарышкин обратился к царю с просьбой исполнить его предсмертное желание. Царь, ничего не подозревая, согласился.

— Увольте Горемыкина. Этот человек не любит Вас и губит Вашу династию.

Понятно, как царь был сконфужен. Горемыкин именно ничего не понимает. Пока он в министрах, будет готовиться революционное движение.

9 апреля.

Была Савина из Берлина, в восторге от своей поездки. Хитро посоветовала не давать „Татьяну Репину" в бенефис вторых артистов на Святой ввиду возможного скандала. Я согласился. Я достаточно сыт.

---

*Общественного спасения *(франц.)*.

—

Вечером 3 часа сидел инспектор Института путей сообщения Брандт. Говорили о молодежи, о ее безвыходном положении. Он пришел предложить, чтоб все газеты написали такие статьи, за которые их бы запретили. Я ему сказал, что останутся правительственные газеты и „СПБ. Ведомости“ и явятся новые. Этим делу не поможешь. Молодежь должна покориться царю и больше ничего. Тут не может быть другого решения. Она могла бунтовать против министров, совершенно ничтожных и нелепых, особенно против Горемыкина и Боголепова, но бунтовать против царя невозможно.

18 апреля.

Не писал долго, да и не надо. Все одно и то же. Я чувствую себя глубоко несчастным с теми противоречиями, которые чувствую и которых отогнать не могу. Писал все ответ суду чести и все им недоволен. Все не так. Писавши этот ответ, я чувствую, что не так следовало говорить, надо было говорить яснее, интереснее. Мы переживаем какое-то переходное время. Власть не чувствует под собою почвы, и она не стоит того, чтоб ее поддерживать. Беда в том, что общество слабо, общество ничтожно, и может произойти кавардак невероятный. Он нежелателен. Вчера я получил грубое и злое на себя стихотворение, и оно меня очень задело. Я сам не свой был в Александро-Невской лавре и на могиле детей. Меня утешают тем, что я власть и что как власть я должен терпеть. Черт с ней, с властью! Чары ее я никогда не ощущал, негде было и некогда. Вечно занят, вечно в родном кружке. Лесть мне всегда была неприятна, ибо я никогда не думал о себе высоко. В это время нападок на меня сколько раз я думал, что попал на высоту не по праву, и сколько раз я плакал у себя в кабинете и спальне.

—

Вчера Дягилев с каким-то господином пришел в 11 часов вечера к Буренину и сделал скандал за фельетон в прошлую пятницу. Буренин закричал, чтоб позвали швей-

царя, а Дягилев со своим чичероне бросился бежать вниз по лестнице.

—

Князю Ухтомскому.

Опричник царский, что ты мелешь?
Что шепчешь ты царю наедине,
Глаз на глаз? Что ему строчишь ты тайно,
Братаясь с радикалом пред царем?
Ты радикальничаешь точно так же ль?
Иль, дорожа подачками, ты лжешь
Ему, клевещешь, как лукавый раб
Иль выжига из княжеского рода.

23 апреля.

Полемика вышвыривания „Нового Времени" продолжается с аппетитом и с подходом очень либеральным, что несомненно на руку русскому обществу, которое совсем застыло. Меня самого к этому же влечет, и я не сочувствую порывам консерватизма, направленным против инородцев. Никогда я против них ничего не писал и ни к одной народности не питал вражды. Да и зачем? Можно поддерживать русское чувство, относясь к инородцам сочувственно и мило.

А.В.Никольский резок и прямолинеен, а это теперь не в пору.

Впрочем, все скоро кончится. Я не перейду в 1900 год наверное. 1899 будет последним моим годом. Когда несколько дней тому я думал, что умираю, я пожалел о жизни, но переход мне не показался страшен. Я хотел бы, чтоб только скорей.

Несомненно, от нас отстраняются. Арабажин, например, был у меня и просил заступиться за него. Но сам пишет в „Новостях".

Мне не нравится полемика Энгельгардта. Он неостроумен, тяжел, многословен. Полемика должна резать ножом остроумия или одушевления, иначе она — плохое дело.

—

Клевета относительно того, что я выпросил у министра циркуляр от 17 марта, очень распространилась и вредит мне больше всего. И тут ровно ничего сделать невозможно. Сегодня в „Revue Suisse“ прочел, что „Новое Время“ — одно против Дрейфуса, что оно „terriblement discrédité d'ailleurs“*. И во мне дух упал. Стар стал, уверенности нет, нет прежнего огня и силы. Я не могу выдержать всей этой травли, и она достигнет своей цели, если у нас не явятся свежие силы. А где они, где их взять? Подписка на памятник Пушкину только и радует. Она достигла вчера 24 000 рублей. Очень хорошо.

26 апреля.

В. П. Буренин сказал стихи свои, давно написанные Амфитеатрову:

Своей фамилии взамен
Ты кличку взял old gentleman;
Верней бы искренно и прямо
Назваться русской кличкой хама.

У Буренина, кажется, целый том наберется таких надписей к портретам. Чехов давно их собирал в особую тетрадку. Цела ли она у него?

—

„Россия“ Амфитеатрова выйдет 28-го. Я думаю, что успех ее несомненен. Коломнин говорил со слов присяжного поверенного, который писал договор, что московские купцы во главе с Мамонтовым подписались на 180 тысяч, но денег этих Амфитеатрову не дали, а желают поручить ведение хозяйства особому своему человеку.

—

Я писал Чехову. Послал ему свое объяснение суду чести. Он нашел его „маловыразительным“. И он прав.

*Ужасно дискредитировало себя *(франц.)*.

Оно маловыразительно, ибо не все в нем сказано. Я мог бы все сказать только людям, которые обратились бы ко мне прямо и честно. А людям, которые подошли ко мне с подходцами, я не могу этого сделать.

14 мая.

Сегодня 14 мая. День поистине проклятых воспоминаний. Семья сегодня переезжала на дачу в Павловск. Решено было, что я приеду позже, с 4-часовым поездом, так как утром я должен был поехать к Кондакову спросить, по просьбе Стасюлевича, насколько опасно положение Б.И.Утина, за здоровье которого опасались и у которого был Кошлаков. Я поехал в исходе девятого. Только что миновал я Александровскую колонну, как встречается мне Буренин на извозчике. Мы оба сошли с дрожек. Буренин был бледен, с измятым, расстроенным лицом.

— Вы ничего не знаете? — спросил он.

— Ничего. А что?

— Жохов убит.

Я был поражен. По лицу его я видел, что это не шутка, и не находил слов для выражения моего изумления и горя.

— Это ужасно, — продолжал Буренин. — Теперь ни за какие блага в мире не соглашусь быть секундантом. Тот момент, когда стреляли они, — это было что-то невообразимо страшное. Я слышал выстрел, потом видел, как Жохов упал, а вслед за ним Утин. Без памяти, как в чаду я бросился сначала к одному, потом к другому. С Утиным сделались конвульсии, он плакал и рыдал, как ребенок, как женщина в истерике.

— Боже мой! Боже мой! Бедный Жохов! Как же вы допустили до этого! Неужели нельзя было остановить их?

— Знать, сама судьба вмешалась в дело. Мы употребили все средства. Достали пистолеты самые простые, положили в них ползаряда, дистанция была 20 шагов, оба они не умели стрелять, и вот пуля попадает как раз в середину лба, в ленту шляпы, у краев, пробивает череп — и конец.

— Он умер?

— Нет. Но доктор сказал, что он умрет через несколько часов. Он совершенно в бессознательном состоянии. Доктор сказал, что у него поражены чувствительные нервы, и даже если он останется жить несколько дней — это бывает — то ничего не будет чувствовать.

— Где он теперь?

— В Петропавловской больнице.

Все это потрясло меня страшно. Мне жаль было бедного Жохова, и я кипел негодованием против этого позорного и подлого убийства, которое называется дуэлью. Как! Литераторы, представители интеллигенции, люди, преследующие дуэль смехом и сарказмом, доказывающие всю ее глупость, и те, как скоро им приходится на практике применить свои идеи, становятся офицерами, дуэлистами, подчиняются общему предрассудку, входят в священные права дуэлей, хранят тайну, заряжают пистолеты, отсчитывают шаги и смотрят, как люди убивают друг друга. И у них недостает смелости растоптать гнусный предрассудок, посмеяться над ним на самом месте поединка, обратить торжественную обстановку в посмешище, в балаганную пошлость, разбить пистолеты в глазах противников, стоящих друг против друга, и послать их ко всем чертям! Нет, не хватает такого мужества, и они идут за толпою, и толпа становится выше их и преследует их своим праведным смехом и негодованием, чтоб потом, в свою очередь, отделить от себя ратников на такое же печальное дело! И так долго еще будет. Жохов — не последняя жертва этой расправы!

—

Еще о Жохове, убитом Угиным.

Жохов ночевал у Ватсона и целую ночь не спал; он попросил себе бумаги и писал письмо. Дорогою он то истерично плакал, то смеялся, нападая на условия дуэли, определявшие расстояние между противниками в 20 шагов: он боялся, что из этого выйдет комедия, и умолял Ватсона стоять на том, чтобы сократить расстояние. Во время поединка он поверил шаги, отмеренные Бурениным.

Ватсон сказал: „Весь трагизм тут в том, что Жохов оскорблен и убит“. А разве это редко случается? Разве исход дуэли — суд Божий, а не случайность или искусство стрелка?

Мне говорят многие: „Я понимаю дуэль в важных случаях, в исключительных, но не из-за вздора, — признаюсь“. Вот в этом-то и беда, что вы признаете все-таки ее. А вы не признавайте и в важных случаях — тогда она не будет иметь места в случаях пустых.

Секунданты, в виде утешения братьям Жохова, сказали, что и Утин ранен, потому брат Жохова и сказал мне: „Обе пули попали случайно“.

По рассказу де Роберти:

Утин сильно позировал и вел себя как человек, знакомый с условиями дуэли. Он явился весь в черном и стал вполоборота, как обыкновенно становятся, чтобы дать противнику менее прицела, сплошной цвет одежд также необходим для того, чтобы дать менее прицела противнику: белая рубашка, цветной жилет, цепочка от часов, цветные брюки — все это может служить целью, в которую противник направит дуло пистолета. Жохов ни о чем подобном не заботился. Для него, очевидно, дуэль была существенным делом, вопросом жизни и смерти; он подчинился предрассудку с серьезной решимостью, быть может, с верою в суд Божий. Об одежде, о внешности он нимало не беспокоился, несмотря на то что де Роберти просил его одеться, как следует. На нем был открытый жилет, светлые брюки, пиджак, застегнутый на одну пуговицу. Он снял пальто, в котором приехал, несмотря на то что секунданты его советовали ему не снимать. Утин же остался в пальто и, ссылаясь на то, что забыл пальто, подостлал себе под ноги плед: конечно, в предвидении падения, чтобы тельце его упало не на траву, а на плед.

Жохов никогда не стрелял и не умел ни держать пистолета, ни становиться полуоборотом; хотя его перед дуэлью учили этому, но он ничего не исполнил и стал прямо, выставив весь корпус en face*.

---

*Напротив *(франц.)*.

Ватсон подбежал к нему: „Станьте же, Жохов, как следует", но он не обратил на это никакого внимания. По слову „раз" Утин поднял пистолет по линии верно и умеючи, Жохов поднял его без правил, по своему соображению, как делает человек, отроду не обращавшийся с оружием. Перед дуэлью де Роберти подошел к Утину и спросил, не хочет ли он помириться. „На месте?" — сказал Утин, то есть, другими словами: „Теперь уже не время". Естественно, что Жохов на такой вопрос отвечал: „Нет, не хочу".

Опять с одной стороны позированье, принятие в соображение условий дуэли, мириться „на месте" — это, мол, последнее дело, тогда как Жохов отвечает прямо, руководясь единственно своим чувством.

Жохов написал запись такого содержания, что мы, мол, нижеподписавшиеся, вышли на дуэль из-за причины, которую не желаем объяснить и которая не вполне известна нашим секундантам, поверившим нам на слово, что причина эта достаточно важная для дуэли. Утин был настолько бестактен, что не подписал этой записи, не сделал своему противнику этой простой любезности, которая не могла иметь никаких последствий дурных, но хорошие имела бы. Ватсон объявил об этом отказе Утина уже в 5 часов перед самой дуэлью, и это очень оскорбило и огорчило Жохова. Наконец, Жохов, в ответ на письмо Утина, исполненное крайней бестактностью, в котором значилось даже, что Жохов сносился с Гончаровым, сидевшим в III Отделении, написал редакцию примирения в таком смысле, что Утин отрицает то обстоятельство, что будто бы Жохов стремился сослать Гончарова в Сибирь. Утин и на это не согласился. Секунданты решились не показывать этой записки Жохова, которая должна находиться у Неклюдова.

После ссоры со мной Жохов, говоря о клевете, распущенной на его счет Утиным, сказал: „Если бы Утин хоть немножко знал русские законы, то не стал бы говорить такого вздора насчет моего плана защиты, потому что за преступления Гончарова он, во всяком случае, по самому мягкому приговору, подлежал ссылке в Сибирь на поселение. Это же наказание освобождало Гончарову от брач-

ных уз. Стало быть, мне вовсе нечего было желать усиления наказания, если бы я и действительно стремился жениться на Гончаровой, чего, как всем известно, не было. Я с нею всего два раза виделся, и, напиши я ей теперь об этой утинской сплетне, она приехала бы сюда и вызвала бы на дуэль Утина. Не я своими планами убил Гончарова, а Утин своей бестактной и глупой защитой погубил его. Он выставил его, с одной стороны, жарким приверженцем коммуны, каким-то интернациональным революционером, а с другой — негодяем, позволяющим своему защитнику говорить о Гончаровой всякий вздор и пачкать ее имя. Радея о своей репутации, он, вероятно, хотел этим бесчестным говором обо мне покрыть неудачу своей защиты: вот, мол, был человек, который хотел погубить Гончарова, но я спас его от этой непрошенной помощи и убедил Гончарова отвергнуть союз Жохова с Гончаровой. Воображаю, что он говорил Гончарову: „Этот господин, которого я никогда не видал, но который был страшно ревнив, конечно, всему верил и видел в Утине и радикала, и даровитого защитника. А он — просто радикальный болтун и самолюбивый мальчишка, ищущий в радикализме репутации. Я все-таки скажу, что благодаря вмешательству Гончаровой и моему в это дело не были впутаны 20 человек, которые иначе разделили бы участь Гончарова".

—

С прошлого четверга ни слова. В прошлый четверг, когда я отказался от „последнего слова", которое мне предлагал Арсеньев в „суде чести", он мне написал, что сообщил суду мое письмо и что суд, вероятно, приступает к „рассмотрению дела по существу". Это было 6 мая. Сегодня 14-е, и ни слова.

Мне сегодня говорили, что Арсеньев и Спасович за меня, но остальные (?) рвут и мечут, собирают какие-то сведения и т.д. Кроме сплетен они ничего собрать не могут. Я пошлю завтра Арсеньеву вот какое письмо:

„М.Г. Константин Константинович.

3-го мая я представил свое показание суду чести, которое было тогда же перед ним прочитано. 6 мая на

Ваше предложение мне явиться в суд чести, чтобы воспользоваться „последним словом", я Вам отвечал, что не считаю это необходимым. Вы тотчас же мне отвечали, что прочли мое письмо суду чести, и что он, вероятно, приступит к рассмотрению дела по существу в этот же вечер 6 мая.

Сегодня 15 мая. Вы понимаете, что дело это для меня совсем не шутка. Ждать приговора больше недели — это очень тяжело, даже невыносимо в мои годы и после трех месяцев нервной, напряженной жизни. Согласитесь, что обвиняющим несравненно лучше, чем мне, как лучше прокурору, чем подсудимому. Врачи мне говорят о необходимости уехать уже давно. А я не могу. Я не знаю, что еще предстоит мне. Вы меня знаете как человека впечатлительного, и в 65 лет я, к сожалению, не потерял способности все принимать близко к сердцу и волноваться. Будьте добры, дайте мне возможность узнать, состоялось ли „рассмотрение по существу" и когда я могу получить что-нибудь определенное о моем деле. Мне думается, что я ждал довольно, и неизвестность становится мне прямо мучительной.

Примите уверение в моем искреннем почтении к Вам и преданности.

А.Суворин".

16 мая.

Сегодня передали приговор суда чести. Я успокоился. Признали „неправильными и крайне нежелательными некоторые приемы". Христос с ними! В этом кто из пишущих не виноват? Комитет Союза будет очень огорчен. Бедный глупец Кареев! Как он старался! Вероятно, вместе с Мякотиным и акт составлял. Что для Комитета неприятно — это единогласное решение. Нельзя будет говорить, что ко мне отнеслись пристрастно. Мой ответ Комитету послан был всем судьям.

—

Вчера от Григоровича письмо, очень горькое. Он, очевидно, не поправится. Собирается умирать приехать в Петербург.

17 мая.

Чехов сегодня пишет: „Я бы на Вашем месте роман написал. Вы бы теперь, если бы захотели, могли бы написать интересный роман, и притом большой. Благо купили имение, есть где уединиться и работать". Он бы на моем месте, конечно, написал. Но я на своем не напишу. Мне жизнь не ясна. Если б писать роман, надо было бы совсем особую форму, к которой я привык, с которой сжился. Форма фельетона, где можно было бы рассуждать от себя, как Пушкин делал это в „Евгении Онегине". В прозе надо роман вести для этого от героя. А эта форма не по мне.

Под влиянием слов Чехова я, было, раскрыл тетрадь. Подумал, подумал над белыми страницами — и положил тетрадь обратно в стол. Нет, трудно.

20 мая.

Приехал в Москву на пути в свою деревню. Накупил разной дряни для деревни больше чем на тысячу. Вечер у П.А.Ефремова. Ему 68 лет. Нездоровилось ему, но он встал. С 8 до 12 проговорили о Петербурге, больше о Пушкине. Сколько этот человек литературных фактов, слышанных им от разных лиц, унесет в могилу. Сколько раз я ему говорил, чтобы он записывал. „Не могу, — говорит. — Вот если б кто сидел в другой комнате и записал. Когда говоришь, одно сменяет другое, вспоминается невольно. А с пером в руке не знаешь, с чего начать". К моему сожалению, я запоминал и запоминаю печатное гораздо легче, чем слышанное. Слышанное сейчас уже забываешь. Вот кое-что, слышанное от Ефремова.

У Пушкина в „Дневнике" написано прозой об Уварове то, что он потом (1835 г.) написал стихами — „На выздоровление Лукулла". Николай I воспретил упоминать что-либо о стихах Пушкина и об Уварове, который управлял цензурою и Министерством народного просвещения 35 лет. Уваров послал анонимное письмо к Пушкину о рогоносцах. Конст. Петр. Долгоруков и князь Гагарин утверждали, что они не принимали в этом участия. Николай I велел Бенкендорфу предупредить дуэль. Гекерен был у Бенкендорфа. „Что делать мне теперь?" — сказал

он княгине Белосельской. — „А вы пошлите жандармов в другую сторону“. Убийцы Пушкина — Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров. Ефремов и выставил их портреты рядом на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский залепил их.

—

У Пушкина в „Дневнике“:

И перед новою столицей
Померкла старая Москва.

Слова же: „Главой поникнула Москва“ — сочинил Анненков. Как и Жуковский, Анненков сочинял за Пушкина, например, в кишиневских стихотворениях о Неаполе. Кое-что я вычитал в рукописях Пушкина и сам для себя списывал. Якушкин не мог разобрать.

—

Наталья Николаевна Пушкина виделась накануне дуэли с Дантесом, а Ланской караулил, чтоб Пушкин не приехал.

Кавалергарды все были против Пушкина. Мартынов — также кавалергард. Мария Ал. говорила автору истории кавалергардов: „Декабристы были хорошие и честные люди. А вот Филарет что хотел сделать? Он хотел скрыть завещание Александра“... Пушкин „подсвистывал“ Александру... Пушкин не говорил на смертном одре: „Если б я остался жив, я весь был бы его“. Когда Жуковского упрекали за эту фразу, он сказал: „Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей“.

—

Что за письмо привозил Арендт Пушкину от Николая? Пушкин прочел его и возвратил Арендту. Письмо до сих пор неизвестно.

—

Васильчиков о Лермонтове: „Если б его не убил Мартынов, то убил бы кто другой; ему все равно не сносить бы головы". Васильчиков в Английском клубе в Москве встретил Мартынова. В клуб надо было рекомендацию. Он спрашивает одного — умер, другого — нет. Кто-то ударяет по плечу. Обернулся — Мартынов. „Я тебя запишу". Взял его под руку, говорит: „Заступись, пожалуйста. А то в Петербурге какой-то Мартынов прямо убийцей меня называет". Ну, как не порадеть! Так и с Пушкиным поступали. Все кавалергарды были за Дантеса. Панчулидзеву Ефремов говорил: „Надо Вам рассыропить истóрию полка декабристами. А то ведь у вашего полка два убийцы — Дантес и Мартынов".

—

Ге для своей картины ездил в Михайловское. В Михайловском ничего не осталось, кроме одной комнаты, но и та с обвалившимся потолком.

—

Соболевский рассказывал, что виделся с Дантесом, долго говорил с ним и спросил: „Дело теперь прошлое, жил ли он с Пушкиной?" „Никакого нет сомнения", — отвечал тот.

—

Павел I собирался заточить свою жену в монастырь и объявить Николая Павловича и Михаила Павловича незаконными. Императрица жила с кем-то, и Николай показал на портрет ее любовника. Николай II показал Панчулидзеву все бумаги, удивлялся, что о смерти Павла I ничего не опубликовано. „Ведь когда-нибудь надо же об этом сказать". Говорят, в „Биографическом словаре" будто все рассказано.

9 июня.

Я в Никольском с 4 июня. 26 мая был в Петербурге. Пушкинский праздник. Говору было много, но одушевления мало. Я был только в Таврическом дворце на вечере, где давали маленькие оперы и процессию плохую устроили. 2-го был в Москве. Опять покупал для деревни. Несколько тысяч истратил. Покупал без толку. Чего надо не купил, накупив много лишнего. Третьего дня от Лели телеграмма: третейский суд, разбиравший его дело с Сигмой в связи с моим с Комитетом Союза писателей, решил в пользу их. Дело Комитета не выгорело. Писал Чехову. Спрашивал, выходить ли мне из Союза или нет. Читал „Россию". В ней есть что-то свободное и искреннее. „Новое время" заплесневело, замучено, серо. Так мне кажется, и думаю, что не ошибаюсь. Лучше бы не читать газет. Спокойнее гораздо. Ничего не знать, не делать сравнений.

—

Я поступил в корпус в Воронеже 15 ноября 1845 года, прошел два приготовительных и 4 общих класса, переходил ежегодно и принадлежал к 1-му выпуску. В августе 1851 года приехал в Петербург, в Дворянский полк, где было два специальных класса, по окончании которых выпускали в гвардию, артиллерию и пехоту. Меня выпустили в саперы. Я желал поступить в университет, занимался грамматикой по книжке Греча и подал прошение, что желаю выйти по болезни. Меня выпустили коллежским регистратором, вместе со мной вышел В.В.Марков, и он-то, в сущности, и увлек меня. В декабре 1853 года приехал в Коршево, где прожил 1854 и 1855 годы. В 1855 году жил летом у В.Я.Тулинова в Воронеже, готовился к экзамену в уездные учителя, выдержал и поступил учителем истории и географии в Бобровское уездное училище в этом же году. В 1857 году женился на Анне Ивановне Барановой. В августе 1859 года переехал в Воронеж на ту же должность. В июле 1861 года переехал в Москву, в „Русскую Речь", которая прекратилась с первым нумером на 1862 год. В декабре 1862 года пере-

хал в Петербург в „СПБ. Ведомости". В 1874 году Корш продал их по приказанию правительства, за неблагонамеренность. Остался не у дел. С конца 1875 года работал в „Биржевых Ведомостях". В 1876 году основал „Новое Время" вместе с Лихачевым, 29 февраля.

Участвовал в „Модном магазине" — кажется, так, — поместил там 2 стихотворения из Беранже, в „Весельчаке", в „Русском Дневнике", в „Русской Речи", в „Развлечении", „Современном Слове", „Отечественных Записках", „Времени" Достоевского (повесть „Аленка" была принята Ф.М.Достоевским, набрана там, но „Время" было запрещено, и повесть явилась потом в „Отечественных Записках"), в „Современнике" („Солдат и солдатка"), в „Вестнике Европы", в „Русском Инвалиде" (обзор журналов), в „Древней и Новой России", в „Русском Слове". В „Весельчаке" и „Развлечении" — юмористические стихотворения и очерки, в „Современнике" и „Отечественных Записках" — рассказы и повести: „Солдат и солдатка" („Совр."), „Аленка" и „Отверженный"; в „Воронежской Беседе" — ранее этого, именно в 1862 году, рассказ „Гарибальди" и повесть „Черничка". В „Современном Слове" письма из Москвы; в „Отечественных Записках" — несколько повестей, в „Вестнике Европы" — множество рассказов и проч. Статьи вырваны и собраны в отдельный том в моей библиотеке. В „Русском Слове" — письмо из Воронежа под псевдонимом „Землянский".

За чтение моего рассказа „Гарибальди" перед императрицей Марией Александровной П.М.Садовский получил перстень. Его же чтение этого рассказа в Москве на одном литературном утре доставило и мне успех — меня вызывали. Составлял книги „Для чтения", „Великие явления и очерки природы", участвовал в составлении и переводе „Слуги желудка" и „История Французской революции" Минье, „Путешествие к центру Земли" (есть мои добавления в этом переводе), составлял много нумеров „Детской Библиотеки", куда писал биографии писателей и т.д. В „Новом Времени" масса статей моих не подписанных.

8 сентября.

Пробовал писать — ничего не выходит. Писал 2-й акт „Героини“, бледно выходит. Видно, надо поставить точку к этим упражнениям.

10 сентября.

Завтра мне 65 лет. Вот сколько живу. Очень много. Сегодня получил от брата Петруши письмо, в котором он говорит, что в церкви села Коршева метрические книги существуют с 1781 года. Наш прадедушка был Федор. О нем в метрике сказано: „Депутат однодворец Федор Прохорович Суворин“, умер от натуральной болезни 18 августа 1791 года. 60 лет от роду. По-уличному нас называли Путатовыми, очевидно, от этого депутата Федора. Где он был депутатом? Самое это слово откуда пошло? От Екатерининской комедии. Но нашей фамилии нет в списке депутатов, да и Федору в 1767 году было всего 25 лет.

У этого Федора было три сына: Родион, Иван и Димитрий. Все трое умерли в один и тот же год, в июне и в июле 1787 года. Родион — 1 июля (40 лет), Иван — 23 июня (36 лет) и Димитрий — 20 июня (35 лет). Вероятно, была какая-нибудь эпидемия. У Родиона и Ивана детей не было, кажется. У Димитрия было два сына: Родион и Сергей. Жена его, Варвара Ермолаевна, умерла в 1814 году. Сергей Димитриевич — наш отец. Прадед мой умер 1 октября, 65-ти лет. Отец мой умер 69-ти лет. Если жить мне, как прадеду, то умереть очень скоро, а если как отцу, то еще ничего. Почудим!..

—

Написал Леле в Петербург, чтобы все процентные бумаги, которые хранятся у меня в кабинете в железном шкапу, были отданы моим родным, брату, сестрам, племянникам и племянницам. Надеюсь, это будет исполнено и никто жадности не обнаружит. Там около 30 тысяч, если не ошибаюсь, но есть бумага плохая — Русского промышленного банка, купленная за 345 рублей, а теперь упавшая чуть ли не на 250 рублей.

17 сентября.

Чудесный осенний день. Мне было бы хорошо, но я узнал из афиш, что Кл. Ив. не играет. Потом А.П.Коломнин написал, что она просила прибавки 50 рублей, ей не дали, она просила роль Ирины и сказала, что больше не служит. Мне ее очень жаль, очень жаль. Не как актрису, а как странного человека. Она — странный, больной человек, у которого нет ни привязанностей, ни приюта. Я в этом уверен. Она все ищет чего-то и не находит. Может быть, счастья. У нее есть фантазия, таланты, но все какие-то несовершенные, зачаточные. Как она здесь, в деревне, была деятельна. Ни разу в течение месяца она не сидела без дела. Особенно предавалась лечению. Баб и девок принимала, раны им обмывала, и все это внимательно. Может быть, тут ее настоящее призвание. Она сама несчастна и бесприютна, и к несчастным ее тянет. Мне жаль ее, потому что она теперь ревет, бьется головой о стену и жалеет, что вышла из театра. Он все-таки давал ей цель, занятие. Я написал Насте письмо на днях, странное письмо, которое и не поймет она, да и сам я не понимаю, зачем я это ей написал. Я чувствую, что как будто надо сводить счеты с жизнью, но никогда я их не сведу. Я не аналитик. Я не умею думать, не умею предупреждать действия свои и поступки. Поэтому в затруднительные моменты я быстро теряюсь и становлюсь усталым и малодушным. Меня обозлил Плющик-Плющевский. Этот хитрый пройдоха так обходит меня, что я совершенно в его руках. Я злюсь и совершенно ничего поделать не могу. И ничего с ним не поделаю. Он льстит мне, говорит о своем „почитании", а на самом деле ненавидит. Я знаю, какими злыми и ехидными глазами он на меня смотрит. Теперь я ему нужен для его переделки „Преступления и Наказания" Достоевского, которое пропустил ему Литвинов. Как „тайному советнику" не пропустить?! Чиновники друг за друга стоят. Литвинов, впрочем, очень милый и симпатичный человек, хороший театрал.

—

Эти дни читаю „Идиота" Достоевского. Никогда я этого романа не читал. Странный писатель! Мне кажется, что все его люди — от его нутра, его души и воображения. Таких людей он не видал, да таких, может, нет и не было. Были только, может, подобия им. Какую-то преступную душу, мрачную, таинственную, он изображает. Есть ли это русская душа? Много увлекательных страниц, много поистине драматических сцен. Все его романы в сценах. Он любит разговоры, тянет их бесконечно, и многие очень занимательны. Он говорил мне, когда я у него спросил однажды, почему он не писал драм: „Белинский говорил, что драматический талант складывается сам собой, смолоду. Вот я и думал, что если я начал с романов и в них силен, то я не драматург".

22 сентября

Письмо от Плющика по поводу того, что я восстал против назначения роли Дуни в „Преступлении и Наказании" г-же Погодиной. Дуня — красавица, а Погодина — замухрышка с носовым голосом. Я отвечал ему телеграммою: „Не режиссер, а Вы обязаны были сообщить мне распределение ролей, даже посоветоваться со мной, как это делали решительно все авторы на императорских сценах. Зачем Вы на стрелочника сваливаете? Относительно своего авторства Вы очень ошибаетесь. Между Вами и автором колоссальная разница. В некоторой степени Вашим объяснением я удовлетворен. Далее делайте, как найдете лучшим. В Ваши права я больше не вступаюсь. Суворин".

—

...Случай графа Л.Н.Толстого и г-на Маркса, издателя „Нивы". На руку ли это „марксистам"? Г-н Маркс — капиталист, граф Толстой — рабочий. Граф Толстой продал за тысячу рублей с печатного листа „Ниве" первое издание своей повести „Воскресенье". Он прямо и категорически заявил г-ну Марксу, что продает только первое издание или, вернее, первенство его печатания, что после

появления в „Ниве“ частей этой повести все другие издания имеют право пользоваться „Воскресеньем“, как своею собственностью, ибо сейчас же повесть эта в каждом отрывке и в целом делается общею собственностью. Надо знать, что первоначально цена повести была объявлена в 1500 рублей за печатный лист, причем граф Толстой, из целей чисто благотворительных, готов было сделать оговорку, что продает первое печатание своей повести вплоть до появления ее в печати целиком, до конца. Только тогда, когда она напечатана была бы до конца, она поступила бы в общую собственность. Эта оговорка увеличивала бы благотворительный капитал тысяч на 8, на 9. Но затем граф Толстой отказался от этой мысли и предложил за 1000 рублей с листа только первое печатание, сейчас же переходящее в общую собственность. На этих условиях Маркс и купил, и это может подтвердить один из литераторов, взявший на себя посредничество в этом деле.

Г-н Маркс тщательно умалчивал в своих оповещательных рекламах при подписке на „Ниву“ об этих условиях. Он собрал подписку прекрасную, которая сторицею возвратила ему потраченный капитал на приобретение первого печатания. Но ему этого было мало, ибо капиталу все мало. Когда стали появляться перепечатки, — надо сказать, что при этих перепечатках умалчивалось, что они делаются из „Нивы“, что некорректно, во всяком случае, — г-н Маркс стал осаждать графа Толстого просьбами положить предел этим перепечаткам до появления всей этой повести. Граф Толстой сначала настаивал на своем праве, но потом, очевидно, тронулся мольбами г-на Маркса и обратился с просьбою к повременным изданиям не перепечатывать повести, в интересах г-на Маркса, до появления ее на страницах „Нивы“ целиком.

Надо при этом вспомнить, что г-н Маркс угрожал сначала судом тем, которые станут перепечатывать повесть. На эту угрозу он не имел ни малейшего права, и она вполне противоречила тем условиям, на которых он купил эту повесть. Когда эта самовольная угроза не остановила перепечатки, он стал просить графа Толстого

вмешаться в это дело. Мне думается, что вся эта история прекрасно характеризует капиталиста и рабочего в таких представителях, как г-н Маркс и граф Толстой. Было уже напечатано письмо, где г-н Маркс защищает свои выкидки из повести („Домашняя цензура") и говорит, что будто бы в заграничных изданиях „печатают роман графа Толстого с урезками, несравненно более значительными". Не знаю, о каких изданиях идет речь, но могу указать на объявление в „Bibliographie de la France".

—

...Даже в том, что все на меня обрушивается, точно я виноват во всех прегрешениях правительства и общества, во всех наших неустройствах, я вижу признаки не исчезнувшего еще холопства. Мне говорят, что я предсказал, что делается все так, как я предполагал. Да я сорок раз вижу одно и то же и достаточно знаю общество, которое способно сочувствовать, но не способно выражать свое сочувствие, или не умеет. Молчать при этом обществе хуже всего. Если б я молчал, было бы еще хуже.

—

...Что значит „глубокое негодование общества"? Какого общества? Я знаю, что ничего подобного не было. Я получил несколько десятков писем от молодежи, большею частью порицательных, но были и спокойные, рассудительные; из общества — пять писем порицательных и десятка три благодарственных, даже очень. Если „глубокое негодование" в Союзе писателей, то это еще не общество. Наконец, какую часть этого Союза надо отнести на личные счеты, на зависть, на бессильную злобу совсем не против меня, а против власти. Меня больше всего возмущало, что меня сделали ответственным за все прегрешения правительства и за всю немощность общества. Что бы ни делалось скверного — все я виноват. Я всегда очень скромно смотрел на свою деятельность и это взваливание на меня всех нелегких поистине изумительно. Не зависит ли это от присущего обществу холоп-

ства? О полиции никто не пикнул ни слова. А я все-таки сказал, что дело вышло из-за столкновения с полицией, и напомнил, что в 1857 году, после расправы полиции со студентами, дело было расследовано и полицейские чины, оказавшиеся виновными, получили возмездие („Новое Время“, 8264). Вообще, дело это стало известным благодаря моим письмам. Мне говорят, что следовало молчать, потому что всего сказать нельзя. Но я сам предупреждал читателя.

26 сентября.

Сегодня я разговорился со сторожем на станции Кресты. Он получает 10 рублей, служит 25 лет. Жаловался на свою судьбу. Все зависит от „мастера“: если сторож отдает мастеру жену или дочь, тогда и хорошо. Он женат на второй. Наивно рассказывал, как мастер залез в окно к его жене и как она ему жаловалась. Дети у него от первой жены — неудачники. Один какой-то немощный. Другой женился, а на девятый день она родила. Я спросил наивно: „Почему же?“ — „Да она была ..., по солдатам ходила“. Он эту фразу сказал так просто, как бы другой сказал: „Она хорошая женщина“ или „сегодня воскресенье“.

28 сентября.

Вчера продолжал читать „Идиота“ Достоевского. Отчасти, в подробностях, — это продолжение „Преступления и Наказания“.

Я помню, какое впечатление произвела моя статья без подписи о смерти Достоевского. Я называл его „учителем“. Лорис-Меликов, прочитав ее, как рассказывал А.А.Скальковский, тотчас поехал к государю и выхлопотал пенсию вдове. Григорович приехал ко мне, говоря, что он плакал. Многие плакали. Я разжалобился. Вдова Достоевского понимала очень хорошо значение этой агитации. Она поцеловала мне руку. Удивительный тогда был этот подъем в Петербурге. Как раз это перед убийством императора. Публика бросилась читать и покупать Достоевского. Точно смерть его открыла, а до того его не было. Он умер бедно, едва сводя концы с концами.

Сама Достоевская ходила к книжникам на толкучку и продавала книги романов своего мужа по одному, по два экземпляра, с большой уступкой. Достоевский возобладал над Тургеневым только после своей смерти. Во время Пушкинских дней в Москве, после его знаменитой речи, я пошел за сцену его поздравить. Он шел мне навстречу в зал и сказал радостно:

— А что? Мы победили, победили! Женщины мне руку целуют!

Несколько девушек несли ему по залу в это время большой лавровый венок.

—

Вчера я написал письмо Я. А. Плющику о переделке им „Преступления и Наказания". Она малоудовлетворительна, не драматична. Конец можно было бы сделать гораздо эффектнее, например, в больнице или на каторжных работах. У него на берегу большой реки разговор Раскольникова и Сони.

—

Сколько происшествий — Дрейфус, Мамонтов, биржевой крах. Банки затрещали. Петербургские дамы, гвардейские офицеры, Трансвааль, заговор в Париже, Форт Шаброль... А у нас — дождь, дождь, дождь и золотая валюта трещит. Шарапов, кажется, прав. Витте трещит вместе с нею. Муравьев — в Париже, Горемыкин — там же, обеды и, конечно, политика. Издали все это кажется какой-то сказкой, романом, который читаешь в газетах ежедневно от главы до главы.

4 октября.

Сегодня „Преступление и Наказание" в переделке Плющика-Плющевского. Третьего дня на репетиции, когда я настаивал на выпуске двух картин, он сказал, что возьмет пьесу назад, я ему крикнул, что в таком случае я через неделю нарежу, как и он, сцен из „Преступления и Наказания" и буду их давать. Он обиделся. Вчера он мне рассказывал о своей любви ко мне.

—

Отправил письмо Нотовичу:

„Многоуважаемый Осип Константинович. Вы не правы, говоря, что будто бы, с моей точки зрения, все произведения таких „стариков“, как Грибоедов, Гоголь, Бомарше, Мольер, „должны быть окончательно сданы в архив“. Разговор идет о „Пикквике“ Диккенса. Диккенс — романист и может идти в сравнение только с романистами. „Пикквик“ — роман, а не комедия, комедию же о „Пикквике“ написали Вы. Отсюда отнюдь не следует, что комедия о „Пикквике“ равна роману о „Пикквике“ и что комедия о „Пикквике“ равна комедиям Грибоедова, Гоголя, Мольера, Бомарше. Очень может быть, что сам Диккенс, как драматург, был бы второстепенным талантом, если бы он, будучи по таланту романистом, стал бы писать драмы и комедии. Я вообще против переделок пьес из романов и не знаю ни одной переделки во всемирной литературе, которая считалась бы литературным произведением. Я очень желал бы Вам угодить, но данным случаем не могу воспользоваться для этого“.

6 октября.

Вчера репетиция „Добрыни“ В.В.Самойлова. Пьеса очень сложная. Сам автор — человек даровитый. Профессия — архитектор. Сын знаменитого артиста В.В.Самойлова.

8 октября.

В 8 часов вечера на Преображенской, дом № 25, сын генерала Афросимова, служащий в Министерстве внутренних дел, женившийся 4 июня на баронессе Корф, застрелился в висок. Жена тотчас уехала.

11 октября.

От Нотовича ругательное письмо, где он Буренина ругает мертвецом, грязною собакою. Буренин получил от него еще более ругательное письмо. Он написал ему ответ, очень колкий, но потом решился разорвать письмо и предать его забвению. Я возвратил ему его письмо с

надписью на нем: „Вы — сумасшедший, Осип Константинович; возвращаю Вам вашу глупость обратно“.

16 октября.

Жена Я.П.Полонского приходила. Принесла его стихотворение, которое он, больной, продиктовал ей в мае 1898 года.

„Сколько вы хотите за него?“ — „150 рублей“, — отвечала она. Я сказал, что 10 рублей дам. Оно очень неважное и в нем 20 строк (напечатано в № 8491). „Мне нужно на панихиду, на памятник“, — сказала она. „Тогда я лучше так дам Вам эти деньги на панихиду, на памятник“. — „Так я не хочу“... Я дал ей 150 рублей. Она сказала: „Как Вы великодушны“. Я сказал: „Никакого тут великодушия нет“.

—

Сегодня поместил „Маленькое письмо“ о князе Волконском, новом директоре театра. Оно 350-е. Сделали мне в типографии 5 оттисков моей пьесы „Героиня“ в 3-х действиях. Послал Ив. М.Литвинову, В.А.Крылову, П.Н.Буренину и Мите. Надо много страсти для монологов в пьесе, а у меня ее нет. Перечитывал — и казалось холодно.

—

Что делать с пьесой князя Д.Голицына — не знаю. Знаю только, что она плоха. Сегодня прибегал Плющик и сообщил, что вместо Горемыкина — Сипягин, а вместо Соловьева — Голицын. Вот тут и попробуй отказать в постановке. Плющик тоже себя везде пропагандирует: мне, мол, предлагают или предложат место Соловьева, но я не возьму. Предложить, конечно, и ему могут. Голицын — талантливый беллетрист.

—

Был Сигма. Он говорил, между прочим, очень прозрачно, что князь Ухтомский, собираясь отстаивать окраины

и проповедывать для них всякие „вольности", в то же время брал деньги: с того 400 рублей, с того 20 000 рублей, с того 50 000 рублей. Возможно ли это? Я знаю только, со слов Прасолова, директора Департамента иностранных исповеданий, где Ухтомский служил, что он продолжает получать свое жалованье и награды в размере более 3000 рублей, хотя в департамент никогда не является.

27 октября.

Софью Михайловну завтра хоронят на Александро-Невском кладбище. Я был сегодня на панихиде. Вот так и меня станут готовить в землю. Так же свечи будут гореть, так же будут ждать конца панихиды, чтоб разойтись и обменяться несколькими незначащими словами, так же буду я лежать, никому не нужный, даже земле! И все будет кончено.

—

В „России" сегодня прегнусная статья обо мне с намеками самыми облыжными, с воспоминанием о „мартовских днях", „когда доблестное и мужественное поведение его по университетскому вопросу нашло такую яркую оценку в поголовном негодовании русской интеллигенции". Или вот эти строки из той же статьи (№ 182): „Дубельт и Бенкендорф презирали Булгариных и Гречей, которые по их приказу душили всякую живую мысль на Руси, но не могли презирать, хотя, может быть, и ненавидели врагов своих, носителей этой мысли — Пушкиных, Лермонтовых, Белинских".

Если такая сволочь, как Дубельт и Бенкендорф, презирают кого-нибудь, то это совсем не беда. Я думаю, что Греч и Булгарин и ненавидели их, и презирали. Это взаимное презрение нимало не было никому вредно.

—

Сазонов приносил в „Новое Время" похвальные статьи Горемыкину и проч., и их ему возвращали или помещали с вычеркиванием его сладко-глаголивых гимнов.

30 октября.

Был на обеде беллетристов. Сергеенко говорит, что будто Т.Л.Толстая выходит замуж за М.П.Сухотина, человека лет под 50 и с 7-ю детьми. Старшая дочь его — невеста. О Ежове — что он опять стал кашлять кровью. Вопрос об его женитьбе на Книппер не решен еще. Говорили, что Л.Н.Толстой что-то готовит в „Новое Время". Ему понравилось какое-то мое „Маленькое письмо".

15 ноября.

Вчера дебютировала в „Грозе" Гуриэлли (княгиня Бебутова). Горемыкин, бывший министр, говорил А.П.Кольшко, что она жила с покойным наследником. Сегодня „Вокруг пылающей Москвы". Все министры в театре. Съезд великолепный.

20 ноября.

Григорович мне говорил, что А.А.Краевский умер на полковнице, которую он содержал, и был привезен домой в карете мертвым. Он, вообще, был большой любитель женского пола. Бильбасов говорил мне, что он оставил несколько учительниц городских школ, которых „перепортил", и давал им содержание.

27 ноября.

Вечер у Витте. Рассказывал о принце Ольденбургском. Он уничтожил и истребил чуму и в большой обиде, что правительство не печатает, что он сражался именно с чумой, а не с кем иным. Он очень плакался и ругал министров, которые „изменили" своему государю. Дело в том, что благодарность государя за истребление чумы министры не допустили печатать. Граф Муравьев рассказывал свое свидание с принцем. Он бегал по кабинету и бранился.

Вдруг остановится и скажет:

— А ведь Анюта спит. Вы знаете, граф, Анюта спит.

— Какая Анюта, Ваше в—во?

— Горничная. Уснула и спит.

И опять начинает бегать и браниться. Потом к колокольчику подбегает. Входит лакей.

— Анюта спит?

— Спит, Ваше в—во.

— Доктор был?

— Был.

— Что он говорит?

— Говорил, пускай спит, проснется, может быть.

Лакей уходит. Принц опять бегает и бранит министров и славословит себя. И так несколько раз. Вдруг ударил себя по лбу.

— Граф, я нашел.

— Что такое, Ваше в—во?

— Я нашел, как разбудить Анюту. Я положу ей в ... льду, и она проснется.

И он выбежал лично класть в ... лед.

1900 год

5 января.

Новый век или нет? Все равно. Лет 10 тому я напечатал, что не буду жить в новом веке. Л. Н. Толстой спросил меня: „Почему Вы так думаете?“ Я сказал, что 10 лет трудно прожить.

—

Вчера статья Перцова о Герцене. По поводу Герцена вспомнил: в 1858 году у меня была „Полярная Звезда“, которую я взял у бобровского предводителя дворянства. Смотритель уездного училища, Казанский, где я был учителем истории и географии, — старичок добрый и боязливый. Я, бывало, положу „Полярную Звезду“ в „Русский Вестник“ и, держа его перед собою, начну читать „Полярную Звезду“. Казанский подпрыгивал от ужаса: „Что теперь позволяют, что позволяют!“ Нет, и досель этого не позволяют.

—

Очень хотелось бы кончить пьесу „Героиня“. Но никак не справлюсь с последним актом. Хотелось бы уехать. Но одному? Куда? Лучше все-таки здесь, на людях. Я завидую спокойной старости. Очень жаль Д. В. Григоровича. Лежит теперь, бедный, и никогда его не увидишь. Когда умирают люди, самое грустное именно это: мысль, что никогда их не увидишь, никогда не скажешь с ними ни одного слова, а затем жалеешь, отчего не всегда был с ними предупредителен, любезен, ласков. Не следует огорчать кого бы то ни было. А я вчера был такой вспыльчивый, такой нервный.

—

Я должен был поехать сегодня к главному начальнику по делам печати Шаховскому. Я знал его, когда он служил у Воейкова, в канцелярии графа Игнатьева, министра внутренних дел. Это был совершенно незначительный белокурый молодой человек, писавший нам бледные статейки.

23 января.

19-го бенефис Савиной за 25-летие. Я читал на сцене адрес от Литературно-Художественного общества. Адрес написал я же. Насилу дочитал. Тряслись ноги и руки. Стал подвигаться назад, к актерам, думая, что упаду. Скверное мое дело со старостью. Как ни храбрись, а ничего не поделаешь. Мои ежедневные ванны и прохладный дождь немного оживляют, но ненадолго. В пятницу Буренин отвечал Потапенко, местами прекрасно, с его необыкновенным сатирическим подъемом. Если бы у нас была свобода печати, он стал бы единственным в своем роде памфлетистом, употребляя свое перо для разоблачения министров и т.д. Теперь он тратит его по мелочам и на мелочи. Дорошевича он назвал Кабакевичем. Этот не бездарный далеко писатель обрушился на Буренина фельетоном в „России" (№ 267). Все его остроумие исчезло. Осталась злоба, ненависть и ругательства.

—

Свою комедию „Героиня" я послал Чехову. Очень устал, полемизируя с Ф.Коршем, который в „Известиях" Академии старается выдать подделку Зуева „Русалки" за Пушкина. Вчера Бор виделся с племянником этого Зуева, который говорит, что его дядюшка стал страшный враль. Он сказал своему брату, что „написал окончание" „Русалки". А когда его брат умер, он стал выдавать свое окончание за Пушкина. Корш опростоволосился со своей Академией.

—

Потапенко отвечал сегодня Буренину, но злобы своей скрыть не может: „Давно, давно уже, г-н Буренин, стыдно

Вам перед читающей публикой того, что имя Ваше числится среди литературных имен. Да ничего ведь с этим не поделаешь". Вот это так стыдно говорить г-ну Потапенко. Что он такое сам? Значения Буренин имеет гораздо больше.

—

Очень приятное письмо от В.А.Ефремова о моих статьях о „Русалке".

10 февраля.

Ал.Петр. достал телеграмму, запрещенную, такого содержания: „Excellence ministre finances. Pétersbourg de Londres 47 41 24 10 91 t." Absence nouvelles officielles Roberts cause surprise. Impression produite par dépêche Pétersbourg "Daily Telegraph" prétendant général Kouropatkin aurait soumis plan occupation Herat mais empereur aurait repoussé toute idée profiter situation actuelle étant résolu conserver attitude strictement neutre. „Russenbaux"*.

Неужели эту телеграмму Витте не показали? Министр внутренних дел имеет копии со всех телеграмм, получаемых другими министрами, и может даже читать их письма. Такова его привилегия. Он, директор почт и телеграфов и начальник III Отделения получают копии со всего. Министр и начальник III Отделения имеют и ключи к шифрованным телеграммам.

—

Буренин и Сигма получили приглашение на „Гамлета" сегодня.

—

К.П.Победоносцев был в книжном магазине и говорил с Ф.Ив. о том, что мы хотели сократить розничную

*Его Превосходительству министру финансов. Петербург из Лондона 47 41 24 10 91 т.

Удивлены отсутствием официальных известий от Робертса. На основании депеши из Петербурга „Дейли Телеграф" утверждает, что генерал Куропаткин якобы представил план оккупации Герата, но император отверг всякую мысль воспользоваться создавшейся ситуацией и решил сохранить строгий нейтралитет. „Рюссенбо" (*франц.*).

продажу газеты за то, что кто-то употребил по отношению к Сальвини священное выражение „Слава тебе, показавшему нам свет". Фед. Ив. выразил мнение, что не Суворин ли это написал? „Этого не может быть", — возразил К.П. А это был я. Ах, какие пустяки они ловят и как слона они не примечают!

—

...Александр III русского коня все осаживал. Николай II запряг клячу. Он движется и не знает куда. Куда-нибудь авось придет.

14 февраля.

Вчера был в Эрмитажном театре и смотрел „Гамлета" в исполнении великого князя Константина Константиновича. Но у него нисколько дарования. Сноснее других тень отца и актер, говорящий монолог о Гекубе. Полоний говорил недурно, но без всякого комизма. Сам Гамлет ни говорить, ни ходить по сцене не умеет. Часто он просто смешон. Тянет, кому-то подражает, очевидно, думает, что он что-то даровитое, что он что-то объясняет в этом Гамлете. В одном монологе он ругал короля, обращаясь к его креслу, которое, наконец, изломал. Он при этом поднял голос, рычал, кричал, но во всем этом ни капли души, ни одного тона сердечного. Меня удивило, что он выходил на аплодисменты публики, как обыкновенный актер. Но и аплодисменты были жиденькие, хотя зал был полон, так что многие стояли. Начало было назначено в 2 часа, началось в 3 без десяти минут. Оказалось, у них не было примера, и вообще беспорядок у них большой. В антракте я вышел и бродил по комнатам. Публика тоже вышла, но вся держалась в зале, примыкающем к театру. Хожу и вижу Сальвини, который идет по направлению к парадной лестнице. У Волконского я его не видал. Думаю, подойду к нему. Да нет, не надо. Продолжаю ходить. Сальвини возвращается; я подошел к нему и отрекомендовался. Любезности. Заговорили о его сыне, с которым я знаком. „Князь хочет его пригласить на высо-

кий пост. Il faut le passer“*, — говорит он мне с приятной улыбкой. Наконец, он обращается ко мне с просьбою. Оказывается, он приехал на спектакль вместе с князем Волконским через правленский подъезд, где осталась его одежда.

— Великий князь пригласил меня, я не мог отказать ему, но я хочу обедать, мне вечером сегодня ехать, но меня не выпускают. Князя Волконского не могу найти. Хотел уйти через правленский подъезд (entrée administrative, как он выражается) — меня не пускают, пошел по парадной — там никто по-французски не знает, и вот я не знаю, что делать. А мне ужасно есть хочется.

Я позвал солдата и велел его проводить.

— Это посол? — спросил солдат.

— Актер, но больше посла, — отвечал я ему.

— Скажите, чтоб мне вызвали карету князя Волконского, — говорил Сальвини.

Сказал и это. Солдат мне потом сказал, что все сделали: одели и посадили в карету.

Таким образом, я сделал доброе дело — освободил Сальвини от тюремного заключения в Эрмитажном театре, где Гамлета играл наш великий князь.

Я прослушал сцену в театре, где великий князь полз по эстраде, на которой происходило представление. Все это было глупо и по-детски воистину. Когда король со свитой ушел, великий князь три раза принимался хохотать, и это было еще глупее. И чего им надо, этим великим князьям? Зачем они маленьких Неронов разыгрывают и заставляют себе аплодировать эту челядь петербургскую?

—

Сегодня приглашали в Главное управление по делам печати. На лестнице, на площадках встретился с Исаевичем. Поговорили. „Здесь холодно, — сказал Исаевич, — а мы Вас дежурим“. Я подошел к двери, она открылась в это время, и я нос с носом с Амфитеатровым. Он был красен как рак. Никогда так близко я не стоял к нему.

*Нужно выдвинуть его (*франц.*).

„Здравствуйте, Алексей Сергеевич“, — сказал он и протянул руку. Я взял ее. „А я думал, что Вы не хотите меня знать. Я поклонился Вам в театре, а Вы отвернулись. Вы не заметили“. — „Нет, заметил, но Вы мне сделали гадость. Не в том она, что Вы ушли из газеты. Это — Ваше право. И я мог тоже уйти. Но Вы распустили обо мне, что я будто бы просил министра внутренних дел или Соловьева, чтобы было запрещено продолжать полемику по студенческому вопросу. Этого никогда не было и не могло быть. Я мог желать бог знает чего. В моей жизни бывали минуты, когда я желал убить человека, отравить его, но я никогда не убивал. Мы с Вами ссорились, я ругал Вас, однажды мы готовы были броситься друг на друга с ножами (история с Бурениным), но мы говорили и договаривались. Я считаю себя по отношению к Вам безупречным“. „Да, Вы имеете право сказать это“, — сказал он. „И Вы все-таки сделали это. Вы обязаны были поговорить со мной“. — „Мне князь Ухтомский сказал“. — „Князь Ухтомский лгал“. — „И В.И.Ковалевский“. — „Да у меня есть его письмо, где он говорит совсем противоположное тому, что Вы говорите“. Он замолчал. „Я Вас любил, Алексей Сергеевич“. „И я Вас любил, — отвечал я ему, — несмотря на то что ссорился с Вами. Это был „род недуга“. „Но я поступил так не без борьбы. Если б Вы знали, как мне это было тяжело. Но это было такое нервное время“. — „А что со мной было, Вы это видели и все-таки не пришли ко мне, не объяснились, а поверили нелепым слухам. Я не способен на то, в чем Вы меня обвиняли“.

Я мог бы ему сказать, что он продолжал настаивать на этой клевете в „России“, что он приписывал мне то, чего я не говорил, например, уверял, что в то время, когда вся Россия „вопит“ о том, чтоб освободили от классицизма, я один будто бы настаивал на этом, тогда как ничего подобного я не говорил. Да мало ли что? Он остался мне должен до 15 тысяч, я ему ни разу не заикнулся об этом долге. Да бог с ним!

—

Князь Шаховской — очень милый и разумный человек. Он извинился, что тревожит меня, а не сына, но он это

делает по приказанию Сипягина, которого неприятно поразила моя фраза относительно Сальвини, которую я посоветовал Давыдову сказать Сальвини вместо длинной и нелепой речи, которую он говорил на сцене Сальвини, под суфлера, по-русски — „Слава тебе, показавшему нам свет!" На эту фразу тотчас указал князь Мещерский, за ним и Сипягин. Он хотел непременно наказать или на три дня отнять розничную продажу. Но князь Шаховской уговорил его, сказав, что это — возглашение вроде „мир всем" и т.д. Тогда Сипягин ему сказал: „Вызовите Суворина и скажите ему, что я хотел его за это наказать, но Вы не согласились". Я поблагодарил, заметив, что за слова наказывать — последнее дело. „Но министр в этом отношении очень щепетилен". Затем стали говорить о министре графе Муравьеве, который непременно добивается того, чтобы „Новое Время" наказали материально за то, что оно не разделяет политики его. Этот болван желает фимиама, который мы ему не курим. „С ним просто беда нам: он докладывает государю, потом лезет к нам". Тот непременно бюро желает учредить, где будут давать сведения и запрещения и говорить об известных вопросах. Он назначает для этого Нератова, вероятно, думает прославиться. Я думаю, что осел останется ослом, хоть осыпь его звездами. У него и вид шулера. Буренин сидел около него в театре и думал: „Вот лицо шулера". Это был Муравьев. Витте говорил мне о нем, как о человеке, который ничего не делает и ничего не понимает.

15 февраля.

В одной из своих записных книжек я нашел образчик с в о б о д н о й статьи. Недурно написано. Попробовать разве теперь?

—

Гольмстрем сегодня в „СПБ. Ведомостях" говорит об Англии, что она погибла и что причина тому — парламентаризм. Князь Ухтомский давно это проповедует, ибо при парламентаризме дальше чиновника ведомства иностранных исповеданий он не пошел бы, а теперь он опричник или был опричником. Бывший опричник все-

таки сила, ибо on revient toujours à ses premiers amours*. Самодержавие куда лучше парламентаризма, ибо при парламентаризме управляют люди, а при самодержавии — Бог. И притом Бог невидимый, а точно ощущаемый. Никого не видать, а всем тяжко, и всякому может быть напакощено выше всякой меры и при всяком случае. Государь учится только у Бога и только с Богом советуется, но так как Бог невидим, то он советуется со всяким встречным: со своей супругой, со своей матерью, со своим желудком, со всей своей природой, и все это принимает за Божье указание. А указания министров даже выше Божьих, ибо они заботятся о себе, заботятся о государе и о династии. Нет ничего лучше самодержавия, ибо оно воспитывает целый улей праздных и ни для чего не нужных людей, которые находят себе дело. Эти люди из привилегированных сословий, и самая существенная часть привилегии их заключается именно в том, чтоб, ничего не имея в голове, быть головою над многими. Каждый из нас, работающих под этим режимом, не может не быть испорченным, ибо только в редкие минуты можно быть искренним. Чувствуешь над собой сто пудов лишних против того столба воздуха, который над всяким. Нет, будет! Все это старо.

—

Сегодня был на юбилее в Мариинском театре: 30-летие Н.Ф.Соловьева. Были государь и государыня. Хорошо, что они приехали на скромный праздник композитора. Он был бы без этого еще скромнее. Но скверно со стороны великого князя Константина Константиновича, товарища председателя Консерватории: он не приехал и прислал телеграмму. Видно, устал от Гамлета. Бедняжка! Гаэр в великокняжеском сане, плохой поэт, плохой актер и к тому же бестактный и невежливый человек. Соловьев писал музыку на его стихи. Вот и не холопствуй, Н.Ф., барин и не приехал!

---

*Первая любовь никогда не забывается (*франц.*).

—

Сегодня Крит сдался. Подлецы англичане! Как их у нас ненавидят! Ни одну нацию так не ненавидели. А раз государыня англичанка — так и ее не любят.

—

Была Лохвицкая, поэтесса. Она написала лирическую драму о Савской царице. Я ей сказал, что когда так много говсрят о любви, то это скучно, а когда царица Савская и Гиацинт говорят о любви, то это еще скучнее. Очень состарилась. Очень это мило с ее стороны.

—

Актриса была, то есть девица, желающая быть актрисой. Видная собой. Зачем они лезут на сцену? За свободной жизнью. Тоска семьи всем опротивела.

—

Я жалею, что не вел правильного дневника. Все у меня отрывки, и набросанные кое-как. Их выбросят, вероятно, как хлам никому ненужный. Но вести дневник — нелегкое дело для себя самого. Надо бы вести дневник своим ошибкам и грехам. Тогда можно было бы подвести итог и своим добродетелям. А то прожил жизнь, а не знаешь, что она такое. Я завидую Ник. Конст. Михайловскому. Как он великолепен в своих воспоминаниях, с какой высоты своей он говорит о Некрасове, о Толстом. Иван Великий, Хеопсова пирамида! Пирамидальный человек! А у меня была статья Протопопова, которую я не напечатал, просто не желая ссорить их. В этой статье Михайловский выставлен таким мелким, таким самолюбивым интриганом.

—

На вечере у М.М.Иванова видел С.А.Андриевского. Он захлебывается, восторгаясь Амфитеатровым. Что говорить, человек талантливый, но уж не бог весть что

такое. Ему под 40. А сделал он мало. Лучше говорил он о новой литературе, совсем о новой. К ней причислил он и мой роман „В конце века“. „Беллетристика стала публицистикой“, — сказал он. Это верно. Но хорошего в этом много ли? Бог творил едва ли как публицист. Правда, он натворил множество всякой дряни.

Чего я расписался так? Хотел продолжать комедию. Андриевский подсказал мне конец. Надо, чтоб герой спознался с женщинами, тогда он может жениться на Варе, которая жила с Мусатовым. Тогда они равны. Девственность — ужасная вещь для девушки. Однако зачем ее природа сделала? У животных нет девственной плевы. Почему у дочерей Евы она существует? Ошибка Бога и природы или это основание семьи?

—

Буренин говорил, что мне готовят какой-то подарок к 29 февраля. Я бы обошелся без него.

17 февраля.

Сигма говорил, что великий князь (Гамлет) прислал к нему своего адъютанта просить его, чтобы он сказал об его игре, не хвалил, а сказал бы правду.

Ну, этой правды он не дождется, ибо ее нельзя сказать.

—

Никольский о „России“. Максимов приглашал Альберта устроить дела газеты, вернее, дела Альберта, зятя Мамонтова. Альберт истратил на газету 120 тысяч, из них 30 тысяч внес Мамонтов, но и эти деньги пали на А. Курьезные вещи рассказывал о беспорядках в редакции. Сазонов переписывается с редакцией при помощи нотариуса.

18 февраля.

Заседание нашего общества о премиях. Принят проект: 3 премии — 1000 рублей, 500 рублей и 300 рублей. Дирекция составляет программу для получения премий.

21 февраля.

Обед в честь Савиной у „Медведя". Было больше 1000 человек. После обеда разговор с Амфитеатровым. Уверял, что не он писал против меня. Мне совестно было его опровергать — я знал это от Тихонова (Лугового). А.А.Потехин сказал ему: „Я уважаю Ваш талант, но я говорю Вам, что напрасно Вы вообразили, что можете погубить „Новое Время" и заменить его „Россией". У нас был „дедушка русского флота", а Алексей Сергеевич — „дедушка русской журналистики, который сделал для нее очень много". Далматов все кричал Амфитеатрову: „Становись на колени и кайся!"

Савина, чокаясь со мною после моих слов о значении критики в деле ее развития, развития ее таланта, сказала мне: „Если б Вы не ругали меня так, я бы не сделалась такой артисткой". Искренне ли она это сказала или нет — бог ее знает. Но в этом правда есть. Я всегда говорил о ней то что думал. Я старался верно передать свое впечатление от ее игры.

—

В 1880 году было заявлено желание поставить первому актеру Волкову памятник в Ярославле. Тогда не разрешили. Теперь Кривенко представил, и государь согласился.

—

Просятся в наш театр Горев и Читау. Князь Волконский сокращает бюджет. Горев мне никогда не нравился. Савина рекомендовала дать дебют Недведской: „Она — истинное дарование, но мурласта". Я с ней познакомился. Действительно, некрасива. Это вдова Коровякова (горбуна).

—

Амфитеатров говорил о пьесе „Королева Наталия". Шутка. Ждут королеву Наталию, а приезжает акушерка Наталья Королева. Буффонаду на этом можно построить.

—

Говорил с Репиным. Он пишет „Искушение Христа". „У меня желания выше средств", — сказал он. Хвалил талант своего сына, художника.

—

Князь Голицын (Муравлин) просил поставить его „Бабу".

— Как Вы не воспользуетесь такими артистами, как Далматов и Холмский, которые будут превосходны в главных ролях. Вы знаете, пьеса не моя, роман только мой.

— Знаю, князь, знаю. Но достаточно и того, что я поставил одну плохую Вашу вещь — „Сумбулов"...

Этот господин, пишущий кое-где драматическую критику, а в Государственном совете неизвестно что, очевидно, хочет пользоваться своим положением. Печать его не выругает, императорский театр не возьмет его вещей, и вот он всякую дрянь свою преподносит мне. Тайные советники и князья идут походом со своими пьесами, собирают в театр всех министров и чиновников, и я принужден всю их дрянь ставить.

22 февраля.

Великий князь Петр Николаевич взял 5 миллионов рублей за основание „Феникса". Акции были вздуты до 700 рублей, а теперь продаются по 50 рублей.

Витте в одном заседании Комитета министров сказал: „До чего мы дожили — великие князья становятся во главе дутых предприятий".

Дело было так. Являются к Ковалевскому два великих князя — один из них был Александр Михайлович — и просят его утвердить устав предприятия. (Хохол-рассыльный, весь дрожа, объявил Ковалевскому, что пришли два великих князя в его рабочий кабинет в министерстве.) Ковалевский посмотрел и стал спрашивать о подробностях: „Вам известны, конечно, законы. Предполагается ли выпускать облигации и акции?" Великие князья смотрят друг на друга и, очевидно, не понимают, о чем с ними

говорят. Им обещали большие деньги, но недостаточно объяснили формальную сторону дела. Капитал в 5 миллионов.

— А скажите, если в публике будет известно, что в этом деле мы принимаем участие, как это будет принято?

— Я думаю, смело можно сказать, что предприятие удвоит свой капитал при продаже акций.

— Вот видишь, — сказал великий князь другому, — я говорил тебе, что капитал будет удвоен.

Очевидно, они торговались и продешевили.

Ковалевский сказал, что сам ничего не может сделать, и повел их к министру финансов особыми переходами. Но они подошли почти к кабинету Витте и оттуда вдруг улизнули.

Через два дня от Ермолова предложение (дело было горячее), что такая-то комиссия, ввиду ее полезности и солидности, заслуживает полного внимания. Великим князьям, очевидно, сказали, что если в Министерстве финансов они встретят затруднения, то обратились бы к Ермолову. Витте тут и провалил их.

—

Братья Толь, сыновья одной важной дамы у императрицы-матери, образовали дутое предприятие в Лондоне и прислали удостоверение, что три миллиона внесены в Лондонский банк, и просят, чтобы акции котировали на петроградской бирже. Они явились к Ковалевскому с рекомендательными письмами от важных дам, которые говорили, что императрица просит за них. Ковалевский говорил им, что акции допускаются на бирже только тогда, когда предприятие заявит о своей деятельности, представит первый отчет, например, и т.д. Братья Толь указывали на императрицу, которая таким образом поддерживала мошенничество, ничего в этом деле не понимая, а просто по доброте души. Ковалевский отказал и просил их адресоваться к Витте. Витте посоветовал Ковалевскому не отказывать прямо, ввиду таких ходатайств, а потребовать от них кое-каких подробностей, которых они не представят, конечно.

Проходит несколько дней. Один из Толей является к Ковалевскому с ходатайством о займе у казны 2 с половиной миллионов.

— У вас есть какой-нибудь залог, какая-нибудь собственность?

— Есть старое судно, за которое мы заплатили 25 тысяч рублей.

— Так как же можно дать 2 с половиной миллиона под залог старого судна?

— А ведь датчанину дали 2 миллиона.

Действительно, дали благодаря все матушке-императрице. Какой-то датчанин явился в Петербург, начал предприятие с грошовыми средствами и разорился. Уехал на родину, дождался императрицы, припал к ее стопам, и она собственноручным письмом просила своего сына Николая II дать эти 2 миллиона. Он надписал: „Дать“, и дали.

— Однако, — сказал Ковалевский, — мы с вами — оба сановники, оба служим государству, как же мы на него смотрим, если станем ходатайствовать о таких займах?

—

Одной фрейлине матушка-императрица обещала заплатить ее долги в 400 тысяч рублей, разумеется, на счет казны. С ее письмом эта дама явилась к императрице. Витте видит, делать нечего, стал торговаться с дамой и выторговал у нее 150 тысяч, то есть дал всего 250 тысяч рублей.

Императрица не пускала к себе Витте целых полтора года, узнав об этом поступке.

У нас все подобные вещи проходят шито и крыто. Следовало бы написать комедию и все это выставить, а чтоб она прошла, перенести дело во Францию при Луи Филиппе и написать, что комедия — переводная. К сожалению, наши литераторы ничего этого не знают. Хорошо зная цензуру, такой камуфлет решительно можно было бы провести.

—

Слышал, что Куропаткина назначают на Кавказ, а на его место варшавского князя. Куропаткин никак не мо-

жет поладить с великими князьями. Великое это горе — великие князья! Только мошенники уживаются с ними, потому что дают им наживаться.

24 февраля.

Во время бенефиса Кшесинской („Матильда", „Малечка") великий князь угощал за сценой шампанским. Отец ее говорил лакеям, чтоб они откладывали бутылки и отнесли к нему. Кто-то заметил ему что-то неприятное. „Я буду жаловаться высшей театральной администрации". — „Директору театра?" — „Нет, не директору, не министру, а государю императору!"

—

Покойная Богарне, любовница великого князя Алексея Александровича, завещала все свои родовые имения мужу Лейхтенбергскому в пожизненное владение (имения скобелевские, доставшиеся ей, сестре ее Белосельской и Шуваловым). Лейхтенбергский составил духовное завещание, которым эти имения завещал своим наследникам. Государь это завещание утвердил. Лица императорской фамилии обязаны были представлять духовные завещания государю. Белосельским, разумеется, это было неприятно. Довели до сведения государя. Государь поступил умно: он сказал, что его утверждение духовного завещания имеет силу лишь постольку, поскольку оно законно; если оно незаконно в иных частях, то он ничего не имеет, если дело получит законный ход. А. Петр. ведет это дело.

—

Сенатор Закревский написал в „Times" письмо, где протестовал по поводу процесса Дрейфуса против французских судов и, давая понять, что во Франции начались неправедные дела со времени союза с Россией, уволен за это из сенаторов вопреки закону — сенаторы несменяемы; так был огорчен этим, что обратился к Сипягину с просьбой, нельзя ли это дело как-нибудь поправить. С целью этой поправки он написал брошюру, где выставлял

себя жертвою недоразумения, что он якобы имел в виду только невыгоды союза между республикой и неограниченной монархией. Брошюра была напечатана в 2000 экземпляров и сдана казне. Сипягин представил государю. Государь прочел „с удовольствием", но выразил желание, чтобы сам Закревский уничтожил все 2000 экземпляров. Закревский заплакал от умиления и сжег весь запас. Вот, стало быть, еще ж ж е н а я книга.

Лет 25 тому назад жена Закревского была замужем за господином, которого я знал, встречаясь с ним у Боровиковского. Закревский с нею жил. Был доктор Гаврилов, которого я тоже знал. Рассказывали, что этот доктор Гаврилов был приглашен в имение супругов и „особенным лечением" свел его в могилу. Закревский женился на ней и получил огромное состояние.

—

Министр юстиции Муравьев „в отчаянии" и говорит, что теперь ему ничего не осталось, как выйти в отставку, ибо он не хочет уничтожения суда присяжных, которого желает Сипягин. На самом деле он был за это уничтожение и печатались статьи по его желанию в „Журнале гражданского права".

—

Горемыкин утверждает, что черновой проект закона об отдаче студентов в солдаты был написан рукою Витте.

„Я за просвещенное самодержавие", — говорил он мне в прошлом году. Ему обязан я первым письмом о студенческой стачке в прошлом году, ибо это письмо есть не что иное, как полемика с Витте, то есть то, что я говорил ему против передачи дела в руки государя, точно он — министр полиции или полицмейстер, а против стачки в школе.

—

Обедал сегодня Татищев, приехавший из Лондона. В субботу он читает в Петербургском обществе Александ-

ра III часть биографии этого государя. Шильдер мне говорил, что это так льстиво, так льстиво, что тошно становится. „Павел I все-таки интереснее Александра III, — говорил он. — Павел был Гамлет отчасти, по крайней мере, положение его было гамлетовское, и „Гамлет“ был запрещен при Екатерине II“. В самом деле, очень похоже. Разница только в том, что у Екатерины вместо Клавдия был Орлов и другие. Мне никогда это не приходило в голову прежде.

—

Сегодня в агентстве телеграмма. Нас прижимают вследствие проекта князя Ухтомского, который представил устав для нового общества с учредительными паями, с жалованьем по 400 рублей членам правления и т.д. М.П.Соловьеву министр внутренних дел поручил разобрать дело. Завтра он собирает нас, пайщиков, всех.

Была Гуриэлли. Читала. У нее сильный голос. Грубовата, но недурна. Говорила Коломнину, что была дружна с покойным наследником-цесаревичем, но не жила с ним. Она читала ему, переписывалась с ним, у нее много его писем, и сама сочиняла повести, которые он читал. Актриса из нее может выйти, если б кто с ней занялся.

—

Был С.С.Татищев. Я громил правительство и Англию. Он, конечно, за Англию, ибо интересы ее торговцев ему очень близки. Ловкий парень.

—

Вчера обед беллетристов. Довольно скучно. Потом дебют двух женщин, одна дочь ректора Петербургского университета. Обе незанимательны нимало и талантов не обнаруживают. Со мной был Карпов. С Волконским у него нелады, а потому он перебирается на наш корабль. Я этому рад, хотя не особенно верю в него. Но у него много энергии и пафосу. Лишь бы меня оставили в покое. Устал я очень с этим театром.

2 марта.

29 февраля справили 24-ю годовщину „Нового Времени". Был завтрак. Было оживленно и весело. Мне поднесли бюст Пушкина работы князя Трубецкого. Разошлись около 9 часов. В кабинете несколько человек разговорились о том воровстве, которое существует при дворе. Рассказали, что великий князь Владимир получил 2 миллиона под вексель из капитала барона Штиглица, завещанного им на художественные школы.

—

— Да, ум хорошо, а полтора лучше, — сказал Драгомиров какому-то Петрову, предложившему ему обсудить один вопрос вместе.

—

Гнедич говорил сегодня в театре, будто Е.П.Карпов, приняв статью Гнедича (Rectus) в „Театре и Искусстве" за статью Арбенина, потребовал у Всеволожского удаления его в такой решительной форме: „Я или он?" Статья о постановке „Отелло" на Мариинской сцене, по правде сказать, постановке очень неважной. Когда стал играть Сальвини, он очень многое изменил на репетициях.

5 марта.

Делянов воскликнул после убийства императора Александра II:

— Какое несчастие! Никогда еще этого не было.

— А Петр III? А Павел I?

— Да, но это на улице.

В комнатах можно душить, а на улицах нельзя!

—

Князь Тенишев нажил состояние на игре с бумажным рублем. Он почти не вылезал из вагона, странствуя с бумажками в Берлин. Теперь пропадает в своей образцовой школе и предан ей как нельзя больше.

—

На репетиции Яворская говорит: „Вы хотите наказать меня за выражение мнения моего о репертуаре? Вы не хотите ставить „Принцессу Грез"? Я ей написал, что эта пьеса тоже „солдатская". Она нападала на „солдатские" пьесы. Я не думал ее наказывать, а написал только, что если у нас „солдатские" пьесы, то нечего и возобновлять „Принцессу Грез", тоже „солдатскую" пьесу. В конце концов, в солдатских пьесах больше интереса, чем в других, например светских и кокоточных. Театр надоел с его артистами, с претензиями, с просьбами, с дебютами. А главное, я сам себе надоел ужасно. Печатаю „Русалку" (свои и чужие статьи о подделке Зуева) и, читая, удивляюсь, можно ли наговорить столько слов о подобной глупости?

—

Яворская в „Маскараде" умирала изумительно; она стала на четвереньки, лицом к публике и поползла: в это время груди вывалились у нее из-за корсета. Реально!

—

Вот любители рекламы эти Барятинские! Князь такой же любитель, как и его супруга. На Передвижной его портрет, сделанный Леманом несколько лет тому назад.

—

Протопопов рассказывал, что „Россия" послала агентов по провинции для распространения газеты, и всюду, где эти агенты являлись, они встречали агентов „Северного Курьера".

13 марта.

Плющик-Плющевский рассказывал, что будто великий князь Сергей Александрович взял 2 миллиона взятки за отсрочку по его ходатайству винной монополии в Москве, что у Витте будто на это имеются несомненные данные и что государь об этом знает. Сергей Александ-

рович приезжал на днях сюда, всего часов на 5. Теми или другими способами великие князья всегда брали взятки и старались наживаться всякими способами.

—

Сигма рассказывал о Корейской экспедиции, по его плану исполненной. Экспедиция стоила 150 тысяч, но привезли концессий на леса и рудники гораздо больше. Один лесной остров, входящий в эти концессии, продан японцам за 200 тысяч.

—

О Шабельской, которая сняла у дома Демидова сад и театр, рассказывала Неметти. Она сняла за 25 тысяч, а Томпаков предлагал 30 тысяч. Директор дома говорил, что непременно отдаст Шабельской, потому что она с шестью министрами чуть ли не в связи. Ковалевский в этой бабе роет себе яму. В „Гражданине" была напечатана такая сцена, ясно намекающая на связь Ковалевского с Шабельской. В течение нескольких лет она стала богата: разъезжает в каретах, нанимает дом — особняк и дает фестивали, в течение которых к ней приезжают курьеры. Она раздает места и способствует за деньги предприятиям. Около Сочи ей дали 25 десятин лучшей земли. Ей и Бог простит после Сергея Александровича и великих князей, которые занимаются тем же.

—

Яворская отказалась от роли в „Браке" Сущева, потому что находили, что она неправильно играла. Она действительно хотела изобразить кокотку вместо девушки, которая падает, но не имеет ничего общего с кокоткой.

—

К будущему сезону — „Солдат", „Орленок", пьеса Боборыкина и пьеса Гнедича.

—

„Шут“ № 11 — превосходный карикатурный портрет Яворской, присутствующей на vernissage'e* картин.

—

Великий князь Константин Константинович снялся в костюме Цезаря Борджиа. Говорят, это очень к нему идет.

14 марта.

В сегодняшнем письме Чехова: „Академические новости. Я очень огорчен и книгой Корша, и его полемикой“. Я думаю, больше полемикой. Помилуйте, академик и журналист! Несколько лет тому назад Буренин позволил себе в фельетоне критически мягко отозваться о стихах К.Р. (великого князя Константина Константиновича). Е.М.Феоктистов призвал меня в Управление по делам печати: „Скажите Буренину, охота ему говорить о стихах К.Р. Министр очень недоволен. Пусть лучше пишут великие князья плохие стихи, чем баклуши бить“.

—

Коломнин, Плющик, Гнедич и я решали вопросы о бенефисах и других хозяйственных распоряжениях. Плющик очень издалека начал о необходимости сделать Гнедича управляющим труппой, чтобы я, так сказать, „делегировал“ его на эту должность. В сущности, дело это надо сделать, и Гнедич к этому давно стремится. А мне пора устраниться. Плющик, впрочем, так или иначе этого добьется, ибо я ему весьма мешаю. Когда дошел до Погодиной при назначении жалованья, он сказал: „Погодина хочет ехать в провинцию“. И лжет. Ему хочется, чтоб я уехал в „провинцию“ и оставил его распоряжаться. Гнедич будет полным рабом у него. Разумеется, все это делается с предварительного разговора с Коломниным, этим мудрецом в малых делах.

*Выставка (*франц.*).

—

Кончил предисловие к книге „Подделка „Русалки“ Пушкина“.

—

Третье представление „Брака“ прошло лучше. Гнедич бранил Муравскую, что было очень приятно Плющику, ибо Муравская заслоняет Погодину.

16 марта.

Сегодня говорил с Беловым, который в прошлом году был у государя и говорил ему о положении вещей. Он оставил мне записку, которую подавал государю о положении печати. Превосходно написана. Если б печать подавала такой адрес, я подписал бы с удовольствием. Никаких ненужных выходок, ничего изломанного, но смело, ярко и с полным уважением к императору.

—

Шильдер сегодня не обедал. Читал его „Histoire anecdotique de Paul“. Хорошая вещь, но самое убийство Павла I все-таки не рассказано.

—

17 марта.

Сегодняшнее „Маленькое письмо“ об эксплуатации Днепра и английской компании имело результатом изъятие из Государственного совета этого дела. Победа быстрая, и я очень доволен. Несколько сочувственных писем. Письмо от Витте, чтоб я приехал поговорить с ним в 9—10 часов об иностранных капиталах. Он мне сказал, что совершенно разделяет мое мнение, но не потому, что это английский капитал, а по другим причинам. Эксплуатацию реки нельзя отдавать ни русской, ни иностранной компании. „Ко мне приставали с этим делом военные инженеры. Я наконец внес это дело в Государственный совет, но решился говорить против него. Сегодня я сказал

государю, что так как началась газетная полемика по этому делу, то я бы желал не давать ему ходу, тем более что сам я ему не сочувствую. Государь сказал, что он разрешает мне взять его. Я говорил Ковалевскому, чтоб он уведомил Вас об этом". Действительно, Ковалевский прислал заметку, что дело не поступает в Государственный совет вследствие якобы новых поступлений предложений на этот счет. Потом говорил о телефонах, довольно сбивчиво. Дело передано частной компании. Очевидно, предрешено. При мне с ним говорил по телефону Сипягин. Спрашивал, каков был с Витте государь. „Очень любезен". Относительно телефонов согласился Витте с Сипягиным, а о противниках их выразился, что они недостаточно вошли в общие государственные соображения. Говорил, что он стоит за дорогу на Чарджуй, которая короче, чем на Ташкент. Сипягин, по его словам, сказал князю Шаховскому, начальнику по делам печати, чтоб он больше говорил с редакторами, чем сажал, что, по его мнению, совершенно верному, многое зависит от переговоров.

—

Клейгельс жаловался на нас. Булгакова призывали. Мы якобы систематически нападаем на полицию. Очевидно, его неудовольствие передано частным приставам, которые не пропускают два дня объявлений, говоря, что их слишком много, а им некогда.

—

Граф Муравьев третьего дня говорил Витте, что следовало бы все газеты взять в казну, что это было бы выгодно.

— Да мало ли что выгодно, — отвечал Витте.

—

Граф Муравьев такой мелочной человек, что ссорится со своим сыном, если заметит на нем какие-нибудь штаны новой моды. „Зачем ты меня не предупредил?" Стоит

принцу Уэльскому надеть новый жилет — на Муравьеве такой же жилет через пять дней. Витте заметил на нем какой-то диковинный жилет и спросил. Оказывается, точно в таком жилете был Уэльский. „Неглупый человек, а мелочен ужасно“, — сказал Витте.

18 марта.

Мне показалось, что Плющик говорил мне возбужденным тоном, хотя я обратился к нему с простым вопросом: „Зачем Вы при всех объявили уволенным актерам?“ „Вы бы у меня спросили, а потом говорили“. Я взбесился и ударил о ручку стула палкой и отщепил от нее несколько планок. Мне было досадно на себя. Эта дурацкая вспыльчивость делает меня рабом тех, которые умеют быть спокойными.

19 марта.

Какой-то министр на прошении, где было слово АЗБЕСТ, написал: „аз—бестия“.

21 марта.

Вчера написал Орленеву, чтоб он не пил. Сегодня он сидел у меня часа 3. Необыкновенно впечатлительная и даровитая натура. Самое большое теперь дарование из всех, кого я знаю.

—

Клейгельс, раздосадованный тем, что Главное управление по делам печати оставило его жалобу без последствий, приказал частному приставу Литейной части, который цензурует объявления, не пропускать объявлений. Он и начал это. Коломнин был у него. Он не пропустил, например, о продаже яблок, говоря, что тут, может быть, под яблоками разумеется что другое; не пропустил о скорых поездах на Парижскую выставку от одной компании, которая утверждена министром финансов. Добиваться своего права через Сенат — значит ждать 6—8 месяцев. В 38 лет я ничего подобного не встречал еще. Чем дальше, тем хуже, вероятно.

— •

Был отец Иван Кронштадтский. Ему 71-й год, а на вид лет 50. Но, видно, устает и раздражается. Загадочная личность.

25 марта.

Орленев пьянствует все более и более и в пьяном виде позволяет себе говорить невероятные вещи. Плющику-Плющевскому он сказал: „Подойди ко мне, подойди, я тебя бить не буду". Плющик не обиделся и на другой день говорит ему: „Ай, ай, я боюсь Вас". Орленев, не пьяный, рассказывал мне об этом, выражая пренебрежение к Плющику, который в „Преступлении и Наказании" вполне зависит от Орленева.

3 апреля.

Вчера приехал в 12 часов ночи Орленев. В это время Б.В.Гея вызвали и сказали, что М.А.Загуляев скончался. Он двумя месяцами старше меня. Он был сыном офицера, выслужившегося из солдат, но мать его была урожденная княжна Мышецкая. Орленев просидел до 6 часов утра. Я отвез его домой, напился у него чаю и в 8 часов был у Загуляева. Он лежал на постели, закрытый белой простыней с головой, со сложенными под простыней руками крестным образом. Когда недели две тому назад Коломнин сказал ему, что пенсия будет идти его дочери из „Нового Времени", он сказал: „Я бы перекрестился, если б веровал". Очень был хороший человек, превосходный работник, никогда не изменявший своим принципам; любил говорить о своей дружбе с Гамбеттой и французскими знаменитостями. Аккуратности и точности в работе был необыкновенной.

—

Орленев показывал бумагу, где сказано, что „Преступление и Наказание" разрешается к представлению в провинции под ответственность Орленева „по ходатайству тайного советника Плющика-Плющевского, написавшего под псевдонимом Дельера „Преступление и На-

казание". Орленев печатал брошюру о пьесе с портретом Достоевского. Плющик обещал и свой портрет в орденах. Орленев, конечно, чрезвычайно даровитый актер, но говорит о себе страшно много.

—

Сколько раз я убеждался, что смерть не вызывает никаких особенных ощущений у близких. Умер — что ж делать? Поскорей в могилу и — будем жить. И хорошо! Живым надо жить, а мертвые пусть спят. Ничего в них интересного нет. Пока бьется сердце и есть силы — тогда и человек, а перестало оно биться — ничего не осталось, кроме тела, никому не нужного. Даже земля могла бы обойтись без этого.

—

Горничная рассказывала о страданиях больного Загуляева и его смерти с чувством гораздо большим, чем дочь его, хваставшая передо мною тем, что умирающий постоянно называл ее имя. У горничной слезы навернулись и лицо пошло красными пятнами от волнения.

9 апреля.

Пасха. Государь в Москве. Чего только ни ждали! Даже Земского собора, не говоря уже об объявлении войны Англии за буров. Ничего не случилось. Только рескрипт великому князю Сергею Александровичу, ему же портрет государя и митрополиту бриллиантовый крест на митру. „Правительственный Вестник" начинает печатать „мы", „я" и т.д. жирным шрифтом. Выходит некрасиво.

12 апреля.

На Александринском возобновили „Татьяну Репину". Большой успех. Савина уже не то что прежде.

—

На днях был Л.Л.Толстой. Пишет роман. Говорил, что с отцом помирился. Кто-то мне говорил о нем, что

он — „фонограф“ своего отца. Ему следовало бы избрать себе псевдоним. Детям вообще неприятно должно быть при знаменитом отце. Я читал французскую повесть на эту тему: отец и сын — архитекторы. Объявляется премия на какое-то здание. Оба приготовляют свои планы. Премия присуждена сыну, и отец в великой злобе.

16 апреля.

Орленев напечатал брошюру в 30 000 экземпляров о „Преступлении и Наказании“ для своих гастролей в 30 городах. На первой странице портрет Достоевского, на второй — портрет Плющика-Плющевского с подписью! „Я. А. Дельер, автор сценической переделки романа „Преступление и Наказание“ (Я. А. Плющевский-Плющик, тайный советник)“.

Этот тайный советник — прелесть. Орленев совершенно переделал свою роль по Достоевскому, отбросив все измышления Дельера, и вовсе откинул последнюю сцену, совсем никуда не годную. Со своим артистическим чутьем он сделал это изменение очень хорошо.

24 апреля.

Письмо к князю Шаховскому о придирках полицейской цензуры. Клейгельс рассердился на „Новое Время“ за его заметки о полиции и предложил приставу запретить объявления. Он это и сделал.

1 мая, 3 часа утра.

Сейчас уехала от меня княгиня Барятинская (Яворская). Она приехала в 12 часов. Сегодня был суд чести между ее мужем и князем Ухтомским. Сей последний сказал, что „Северный Курьер“, основался для того, чтобы возвратить симпатии молодежи „Новому Времени“. Каким надо быть идиотом, чтобы это сделать! Каким образом симпатии молодежи, которые мог привлечь к себе „Северный Курьер“, могли очутиться на „Новом Времени“ — никто понять не мог бы. Он прибавил, что ему известно, что Буренин три месяца редактировал „Северный Курьер“ и что я послал своего метранпажа в ту типографию, где „Северный Курьер“ печатается. Мало этого: он сказал,

что сам князь Барятинский все это ему говорил. „Вы наглый лжец!" — воскликнул князь Барятинский. Но того это не проняло. Он говорил полтора часа и сказал, между прочим, что князь Барятинский не имел права обличать высший свет, ведущий развратную жизнь, потому что сам он ведет развратную жизнь, а жена его ходит в тысячных туалетах. В течение сорока лет моей журнальной жизни ничего подобного не слыхал. Это такая скверная гадина — этот князь Ухтомский. Как лжец и доносчик, он достаточно выказался. Доверие к нему он употреблял во зло. Говорили, что с армян он взял крупную взятку, когда царь посылал его к ним для собирания „верных сведений" об этом „верном народе". Он доносил на Сигму печатно и устно. Он играл роль либерала, будучи глубоким предателем. Князь Барятинский, очевидно, в суде потерялся. Следовало дать пощечину князю Ухтомскому или, по меньшей мере, назвать его подлецом. Он объяснялся, очевидно, слабо, да и жена говорила, что он „немного потерялся", хотя она его и „заряжала". В прошлом году мне рассказывали о его предках, один из которых при Екатерине II скупал крепостных, как скот, перепродавал их. Отец его был у какого-то великого князя адъютантом и заставил его казначея уплатить сто или полтораста тысяч, сказав, что эту сумму велел великий князь уплатить. Это был самый бессовестный аферист. Говорят, он судился со своими любовницами, от которых имел детей и которым не платил денег. Но вид у него такой искренний, вид искреннего глупца или искреннего нахала.

Любопытно, что осенью образовался союз между „СПБ. Ведомостями", „Северным Курьером" и „Сыном Отечества". Союзники вместе обедали и начертывали планы битв с „Новым Временем". Это мне сказала Яворская. А я ей сказал, что князья в журналистику не внесли ничего, кроме гадостей, начиная с князя Мещерского. Леля помнит, что в „Гражданине" являлись статьи против молодежи, и студенчество говорило, что эти статьи были написаны Ухтомским. Князь Мещерский много мог бы порассказать о своем любимце.

Прошлой осенью говорили, что я дал денег князю Барятинскому для того, чтобы погубить „Россию". Это

имело еще хоть какой-нибудь смысл. Но я все-таки не настолько идиот, чтоб мог думать, что Амфитеатрова мог одолеть князь Барятинский, да и вообще, такой образ действий был бы образом действий глупца, который совсем потерялся.

Не воображал я, чтоб был возможен такой случай в журналистике, да еще княжеской. Ухтомский говорил еще, что Арабажин говорил ему будто бы, что он считает князя Барятинского ничтожеством и презирает его. И все это в глаза.

Гей видит в этом поступке Ухтомского желание погубить меня, выставив меня Маккиавелем, издающим две газеты противоположного направления. Он говорил еще, что сооружение этого броненосца — „Северного Курьера“ — я предпринял с той целью, чтобы погубить „СПБ. Ведомости“, точно они сами себя давно не погубили.

4 мая.

Встретил в магазине П. И. Вейнберга. Князь Ухтомский, по его словам, проиграет дело. Удивлялся огромному числу дел в суде чести. Князь Барятинский первый раз судится о своей чести. Вейнберг был у Барятинских, когда депутация молодежи приходила к ним свидетельствовать свою симпатию. Говорилось о „свисте бича“, который раздался из „Северного Курьера“ и который искоренит все зло. Говорил технолог. Было все так поддельно, что он ушел.

15 мая.

12-го, в пятницу, выехал в Москву. 13-го, в субботу, провел с Чеховым. Он мне телеграфировал в Петербург, что приехал в Москву. Целый день с ним. Встретились хорошо, и хорошо, задушевно провели день. Я ему много рассказывал. Он смеялся. Говорил о продаже им сочинений Марксу. У него осталось всего 25 тысяч рублей. „Не мешает ли Вам то, что Вы продали свои сочинения?“ — „Конечно, мешает. Не хочется писать“. — „Надо бы выкупить“, — говорил я ему. „Года два надо подождать, — говорил он, — я к своей собственности отношусь довольно равнодушно“. Ездили на кладбище. Пошли на могилу

его отца. Долго искали. Наконец я нашел. Потом поехали в Данилов, где могила Гоголя. Видели, что на камне кем-то нацарапанные надписи, точно мухи напакостили. Любят люди пакостить своими именами. Он проводил меня на железную дорогу. Он поправился. Зимой было всего одно кровохарканье, и то маленькое. О Горьком говорили. „Он идеальный человек. Но жаль, что он пьянствует. Он женат и ребенок есть". Об его „Мужичке" сказал, что это бездарно. Он слишком много пишет. Я с Чеховым чувствую себя превосходно. Я на 26 лет старше его. Познакомились мы с ним в 1886 году. „Я тогда был молод", — сказал я. „А все-таки на 26 лет и тогда были старше".

18 мая.

Скучно. Чувствую себя нездоровым. Спина болит, точно перерезывают ножом. Сегодня управляющий говорит: „Надо продать пять самых старых лошадей". Их продали за 90 рублей. Мне их было очень жаль, и жаль теперь. Здесь их кормили, там, быть может, кормить будут хуже, а других, пожалуй, убьют, чтоб содрать шкуру. Я даже подумал: явятся мне во сне эти лошади и скажут: „Эх, Алексей Сергеевич, нехорошо, брат! Разорим мы, что ли, тебя?" Действительно так. Куда мне быть хозяином. Совсем не гожусь.

—

Читал сегодня и вчера о Пушкине. Много справедливого в старых номерах в „Вестнике Европы" (вероятно, Анненкова) об издании Ефремова. П. Ал-ч очень милый человек и очень знающий, но к Анненкову он относился и доселе относится как к врагу. А „Материалы" его и все то, что писал он о Пушкине, очень интересно.

19 мая.

Сидел и сочинял в стихах разговор между Потемкиным и Екатериной.

25 мая.

Эти дни работал над Руссо. Переводы Руссо плохи. У

Кончаловского в „Новой Элоизе“ bûcheron — дровосек — принят за собственное имя Бюшерон и проч.

29 мая.

Очень тоскливо в дурную погоду здесь сидеть. Герцен справедливо говорит, что города нас избаловали и обрезали крылья. Тепло, уютно, сидим за полицией, за церковью, за администрацией, сильные правом собственности и комфорта.

—

Гей прислал фельетон Стороннего о непротивлении злу. Такая белиберда, что хоть святых вон выноси.

31 мая.

Муратова (псевдоним Владимирова) прислала свою „Бесправную“ в исправленном виде, по моим увещаниям. Но 5-й акт все-таки неважен и сентиментален.

15 июня.

Бранчливая заметка в „Новом Времени“ о „Северном Курьере“, который справедливо заметил, хоть и с вывертом, что появление приказа о мобилизации в „Правительственном Вестнике“ и „Северном Вестнике“ нелепо. Я послал в редакцию такую депешу: „Петербург, „Новое Время“. „Мне очень неприятно бранчливое отношение к Барятинскому. Кому это нужно? Надо настаивать, чтоб военные известия являлись одновременно во всех газетах. Монополия „Правительственного Вестника“ в данном случае совершенно несправедлива. Суворин“.

—

Китайские события очень тревожат меня, больше, чем мое болезненное, дохлое состояние.

—

Прочел 15-ю пьесу, на конкурс представленную, — „Судьба“ в 3-х действиях и 6-ти картинах. Судьба ее плохая.

—

Рассказывают, что митрополит Антоний разослал по всей России секретные циркуляры с строгим наказом всему духовенству не признавать графа Толстого православным. В этом циркуляре граф объявляется непослушным, враждебным критиком православной церкви и еретиком. Никакой священник не должен ни исповедывать, ни напутствовать его, ни даже хоронить на кладбище, если он при жизни своей не раскается и не признает публично православия, не уверует и не возвратится в лоно церкви.

Духовенство было принуждено приложить свои подписи к этому циркуляру в знак повиновения. Митрополит желал публичной прокламации, но Святейший синод отказал ему в этом.

20 июня.

Прочел наконец очень порядочную вещь, „Порывы сердца". Без банальностей. Есть характеры, есть ум и талант. Конец не нравится, но он возможен.

4 июля.

Вчера целый день пробыла А.А.Пасхалова. Она развилась и значительно поумнела. У нее есть взгляды на пьесы и роли, иногда оригинальные. Очевидно, изучала и думала.

15 июля.

Сегодня приехал в Петербург из деревни. Приехал главным образом потому, что Леля поместил фельетон Розанова, который написан был еще весною и который я не помещал, ибо в нем говорилось о церкви.

Вечером от 9 до 11 у Витте. Читал протокол заседания 15 ноября 1897 года о предложении графа Муравьева занять Порт-Артур.

Витте доказывал, что этого не следует делать. Морской министр был на его стороне, военный на стороне Муравьева, который этим хотел поднять престиж России и говорил потом: „Я себе такой венок славы заслужил, что могу теперь ничего не делать".

Накануне смерти он приехал к Витте в половине 9-го. Начал разговор тем, что китайцы заварили кашу. „А Вы вспомните, — сказал Витте, — что это Вы заварили с Порт-Артуром“. Муравьев сконфузился и заговорил, что этого не надо вспоминать. „Что делать?“ До 11-ти они разбирали разные комбинации, причем Витте советовал крайнюю осторожность.

В 11 Муравьев ушел к Мат. Ив., жене Витте, так как у Витте были спешные дела. В 12 часов он кончил и пошел вниз к жене. Муравьев был еще там. „Вы еще здесь?“ — „Да вот заболтался, который час?“ — „12“. — „Ну, надо спешить“.

Он уехал. Витте спросил себе стакан сельтерской и хотел подлить в нее из бутылки шампанского, которая стояла на столе, но в ней не было ни капли. „Ведь вот счастливец, — сказал он, — он на четыре года старше меня, а если б я на ночь выпил бутылку шампанского, то завтра был бы болен“. На что ему говорит курьер: „Граф Муравьев приказал Вам долго жить“. Все рассказывали, что он отравился, что государь будто бы на него кричал, — вздор.

—

О государе: „Образованный, судит об отдельных фактах здраво, но связи в фактах и событиях совсем не видит. Самолюбие большое и уверенность, что он все может, потому что самодержавен. Любит блеснуть фразами. Так как он только может направлять разговор, то говорит, когда видит, что его хотят убедить: „Об этом я имею полное понятие“ или „Это мне очень хорошо известно“, и прибавляет какое-нибудь общее место.

—

Отправка на Дальний Восток стоит 200 рублей на 1 человека. В 3 недели истрачено 60 000 000 рублей.

—

Телеграмма Государственного совета к императри[illegible] китайской. Послы живы. Дворец Гайхо дал провизи[illegible]

19 июля.

Был у жены адмирала Скрыдлова. Завтра он едет принять начальствование над эскадрой Тихого океана. Говорит, что у пяти министров был и все пятеро говорят свое. Никаких директив, программ. Государь ненавидит японцев и предостерегает, чтоб их останавливать и не давать преимуществ. Ламсдорф говорит, чтоб отнюдь не затрагивать японцев. Куропаткин: „Мы держим экзамен перед Европой". Флот наш плох. Скрыдлов прямо говорил это государю, который это знает. У японцев флот прекрасный, и они могут уничтожить нас живо. Балтийского флота не дают, боясь, что Германия может объявить нам войну. Морской министр живет в Петергофе со своей любовницей и ничего не делает. Пока генерал-адмирал — великий князь, никакого у нас флота не будет. Великие князья никогда ничего не делают, а министры все: „Как бы не обеспокоить великих князей". Воровство колоссальное.

2 августа.

В агентстве. Там получен циркуляр, чтоб не говорили ни слова о приезде представителей буров. Очевидно, Ламсдорф распорядился. Этакое свинство, прости Господи! Перед кем они, эти дипломаты и правители, унижают народ и Россию? Не мы холопы, а правительство холопье и глупое, которое само ничего не умеет сделать путного.

—

С Китаем нет телеграмм. Слово стоит 3 рубля благодаря императрице Марии Феодоровне, которая потребовала этого налога в пользу датской компании. Погибла Россия — лишь бы жива была Дания! Немка не делала того, что делает эта вдовствующая. Говорили, что Паллизен получил миллион по ее требованию, тоже ни за что ни про что.

—

Орленев взял у меня 2000 рублей на поездку. Отдаст ли?

21 августа.

Черновое, Ник. Генр. Гартвигу.

„Я Вам очень благодарен за внимание ко мне. „Новое Время", говорите Вы, „будирует". Против кого? Против Министерства иностранных дел? Нет, оно не будирует. Но оно старается стать по отношению к нему в то положение, которое для большой газеты обязательно. Я сорок лет журналистом. Я был им при трех царствованиях. Я выражал свои искренние мнения, не справляясь с течениями в том или другом ведомстве. Я думал всегда, что в самодержавном государстве есть только одно лицо, которому я служить обязан. Это — государь император. Что касается разных ведомств, то Вам известно хорошо, что они очень часто находятся в противоречии друг с другом или друг против друга „будируют". Я мог бы Вам рассказать случай, бывший со мной во время событий, последовавших после битвы при Кушке, когда государю императору угодно было узнать имя автора статей, автора из дипломатического ведомства, который в „Новом Времени" говорил о необходимости сделать уступки Англии, что совершенно противоречило мнению государя. Я об этом случае упоминаю потому, что совершенно сознаю, что в деле иностранной политики необходима известная связь газеты с руководителями иностранной политики, но связь добровольная, основанная на взаимном уважении мнений. И эта связь постоянно существовала. Мне достаточно назвать сотрудников, которые старались устроить эту связь и пользовались материалами Министерства иностранных дел. Это — Пашков, Загуляев, Молчанов, Мануйлов и др. Мы печатали часто и свои статьи по данному вопросу, и статью, выражавшую мнение Министерства иностранных дел. Но все-таки по отношению к общественному мнению мы исполняли свою роль, то есть высказывали то, что казалось нам необходимым или правдивым в данном положении. Это не могло влиять дурно на действия Министерства иностранных дел или мешать ему. Наоборот, это ему помогало".

25 сентября. Никольское.

Хочется кончить комедию. Я мало отдыхал в это лето. Китайцы помешали. Лучшее время с половины июля я

провел в Петербурге, написал 20 „Маленьких писем“, читал и исправлял свой роман „В конце века“ (4-е издание), написал драматические сцены, набросал 4-актную комедию „Героиня“ и прочел сто пьес, присланных на премию (всего 140). Устал и 8 сентября приехал сюда. Написал 4-актную комедию, переделал три первых акта и набросал две картины 4-го акта.

Сегодня взял Некрасова и зачитался. Давным-давно я его не читал. „Пропала книга“, стихотворение его 1865 года, написано им, как он мне сам говорил, на мой роман „Всякие“, осужденный и сожженный.

Сколько всего переживалось. Но все записывать не хочется. К чему? Иногда тянет меня к этим листкам, а ничего не выходит. Я не записывал очень интересных вещей, потому что они требуют того, чтобы хорошо их передать, а записывал вздорные вещи. Недолго мне осталось держать перо в руках. В этом периоде умирания, когда не хочется никому говорить, что действительно умираешь, когда все это очень хорошо видят, но молчат и не подают признака, что они готовы встретить смерть мою, дарование не бывает злобно. У Некрасова:

Просит отдыха слабое тело,
Душу тайная жажда томит.
Горько ты, стариковское дело!

—

Воистину горько. И в старости чувствуешь себя таким одиноким, что, не будь у меня театра, не владей я пером, я бы пропал.

11 октября.

Карпов вышел в отставку. Князь Волконский окружает себя миньонами. Дирекция императорских театров с этим ничтожным князьком — какая-то мужская б..... Князь Волконский „со слезами умолял“ Юрьева, чтобы он уступил Самойлову роль, и Юрьев это объявляет громогласно. Давыдов в этой компании. Он и взялся режиссировать. Савина о нем говорит: „Он больной человек, давно уж“, то есть больной тем, чем и князь Волконский. Карпов

может перейти в наш театр. Но он очень самонадеянно смотрит на себя, все знает, и ничего нет такого, что было бы от него закрыто. Он глупо поступил, бросив сцену, не поддержав своего достоинства. Савина говорит: „Комиссаржевская его бросила. Знает ли он об этом или предполагает, что это невозможно? Но у нее есть 22-летний хлюст". Все женщины! Комиссаржевская его и погубила.

28 ноября.

В субботу 18 ноября я уехал в Москву. Чехов уезжал на юг, в Алжир, просил меня приехать к нему. Я хотел вернуться 22-го на генеральную репетицию „Сынов Израиля", или „Контрабандистов", как мы окрестили пьесу. Чехов отговаривал. Я остался. В среду можно было видеть Л.Н.Толстого. Из Петербурга мне телеграфировали, что можно не приезжать. В четверг, 23-го, разыгрался скандал в Малом театре. Я приехал в 12 утра с курьерским. Мне рассказали домашние, как было дело. Я хотел видеть А.П.Коломнина и пошел к нему наверх. Андрюша в это время спускался с лестницы и сказал мне, что „папа уехал защищать дело в Сенат". Мне хотелось обратить дело в шутку, я заперся в кабинете, не велел никого пускать и написал „Маленькое письмо" и отправил его в набор.

В 3 часа, когда я кончил писать, мне сказали, что с Ал. Петровичем в книжном магазине сделалось дурно, потом, что он умер. Меня это поразило. Никогда я не думал, что он умрет раньше меня. Эта смерть окрасила скандал в другие краски. То, что я услышал потом, было верхом нахальства со стороны Яворской, Арабажина, князя Барятинского, устроивших скандал. Арабажин развозил свистки, сирены, места в театре студентам, курсисткам, фельдшерицам. Шум стоял невообразимый. Под этот шум игралась пьеса. На сцену кидались биноклями, калошами, яблоками. Яворская сидела в крайней ложе вместе с Мордовцевым, Арабажиным и мужем своим. Ей одни аплодировали, другие кричали: „Медный лоб!" и „Вон Яворскую!" Пробыть за сценой в это время было тяжело. Коломнин был там один и, естественно, волновался. Внезапная смерть его подготовлялась, вообще, его болезненностью, но скандал сократил его жизнь. Для меня это огром-

ная потеря. Мы ссорились с ним, негодовали друг на друга, но мы понимали друг друга, ясно видели, что полезны друг другу. Я отводил с ним душу. Со мной он всегда был деликатен. Он сделал очень много для „Нового Времени" и для меня лично тем, что помогал отдаваться работе, снимая с меня все заботы по хозяйству и проч. Целая жизнь почти прошла вместе. В течение 20 лет он почти не выезжал из Петербурга, оставаясь при газете, наблюдая за ее хозяйством и ходом ее. Когда я отсутствовал, он писал мне прекрасные письма, полные фактов из политической жизни. Он много сообщал мне из жизни административной и полицейской. При своих обширных и разносторонних кругах знакомства он имел возможность знать многое, а при своем наблюдательном уме он умел правильно оценивать события. Газета ему была так же дорога, как мне. Никто его мне не заменит. Я лишился в нем верного друга и отличного советника. В этом отношении он был для меня тем же, как Г.В.Гей.

25-го циркуляр по делам печати, чтоб не говорить ни о пьесе „Контрабандисты", ни о скандале. Начали волноваться студенты. Я написал князю Шаховскому большое и резкое письмо против циркуляра. Он поехал с ним к Дурново, прося отменить циркуляр. Дурново не согласился; тогда он написал прекрасное письмо Столыпину в Ялту.

Студенты волнуются. Два течения. В редакции масса писем. Актеры Малого театра подписали заявление, что не хотят служить вместе с Яворской, которая подло поступила против товарищей. Буренин был вчера у Барятинских. Они смущены и заговаривают о мире. Дурново винит меня, что я поставил пьесу, и дирекцию театра, что она не приняла никаких мер, что билеты брались, как в обыкновенный спектакль. Никто не ожидал той манифестации, которая произошла. Особенно сирены мешали — вероятно, изобретение бывшего моряка князя Барятинского. Не хватает того, чтоб пьесу запретили и тем санкционировали бы этот скандал. Я послал князю Шаховскому, что запрещениями они ничего не возьмут. В обществе

что-то растет, и мне это сильно напоминает 60-е годы. У правительства вечная манера: сами не умеют управлять и винят тех, кто что-нибудь делает. Ал. Петрович помог бы, если б был жив.

Вечером сегодня в режиссерской я сказал, что артисты напрасно подписывают протест против Яворской, говоря, что с нею служить не желают. Когда солдат ведут на бой, то они не говорят: „Между нами есть один, с которым мы идти не желаем. Пусть его уберут сначала". Слова мои Плющевский-Плющик передал артистам. Михайлов подошел ко мне и сказал: „Мы наверное не знаем, какое участие Яворская принимала в устройстве скандала, и принимала ли она какое участие. Допускаю, что она никакого участия не принимала. Но когда в нас бросали яйцами, галошами и биноклями, она должна была прийти к нам и сказать: „Вот моих товарищей невинно оскорбляют, и я хочу быть вместе с ними". Вместо этого она сидела в ложе и принимала рукоплескания от тех самых людей, которые нас оскорбляли. Вот что нас заставляет подписывать протест. Мы решились на него не сгоряча, а хладнокровно, два дня спустя, и мы считаем себя правыми".

— Мне ваши мотивы не были известны, — отвечал я ему. — Выслушав Вас, я не могу не признать, что Вы поступаете справедливо.

Подробности о скандале: князь Голицын говорил, что скандалисты состоят отчасти из людей, которые говорили по-французски и имели серебряные портсигары. Именно из этой группы он слышал при выходе из театра:

— А что ж, актеров били?

— Нет.

— Надо бы их бить!

Толпа студентов стояла перед театром и обращалась к городовым:

— Что ж вы сабли не вынимаете или нагайки?

— Зачем? Полиция составила протокол, а там начальство разберет.

Другая толпа стояла по ту сторону Фонтанки в полной безопасности и кричала оттуда:

— Эй вы, полиция, попробуйте нас в нагайки!

Студенты входили в театр без билетов. Одни заняли

места в театре насильно, другие образовали в коридоре целую толпу. Толпа стояла и перед дверью на сцену, где режиссерская.

В университете вывешено объявление от ректора с просьбою, чтоб студенты перестали волноваться „в ожидании разбора дела их в судах“.

Ректор дозволил сходку студентам; отвечая на их просьбу высказать свое мнение, сказал следующее:

— Мое мнение в двух словах. Есть две цензуры: одна разрешает пьесы для печати, другая — для сцены. Обе достаточно строгие. Теперь явилась третья цензура, студентов. Больше мне нечего сказать. Рассуждайте!

Слышал об этом от И.М. Литвинова. Студенты хотели устроить демонстрацию. Полиция арестовала 600 студентов.

В университете говорили, что пьесу „Контрабандисты“ запретили, а „Северному Курьеру“ дадут третье предостережение. Возможно то и другое. И то и другое нелепо и унизительно для правительства. Если редакция „Северного Курьера“ организовала манифестацию, то ее следует судить у мирового, а не студентов, которые манифестировали, а не запрещать газету и не делать г-жу Яворскую с ее мужем и глупым Арабажиным политическими мучениками.

Сипягин сделает то, что скажет Витте. Достанет ли у Витте мужества высказаться против этой манифестации в пользу евреев?

26 ноября.

Разговор с В.П. Бурениным о Яворской. По его словам, она уверяет, что не устраивала демонстрации. Она хочет объясниться со мною. Это объяснение будет в пятницу. Я знаю, насколько она лжива и лукава. Но дать право труппе выгонять артистов — последнее дело. Поэтому я перенесу дело в общее собрание нашего Общества. Яворской надо сказать, что она имеет свою газету, что в этой газете меня позорили, что князь Барятинский сказал Плющевскому-Плющику, что „Сыны Израиля“ — только предлог для агитации против „Нового Времени“, „все честные люди“ против этой газеты. На юбилее Нотовича князь

Барятинский плакал об отсутствии честных людей и нашел их в Нотовиче и его сотрудниках. Холмская тоже имеет газету. Я был против нее. Я не велел поднимать „Театр и Искусство“ к себе наверх и перестал просматривать журнал. Это меня успокоило настолько, что я почти забыл, что Холмская — издательница, и пригласил ее в труппу. Ругань прекратилась. Это презренно, но понятно.

—

Наше Общество Литературно-Художественного театра злит меня. Я столько для него сделал, а оно даже не поблагодарило меня. Я поставил „Ганнеле“. По моей инициативе это переведено и мной поставлено. Я защищал ее, когда против пьесы поднялась агитация. По моему ходатайству дозволили „Федора Иоанновича“. Переделал „Новый Мир“ Сенкевича, а эта драма дала театру около 60 000. Я ничего не взял с театра, ни гонорара поспектакльного, по 1000 рублей, которые я заплатил Барту. Я работал как вол и лишал газету своего сотрудничества, которое всегда кое-что значило. Общество и не подумало благодарить. Первые три года стоили мне до 50 тысяч. Никто не платил, а когда театр стал приносить доход, все взяли дивиденд. Когда ушел Карпов в Александринский театр, члены кружка хотели прекратить дело. Я взял его на свою ответственность.

1 декабря.

С 3-х до 6-ти была Яворская. Я спокойно и откровенно говорил с ней. Не утаил ничего из того, что о ней слышал, и не дал ей самой выходить из спокойного тона. Но...

—

„И путает, и вьется, и ползет“.

—

„Она ни в чем не виновата. Только разность убеждений. Устроили все еврействующие“. Так говорит Дурново.

Без полиции было бы лучше, когда в театр и без того понашло множество людей, не заплативших за свой вход. В театре она была всего 20 минут и оттуда уехала к баронессе Икскуль. Нашли 12 писем с приглашением от Яворской, но письма признаны подложными. Кому нужно было этим заниматься? Можно подумать, что этим занималась дирекция. Хронику „Северного Курьера“ доставляют студенты, из которых одни против евреев, другие — за. Один из последних явился в редакцию с сиреной и стал на ней дудеть, показывая превосходство этого инструмента во время манифестации. Но Арабажин сказал ему, чтоб он не делал этого в театре и чтоб никто из сотрудников не свистел и не гудел, чтоб не могли обвинять редакцию. Говорила, что все уверены, что я желаю запрещения „Северного Курьера“. Буренину князь Барятинский говорил, что циркуляр мне на руку. Какая фигура этот мичман! С ним я не справлюсь! Вот до чего старость доводит! Аристократический выродок, гороховый поэт, ищущий популярности всякими средствами, поднимает голову и смело клевещет. Я сказал ей, что было бы великою глупостью со стороны правительства запретить пьесу и „Северный Курьер“. Она старалась убедить меня, что эта манифестация — следствие моего столкновения с молодежью в третьем году и заметка „Нового Времени“ о 60% студентов в Харьковском университете. Я сказал ей, как это фальшиво, если актриса имеет свою газету. В нашей труппе таких две: Холмская и Яворская. В Европе ничего подобного. Я посоветовал ей подать заявление в дирекцию, в котором просить разобрать дело. „Требовать я могу“, — сказала она. „Зачем требовать? Скажите, что Вы имеете на это право“. Со своей стороны, я полагаю, что необходим либо третейский суд, либо суд чести при помощи Русского Театрального общества.

Я взбесился на Плющевского, который сказал мне, что я „на директоров накричал“. Я на себя накричал! Мне было плохо. Я уехал из театра, принял валериановых капель, отлежался и написал это. Я чувствую упадок сил. Мне жаль Карпова, который испугался за меня. Какая кутерьма!

—

С Яворской переписка. Вот баба — мучительница! „Ни в чем не виновата!" Виноваты враги ее, а не она. Я написал ей несколько писем. Ничего не хочет понять. Мне надо оставить театр. Вести его при помощи нескольких хозяев невозможно. Когда прибыль — пайщики берут деньги. Когда убыль — я вношу свои. Очень выгодно! Я в два часа окончил бы дело с Яворской, если б театр был мой. А теперь тянется бесконечно.

23 декабря.

Репетиция „Контрабандистов". Для себя устроил. Средняя пьеса, конечно, тенденциозная, в пользу русских. Есть крыловские глупости и грубости. Кое-что почистил. Было человек 200 зрителей.

Вчера был у министра внутренних дел Сипягина. Он произвел на меня очень приятное впечатление. Мягкие манеры, красивые глаза, приятный голос — печать порядочности чисто барской. Говорили о „Контрабандистах". „Я прошу Вас поставить пьесу. Если мы „Ревизора" ставили, то пусть евреи посмотрят „Контрабандистов". Я просил его, чтоб полиция в этот день не вмешивалась в суд публики. Тут хозяин — публика, а не полиция. Только публика может потребовать полицию. Как в общественных садах ставят заявление, что „сад поручается вниманию публики", так и сцена. Можно свистать и аплодировать, но нельзя не давать слушать пьесы.

Поставить ее необходимо и для того, чтоб прекратить разговоры о ней, чтоб сказать кучке скандалистов, что они не правы, что в пьесе нет ничего непозволительного. Если публике она не нравится, она может запретить пьесу, не посещая ее, и, наконец, шикать ей.

На репетиции авторов не было. Акцент я совсем изгнал. Это — как бы иностранная пьеса. Между собою евреи могут говорить на своем языке, стало быть, акцент дело ненужное.

—

Переработал первый акт „Царевны Ксении". Он мне нравится. Остальное не нравится.

—

Савина приезжала с адресом Варламову. Я передал ей набросок адреса Всеволожскому. Она меня просила об этом. Но справиться с этим мудрено. Она — умная и приятная женщина. Говорила, что великий князь был у Молчанова (больного) и просил меня не ставить „Контрабандистов“ 30-го, когда спектакль в пользу Театрального общества.

24 декабря.

Всю ночь не спал и в 10 часов был у Буренина. Запрещение „Северного Курьера“ мучит меня. Какая правительственная глупость! Три министра и прокурор Синода, говорят, за завтраком решили это. Покойно и приятно! А что за дело до того, что это подарок к празднику для многих бедных писателей, наборщиков, рабочих и т.д. Именно каторга это журнальное дело. Буренин вечером говорил, что Яворская плачет, отказывается от бенефиса и хочет играть. Я прошу у Витте позволения говорить с ним. Буду говорить о Яворской. Мне ее жаль. Бороться с тем, кого преследуют, — свинство. Она подозревает Ратаева: он писал донесение о скандале по поручению Зволянского. В наш театр забрался Ратаев с „Дон-Жуаном Австрийским“. Плющевский пристегнул их к нам. Когда мы с Ал. Пет. Коломниным и Холевой делали дело, все было прекрасно, ни в каких ходатайствах мы не нуждались. А с тайными советниками пошло все навыворот. Каждой шалости придавалось значение, как благоволение чиновников. Черт знает что!

1901 год

28 января.

На прощальном бенефисе Леньяни („Камарго“) виделся с А.К.Пузыревским. Говорили в антракте с полчаса о Царстве Польском. Умный человек. 11 миллионов поляков нельзя обратить в русских, но можно требовать от них, чтоб они признавали государственную власть России... Поляки стремятся изучить свою этнографию, чтоб сохраниться поляками... Радикальная партия готова действовать, но она бессильна... Совет социалистов. Он сперва существовал на международной почве. Теперь на национальной, желая устроить польских рабочих наилучшим образом... В Польше до полутора миллионов безземельных крестьян... Князь Имеретинский хотел воспользоваться майоратами, созданными для русских целей, но им совсем не отвечающим... Надо, чтоб казна их выкупила, разбила на участки и отдала крестьянам... Вопрос о сервитутах также важен... Польша — хорошая школа для русских, ибо поляки замечают каждую ошибку и при каждом случае стараются делать затруднения. Например, для приезда государя — арка. С какою буквою — „Н“ или „М“ (по-польски Миколай)... Из галицийской печати проникает контрабандою масса листков, печатанных на тончайшей бумаге. Австрия этому покровительствует... Литва не стесняется говорить даже такие вещи, что к государыне надо бы прикомандировать двух-трех гренадеров, как делала Екатерина II, и тогда она родила бы наследника очень скоро. О Куропаткине говорит как о человеке, который действует бессистемно, подняв множество вопросов и ни одного не решив.

—

Мои заметки носят характер случайный. Вносится часто то, что не стоит, и пропускается то, что записать следовало бы. Я не записал, что 1 января дал „Контрабандистов“, что ездил к Сипягину, который обошелся со мной довольно сердито за то, что я посмел передать полиции его же мнение, чтоб она не особенно усердствовала в театре. Он был недоволен, что я никого не уведомил, что даю „Контрабандистов“, ни даже полицию, которая приготовилась „спасать отечество от революции“. Оказалось, что и спасать не от чего было. Студенты не приходили, а полиция дежурила в Малом театре, ожидая манифестантов и революционеров.

9 февраля.

В Народном доме Николая II царь после репетиции пьесы о Петре Великом подал руку автору В. А. Крылову, сказав:

— Мне Ваша пьеса очень нравится. Я нахожу ее даже полезной. Это Ваша первая пьеса?

— Ваше Высочество, я сорок лет пишу для сцены, — отвечал обиженный Крылов.

Рассказывал Шубинский, а ему Крылов, просивший мне об этом — „Это Ваша первая пьеса?“ — не рассказывать, боясь насмешек. Что ж тут удивительного, что царю неизвестны пьесы Крылова и, очевидно, даже самое имя его?

—

Буренинское подражание Пушкину:

Дорошевич.

Тень Ваньки Каина меня усыновила
И Кабакевичем из гроба нарекла,
Вокруг меня толстосумых разорила
И Савву М. венком лавровым оплела.
И т.д.

14 февраля.

Сегодня в Боголепова стрелял мещанин Карпович, бывший студент Московского университета. Рана в шею. Собрали сведения, набрали, готовились написать статью. Ничего не надо! „По приказанию министра внутренних дел Главное управление уведомило, что никаких подробностей печатать не надо, а следует только перепечатать обязательно присланное им известие в пять строк". Храни Бог, убьют государя — то министр распорядится так же. Le roi est mort, vive le roi!* Какие глупцы сидят на министерских местах. Вот набранная заметка, которая не могла быть напечатана:

„В здании Министерства народного просвещения сегодня, 14 февраля, произведен злоумышленником выстрел в министра народного просвещения Н.П.Боголепова. В часы, назначенные для личных объяснений с г-ном министром, в числе находившихся в приемном зале был некий Карпович, желавший лично подать министру прошение о приеме в Юрьевский университет. Он был допущен к приему, так как Н.П.Боголепов никому в приеме и в личных объяснениях не отказывал. Остановившись около одного из книжных шкафов, злоумышленник облокотился на выступ книжного шкафа. Просителей было немного. Министр, выйдя из своего кабинета, стал обходить просителей. Когда он приблизился к одному из провинциальных городских голов (черниговскому), стоявшему рядом с преступником, последний быстро вынул пятиствольный револьвер и, не снимая локтя правой руки с выступа, направил дуло револьвера в грудь министра. Произошел выстрел. Н.П.Боголепов, бывший в двух-трех шагах от злоумышленника, упал. Преступник намеревался спрятать оружие в карман сюртука, но опустил его мимо кармана, и револьвер, заключавший еще четыре пули, упал на пол вместе с прошением. Выстрел произвел переполох. К министру подбежали присутствовавшие в зале, а также товарищ министра Н.А.Зверев, директор Департамента народного просвещения В.А.Рахманов, находившиеся в соседних кабинетах, и попечитель с.-петер-

---

*Король умер, да здравствует король! (*франц.*)

бургского учебного округа Н.Я.Сонин. Среди окружавших министра были врачи, которые подали первую помощь. По телефону тотчас вызвали профессора Н.В.Склифосовского и хирурга Н.П.Зворыкина, и ими была сделана перевязка. Министр народного просвещения оказался раненным в шею. По-видимому, рука преступника дрогнула, и выстрел, направленный в грудь, попал в правую сторону шеи. Пуля застряла в задней части шеи около шейных позвонков. Извлечение пули профессор-хирург Склифосовский не признал возможным сделать теперь; рана, по его мнению, неопасна, но последствий предвидеть нельзя. Приехала между тем санитарная карета из ближайшего пункта подания первой помощи. Н.П.Боголепов пришел в себя, произнес несколько слов и был отправлен из Министерства на свою квартиру. Преступник после выстрела был схвачен и связан. В первое время он утверждал, что у него нет револьвера. Личность его точно не установлена. Он назвался Карповичем, бывшим студентом сперва Московского, затем Юрьевского университетов. Только вчера прибыл он в Петербург из-за границы. Одет в черный потертый сюртук. Его физиономия не из приятных. Среднего роста, брюнет с бородкой. Его движения до совершения преступления отличались нахальством, после преступления сделались нервными, резкими, неуверенными. Преступник первоначально упорно молчал. Причины покушения, по-видимому, не исходят из личной мести, а есть результат извне навеянного фанатизма. Преступник прибыл из-за границы с определенным намерением. Вслед за происшествием в Министерство народного просвещения прибыли министр юстиции, статс-секретарь Н.В.Муравьев, внутренних дел егермейстер Сипягин, директор Департамента полиции, прокурор Судебной палаты и судебные чины. В присутствии министра снят первый допрос с преступника, полное имя которого — Петр Карпович".

—

Вечером был князь В.В.Барятинский, изъявлявший желание, чтоб окончание заседания собрания Л.-Х. обще-

ства было в это воскресенье, так как Карабчевский уезжает в понедельник из Петербурга. Я написал Плющевскому, который собирает от актеров подписки в том, что он не советовал актерам писать против Яворской. Удивительно мне это старание. Пусть говорят! Барятинский об этом знает. „Мне только жаль актеров, которые мне об этом говорили, а то я назвал бы их имена. Но если он заставит меня — я назову". Тоже хорош.

25 февраля.

Сегодня дело с Яворской покончено. Общее собрание большинством в 32 голоса против 29-ти одобрило действие дирекции, признавшей, что Яворская нарушила контракт. Мне ее жаль.

Видел второе представление „Татьяны Репиной" у итальянцев. Тинади Лоренцо была еще лучше, чем в первый раз. Со времен Дузе я не испытывал такого удовольствия как зритель.

Как автор, я ничего особенного не ощущал: так далеко от меня стала пьеса.

7 марта.

Очень тяжело, и физически, и нравственно. Опять беспорядки молодежи. Чувствуешь, что что-то делается, что-то движется. У нас не как у всех. У нас самодержавие. Придворные совершали переворот и войска. Потом стала к этому пристегиваться молодежь. Говорить прямо и открыто невозможно. Газета становится противною. Хочется отдыха, и его нет и не предвидится.

—

Юбилей удался, но меня он нимало не утешил. Напротив. Молодежь числом человек в 100—150 хотела сделать перед домом кошачий концерт. Ее не пустили. Я узнал потом. Мне было очень тяжело. В день юбилея сняли 2 предостережения. Я с ними жил и водился целые 20 лет. И за это еще надо благодарить. Юбилей устраивали сотрудники. Был великий князь Владимир на рауте. У меня в доме были министры: Витте, Ламсдорф, Ермо-

лов, Муравьев и председатель Государственного совета Дурново. Я был только сконфужен, а удовольствия никакого.

—

Вчера приехал Сальвини. Я пригласил его отобедать завтра.

—

Газета меня угнетает. Я боюсь за ее будущее. Тьма сотрудников, большей частью бездарных и ничего не делающих. Я сказал, что юбилей — репетиция похорон. Так это и будет. Не был бы только он репетицией похорон газеты. Я должен умереть, но газета должна жить, и она может жить.

3 мая.

В апрельской книжке „Вера и Разум“, издаваемой преосв. Амвросием, письмо к нему, очень хорошо написанное, подписанное: „Почетный Гражданин, из бывших духовных, Иероним Преображенский“. Такого резкого и правдивого письма не являлось в русской печати никогда. Амвросий отомстил за то, что не сделали его митрополитом. Письмо это лучше написано, чем письмо Л.Н.Толстого в ответ Синоду. Оно духовенство прямо клеймит позором, да также и самодержавие, и в особенности молитвы о царе, называя их... (в рукописи фраза не окончена). На обертке: „Дозволено цензурой. Харьков, 30 апреля 1901 год. Цензор протоиерей Павел Солнцев“. О подписи под письмом сказано: „Подпись на другом, очевидно, псевдоним“. Редакторы журнала: ректор семинарии, протоиерей Иоанн Знаменский и инспектор семинарии Константин Истомин.

Ничего не случилось: только из „Веры и Разума“ перепечатали „СПБ. Ведомости“ с некоторыми выпусками, а „Петербургская Газета“ целиком. Очевидно, то, что раз напечатано против правительства, церкви и государя с дозволения цензуры, то может быть повторено без всяких последствий и другими газетами.

11 мая.

Сегодня в 2 часа меня позвал князь Шаховской, начальник по делам печати, и объявил, что Сипягин приказал закрыть газету на одну неделю за статью А.П.Никольского „По поводу рабочих беспорядков“ (№ 9051), ибо она нарушает циркуляр 1899 года, в котором сказано, что газетам воспрещается говорить о рабочих беспорядках и отношениях рабочих к хозяевам. Князь Шаховской пробовал защищать статью и предлагал или дать газете предостережение, или закрыть розничную продажу. Но министр сказал, что предостережения даются за вредное направление, а в „Новом Времени“ он такого не видит, а в запрещениях розничной продажи не упоминается статья, за которую продажа запрещена, а он, министр, непременно хочет, чтобы статья была упомянута, потому что он желает, чтоб „Новое Время“ было запрещено на 2 месяца. После того как князь Шаховской старался доказать, что это будет только разорение газеты, Сипягин согласился запретить на одну неделю. Объявив мне это, князь Шаховской уговорил меня съездить к Сипягину и лично попросить заменить запрещение газеты запрещением розничной продажи.

К сожалению, я послушался этого совета. Около 5-ти часов Сипягин меня принял. Он поднялся, протянул мне руку и сел. Я сел также.

„Что Вам угодно?“ — спросил он. „Князь Шаховской объявил мне Ваше распоряжение. Я пришел просить Вас заменить запрещение газеты запрещением розничной продажи. В этом случае кара пала бы только на меня как на издателя. Прекращение же газеты касается целой массы служащих, которые совсем не виноваты в том, что я нарушил циркуляр. Конечно, рабочим, которые от этого пострадают, я заплачу. Но чем же виноваты читатели, подписавшиеся на „Новое Время“? Никакою другою газетой я ее заменить не могу, потому что никакая иная газета не может напечатать вовремя 35 000 экземпляров и еще то количество экземпляров, которое оно обязано дать своим подписчикам. Я даже не говорю о всех других затруднениях, которые создает это запрещение“.

Я говорил еще, что в настоящее тревожное время при массе циркуляров легко было забыть этот циркуляр.

Выслушав меня, он встал и, подавая мне руку, сказал: „Очень жаль, но я ничего не могу сделать".

Я повернулся и ушел.

Мы рассчитывали, что в эту неделю мы теряем тысяч двадцать. 800 рублей в день на розничной продаже да 2000 рублей на объявлениях, а может, и больше, ибо нам придется возвратить всем тем, от которых приняты объявления. Отсутствие „Нового Времени" на рынке заставит и читателей и объявителей искать другое помещение. Эту потерю невозможно вычислить, а она может быть гораздо значительней текущей потери. Бумажный фабрикант потеряет до 7000 рублей, фабрикант красок и т.д. Сипягин дожидался случая, чтобы отомстить газете за то, что при вступлении его в должность я намекнул, что у него никакой программы нет. Я сказал только об этом осторожно, но „Россия" подчеркнула мои слова и прямо сказала, что „Новое Время" не допускает у г-на Сипягина программы. Если он хотел запретить розничную продажу в прошлом году за то, что я сказал по поводу чествования Сальвини: „Слава тебе, показавшему нам свет", на что указал князь Мещерский, то теперь поводом могла служить и передовая статья о земстве в Западном крае, и мои письма о земстве вообще в ответ князю Мещерскому, с которым Сипягин в большой дружбе. Как бы то ни было, возможно ли издавать газету при этих условиях, когда ее могут закрыть за всякий пустяк. За „вредное направление" дают 3 предостережения, и только тогда газета закрывается. За нарушение циркуляра, изданного в 99-м году, газету министр может закрыть на 3 месяца. Воистину прав Л.Н.Толстой, сказав в письмах к государю о Сипягине, что он — „человек ограниченный, легкомысленный и малопросвещенный".

17 мая. Никольское.

12-го я уехал в деревню и живу здесь один, напрасно желаю успокоиться и помириться с тою обидою, которую мне нанес Сипягин. Сегодня я вспомнил, когда он говорил мне 2 января, после того как дал „Контрабандистов", не уведомив полицию: „Смотрите, нарветесь". Я тогда этого не понимал. Но мне сказали потом, что он

говорил: „Я ему покажу, как шутить с министром". Вот она штука-то! Он был обижен тем, что я расстроил его стратегические планы насчет публики, волнения которой ожидались при повторении пьесы. Я выиграл, так сказать, сражение, которое думал выиграть он. Глуповатый человек и потому мстительный. И мстительный и глуповатый, он наделал мне и еще наделает бед. Недаром он постоянно придирался. То и дело Шаховской призывал то Булгакова, то сына, то меня по разным статьям. Шаховской, по его словам, все защищал „Новое Время". Я в этом начинаю сомневаться. Но сколько можно, он защищает всех. Еще недавно он сказал мне:

— Я выйду в отставку, если Сипягин потребует запрещения объявлений.

А он потребовал запрещения и объявлений, и розничной продажи, и самой газеты. Да и чудно было бы, чтоб Шаховской поставил вопрос об отставке по таким пустякам, как разные взыскания с газет.

При отъезде из Петербурга мне говорили, что запрещение это рассудил великий князь Владимир Александрович, что в Государственном совете волновались и будто бы ругали Сипягина; Маслов мне писал, что был у Куропаткина, который говорил, что при дворе все были этим удивлены, что он, Куропаткин, считает эту меру жестокой. Всему этому придавать значение было бы глупостью. Я знаю, что значат эти сожаления, удивления и проч. Я не удивился бы, если б государь выразил удивление, но все это для них для всех совершеннейшие пустяки. Журналист — нечто такое, что полупризнается только. Самозванец в самодержавном царстве, и правительство его гонит и преследует. Я думаю, что министры, которые были на юбилее „Нового Времени", потом раскаивались или теперь раскаиваются, когда „Новое Время" запретили, и это прошло совершенно бесследно.

—

Хирург Троянов говорил мне: „Да, Сипягин — животное. Это продукт полного вырождения. Посмотрите на его череп, на его уши". Действительно, великих людей с

таким черепом и ушами не было. В настоящее время продукты вырождения в цене, ибо они умеют нравиться и совершенно безопасны государю в том отношении, что во всем с ним согласны и во всем готовы ему угодить.

18 мая.

Сегодня письмо от Я.А.Плющевского; он прислал копию с письма Юзефовича, о котором я не имею понятия, к Сипягину. Письмо странное несколько. Плющевскому передал эту копию „один господин, знающий о моей к Вам близости". „В такой же копии оно поручено Гессе, имеющему якобы ознакомить с его содержанием государя. Автор — Юзефович, последнее время передававший через Гессе разные докладные записки и письма по текущим злобам дня". Письмо справедливо говорит, что нарушение циркуляра только придирка, что сам Юзефович был 4 года цензором и пропустил бы статью во всякое подцензурное издание. Но совершенно чепуха, что будто бы „малейшее порицание графа Л.Н.Толстого строжайшим образом преследуется Управлением печати и что даже таким заведомо благонадежным авторам, как К.П.Победоносцев и Г.Барсуков, не разрешено печатать что бы то ни было в осуждение этого кумира русских анархистов и атеистов". Такая фраза может только дискредитировать автора письма не только в глазах государя, но даже в глазах такой тупицы, как Сипягин. Упоминание о некоторых руководителях социальными и другими антиправительственными движениями метит, конечно, в Витте. Сипягину это на руку, ибо он держался за Витте только в первое время, когда он дал на перестройку квартиры Сипягина 500 000 рублей. Получив это, он от него отвернулся и тайно интригует против него.

—

На Святой министр путей сообщения князь Хилков сказал мне: „Витте нас всех презирает, потому что знает, что всякого из нас может купить. Он сказал мне на этих днях, указывая на одного министра, который только что

вышел от него: „Вот мерзавец. Я для него столько сделал, а ему все мало". По намекам Хилкова можно думать, что дело шло о Сипягине.

—

Сестра Сипягина замужем за Дубасовым. Этот моряк несколько лет тому, входя с броненосцем в Неву, сел на мель или что-то повредил, хорошенько теперь не помню. Дубасов оскорбился, чуть ли не вызвал меня на дуэль. Я отписывался. Дело доходило до великого князя Александра Михайловича. Таким образом, у Сипягина есть союзники для клеветы на меня. Сколько интриг в этих верхах! Мне вспоминается, как в Висбадене граф Лорис-Меликов передавал мне содержание письма к Марии Александровне, герцогине Эдинбургской. Мария Александровна это письмо переслала Лорису. В нем рассказывалось, как Лорис, Милютин и еще кто-то задумали конституцию, и Лорис, призвав меня, сказал: „Теперь пишите все. У нас будет конституция". Возможно, что и теперь могут сочинить нечто подобное. Сипягин может сказать государю, что Суворин, мол, проводит диктатуру Витте. Черт знает, что это за люди.

—

Два рассказа князя Шаховского: он представлялся государю.

К несчастью, он говорил со мной только несколько минут, но все-таки я успел сказать ему, что теперь консервативного направления не нужно. Государь вскочил и сказал:

— Вы знаете, что я запретил Грингмуту хвалить меня? Il est plus royaliste que le roi et plus catholique que le pape*.

— А если настанет время, когда государь и хотел бы, чтоб его хвалили, да никто не станет? — сказал я.

— Возможно, — сказал Шаховской.

Разговаривая со мной о запрещении „Нового Времени", князь Шаховской сказал о Сипягине:

---

*Он больший роялист, чем король, и больший католик, чем сам папа римский (*франц.*).

— Что ж Вы хотите. Я защищал как мог. Но он хочет показать, что ему стоит лишь поднять палец — и все замолчит. Мой доклад у него по субботам. Обыкновенно он оставляет меня завтракать и уходит после к себе. А я остаюсь с его женой и развращаю ее либерализмом.

29 мая.

Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост. Сипягину ничего не остается, кроме утешения в фразе, которую он сказал государю: „Если напечатать ответ Толстого Синоду, то народ его разорвет". Утешайтесь, друзья, утешайтесь, скудоумные правители. Герцен громил из Лондона. Толстой громит в Лондоне из Ясной Поляны и Москвы, громит в России при помощи литографий, которые продаются по 20 копеек. Новое время настает, и оно себя покажет. Оно уже себя показывает тем, что правительство совершенно спуталось и не знает, что начать. „Не то ложиться спать, не то вставать". Но долго ли протянется эта безурядица? Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит.

—

„Письмо к издателю.

М.Г. На днях в некоторых московских газетах сообщалось, что спектакль артиста П.Н.Орленева, состоявшийся в г.Витебске 27 июля, дал полный сбор и что часть этого сбора пожертвована г–ном Орленевым в пользу несчастных витебских погорельцев.

Ввиду того, что в такой редакции это сообщение может послужить поводом для не вполне точных заключений о размерах благотворительности г--на Орленева в

отношении витебских погорельцев, Исполнительный комитет по оказанию помощи пострадавшим от пожара 24 июля считает своим долгом через посредство Вашей уважаемой газеты дополнить известие московских газет сообщением, что со спектакля г–на Орленева в распоряжение комитета поступило 13 рублей 95 копеек, что в афишах об этом спектакле было объявлено о предоставлении в пользу погорельцев 15% сбора и что полный сбор при назначенных г–ном Орленевым ценах на места должен был дать до 900 рублей.

Газеты, перепечатавшие известие о пожертвовании г–на Орленева, благоволят напечатать и настоящее письмо.

Председатель комитета".

20 августа.

Вчера сгорел Малый театр. Телеграмма Плющевского (подана в 2 часа по полуночи).

„Сегодня в 10 часов вечера загорелся по неизвестной причине Малый театр, сгорели дотла сцена и зрительный зал, бутафория и декорации, бывшие на сцене. Сезон погиб. Убытки громадны. Завтра советуюсь с Михаилом Алексеевичем и Карповым, что предпринять. Буду телеграфировать, писать. Плющевский".

Я вышел утром гулять. У ворот встретила меня баба, которая приносит телеграммы. Я послал ее в дом, не заглянувши. Мне очень тяжело. Храбрюсь, но напрасно. Дело погибло безвозвратно. Счастье меня оставило, видно. Может быть, и пора. Достаточно оно меня баловало. Все это ликвидация перед моей смертью.

Завтра отсюда уезжаю в Петербург на разговоры, сожаления, аханья и прочую чепуху.

24 августа.

Была Варвара Александровна Цурикова. Вар. Алекс. старая девушка, очень интересная; два ее рассказа были напечатаны в „Вестнике Европы", один в „Русском Обозрении". Рассказывала много о Толстом, его сестре–монахине, об юродивой Аннушке. Последняя — дочь богатого купца, красивая; по смерти отца дядя, ее опекун, отдал ее замуж за красивого молодого человека против ее воли.

Она на другой день объявила, что не хочет жить с мужем; ни убеждения, ни угрозы, ни колдуны, которых прислали, ничего не могли сделать. Она садилась к стене и кричала: „Не подходите ко мне, ради Христа". Ей связали руки назад и колдун ее отчитывал. Она так кричала, что колдун сказал, что ничего не может сделать. Она отказалась от своего состояния и просила дать ей только 200 рублей, которые она внесла в монастырь и стала монахиней, городской пророчицей. У нее прекрасный голос, и она поет вирши. В Москве ее знают как пророчицу. Старшая сестра Л.Н–ча, монахиня, знала ее тоже и говорила ему, чтоб он с ней познакомился. Л.Н. пришел к ней: она жила в Москве, в том же доме, где и сестра его. Она сидела между двумя монахинями, когда он вошел, она долго на него смотрела.

— Вы верите в Христа?

— Верю, — отвечал Л.Н.

— Как в Бога?

Он подумал и отвечал: „Верю как в Бога".

Монахиня говорит ей, чтоб она спела ему вирши.

— Нет, я ему другое спою.

И запела „Царю небесный", молитву, которую Толстой ежедневно читает. Потом сказала ему, чтоб он не отнимал овец из стада Христова.

Сестра Л. Н–ча рассчитывала очень на это свидание.

Сестра Вар. Алек. старше Л.Дубенского (в 42 года вышла замуж, двое детей), была на днях у Толстого. Софья Андр. говорила о своем письме к Антонию:

— Я прославилась на весь мир.

Л.Н. очень огорчен отлучением, по словам ее.

Она рассказывала многое другое. И все просто, образно. Цуриковы бедны. И о бедности просто. Я слушал очень внимательно, и впечатление мягкое, внушающее доброту. Есть старичок, добрый, ласковый, бывший кадет. Он постоянно переписывал ее, Толстого и писал под его диктовку. Графиню Софью Анд. терпеть не может. Раз его выписали из Ясной Поляны в Москву. Дорогою он запил. Он страдал запоем. Графиня раскричалась на него, когда он пришел к Толстым, и гнала его. Он просил Л. Н–ча, чтоб он дал переписывать ему хоть в сарае. Дело

было зимой. Но графиня не позволила. Он не помнит, как он очутился в части и совсем лишился глаза. Когда Толстой диктовал ему о христианстве, он, показывая на глаз свой, говорил:

— Кто это сделал? Вы не истинный христианин.

Наивно он приписывает себе влияние на Толстого.

—

Вчера был Е.Л.Кочетов, потом Е.П.Карпов по поводу пожара Малого театра и нашей антрепризы. Говорил подробности пожара. Загорелось около моей ложи, так что, если б был спущен железный занавес, все равно огонь прошел бы и в зрительный зал. Благодаря глупой экономии Плющевского, в театре не было пожарных. Обыкновенно же во время сезона пожарные живут в театре, за что театр платит. В городе будто говорят о поджоге, полиция получает письма с указаниями на Яворскую. Какой-то рабочий оставался в театре после того, как из него все вышли, и постучался, чтоб его выпустили. Главная вина от нашей непредусмотрительности и небрежности. Надо было так случиться, что благодаря бенефису Быховца не было вечерней репетиции в воскресенье 20-го, в день пожара. Карпов тоже уехал за город. Как обыкновенно это бывает, пожар был для всех сюрпризом.

—

Панаевский театр. Съемщики его, Казанский и К°, предложили по цене тяжелой 27 000, то есть то, что они сами платят, 25 000 отступного и 50 000 гарантии труппы их. Труппа стоит 10 000 в месяц, якобы она наймет другой театр и будет там играть, а убытки от такой антрепризы Казанского и К° заплатим мы. Это пахнет на 5 месяцев сотнею тысяч. Эта сумма, вероятно, и будет у нас значиться в дефиците. Я согласился принять эти условия, как это ни тяжело, главным образом потому, чтоб не расстроить труппы. Труппа со своей стороны предложила уступить из своего жалованья 25%, но это с благодарностью отклонено.

11 сентября.

Сегодня в „России" рисунок: великий князь Влад. Алек. при осмотре нового зала Публичной библиотеки. Так как и я с ним был, то меня замарали на рисунке. В „Новом Времени" я велел совсем выпустить рисунок.

Дело в том, что Н.К.Шильдер передал мне приглашение великого князя позавтракать с ним у Кюба в день осмотра им библиотеки. Осмотр был 6 сентября в 11 часов. Я был там. Великий князь был очень любезен, подробно осматривал зал, библиотеку. В час завтрак. Были Шильдер, граф И.И.Толстой, Дубровин и великий князь Борис Влад. Разговор вертелся около истории. Влад. Алекс. говорил много, рассказывал ненапечатанные Герценом главы „Записок Екатерины", ее детство и характеристику Елисаветы Петровны. Очень смеялся над случаем почтовых карточек, полученных из–за границы с изображением Народного дома императора Николая II с переводом этой русской надписи так: „Maison publique de l'empereur Nicolas II"*. Карточку отбирали. Сипягин поднял шум против таможни, которая пропустила эти карточки.

—

Вчера Сипягин запретил розничную продажу „Петербургской Газеты" за то, что она напечатала пять строк о выезде графа Л.Н.Толстого в Крым вопреки циркуляру. Сипягин зол на его характеристику, сделанную Толстым, и преследует газеты, которые смеют говорить о нем. Глупый министр.

В пьесе Чайковского есть одно действующее лицо — Горемыкин. Сипягин письмом к директору театра просил его изменить эту фамилию, так как был министр Горемыкин. Мелочной человек!

—

Панаевский театр наняли. 27 000 + 25 000 отступного со стороны „фарса" и 52 000 обеспечения сборов его

*Публичный дом Императора Николая II (*франц.*).

труппы. Гр–ня Апраксина еще не решила вопроса о возобновлении театра, и мы только мечтаем о постройке собственного театра и покупке земли.

20 ноября.

Вчера по телефону министр внутренних дел Сипягин просил меня заехать к нему сегодня в три четверти 10–го.

Что такое? Думали, гадали, предполагали тысячу причин, одну другой важнее. Нервы у меня так расстроены, что не спал всю ночь.

Приезжаю. Принимает. Садимся. На столе у него субботнее приложение к „Новому Времени".

— Разговор у нас будет конфиденциальный. Я нарочно сам по телефону просил Вас. Разговор особенный. Скажите мне, зачем Вы поместили вот это?

И он показал на 2–ю страницу. Мне показалось, что на портрет статс–секретаря Соединенных Штатов Гея.

— Портрет Гея?

— Нет, вот эти два.

— Гессенских?

— Да.

— Не знаю.

— Вы правду говорите?

— Даю Вам слово. Мне показывают приложения, я видел эти портреты, но не подумал спросить, зачем они.

— Я Вам безусловно верю. Дело в том, что теперь идет процесс о разводе Гессенских. Это — брат государыни. И вдруг в „Новом Времени" его портрет. Это очень для нее неприятно.

—Я понимаю это, и поверьте, если б я знал, я бы не поместил эти портреты.

— А кто помещал портреты, вероятно, знал?

— Вероятно.

Сипягин укоризненно покачал головой, как бы сожалея сотрудника „Нового Времени", который пошел на такое преступление.

— Я его спрошу, зачем он это сделал?

— Лучше не говорите.

И больше ничего. Прощаясь, он повторил мне, что верит мне, что верит мне безусловно, и крепко пожал

руку. Только отдохнув и выспавшись, я понял, что Сипягин, в сущности, чинил мне допрос, хотел уловить меня. Но, видно, мой вид совершенно невинного человека убедил и его, что я действительно ничего не знаю. Даже о существовании этого брата государыни я ничего не знал.

Я рассказал все только Гею. Он мне сказал, что Гессенский — педераст и что поэтому жена его развелась с ним.

Мне было досадно на Булгакова.

—

— Какой же пост ты желал бы получить? — спросил Александр II у дипломата Колошина.

— Какой будет угодно Вашему величеству, исключая Великого Поста.

За эту остроту он не получил ничего. (Рассказывал Татищев).

20 декабря.

Буренину принесли рукопись, которую я велел набрать. При рукописи вырезка объявления о смерти из „Нового Времени":

„Студент Санкт-Петербургского университета Александр Павлович Франк скоропостижно скончался 11-го сего декабря в 3½ часа дня. О чем отец, братья и сестра покойного с глубоким горем извещают родных и знакомых" (№ 11 057).

Этот Франк, как рассказывали, застрелился потому, что ему выпал жребий убить кого-то; другие указывали на Сипягина. Рукопись рассказывает о последнем дне молодого человека.

ЖРЕБИЙ

„На него пал жребий... Он должен был сделать то, что осуждали законы его страны и законы Бога.

Он стоял среди товарищей — молодой, прекрасный, полный жизни и сил, а в лице его были ужас и тоска.

„Ты колеблешься?" — спросил один из них, с лицом фанатика, высокий и суровый. „А клятва?" „Мальчишка, кукла, предатель", — сказал другой. — „Смотрите, он отказывается".

Он молчал, а тоска все сильнее сжимала ему сердце. Лица товарищей пред его глазами сплывались в безобразную массу, в ушах стоял гул их голосов, озлобленных и тревожных, но только одно слово слышал он ясно: предатель. Он хотел оправдаться, хотел сказать, что он не знал, что это так гнусно, так ужасно, так бессмысленно; он хотел умолять их оставить его жить свободным и гордым, как прежде, без пятна, без упрека... Но слова не шли у него с языка. Он знал, что он осужден...

„Иди, — сказал первый, — нас и без тебя много. Ты знаешь теперь, что тебе осталось сделать. Ты думал, мы шутим".

Он шел по улице людной и шумной, а ему казалось, что кругом все пусто, мертво.

Мысли бежали с назойливой быстротой, огибая кругом бега своего настоящее, прошедшее и будущее. Вся его недолгая жизнь развернулась перед ним: детство без матери; отец, его первый друг, бескорыстный и всепрощающий; годы ученья, с их мелкими печалями и радостями; женская любовь; кружок товарищей и вся затягивающая сеть мечтаний о благе людей и вечной справедливости... Все дальше и дальше... и, наконец, этот жребий. Почему же ему, когда все существо его возмущалось, а их так много, жаждущих этого, ждущих подвига, слепых и упорных.

„Почему, почему? И убежать некуда, расплата везде найдет..."

Он пришел домой; отец и брат ждали его за обедом. „Скорее, приятель, скорей Сашук, — сказал старик, — набегался я сегодня; есть хочется". „Сейчас", — ответил тот и прошел в свою комнату. Там на стене висел револьвер, когда-то на распродаже казенных вещей купленный отцом и употреблявшийся мальчиками летом для пугания ворон. Он не торопясь зарядил его и тоскливо осмотрелся. Он ждал, что вот сейчас случится что-нибудь, что помешает ему, что этот кошмар безобразный рассеется и

все будет опять просто и ясно, как в далекие дни детства, когда покойная мать учила его молиться, и он лепетал за ней на своем детском языке: „Да приидет царствие твое“... Но все было по-прежнему... Картина сходки ясно представилась его больному мозгу.

— Саша, да что же ты?..

— Иду, — сказал он, и спустил курок.

И смерть тихо осенила своим заступническим крылом его измученную душу...

Аэс“.

—

Обедали Татищев и князь Шаховской. Он говорил, что репутация его падает, что Сипягин ничего слушать не хочет. Когда он ему говорит, что запрещать печатать о судебном разбирательстве полицейских чинов — значит нарушать законы, С. отвечает, что в чрезвычайных случаях закон ему это разрешает. „Я сказал ему, что при Д.А.Толстом печать свободнее говорила, чем при нем. Он сослался на то, что в самом правительстве много людей, которые совершенно равнодушны к тому, что творится“.

—

Сыромятников рассказывал, что несколько лет тому государь Николай II прислал на заключение князя Ухтомского донос Бадмаева на меня. Что это за донос — не спрашивал. На днях я спросил у Сигмы, что это был за донос Бадмаева. „Он называл Вас нигилистом и революционером, и Ухтомский сказал царю, что это неправда“.

1902 год

14 января.

Сегодня переполох в редакции „России". Говорят, что Амфитеатров сослан в Иркутск, Сазонов выслан из Петербурга. Все дело в фельетоне Амфитеатрова „Господа Обмановы". Вчера утром мне принесли газеты в 9 часов. Я еще не ложился. Взглянув в фельетон Амфитеатрова, я увидел „Алексей Алексеевич" и бросил газету, подумав, что под именем „Господа Обмановы" Амфитеатров изображает нашу семью. Я встал в 8 часов вечера, и мне наговорили ужасы. „Господа Обмановы" — „это Романовы, Алексей Алексеевич — Александр Александрович, Николай Александрович, или Ника Милуша, — Николай II" и т.д.; другие имена, но те же инициалы Марии Феод., Алекс. II, Николая II. Точно человек старался, чтоб непременно узнали, что именно скрывается под этими именами. Разумеется, номера были расхватаны публикой. Говорят, что цена дошла до нескольких рублей. Но, вероятно, многие разносчики не знали, ибо в 8 часов вечера Коялович купил два по 5 копеек. Непонятно, почему Амфитеатров это сделал. Утром сегодня его жена была у Миши в слезах. В квартире был обыск, потом его увезли в осеннем пальто, так как шуба была заложена. В доме 25 рублей. В редакции „России" ей ничего не дали. Миша дал ей 100 рублей.

„Не был он пьян?" — „Нет. Он вечером приехал из Пскова, где написал фельетон, отправил его в редакцию и сказал: „Вероятно, не напечатают. Это будет третий фельетон, который отвергается. По крайней мере, не скажут, что я ничего не делаю". Утром он увидел фельетон напечатанным и сказал: „Не догадались". И был все время весел и доволен. Дорошевича Беляев видел во время завтрака, и Дорошевич не знал даже фельетона. Сотрудники вообще свою газету не читают.

Вечером слышал, что Сипягин в 12 часов послал за князем Шаховским, который пробыл у него до 7 часов. Сазонов ездил к Сипягину в 5 часов жаловаться на сотрудников, что они его подвели, что сам он фельетона не читал. Лазарь Попов был у отца Янышева, который был у государя, и государь, подавая ему „Россию", сказал: „Прочтите, как о нас пишут". Редакция получила уведомление циркулярное „не сообщать никаких сведений о приостановлении газеты „России" и о причинах, вызвавших приостановку этого издания, иначе как по предварительному разрешению Главного управления". Газета не запрещена, ее приостановили.

Как мог написать это Амфитеатров? Беляев говорит, что он положительно страдал от того, что Дорошевича больше читают, что Дорошевичу, в сущности, газета обязана. Кроме того, Амфитеатров не в первый раз трогает государя. Еще в 1901 году он написал сказку, где в Иванушке-дурачке видели государя. Я этой сказки не читал, но слышал об ней от многих. Сам начальник Главного управления по делам печати князь Шаховской говорил мне, что он спас „Россию", не обратив внимания на эту сказку, хотя ему на нее указывали: он получил несколько писем, авторы которых удивлялись, что газета безнаказанно может печатать такие оскорбительные для государя статьи. В 1901 году он тоже написал несколько сказок, где догадчики видели государя. Летом он написал фельетон о губернаторе, которого назвал Николаем Александровичем, влюбленном в танцовщицу, и т.д. Таким образом, он, очевидно, стремился обратить внимание на свои фельетоны и страдал от соперничества с Дорошевичем. Прошлой осенью он хотел перейти в „Новое Время", был со мной очень любезен, но я уклонялся от переговоров, находя, что они невозможны. Сам Амфитеатров мне ни слова не говорил, ни я ему. Но он говорил с Мишей. Буренин считал Амфитеатрова талантливым, но глупым, считал упорно и теперь говорит, что он это сделал по глупости.

Дело это вызвало прямо чрезвычайный говор. У „России" тысяч 15 подписчиков, может быть, даже больше. Этих ресурсов, конечно, ей недоставало, но губить

дело — зачем было Амфитеатрову. Гольштейн говорит, что ему он говорил:

— Я создал „Россию“, я ее и уничтожу.

В 1900 году в ноябре граф Л.Н.Толстой говорил мне, что Дорошевич талантлив, а Амфитеатров нет. Отец его — богатый поп московский. На новый год актер Далматов говорил мне, что Амфитеатров в деньгах не нуждается, что отец гостил у него недавно. Я не могу себе объяснить этого поступка, тем более что Амфитеатров ни в каких неблагонадежностях не был замешан, что в политическом отношении он также корректен, как я. Никаких знакомств не вел. Любимая страна его — Италия, Неаполь и далее, а не Швейцария, не Париж.

Тут Сазонов виноват во сто раз больше. Это — фальшивый человек. Он ухаживал за Мещерским, в чиновниках был подлипалой, приносил в „Новое Время“ льстивые статьи о деятельности Горемыкина. Мне он всегда был противен, и демократизм его был фальшив в серьезных статьях.

15 января.

Вечером была жена Амфитеатрова. О Сазонове она сказала, что он не только читал фельетон ее мужа, но и сказал: „Наконец-то Амфитеатров написал хороший фельетон“. Просила денег. Дал еще 200 рублей, но подумал, что ей всего бы прямее обратиться к отцу Амфитеатрова, протоиерею Успенского собора в Москве, человеку очень богатому. Уходя из „Нового Времени“, Амфитеатров остался мне должен до 15 тысяч. Я советовал ей, чтоб Амфитеатров написал царю искреннее письмо, сказал бы всю правду, и я уверен, что царь простил бы его.

„Россию“, конечно, не запретят, а только отнимут редакторство у Сазонова. Репутация ее еще больше поднимется. У ней по 15 января 23 000 подписчиков, из них 15 000 иногородних. Это очень большой успех. У „Нового Времени“ подписка упала, именно иногородняя, на 1200 человек. Год нашего 25-летнего юбилея был, таким образом, годом падения подписчиков и годом, в который газета впервые была остановлена на неделю Сипягиным.

—

Положение наше, однако, было бы очень хорошим, если б не огромная стоимость издания. Набрали сотрудников до 60 человек, все с жалованьем, и большей частью совсем ненужных. Распустить ненужных невозможно, и нет возможности пригласить новых. Я связан по рукам и ногам. Устал невероятно, способность писать ушла. Постарел и Буренин. А молодежь плоховата очень, или ей надо больше простора.

—

Амфитеатрова мне сказала, что муж ее вовсе в Псков не уезжал. Он просто сидел дома, чтоб отстать от собутыльников, и работал, сказавшись уехавшим. Он поэтому и корректуры своей статьи не видел, так как редакция думала, что он в Пскове.

— Сколько прежней жене своей он дает? — спрашиваю Амфитеатрову.

— 400 рублей.

— Ну, а теперь как же?

— Придется и ей сократить свои расходы.

Меня удивляет протопоп Успенского собора, отец Валентин. Неужели ничего не дает?

—

Сегодня И.Е.Репин прислал статью о преподавании рисования и спрашивает, что „предварительно" он желает знать гонорар. Я ему ответил, что 20 копеек строка.

—

Глющевскому написал об Андросовой, что больше 600 рублей в месяц я не желал бы ей давать. У нас дефицит будет в 60 000 рублей, и все это ляжет на меня. А куда я годен? Нужна хорошая драматическая актриса. А где ее взять? О, родина, куда девались твои таланты? Или такое бездарное время мы переживаем? Есть такие времена, что дарования если есть, то они не могут вложиться в устаревшую форму, а новая еще не созрела.

Может быть, готовится что-нибудь великое, необъятное, и, разумеется, оно сиднем сидит где-нибудь и занимается не своим делом.

16 января.

Амфитеатрова (Райка, как ее называют) приходит просить денег и проч. Ее муж не церемонился, выходя из газеты, клеветал на меня, писал в „России" разные гадости против меня без подписи, во время юбилея не поздравил. Ежедневно кого-нибудь ссылают, ежедневно есть несчастные, которым можно помогать, а помогать Ам-ву, который вел себя относительно меня неблагородно, не следовало.

Может, это и правда. Но у меня против него никакой злобы. В.П.Буренин говорил, что он в психологию зависти к Дорошевичу не верит, что Ам-в мог написать просто в белой горячке. На это как будто указывают слова Ам-вой, что он две недели безвыходно сидел дома после кутежей и „работал". В Петербурге врачи-психиатры собираются подать записку, что он невменяем.

Демчинский рассказывал, что по городу ходят сплетни, что это я подкупил Амфитеатрова написать пасквиль за 50 тысяч, 3 000 я дал ему у Кюба, а остальные на руки. Но так как одного Ам-ва подкупить мало, то надо еще сообразить сумму, за какую пойдет Сазонов. Вот подлецы, как действуют! Говорят, Победоносцев, прочтя пасквиль, сказал: „Это хуже выстрела!" Но свинство, старается запутать в дело меня. Деньги, данные мной Ам-вой, очевидно, помогают сплетне.

17 января.

Опять те же разговоры. „Россия" будет выходить. Говорят, Витте советовал государю не обижаться, что это будет нехорошо. Он послушался. Вечером в газету прислано секретарем редакции „России" объявление.

Булгаков послал его Шаховскому, который исправил: вместо „приостановлено" — „приостановилось". Воображает, что он кого-нибудь обманет.

Беляев по секрету вечером сказал мне, что будто Амфитеатров умер. Дорошевич это известие благовестил по

городу, и составлялись легенды, что Ам–в умер ударом, что он застрелился, что его отравили. Отрава. Господи, Боже мой! Точно Италия времен Борджиа. Вся эта болтовня основывалась на какой-то телеграмме от него, в которой было сказано, что все радикально изменилось и присылать ничего не надо. Очевидно, чепуха.

Я не спал прошлую ночь и думал лечь рано. Но после обеда лег спать и опять себе напортил, то есть и другую ночь не спал.

20 января.

Амфитеатрова ходила к князю Ухтомскому просить его, чтобы он похлопотал у государя за ее мужа. Он решительно отказался.

—

Репин наврал в своей статье, отнеся П.Веронезе к XVII столетию и Венецию в том столетии подчинил Австрии. Я поправил его и привел над его поправкой (№ 9294) выписку из Ш.Ириарта о допросе в St. Officio П.Веронезе. Пожалуй, обидится. Плохо художники наши знают историю, и даже историю живописи.

—

Вчера я писал Сигме. Ответа от него не получил. С Геем, по обыкновению, говорили о газете и жалели, что нет молодых талантливых сотрудников. У Сигмы большое достоинство: „много духу“, как сказал Гей.

— Во вторник он хотел принести какую-то пакость, — сказал Гей.

—

Деньги и богатство портят людей, особенно тех, которые должны быть независимы по самой своей профессии, как, например, журналисты.

—

Репин предлагает свои афоризмы об искусстве и спрашивает, на каких условиях. Я отвечал: „На тех же (20 копеек строка)“.

23 января.

В прошлое воскресенье был князь Шаховской, ругал Амфитеатрова, говорил, что погубил его, Шаховского, что „Россию“ он много раз спасал, что если б он захотел найти в ней вредное направление, то его можно найти „через строку“ во многих статьях. Он рассказывал, что, прочитав два столбца фельетона, нашел, что ничего нет, что это „провинциальные нравы“, как сказано в заголовке, и пошел с визитами. В 5 часов его позвал Сипягин, говорил ему, что он распустил цензоров, а Ш. отвечал, что, напротив, он так строго держит цензоров, что ни один из них не смел бы сказать ему, что в фельетоне разумеются государь и его семья.

В эти дни разговоры продолжались. Е.В.Богданович, у которого я был вчера и познакомился там с редактором „Миссионерского Обозрения“, говорил, что у Сипягина говорят о том, что я чуть ли не был в заговоре с Амфитеатровым, что я дал ему 1000 рублей и пригласил писать в „Новое Время“. Я всегда жалел и жалею, что Амфитеатров вышел из „Нового Времени“. Что ему следовало бы побыть еще два-три года у нас и отвыкнуть от своей бестактности. Сегодня Сергеенко говорил, что летом Л.Н.Толстой, прочитав его фельетон, в котором прозрачно была рассказана история государя и Кшесинской, сказал:

— Ах, он когда-нибудь такую штуку сделает, что всех удивит. Он именно такой.

Л.К.Попов снова спрашивал отца Янышева, и он подтвердил ему, что действительно государь сказал ему в воскресенье после обедни, подавая ему номер „России“: „Прочтите, как пишут нашу биографию“. Сипягин ничего не говорил государю в течение нескольких дней. В воскресенье он обедал у графа Шереметева и, приехав с обеда, принял меры: телеграммами остановил кое-где почту, запретил продажу в железнодорожных киосках и велел

сделать обыск у Амфитеатрова и сослать его в Иркутск. Отец Янышев говорил, что великий князь Владимир Александрович присылал ему номер „России" в среду; Богданович говорил, что в четверг Сипягин не докладывал государю, но что в пятницу в 2 часа послал за ним государь и сказал: „Я прочел эту гадость. Почему Вы мне об этом не доложили?" „Я не считал возможным, — отвечал министр, — но я сделал распоряжения". Он приехал от государя довольный и вечером сказал: „Я доволен сам собою".

—

А. П. Никольский передал, что Витте назначен председателем Комиссии по сельскому хозяйству. Он этого не ожидал. Был весьма возбужден. Говорил, что орловские дворяне написали, что если Ермолова сделать министром финансов, а Витте — министром земледелия, то больше ничего и не нужно для поправления дела. Открыть таможни, разорить промышленность и тем будто бы спасти хозяйство. Крестьянину можно помочь, но не этого, очевидно, хотят члены комиссии.

Но Сипягин — „барин" старого порядка, аристократ, думающий, что все дело в том, чтобы помочь помещикам. Необходимы решительные реформы, необходимо нечто вроде Земского собора, необходимо обеспечение личности, необходима свобода, которая бы не давала разгуливаться произволу.

—

У репортера „Нового Времени" сделали обыск без него, причем выломали дверь в его квартире. Потом за ним послали и увезли. Все дело оказалось в том, что разорванную его карточку нашли в Козловской тайной типографии, печатавшей прокламации рабочих. Этими прокламациями давно уже наполнена Россия. Репортера послали прошлой весной к рабочему, который прислал письмо в редакцию, желая видеть автора статьи „Нового Времени", за которую газета была остановлена. Его послали. Он нашел его, привез к себе на квартиру и расспрашивал и

делал заметки. В это время было объявлено редакциям, что можно печатать статьи о рабочем движении, но с позволения особого цензора при Министерстве внутренних дел. Несколько заметок было составлено в редакции, но цензор так их безбожно марал, что они не печатались. Затем и перестали посылать. Репортеру надоел рабочий, он стал часто к нему ходить, говорил, что он известный даже за границей агитатор и т.д. По его смелости репортер заметил, что перед ним просто шпион, и он запретил швейцару пускать его. С того времени он и не видел его. Весьма вероятно, что это и был шпион. „Новое Время" остановили за статью о рабочем вопросе и, разумеется, заподозрили в сношениях с рабочими и прислали шпиона. У нас постоянно подозрение падает на спокойных людей, а „Новое Время" было неугодно Сипягину, и он за ним охотился, как хороший охотник за дичью.

—

Меньше чем в полгода явилось три литературных статьи, которые надо считать яркими знамениями времени. Статья в „Вере и Разуме", в апрельской книжке, напечатанная не по разуму архиепископом Амвросием и перепечатанная „СПБ. Ведомостями", и другие (я не перепечатал), где было выказано много резкой правды с юмором, речь М.А Стаховича в „Орловском Вестнике", перепечатанная тоже „СПБ. Ведомостями" с похвалами, и фельетон Амфитеатрова. Это три звена одной и той же цепи, не одинаково важные, но, может быть, статья в „Вере и Разуме" самая ядовитая. Наивно ли поступил Амвросий? Конечно, нет. Он хотел показать: посмотрите, как говорят о духовенстве, о правительстве и государе. Он же и в словах своих обличал интеллигенцию и высшие классы в выражениях нисколько не мягких.

—

Все министры между собою на ножах. Победоносцева терпеть не может Сипягин, ибо помнит, как он его отделал за проект учреждения Комиссии прошений в таком виде, что от Сипягина зависели бы все министры и все управление.

—

Я очень старательно говорил у Богдановича о неспособности Сипягина управлять Россией в такое тревожное время. Одной полицией и „мероприятиями", которые давно стали юмористическими, ровно ничего нельзя сделать. Он, очевидно, хотел показать, что он что-нибудь значит, что у него есть программа. При вступлении его в должность, „Новое Время" и я в своих письмах сказали, что ему остается продолжать программу своего предшественника. „Гражданин" поспешил защитить Сипягина, сказав, что „Новое Время" считает Сипягина беспрограммным. „Россия" тоже это подхватила, разругала меня (статья Амфитеатрова, но им не подписанная) и недвусмысленно похвалила восходящее светило. Этой тактики она и держалась, сплошь и рядом искажая истинный смысл наших статей. Так продолжала газета долго. Только в последние месяцы она почти прекратила нападки на „Новое Время". Своей подпиской в провинции она значительно обязана Далину (самозванцу князю Гокчайскому, Линеву), внутреннее обозрение которого отличалось большой нервностью. Жена Амфитеатрова говорила мне, что ее муж называл эти статьи „визгом поросенка". Определение верное, но, „визг" этот слышен был в провинции и делал газете успех. Этот же Далин дал успех „Биржевым Ведомостям" (маленькому изданию), откуда его выселил М.П.Соловьев, когда стал начальником печати. Но Проппер уже получил массу подписчиков, и газета затмила успех „Света".

1 февраля.

28-го, понедельник, я выехал в Москву. Бессонница так меня замучила, что доктор велел ехать, чтоб привести в порядок нервы. Славу богу, здесь я начал спать, хотя и не хорошо, но все-таки ночью, а не днем.

Все эти дни много разговору о Толстом, который заболел. Я спрашивал во вторник Чехова. Он отвечал: „Воспаление легких, положение опасное, но есть надежда". Хорошо, что я телеграфировал Чехову: как здоровье Льва Николаевича. Князь Оболенский сказал сегодня, что телеграммы с запросом о Толстом не принимаются. Две

моих телеграммы о здоровье Толстого, одна с указанием на „Московский Листок", где было напечатано о болезни Льва Николаевича, другая с ответом Чехова, не доставили в редакцию. Распоряжение Главного управления по делам печати, которое передал мне Миша, курьезно и глупо до последней степени. Прилагаю этот листок.

„Ввиду полученных известий о тяжкой болезни графа Л.Н.Толстого и возможной в ближайшем времени его кончины, г-н Министр внутренних дел, не встречая препятствий в случае кончины графа Толстого к помещению в газетах и журналах известий о графе Толстом и статей, посвященных его жизнеописанию и литературной деятельности, в то же время изволил признать необходимым, чтобы распоряжение от 24 февраля за № 1576 о непоявлении в печати статей и сведений, имеющих отношение к постановлению Священного Синода от 20—22 февраля того же года, оставалось в силе и на будущее время, и чтобы во всех известиях и статьях о графе Толстом была соблюдаема необходимая объективность и осторожность.

Об этом Главное управление по делам печати, по приказанию г-на министра внутренних дел, поставляет в известность господ редакторов бесцензурных периодических изданий".

—

31 января отобрали подписку в магазине не выставлять портретов Толстого и от Главного управления по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в каком случае и никогда. Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие! Действительно, бессмертные дураки, ибо трудно предположить в будущем еще больших дураков. Когда Гоголь умер 50 лет тому назад, Тургенева посадили под арест за то, что он напечатал статью о Гоголе, назвав его гениальным писателем. Теперь Гоголь во всех учебных заведениях, и ему ставят памятники. Совсем не надо 50 лет, чтоб Толстой дождался памятника, а Сипягин позорного клейма на свой идиотский лоб. Неужели этот господин с кем-нибудь советуется, и ему поддакивают в его глупых распоряжениях? Чудесно это „изволил" в циркуляре Главного управления. Доселе в

этих циркулярах никогда не было этого слова. Уж на что Александр III — и тот сам вычеркивал слово „изволил“ в отчетах газетных, если ему их подносили на утверждение. А вот Сипягин уж „изволит“, как император.

—

Был у Омона, видел там revue* „Матушка Москва“. Более грубо-похабного я ничего не видел. Хороша публика, нечего сказать, если она аплодирует этой мерзости!

—

Был на бегах. Строение стоило 1 700 000. Оно и половины не стоит. Воровство шло первоклассное. Наем конюшен 24 000 за 18 стойл. Чтоб зажать рты членам Бегового Общества, в эти стойла поставили и лошадей великого князя Дмитрия Константиновича, председателя общества. Что мне рассказывали — уши вянут.

5 февраля.

Вчера видел Павлова, автора „Истории России“. Он из Петербурга, представлялся царю. Победоносцев написал царю простую записку, без всяких „Ваше величество“ и т.д., и просто „Такой-то Павлов приехал“, и подпись: „К. Поб.“ Государь на этой же записке написал час, когда может принять. Государь был с ним чрезвычайно любезен. Когда Павлов говорил, что России придется скоро пройти через многие перипетии, государь повторял:

— Бог милостив. Бог милостив.

Победоносцев говорил Павлову, что если б Государственный совет закрыть, то было бы лучше. „Я давно туда не езжу, а посылаю Саблера“.

—

Государь кому-то сказал по поводу покровительства одной промышленности:

— Если одна нога будет расти больше, а другая меньше, то ведь человеку ходить будет нельзя.

*Журнал (*франц.*).

—

Вчера был в Художественном театре. „В мечтах“ Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Плохая, вымученная вещь. Между Шекспиром и Данченко то сходство, что оба читали книги. Станиславский прямо плох. Андреева красива, но бездарна. Книппер очень бойко и хорошо изображает Широкову. Прекрасная декорация 3-го действия. Костромской выговор, чешский, немецкий и дурацкий. Немирович пришел ко мне в ложу. Удивило меня это. Он вел себя относительно меня в прошлый приезд в Москву возмутительно, даже с юбилеем не поздравил. А теперь сам пришел. Бережет свою шкуру от царапин.

6 февраля.

Петербургский университет закрыт.

—

Вчера поехал смотреть „Трех сестер“ к Коршу, который приглашал меня в свою ложу. Оказалось, там были М.П.Чехова и Книппер, жена Чехова. Смотрели вместе „Детей Ванюшина“. Сегодня был у М.П. Живет она вместе с Книппер в доме у Сандуновских бань. Хорошенькая квартирка. Был студент 4-го курса и его сестра. Разговаривали о современных событиях. Много арестов. Ждут в Москве „революции“. Арестовали студента по выходе из магазина, где он купил револьвер. Сделан был обыск у врача Доброхотова, сына попа. Ничего не нашли. Он где-то бранился за это и вдруг исчез на 4 дня. Врач написал отцу, чтоб не беспокоился, что он не может сказать, где он, но что на днях будет дома.

—

С Пороховщиковым за обедом. Он ко мне подсел и много говорил о Найденове, который получил Белого Орла за 25-е председательство в биржевом комитете. По этому случаю обед в 35 рублей с персоны без вина. Распустили слух, что будет Ковалевский, но его не было. Пороховщиков: „Я бы сказал им речь. Разденьтесь донага.

Что на вас русского? Ничего. Все иностранное, кроме русской кожи, но и то иностранной выделки. А теперь раздеть полового: на нем все русское, канифасовая белая рубашка, под ней гнилая ситцевая".

—

У Леонида Андреева, беллетриста, был обыск. Была пачка писем М.Горького. Но полицейский не обратил внимания, ибо письма подписаны его именем: Пешков.

—

Сейчас был Ежов и сказал, что начались университетские беспорядки. Университет оцеплен. Около манежа толпа студентов. По городу разбросаны прокламации с воззваниями к рабочим. Вечером назначена студенческая сходка около храма Христа Спасителя.

—

За обедом подошли П.А.Сергеенко и Шарапов. Разговор о Толстом. Он очень слаб. О финансах, о Витте. Шарапов предлагал статьи о финансах в форме письма ко мне. Сказал: „Обратитесь к Ал. А–чу". Долго говорили. Сергеенко пишет биографию Толстого, пользуясь его дневником. К нему приезжал англичанин Райт для сведений о Толстом в энциклопедию.

Толстой дал России очень много. Он прославил ее, как не прославляли победы. Он дал русскому имени за границей особый почет и значение. Его мнения принимались за душу русского народа. Его гений — народный гений. Вот что важно. И какие-то идиоты Сипягины предписывают говорить об этом человеке „объективно и осторожно". Этот идиот не может забыть письма Толстого царю.

10 февраля.

В „Новом Времени" необыкновенно неприличны рекламы Плющика-Плющевского бенефису Андросовой, которая дает „Федору" Сарду. Старается тайный советник, ужасно старается.

—

Ездил на Сухаревку. Рассказ Горького „Дружки" в эти дни на улицах не давал покоя. Всюду: „Интересный рассказ Горького" или „Максим Горький". Мужики, мальчики, девочки с этой брошюрой. Я купил его. История двух воров. Один чахоточный, который умирает в овраге. Хорошо рассказано. Вчера говорили, что продается его рассказ гектографированный нецензурный.

—

Скучно. Идем ли мы в политике внешней вперед? Едва ли! Во внутренней? И подавно! Черт ногу сломит! Бездарность непроходимая. Известия о Толстом неутешительные.

—

Поехал в другой раз под Сухаревку. Оборванец кричал: „Максим Горький — всемирный писатель!" Потом обратился ко мне с предложением стихов Баркова и надул, хотя только на 3 рубля.

—

В 10 часов вечера вчера по Никольской провели целую толпу арестованного народа. Бухарский эмир как раз следовал за этой толпою. Говорят, и сегодня на Моховой полиция и беспорядки не кончились.

—

„Три сестры" Чехова. Скучно, кроме 1-го акта. Публика часто смеется над пьяным доктором. В 4-м он скучен и подл. Вересаева предупредил Чехов, выставив доктора, который ничего не знает, все забыл, морит людей и утешается тем, что все мы не живем, а только кажется, что живем.

Много монологов скучных, повторительных у Вершинина, у Андрея. Два мужа: она честная, она благородная и т.д. 2-е действие: игра свечек, ряженки, песни; 3-е

действие: пожар; 4-е: дуэль и уход полка. Бой часов, музыка, набат, скрипач и поющая девица, которую метлой выгоняет дворник для удовольствия публики. Я приглядывался к публике. Никто и не думает плакать. Три сестры на сцене плачут, но публика нимало. Все какая-то дрянь на сцене. На сцене должны быть трагические личности. Говорят, что „трагедия — скука", немало. Живут, как миллионы живут у нас и везде. Мечтают о Москве, о профессуре, о науке, о любви. Немирович „В мечтах" вышел из философии полковника. Уходишь из театра с удовольствием, освободившись от кошмара, от глупых и пошлых людей, от мелочей, от пьянства, от мелкой суеты и измен. Какая разница между этими сухими сценами с претензиями и сценами Гоголя и Островского, которые тоже рисовали мелких людей и мелкие страсти. Там юмор очеловечивал всех, здесь противовес — сухость — обесчеловечивает, оглупляет.

11 февраля.

У В.А.Крылова в Балашевском переулке. Жаловался на Трепова. Он разгоняет, если три человека стали на улице. Если больше трех ломберных столов, то полиция может войти и составить протоколы, как об игорном доме.

—

Извозчики говорят, что Амфитеатрова за то выслали, что насмеялся над государем.

— За что насмеялся?

— А за то, что государь хотел вернуть крепостное право.

Вот как начинают объяснять!

12 февраля.

Вчера долго говорил с Шараповым. Сегодня он прислал мне письмо свое к Победоносцеву от 22 сентября 1901-го, в котором он говорит о разорении России, устроенном Витте, о необходимости удалить его, рекомендует целый ряд лиц на его место: Шванебаха, Ковалевского,

26-летнего Оля, серба Вуича и проч. Сам он подразумевается. Я узнал из этого письма, что Шарапов посылал государю в Дармштадт свои записки и получил за это высочайший выговор.

13 февраля.

Вчера „Орлеанская Дева“ в бенефис Ермоловой в Большом театре. 6 ярусов полны, партер также. Ермолова хороша еще, но божественного огня мало. Сцена с кандалами совсем не производит впечатления. Постановка ленивая, кое-как сделанная. Декорация по краскам напоминает олеографию. Сама трагедия показалась наивною. Сцена с отцом мелодрамой. Потом Иоанна идет с пастухом. Но опять уже войска, ее берут в плен. Поведение Дюнуа на площади перед собором глупое. Сама Иоанна все время молчит. Все расходятся. Как-то все это аляповато, неестественно. Труппа плохая. Все старики, молодые плохи, неудивительно, что театр упал. Так и должно было случиться, если около старых и опытных актеров нет подрастающих талантов.

—

О беспорядках в университете так рассказывает Шубинской: студенты заперлись в зале и не хотели оттуда выходить. Тогда городовые выломали двери, и студенты сдались.

—

Князь Оболенский, вернувшись из Петербурга, говорил, что там шпионы начали беспорядки, будто министр Муравьев нашел среди арестованных 6 шпионов. Поэтому у него с Сипягиным недоразумения.

—

Был в Третьяковской галерее. Какая прелесть! Какой подарок городу! Вся русская жизнь, современная и прошлая, в картинах. Сколько поучительного, художественного, прекрасного. Лаврушинский переулок — помеще-

ние галереи. Теперь она иначе поставлена. Картина Репина „Убийство Иваном Грозным сына“ повешена скверно, в маленькой комнатке; на картину в упор приходится смотреть. На меня она теперь не производит впечатления. Но зато „Боярыня Морозова“ Сурикова заставила меня простоять перед ней несколько минут. Сколько лиц, и какие выразительные, особенно женские.

—

Бессилье старости — что хуже может быть.
Желанья есть, есть мысль — нет сил для исполнения.

15 февраля.

Приехал в Петербург. В Москву мне было переслано письмо Амфитеатрова из Минусинска от 30 января. Он говорит, что не знает, за что сослан, рассказывает об этом „путешествии“, просит пособить ему и предлагает для издания роман. Письмо бодрое и не без юмора. Я сделаю все, что могу. Самочувствие очень скверное. Нигде не был.

21 февраля.

В „Правительственном Вестнике“ о запрещении „России“. Вчера сестра Райской принесла „Сибирские очерки“ Амфитеатрова, подписанные „Шах и мат“, с подписью, что автор — Ларионов. Обманывать невозможно. Всякий писатель догадается, что это Амфитеатров, и только подтвердится та клевета, что я его подкупил написать фельетон.

—

Вчера празднование 50-летия Гоголя. Его хвалили, хвалили.

Пушкина забыли совсем. „Все сделал Гоголь!“

22 февраля.

Говорят, были рабочие беспорядки в Туле. Губернатор позвал войска. Но солдаты отказались стрелять. Дважды

будто бы стреляли на воздух, а когда им скомандовали стрелять в рабочих, они отказались.

3 марта.

Сегодня на Невском демонстрация. Жандармы разгоняли толпу шашками, поднимая лошадей на задние ноги. В толпе были красные флаги, на которых были белые буквы. Видели студентов с перевязанными лицами. Студентов, вообще, в толпе было много. Полиция и жандармы спрятаны были в угольном доме, около Невского и Казанской, но явились только тогда, когда толпа стала огромною и запрудила Невский. Вот прокламация, выпущенная в эти дни. Она была брошена в редакционный ящик.

КО ВСЕМ

Русь не шелохнется.
Русь как убитая;
А загорелась в ней
Искра сокрытая —
И рать подымется
Неисчислимая.
Сила в ней скажется
Несокрушимая.

Некрасов.

„Широкой неустанной волной выносит жизнь на свои берега новые требования, новые запросы. Ее прибой неумолим и неумолкаем. Как капля, сильная своим частым падением, подтачивает всякий мелкий факт, вырывающийся наружу из–под спуда административного произвола, обветшалое здание русского государственного уклада. Ни полицейские запреты, ни административные потуги в виде арестов и обысков, ни нагайка, ни кулак полицейского, ни штык солдата не в силах сковать железным кольцом могучие ростки зародившейся новой жизни. Люди будут гибнуть, но идея будет жить, и звоном вечевого колокола Древней Руси будет ее эхо расстилаться по лицу русской земли. Ведь „сбирается с силами русский народ и учится быть гражданином“.

Вот цель движения, вот заря тех дней, которая, мерцая, восходит над мраком русской действительности. Кто виноват, что этот призыв: „Свет и свобода прежде всего", как тать ночной, должен прокрадываться, чтобы поднять хоть несколько крох со стола другого богача. Кто виноват, что полной грудью нельзя крикнуть среди бела дня, что со свободой слова, личности, собраний водворится мир и тишина на многострадальной Руси. Кто виноват, что спокойному проявлению жизненных нужд отрезаны все пути злой татарщиной полицейского произвола, административной опеки и положений об охране всякой исторической, отставшей от современных потребностей рухляди юридических положений и принципов. Кто виноват, что не среди спокойствия зрелого обсуждения, а среди бушующей стихии улицы и площадей должны выдвигаться насущные вопросы благоденствия страны. Кто виноват... Скажите вы, русское общество и русское правительство, вы, старцы, убеленные сединой житейского опыта, и чуткая, отзывчивая, свободолюбивая молодежь, вы, бедняки рабочие и богачи фабриканты... Откликнитесь же на этот вопрос всей правдой, всей обнаженной правдой несокрытого ответа. Не крамолу учинять, не к междоусобной брани, не к уничтожению устоев порядка и спокойствия призывают вас, к тому лишь, чтобы явным, смелым образом указать пред лицом всех, под открытым небом иных путей ведь нет — „взгляните же на все, не мудрствуя лукаво, и, взглянув, припомните вы вещее слово освободителя крестьян: лучше дать уж сверху, чем ожидать, как снизу будет взято".

Вот краткий смысл той длинной речи, которая выливается у нас в форме все учащающихся беспорядков, демонстраций, арестов и обысков. На вас лежит теперь весь долг, вся нравственная ответственность сказать открыто и смело свое слово и выказать участие в демонстрации 3 марта.

Собирайтесь же 3 марта к 12 часам дня на Невском проспекте между Садовой и Екатерининским каналом.

Организационный комитет студентов Санкт-Петербургского университета.

Изд. „Кассы радикалов".
1902".

4 марта.

Говорят, вчера арестовано 80 человек. Внутри Гостиного двора дворники и городовые били арестованных рабочих. У девятнадцатилетнего парня, который захвачен с красным знаменем, кровь текла из носа и ушей. Рассказывали приказчики Карбасникова, у которого там книжный склад.

—

Булгаков от кого-то слышал, что избрание Горького в академики не утверждено по докладу Сипягина, так как Горький находится под надзором полиции. В числе предложенных были Вейнберг и я. Зачем я? Я журналист, не художник, не критик. Следовало давно выбрать Буренина.

5 марта.

Вчера в „СПБ. Ведомостях" о предложении елецкого уездного предводителя дворянства Стаховича орловскому собранию ходатайствовать перед министром финансов. „Москов. Вед." № 62 4 марта печатают доклад курскому дворянству дворянина белгородского дворянства графа Владимира Доррера о выборе дворянством лиц, которые могли бы быть достойными его представителями в разнообразных совещаниях, созываемых правительством.

—

Мною только что получены письменные сведения от Кияловича о беспорядках в Харьковской и Полтавской губерниях.

„В Полтавской самые сильные были в Карловке, Мекл-Стрелицких герцогов, где войска пустили в ход огнестрельное оружие, но убитых было мало, потому что старались стрелять через головы.

В Харьковской два уезда: Валковский и Богодуховский охвачены были крестьянским бунтом. Разграблено, разрушено и сожжено 20 богатых экономий. Сахарный завод Молдавского уничтожен с больницей вместе, причем тифозные больные были выкинуты. Усмирение было особенно жестокое здесь. Следствие открыло, что укрывателем

награбленного был священник, а среди грабителей действовал дьякон. Натальевский завод Харитоненко подвергся настоящей осаде, но служащие и рабочие вооружились и отстреливались до прихода войск.

Движение организовано, подстрекатели ездили переодетые в монахов, священников, исправников и становых. Усмирением заняты 5 пехотных полков и казаки. Экзекуции и порки немилосердны. Харьковский губернатор князь Оболенский падал в обмороки, присутствуя при расправе, но не останавливая ее. Беспорядков в Харькове (рабочих) ждут на Пасху.

7 марта.

У нас печаталась статья „О нужде кур". Слава тебе, Господи! Вспомнили кур. Их совсем забыли. Петух играл историческую роль (Евангелия), а курица несла яйца, которые ели и делали из них яичницу. Есть, кажется, историческая яичница.

2 апреля.

Сегодня убит Д.С.Сипягин. Покойный не был умен и не знал, что делать. Его поставили на трудный пост и во время чрезвычайно трудное, когда и сильному уму трудно найти путь в самодержавном государстве. Надо бы свободы совести, личности, печати. Но какая может быть свобода при самодержавии министров, поддерживающих самодержавие. Идеалисты–славянофилы находили, что это возможно, но они говорили, что необходимо убрать средостение между царем и народом. А как уберешь это средостение?

Князь Хилков первым спустился в переднюю, где лежал в беспамятстве раненый Сипягин, а убийца стоял в нескольких шагах и упорно смотрел на него. „Будь у него несколько револьверов — он всех бы нас перестрелял", — говорил Хилков, потому что в передней никого не было, кроме швейцара и раненого лакея Сипягина. Полиция, по обыкновению, — nous revenons toujours trop tard*. Витте приехал, когда Хилков сказал ему по телефону. Он не подошел к Сипягину, а смотрел на него издали.

---

*Как всегда опоздала (*франц.*).

—

Сигма говорил, что его приглашали в газету, которую хотел создать Сипягин и потратил на нее два миллиона. Можно смело сказать, что консервативной газетой ничего не поделаешь. В ней и сказать-то что-нибудь трудно. Нет, мы подошли к стене, которую лбами и усердием пробить нельзя. Революционное настроение растет, и как оно кончится, сказать трудно.

—

После убийства Боголепова назначили Ванновского и начали писать и реформировать школу, точно убийца указал тот путь, которому надлежит следовать, а до этого никто не мог догадаться, что и как делать. После убийства Сипягина так ли станут поступать? Найдут ли министра, который найдет новые пути или который станет делать только в противоположном направлении? Но это направление требует очень много, и притом систематически, а не урывками. Ни характеров, ни ума!

Рассуждали, кто займет место Сипягина. Он получал 75 000 рублей жалованья и тысяч 40 или 50 на представительство. Называли Плеве, Витте, финляндского Хилкова и киевского Драгомирова, называли Святополка-Мирского. Возможно, что царь назначит того, кого никто не называет. Называли еще Кочубея.

Булгакову в телефон князь Шаховской сказал, что по поводу убийства Сипягина ничего не надо говорить. „Напечатать только сообщение „Правительственного Вестника“ и некролог“. Удивительное мужество правительства, которое боится, чтобы в печати не проскользнуло что-нибудь волнующее общество.

4 апреля.

У Шаховского по моей просьбе спросил Булгаков, можно ли писать? — „Можно“. На вопрос Худекова о том же сказал: „Можно пролить слезу“ (!) У Лориса в канцелярии он занимался перлюстрацией писем. Двуличие Шаховского я много раз наблюдал. Он собирает похабные стихотворения.

9 апреля.

Сегодня похоронили Н.К.Шильдера. Было очень торжественно. Музыканты при выносе шли из церкви, играли „Коль славен". Его хоронили, как генерала, шли роты пехоты, позади пушки, били барабаны. Но отпевание тянулось невероятно долго, часа 3. Так и меня будут отпевать. Все устанут, будут браниться, выходить из церкви, чтоб покурить. Можно так разозлиться, что из гроба встанешь и убежишь. Если бы да кабы.

10 апреля.

Приехал Гольдштейн. Он был в Гельсингфорсе у Бобрикова. Сладу нет. Он усмиряет, а Сенат отдает полицейских под суд за превышение власти. Он приглашает к себе редактора, а он ему отвечает, что „мои приемные часы такие-то". Арестовать никого не может. Ходит один. Встречные плюют в сторону. Русскому администратору плохо в городе, где привыкли к законности.

Безволье полное и всюду. Плеве едет в Москву объясняться с великим князем Сергеем, где рабочие беспорядки огромны, фабриканты ничего не могут поделать. Агитация рабочих перешла в другие губернии. Плеве затем едет в Полтавскую губернию. Циркуляр ничего не говорит об его поездке. С ним Богданович.

—

Сегодня говорили, что убийца Сипягина — граф Игнатьев, студент Петербургского университета. Говорил Худеков. Конечно, вздор. Говорят о монахе, который являлся для свиданий с убийцей, был арестован и многих выдал. В „Правительственном Вестнике" распоряжение министра внутренних дел о предании военному суду убийцы, но который не назван.

—

Нерешительность государя доходит до того, что он соглашается не только не поощрять образование, но и сузить его. Высшее учебное заведение, построенное Тенишевым в Моховой, с программой лекций прошло в Коми-

тете министров, а государь написал: „Такие заведения неудобны в населенных местах“. Смоленское земство положило ходатайствовать об обязательном образовании. Написано: „Это не дело земства заниматься образованием“, и Сипягин циркулярно оповестил это по России. В Государственном совете все старики, спят или ничего не понимают, например, в юридических вопросах Сипягин в совещании о технических школах настаивал на том, чтоб без его ведома не открывалась ни одна школа. Мещанинов стал за Сипягина из противодействия министру финансов.

—

Витте очень смущен положением. Факт равнодушия и радости после убийства Сипягина поразил его. „Он был таким хорошим человеком дома, — говорил он, — и вообще в личных отношениях. Но для человека другая мерка в делах общественных. Будучи совсем неумным человеком, он наделал множество глупостей, а глупости довели до революционного порядка“.

13 апреля.

Вчера был у Витте. Никогда я не видал его таким подавленным. Совсем мокрая курица. Говорил, что, если б был приличный повод, он вышел бы в отставку. Очевидно было из его речей, что у него довольно смутные средства для того, чтоб теперь управлять. Дал мне свою записку о земстве в ответ Горемыкину. Вспоминал о Сипягине. Как частный человек — по мнению Витте — „прекрасный и благородный. Действовал искренне и иначе не мог. Он не играл комедию, не притворялся. С ним нельзя было говорить о политике: он стоял на своем и ничего не слушал“. В течение последнего полугода Витте только раз говорил ему при жене его о том, что он действует неразумно. Но это не послужило ни к чему. Убийца Сипягина болен инфлуэнцией и ревматизмом в сочленениях.

О Зенгере Витте выражался так: „Человек очень увлекательный, поэт классицизма, но администратор никудышный“.

22 июня.

Говорили, вспоминая отца. Он вступил рекрутом в лейб-гвардии Преображенский полк, вероятно, в 1806 году, уже женатым на крестьянке. Петруша вспоминает командира Преображенского или Семеновского полка, где папенька тоже служил, по его словам, Михаила Ивановича Руцинского, который папеньку очень любил. Надо справиться в истории лейб-гвардии Преображенского или Семеновского полков. Командир Костромского был Слатвинский. За зевок во фронте командир роты, где папенька был фельдфебелем, избил его по спине палками. Когда пришли в казарму, ему солдат снял рубашку и спину намочили чем-то. Командир призвал его к себе потом, сказав, что виноват, что так жестоко его наказал, и поднес стакан водки. У папеньки опухла грудь после этого наказания, и этому он приписывал свое удушье. Он умер 29 июня 1855 года, упав с лошади, на 70 году.

Маменька умерла 29 марта 1887 года. Она была дочь священника Льва Соколова.

Папенька выучился грамоте сам, купил азбуку. Учил его дядька. В этой азбуке было и 4 правила арифметики, которые он знал.

Офицером он был в Костромском полку, произведен из фельдфебелей прямо в подпоручики. В поручики и штабс-капитаны произведен за отличие. При Бородине ранен в руку и ногу.

23 июня.

...Иногда ужасно хочется высказаться, может быть, грубо, но все равно как-нибудь высказаться откровенно, чтоб меня дураком не считали. Мое самолюбие постоянно уязвлялось и уязвляется. Может быть, в старости это уязвление становится невыносимым, ибо чувствуешь свое бессилие что-нибудь сделать новое, достойное, удивительное и хочешь, чтоб тебя уважали за старое. А старое кому нужно? Его даже не замечали. Жили припеваючи, тратили уйму целую денег все на себя и для себя, эгоистично до безумия, никому не помогая, не замечая ни бедности, ни болезни, ни нищеты. Только собакам покровительствовали. Людей совсем забыли. „Разве всем людям

поможешь?" Собакам всем тоже помочь нельзя, но собаки — рабы, они любят, они умеют нравиться и ростом и потребностями меньше человека.

30 августа.

Приехал в Феодосию.

31 августа.

Был у Айвазовской. Вспоминали старое. Анна Никитична рассказывала о смерти мужа. Последний день он был очень весел и возбужден. Делал планы на будущее. Пошел пешком к Морозовой, сестре своей, и играл там в карты до 11 часов. А в 5 часов Ан. Никит. уехала к своим, три станции от Феодосии. В 12 часов лег, внук его укрыл и получил приказание купить кое-что для праздника 1-го Мая, который он готовился устроить. В час он позвонил. Горничная услыхала и пошла к внуку Лампси. Когда они вошли в спальню, А. был уже мертв. Анна Ник. говорит, что он всегда хотел внезапной смерти.

—

От Бори телеграмма с просьбой удостоверить перед полицмейстером его личность. „Крупные недоразумения" с гостиницей. Я дал ему в Курске 200 рублей. Оказалось, цены бешеные.

Без 10 минут 3, на 2 сентября.

Встал, чтобы записать сон. Мы — в деревне, но она не напоминает наше Никольское. Около нас дорога, до которой косогором, и затем река с мостом. На мосту стоит Л.Н.Толстой, а с ним несколько человек. Он будто везет в нашу типографию рукопись. Я бегу, чтоб поздравить его с 50-летием. „Поздравляю Вас, Лев Николаевич". „Ну что там", — говорит он. „Действительно, говорю, Вас и поздравлять нечего: Вы можете нас всех поздравить, что Вы 50 лет работаете". Беру часть рукописей и бегу домой. Разбираю их, смотрю отрывки из русской истории и еще какие-то отрывки и наброски. А время идет. Он может приехать в типографию, и я не буду там, а рукописи я

взял как будто с тем расчетом, что успею пересмотреть их и привезу в типографию раньше, чем он туда приедет. Торопливо говорю, чтоб запрягали лошадей. Но тут извозчики возле. Один подъезжает и говорит, что довезет. Я еду и на какой-то городской улице останавливаюсь около длинного одноэтажного дома, окна которого почти наравне с тротуаром. Это будто бы наш дом. Около него стоит Л.Н.Толстой со своими знакомыми. Окна в доме отворены. Я слезаю с извозчика, подхожу к Льву Николаевичу и разговариваем. Вдруг из дома голос Анны Ивановны: „Лев Николаевич, не хотите ли чаю напиться?" Думаю, зачем это она? Но Лев Николаевич идет в дом, за ним и другие. Входим в зал, откосо разделенный на две части. В одной идет служба, как будто всенощную служат, в другой Лев Николаевич и мы все. Какой-то человек, смотрю, начинает закрывать занавесью, расписанною иконами, как на иконостасах, ту половину залы, где идет служба. Человек этот, среднего роста, в сером нанковом кафтане, еще не успел задвинуть занавес; Лев Николаевич, смотрю, надевает через голову старую епитрахиль и старую ризу и намеревается тоже служить. Мне это неприятно, думаю, станут говорить, что в доме у меня служил Толстой обедню и пойдет кавардак. Я ухожу в соседнюю комнату, темную, где тоже люди стоят. Вдруг слышу голос Анны Ив., резкий, со слезой: „Не сметь, не сметь, не сметь". И только эти слова. Ну, думаю, Анна Ив. затеяла скандал — не позволяет служить Толстому, и я спешу в зал. Лев Николаевич стоит в ризе лицом к углу, где икона, а в нескольких шагах от него Ан. Ив. и продолжает говорить: „Не сметь" и еще какие-то слова. Я подхожу и раздумываю, что мне делать, как вдруг вижу Горбунова: он во фраке, на груди блестит белье, сидит не к спинке стула спиною, а боком к спинке, и одна рука лежит на спинке стула. Он смотрит спокойно на Толстого и Ан. Ив., а я на него и думаю: да ведь он умер. Но он такой живой, что я начинаю сомневаться в его смерти. Повернувшись вправо, вижу, Лев Николаевич снимает ризу, борода у него вся в колючках, которые торчат из нее и придают его лицу неприятное выражение. Тут я проснулся, встал и пошел посмотреть в переднюю на часы, было 3 без 10 минут, потом в кабинет и записал сон.

4 сентября.

Приехал из Ялты Орленев с каким-то актером. Я пригласил его телеграммой. У меня жил Глаголин, который узнал адрес Орленева от старого театрала в Одессе. Уверял, что он целовал мою телеграмму, плакал, просил прощения за то, что воспользовался моей пьесой, просил позволить ему играть на нашем театре с 1 декабря на жалованьи, которое получают Тинский, Михайлов и др. Я уехал вместе с Орленевым и Василием в Москву, чтоб увидаться с Чеховым. Провел там два дня почти все время с Чеховым у него, в его доме. Все время дружески говорили о разных вещах, преимущественно о литературе. Он удивлялся, что Горького считают за границей предводителем социализма. „Не социализма, а революции", — заметил я. Чехов этого не понимал. Я, напротив, понимаю. В его повестях везде слышится протест и бодрость. Его босяки как будто говорят: „Мы чувствуем в себе огромную силу, и мы победим". Популярность Горького задевает самолюбие Чехова. „Прежде говорили: Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов и Горький". Он хотел сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. Я этого не думаю.

— Правда ли, что он больной?

—У него то же, что и у меня — туберкулез. Но он здоровее меня. Вы знаете, что ему везде позволено жить. Не найдено никаких оснований для того, чтоб высылать его из одного города в другой.

Он сообщил мне, что вместе с Короленко они подали в Академию протест против исключения Горького из академиков и заявили, что снимают с себя звание академиков. Ответа на это не получили. Предлагали Толстому, но он сказал, что не считает себя академиком... „А я знаю, — сказал Чехов, — что он подавал голос за Боборыкина, значит, считает себя академиком".

— Толстой человек слабый, — говорил Чехов, наблюдая его во время болезни.

Познакомился у него с Дорошевичем. Говорили о Пасхаловой и ее муже. Д. уверял, что у Рощина-Инсарова начинался прогрессивный паралич.

6 сентября.

Приехал из Ялты, нашел много писем, присланных мне из Черни. Одно от Жени из Кайбичева. Лиза в отчаянном положении. 7 недель страдает ужасно. Исхудала. Рвота по 8 раз в день. Другое письмо от Лизы карандашом. Письмо это так растрогало меня, что я написал ей большое письмо и не мог остановить слез, когда писал. Страдания бедной девочки, такой живой, такой умной, мне так ясно представлялись, так трогали, что давно я не писал с таким чувством искренним и глубоким. Лиза мне всегда нравилась. Я знал, что ее огорчала моя ссора с Лелей. 15 сентября я получил телеграмму от 14, 9 часов пополудни: „Лиза сегодня скончалась. Тело будет перевезено в Петербург. Суворин". Я отвечал: „Словами не могу выразить, как мне жаль радостную живую внучку. По опыту знаю, что такие потери ничем не вознаграждаются и жизнь становится беднее". Лиза умерла в день моего рождения, 14-го. Мне стукнуло 68 лет. Родился в 1834-м, стало быть, прожил дважды 34, больше двух третей столетия.

18 сентября.

Вчера кончил „Ксению", то есть исправления. Почти целый акт написал снова. Выходит 6 актов и 8 картин. Чувствую во многих местах фальшь. Образы у меня не ясны, не рельефны, не могу смотреть на лица объективно, и мое творчество, если так можно выразиться, несвободно. Поляков понимаю очень мало. Самозванец мне яснее всего, но я не уверен, что он Дмитрий. Как можно Самозванцу так уверять и русских, и поляков. Дерзостью ничего не сделаешь. С другой стороны, не могу себе представить, что это сознательный Самозванец. Так много в нем честолюбия, забот о России, о своей славе. Он похож на полководца, который завоевывает страну, свергает правителей и становится сам правителем по праву завоевания. Но он обращается со страной, как с родной, в судьбах которой он заинтересован, и думает в ней утвердиться и установить свою династию. Это не авантюрист, который думает только о себе и не рассчитывает на будущее. Он думает о будущем, для него не то что „день да мой".

Он глядит широко, не подозрителен, щедр, легкомыслен, красноречив. Жаль, что речи его не сохранились. Он даже не подумал вполне обезопасить себя, не устроил потайных выходов, не верил заговорам. Отзывы современников почти все в пользу его. Даже Катырев рисует его симпатичным. „Лицо же имея не царского достояния, препростое обличие имея, и все дело его вельми помраченно“ — эти фразы довольно глупы, особенно последняя, совсем бессмысленная. У наших ли царей лицо было „царского достояния“? Не было этого ни у Василия (портрет у Герберштейна), ни у Грозного, ни у Феодора. На портрете Килиана — замечательно выражение губ. Что-то грустное, приятное, глаза большие. Надо было иметь много ума и мужества, чтоб овладеть престолом, провести поляков, иезуитов, папу. Уверенность в своем призвании сделала бы это без особенных напряжений, просто и успешно, как это и было на самом деле. Как не узнали его в Москве, в Кремле, где он ходил? Рассказы о том, что его признали все, носят печать придуманности. Против обвинителей он поступал открыто, иногда великодушно (Шуйский), говорил речи о себе (стрельцам). Может быть, мое предположение, что с Дим. действительно случился припадок падучей и что он ранил себя, справедливо. Ничего не разобравши, учинили бунт, убили Битяговского и проч. А ребенок оказался жив. Его спрятали в тайнике, или увез Афанасий Нагой. Грозный был красноречив, любил сравнивать себя в доблести с Александром Македонским, как и Самозванец. О царевиче Дм. Борис распускал совершенно те же слухи, что Шуйский о Самозванце: царевич хотел казнить всех бояр, Самозванец хотел истребить всех бояр (следствие после смерти Самозванца). У Катырева-Ростовского характеристика Ивана IV и Самозванца похожи (Ист. Биб. т. 13, стр. 707 и 709-710).

—

Сказал Василию, чтоб выписал свою жену и дочь. Думаю остаться до октября. Сегодня день ветреный, но чрезвычайно теплый. С горлом гораздо легче. Встретил каменщика Александра. Я его узнал, он меня нет. Шесть лет прошло. „Встретил бы Вас где-нибудь на улице, —

говорит он, — не узнал бы. Очень постарели. Бывало, выйдете бодрый такой, прямо идете. Видно, прошли годы, что все на убыль идет“. Комплиментов не говорит. А интеллигенция феодосийская: „Да Вы совсем не изменились. Какие были, такие остались“. Черта-с два такой!

21 сентября.

Раздражительность у меня мерзкая. Несколько дней тому назад по поводу статей о Бадмаеве, этом тибетском шарлатане и русском доносчике, я телеграфировал в редакцию: „Приказываю замолчать“. Черт знает, как могла эта фраза поместиться. „Редакция“ телеграфировала, что фраза эта „неуместна и оскорбительна“. Я написал Булгакову извинительное письмо. Сделаешь старческую глупость и потом исправляешь ее. Сколько раз я себе в последние годы ее говорил: „Не пиши под первым впечатлением. Обдумай. Не пиши ночью, а напишешь — оставь до утра, взвесь слова и выражения“. Но система нервная такая стала истрепанная, что с нею не сладишь. В старости прямо сходишь с ума, становишься легкомысленным, раздражительным, безвольным. В первые дни приезда в Феодосию я не читал газеты и был относительно спокоен. А последнюю неделю простудился, хриплю и нервы совсем расстроены.

—

Смерть Э.Золя поразила меня. Думал ли он когда-нибудь, что попорченный камин убьет его. Никто не знал, как он и когда умрет. Из величайших опасностей человек выходит здоровым и счастливым, что одолел их, и какой-нибудь ничтожный случай убивает его.

—

Чехов зовет меня в Ялту. Но пока здесь недурно. Никого не вижу, нигде не бываю, но скуки не ощущаю. Только горло не проходит. Во вторник я встал с хрипотой и доселе она меня не оставляет.

26 сентября.

Очень милое письмо от Чехова из Ялты. Пишет Буренин о театре: „Теперь театр у Вас по глубине и по удобству — лучшая сцена в Петербурге. Как бы можно хорошо ставить пьесы на этом театре, если бы... Вам лет 15 с плеч долой, да если б не царил в театре „Карнизм" и фаворитизм".

30 сентября.

Письмо от Скальковского. Ругает газету, в особенности за отношение к Золя. Говорит о каком-то письме Булгакова в „Temps". Ничего не знаю. Золя — даровитый романист. Его отношение к Дрейфусу меня теперь не занимает. К писателю иначе нельзя относиться как с сочувствием. Если он ошибся относительно Дрейфуса, то много огорчений это принесло ему.

— . .

Завтра уезжаю в Питер. Страшно не хочется ехать. Здесь тоже не весело. Ветрища ужаснейшие, хотя сегодня целый день было тепло. Но Петербург не обещает мне ничего хорошего.

5 декабря.

Был В.И.Ковалевский. Страшно расстроен. Рассказывал о мошенничестве Шабельской: она подписала на 120 тысяч фальшивых векселей. Около нее была целая шайка мошенников, между прочим, князь Друцкой-Сокольницкий. Она учитывала все векселя в Петербурге, Риге, Вильне и Варшаве. В Москве не учитывала. Мало этого, она писала письма от имени Ковалевского на ремингтоне с его поддельной подписью. Когда В.И. показал брату ее свою подделанную подпись, он прямо сказал: „Это рука сестры". Она брала взятки. Вл. Ив. дал ей 28 десятин около Сочи и взял с нее вексель в 15 тысяч. Эту землю она продала за 30 тысяч. Вообще, целый ряд мерзостей. Пишет ему: „Я Вам прощаю. Прикажите мне — я лишу себя жизни". У брата спрашивает: „Не лишить ли себя жизни?" — „Если у тебя хватит мужества, сделай".

Витте вел себя двусмысленно с Вл. Ив. Когда он рассказал все это ему, он выслушал его спокойно. На другой день к нему приехали от Витте и сказали, что он страшно расстроен, что он боится, как бы эта история ему не повредила. Ковалевский сейчас же решился подать в отставку. Поехал к Витте, который не мог скрыть своей радости. Не было бланка (?) для подачи прошения, а было два праздника. „Для Вас откроют", — сказал Витте. Ковалевский подал. „Отчего вы не просите пенсии?" — „Не хочу". — „Позаботиться об этом моя обязанность". — „Как хотите". — Витте приехал к нему с сердечными извинениями. Ковалевский говорил с ним резко. „Вас ждет другая женщина, которая близко от Вас и ее Вы избегаете. Это — Немезида. Она поразит Вас. Около Вас все распадется и развалится". (В самом деле, Витте едва держится. Он уступил уже Александру Михайловичу морскую торговлю, уступает учебные заведения Министерства народного просвещения, Плеве уступает фабричный надзор.) „Как выйти из такого положения?" — „Обратиться к прокурору". — „Пойдет сплетня, вывалят массу грязи. Всего лучше, если б она созналась". Я обещал ему позвать к себе Шабельскую. Но из этого ничего не выйдет.

—

Я сегодня приехал из Москвы. 2-го шла там моя пьеса „Вопрос" с успехом. Я измучился.

1903 год

2 октября. Феодосия.

Встал до солнца, в 5 часов. Было 9 градусов. Ущербленная луна и ущербленная Венера; два серпа на небе. К востоку облака, остальное чисто. Еще темновато. Я ходил по своему „проспекту" над морем. Явилась ранняя чайка. Она летала довольно высоко и скоро; затем другая, третья. На море явились рыбацкие лодки, четыре; они вынимали сети и потом опять ставили. Голуби садились на купальню рядком. Море с прибоем, который вчера был сильнее. Вечером белая волна, падая, светилась и летела по морю, как белая ракета.

—

Мне грустно. Вчера я получил письмо из Петербурга. С Японией неладно. Алексеев телеграфировал в Министерство иностранных дел, что он не допустит высадки японцев в устье Ялу, затем, на другой день, государю, — как он смотрит на это дело. Министерство иностранных дел ответило ему, что государь в Европе, что телеграмма ему передана и что он настроен миролюбиво.

Японец ударил царя саблей по голове, когда он был наследником; японец и теперь бьет его по голове, а эта голова не весьма знает, что она должна делать и что может сделать. Он все ждет наследника и до этой „радости" ничего не делает.

—

Мне кажется, что не только я разваливаюсь, не только „Новое Время" разваливается, но разваливается Россия. Витте ее истощил своей дерзостью финансовых реформ и налогами.

7 октября.

Вчера получил телеграмму о смерти Стрепетовой. Вот оригинальная личность и оригинальная жизнь! Чего она не испытала! Сила таланта была огромная, но только талант этот и был. Когда он ее оставлял, она впадала в посредственность. Болезнь, очевидно, подкапывала талант ее в последние годы.

10 октября.

Ясный день. Утром мороз в 1 градус. Свежо. Небольшой ветер. Сегодня уезжаем в Петербург.

—

...Французская пословица: „Самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет". Очень мудрая пословица. Я понимаю ее так после всего того, что я испытал.

Девушка должна как можно экономнее расходовать свою красоту и все те прелести, которыми она привлекает мужчину. Чем она экономнее, тем лучше для нее, тем больше у нее средств возбудить любовь и привлекать к себе мужчину. Елена в „Накануне" говорит: „Возьми меня всю". Эта глупая фраза увлекала многих девушек, которые спешили сказать: „Возьми меня всю". А только исключительно благородные мужчины в состоянии понять и оценить такую жертву девушки и на жертву отвечать жертвой — отдать всего себя ей. Обыкновенные мужчины далеки от этого. Если отдать им всю себя, они возьмут, и женщина скоро наскучит. Как бутылку шампанского, они выпьют и бросят, прежде чем успеют овладеть их сердцем и привязать к себе. Чем моложе девушка, тем она глупее и тем скорее поддается соблазну. Впервые разбуженное в ней чувство любви ничего не соображает, ничего не рассчитывает и часто не знает, что значит любовь в ее реальной сущности. Девушка в первый раз любит платонически, и чувственность развивается в ней позже. Удовольствие половой любви нередко она узнает только после рождения первого ребенка.

—

Мне хочется сказать несколько слов о своей пьесе. Она имела успех в Москве, где дана была на Малом театре в первый раз, и в Петербурге, где М.Г.Савина взяла ее в свой бенефис, и в провинции. О „Вопросе" писали много во всех газетах. О романе „В конце века любовь", из которого вышел „Вопрос", едва упомянуто было в двух–трех журналах. Между тем этот роман в течение десяти лет разошелся в пяти изданиях. Значит, публика отличила его. Я взял из романа главные положения и две–три сцены и могу считать „Вопрос" самостоятельным произведением. Он взят из первых глав и развит в пьесу. Вторая его половина совсем не вошла в пьесу. Эта вторая половина носит характер полуфантастический. Герой сходит с ума от злоупотреблений половой любовью. Судьба героини остается загадочной. Я выделил для пьесы вопрос о девственности и представил его независимо от романа. Пьеса не скомпонована по роману, а вся написана заново, и большинство сцен в пьесе совершенно новы и совсем не заимствованы из романа.

Мне случалось читать рецензии, где говорилось, что „вопрос", трактуемый в пьесе, совсем и не стоит того, чтоб трактовать о нем. Это, мол, скорей вопрос для водевиля, чем для серьезной комедии. Так говорил один доктор, за недостатком медицинской практики, вероятно, пишущий театральные рецензии в одной серьезной маленькой газете. Думаю, что это плохой доктор, не потому только, что он пишет о театре, а и потому, что он так легкомысленно смотрит на „вопрос". Последователей у таких докторов, впрочем, много, как среди мужчин, так даже и среди женщин и девушек. Девственность считается доктором предрассудком. Слово „предрассудок" часто встречалось в рецензиях. Оно склонялось по всем падежам, и слово „падение" высмеивалось тем грубым смехом, в котором ни юмора не было, ни остроумия. Я говорю только об этом взгляде на „вопрос", а не о самой пьесе, защищать которую я совсем не собираюсь.

В Петербурге меня поразило следующее: огромное количество женщин на представлении. Весь раек в Алек-

сандринском театре был занят почти исключительно женщинами и девушками. Я никогда ничего подобного не видел. Обыкновенно в райке женщины совсем не выделяются. А тут пропорция мужчин и женщин была прямо несообразная. Очевидно, „вопрос“ заинтересовал женщин более, чем мужчин. Да, на самом деле это „вопрос“ для женщин. Они только выиграют, если не станут верить мужчинам, что девственность есть предрассудок. Для мужчин это очень приятная вещь будет, если женщины станут смотреть на девственность как на предрассудок. Если девственность есть предрассудок, то от нее надо скорей избавиться. Предрассудок надо презирать, предрассудок есть глупость, отсталость, консерватизм. При первом же увлечении молодым человеком, при первой влюбленности, надо говорить: „Возьми меня всю“, и, конечно, мужчина возьмет. Для него это одно удовольствие. Для девушки иногда это даже не удовольствие, а только риск забеременеть. Правда, теперь умеют предупредить беременность и истреблять плод по всем научным средствам, но это еще может годиться кому-нибудь, только не девушке, отдающейся в первый раз и вовсе не трепещущей страстью.

20 октября.

Сегодня узнал, что Леля издает свою газету, нанял квартиру для редакции, хлопочет о деньгах и проч... Я сделал для него все что мог. Я пошел на все уступки, но не мог пойти на последнее унижение: чтоб я не смел никому из сотрудников выражать свое мнение об их статьях, но сообщал это только ему. На этом мы разошлись, когда вели переговоры в июле в Петербурге в присутствии Буренина.

25 ноября.

Послал М.М.Кояловичу такое письмо:

„М.М. Я поручил моему сыну, М. А-чу, спросить сотрудников „Нового Времени“, остаются ли они в нем или уходят в „Русь“. Когда М.А. спросил Вас об этом, Вы отвечали ему, что, если издатель „Руси“ позовет Вас к себе, Вы уйдете, не позовет — останетесь. Вы имеете

полнейшее право ставить свою судьбу в зависимость от А. А–ча, но ни малейшего права у Вас не может быть на то, чтоб ставить порученный Вам отдел в „Новом Времени“ и меня, как издателя, в зависимость от него же.

Я не могу знать, когда ему угодно будет Вас позвать, но, как журналист, Вы понимаете, что газетное дело — серьезное и зависеть от подобных случайностей не может. Насильно милым быть кому бы то ни было не желаю, но, мне думается, я имею право на совершенно корректное отношение ко мне сотрудников.

Ваш А. Суворин“.

—

Сплю днем, а ночью бодрствую вот уже несколько дней. Все мне противно и тяжело, и я не могу разобраться в самом себе.

26 ноября.

Получил от Сватковского, Кояловича и Снессарева лестные письма, в которых они извещают меня, что уходят к Леле. Письмо Снессарева даже очень нежное.

Письмо Снессареву.

„Ник. Вас. Благодарю Вас за Ваше письмо и за любовь к моему сыну, к которому Вы уходите. Если б он не оставил меня в то время, когда мне идет 70-й год и когда дети должны бы, как говорится высоким словом, покоить старость своего отца, который дал им хорошее имя и возможность работать только для своего удовольствия, а не для куска хлеба, как я работал в их годы и для них, я не волновался бы так и не огорчался. Кто бы что обо мне ни думал, ни говорил, а я заслужил право на отдых, даже на почетный отдых. И у А. А–ча была на это полная возможность. Но что делать? Видно, так надо. Хорошее ли или дурное выйдет из этого для нас всех, Бог знает. Вероятно, мне не придется увидеть результата. Благодарю Вас за Вашу работу в газете и желаю Вам всего хорошего. Ваше письмо меня тронуло своей задушевностью.

Ваш А. Суворин“.

„P.S. Вы говорите, что идете „на крупный и громадный риск“ вместе с А.А. А я думаю, что в этом его риске наш общий риск. Сила в союзе, а не в разделении. Разделение это — злоба и радость врагам. Уверенность в себе — хорошее дело, и смелость города берет. Но ведь это далеко не всегда. И он, и я — мы будем напрягать усилия, а из этого может получиться минус. Сколько сил, нервов и денег мы потратим оба, и все для чего? А.А. хочет доказать, что он и сам может создать и проч. Это все равно что выдумывать порох или открывать Америку. Это безумно. Вы напрасно не изложили мне своих „соображений“. Почему Вы думаете, что я рассержусь?“

1904 год

22 февраля.

Много воды утекло, много изменилось. „Русь" издается хорошо. Война ей помогла и поможет. С „Новым Временем" постоянная полемика и нападки. Сам Леля напечатал наставление мне за то, что я назвал японцев дьяволами с зелеными глазами. „Это — лубок", — сказал он. Пускай лубок. Но и для лубка нужен талант, а в статьях Лели его очень мало. Он умен, но таланта мало. Может быть, он организатор хороший.

—

Был Амфитеатров. Часа три говорили с ним дней десять тому назад. При прощаньи я сказал ему, что любил его талант, он мне ответил, что любил и любит меня.

—

Сегодня С.С.Татищев приходил ко мне от Плеве. Государь согласился принять депутацию журналистов на условиях: чтоб не было евреев и чтоб был Суворин. „Государь полюбил Вас, — говорил Татищев. — Он читает Вас. Вы тронули его сердце. Императрицы тоже читают, и Плеве вторит государю. Дело идет о том, чтоб наградить Вас. Хотят Вам дать „Владимира" на шею".

Я вскочил как ужаленный. „Как, мне орден? Да это, значит, убить меня, закрыть мне рот навсегда. Я откажусь от ордена, если мне его дадут. Ничего другого мне не остается". Татищев обещал мне сказать Плеве, что это надо оставить. Награды? Вот они, администраторы! Господи, помилуй меня от них. До сего дня я не думал никому не понравиться. Я рад был, что публика меня читает.

Это — моя лебединая песня. То же было в 1876-м, когда началась сербская война. И тогда я воодушевлял, и теперь. Это начало и конец. Боюсь, что этих нервов ненадолго мне хватит. Совсем истреплются, и тогда беда газете. Мне ее жаль. Не вижу преемников.

15 марта.

Отправил письмо Давиду Фрэнсису, Президенту Всемирной выставки в Сен-Луи в Америке.

„Милостивый Государь,

Благодарю Вас за любезное приглашение участвовать на заседаниях парламента печати всего мира, которые состоятся во время выставки в Сен-Луи. Считаю долгом уведомить Вас, что я не могу принять Вашего приглашения по весьма веским основаниям: Россия вовлечена теперь в войну с Японией, и, не говоря о многом другом, я предпочитаю занимать в это время свое место не в столь обширном, но дорогом моему сердцу парламенте русской печати.

Я живо помню критические годы междоусобной войны Северных и Южных Штатов, слышу в исторической дали сочувственный американскому народу голос всей русской печати того времени, которая, благословляя освобождение от рабства миллионов русского народа, в то же время горячо стояла за неприкосновенность, целость и единство великой американской республики, и голос нашей печати не был гласом вопиющего в пустыне, ибо русская держава оказала тогда Северу существенную политическую помощь. Сопоставляя с этим образ действий американской печати и правящих сфер республики в настоящий момент, я не могу не упомянуть с горечью о резком контрасте. Ваша печать обнаруживает прямо враждебное отношение к России. Но сами вы, северные американцы, ведете колонизационную политику и распространяете свое влияние на весь Новый Свет, в чем мы вам никогда не мешали до сих пор и не намеревались мешать и в будущем; но не думайте, что вы сделаете благое дело, если станете нам поперек дороги в нашем колонизационном движении в пределах Северной и Восточной Азии. Откуда у вас вдруг такой живой интерес

к той самой Маньчжурии, которую вы почти совсем не хотели знать всего два десятка лет назад и к которой вы были совершенно равнодушны до постройки нами там железной дороги, сооруженной с большими жертвами русским народом, на деньги, собранные посредством налогов? Сооружая этот великий путь, Россия купила на многие миллионы железнодорожного материала у Соединенных Штатов и шла навстречу их высоко развитой промышленности; открывая новые страны, шла как мирная союзница в общем культурном деле белой расы, а не как враждебный соперник. Если бы нужен был мой голос в парламенте печати всего мира, я ничего бы не выразил более искреннего и задушевного, как передав желание всего русского общества, чтобы могущественная печать Соединенных Штатов побудила правящие сферы республики подвергнуть пересмотру их политику на Дальнем Востоке по отношению к России.

Желаю Вам всего лучшего".

15 июня.

Сегодня заседание комитета для боевых судов, сооружаемых на пожертвования. Председательствовал великий князь Александр Михайлович. Говорили о том, как доставить миноносцы во Владивосток. Там ли их собрать или в Петербурге, откуда доставить морем. Во Владивостоке, оказывается, нет хороших техников, которые могли бы собрать. Приводилась телеграмма Макарова, который требовал в Порт-Артур иностранных техников, а не русских, которые никуда не годны. Великий князь пустил на голоса. Между тем разговор продолжался. Какой-то молодой моряк сообщил, что Невский завод работает 12 р. с пуда, а в обыкновенное время 8 р. Адмирал Рожественский говорил, что Невский завод никуда не годен, что построенные на нем миноносцы плохи, части не прилажены как следует. Адмирал Дубасов протестовал, говоря, что хорошо осведомлен, что Невский завод работает очень хорошо, но если части миноносцев оказались непригнанными, то единственно потому, что они были плохо запакованы и попортились в дороге. Рожественский промолчал. Я спросил у Александра Михайловича, поче-

му у нас нет хороших техников, когда они есть не только в Германии и проч., но и в Японии; не может ли Комитет заняться этим вопросом и помочь чем-нибудь, хотя определить это состояние техники. Адмирал Бирилев ответил, что техники у нас есть хорошие, но нет корпуса их, потому что мы отстали от Германии на 200 лет. Я сказал, что надо догонять ее, и распространился вообще о нашей отсталости. Тогда адмирал Дубасов начал: „Г-н Суворин уже не в первый раз говорит, что у нас то это, то другое плохо, что наши моряки плохие техники и проч. Это оскорбляет чувство нашего патриотизма, и мы думаем, что следует делать все, что от нас зависит". Точно я говорил, что ничего не следует делать. Я возразил ему, сказав, что для измерения патриотизма нет ни барометров, ни термометров, что у всякого он свой, что в Комитете поднимать вопрос о патриотизме неуместно, и встал, сказав: „Я прошу у великого князя позволения уйти", и ушел. Придя домой, я написал великому князю письмо, при сем прилагаемое.

„Ваше Императорское Высочество. Смею думать, что мне оказана честь приглашением в высочайше учрежденный Комитет по сбору пожертвований для усиления флота потому, что его Императорское Высочество государь наследник (?) и Ваше Императорское Высочество были уверены в моем патриотизме. То, что я писал в „Новом Времени" с полной моею искренностью, не только не оскорбляло ничьей любви к отечеству, но, может быть, поддерживало это чувство: по крайней мере, я удостоился получить много писем, между прочим, от моряков, молодых и старых, с выражением самого горячего сочувствия моей слабой журнальной деятельности.

Я не позволил бы себе об этом упоминать, ибо я только исполнял свой долг и писал только то, что подсказывало собственное чувство, но случай, происшедший во вчерашнем собрании Комитета, дает мне на это право.

Вашему Высочеству известно, что патриотическое чувство отнюдь не исключает сознания русскими русских недостатков. Сознание это не только не избавляет от деятельности, но должно усиливать энергию русского человека во много раз для того, чтобы явиться достойным

гражданином великой державы. Те неудачи, которые мы испытали, больно отзываясь в каждом русском сердце и открывая несовершенства наши, большие и малые, в разных отраслях жизни, должны побуждать нас к полной искренности наших мнений, по крайней мере в таких собраниях, как высочайше учрежденный Комитет, обязанный отвечать энергией работы на энергию пожертвований русского общества. Достоинство таких собраний прежде всего характеризуется взаимным доверием и той свободою мнений, которая допускает разногласия и споры. В моей жизни мне впервые пришлось участвовать в таком собрании. Быть может, это обстоятельство мешало мне хорошо ориентироваться и выражать свои мнения. Но Ваше Высочество не один раз обращались ко мне с предложением высказать мое мнение, и я ценил это Ваше приветливое внимание.

Если во вчерашнем заседании я заговорил о том, почему у нас нет хороших техников, и о том, что наше общее, и в особенности техническое образование очень отстало от Европы (на двести лет, как выразился вслед за мною адмирал Бирилев), то потому, во-первых, что это общий голос, а, во-вторых, потому, что в собрании говорили об этом и даже приводили яркую телеграмму покойного адмирала Макарова, требовавшую иностранных техников для Порт-Артура. Адмирал Дубасов, отстаивая Невский завод против порицаний его со стороны адмирала Рожественского, пошел далее, сказав, что у нас будто бы даже не умеют хорошо упаковать разные части миноносца. Мне слышалась в этих разговорах та русская черта, которая свидетельствует, что мы знаем свои недостатки, но не обнаруживаем необходимой энергии для решительного и немедленного их исправления и даже говорим об этом, щадя нашу неподготовленность, малые знания и малое трудолюбие и всегда готовые остановиться на полумерах и убежать от трудностей, которые европейцы, однако, преодолевают. Я высказал свое мнение, вероятно, не в той спокойной форме, в какой следовало, но в мыслях моих не было ничего непатриотического.

Адмирал Дубасов позволил себе сказать, что мои мнения неуместны, что они „оскорбляют“ патриотическое

чувство собрания. Он говорил не от себя даже, а как бы от всех, находившихся в Комитете, на что он никем не мог быть уполномочен. Исключительно Вашему Высочеству принадлежало право сделать мне замечание, если я выступил из рамок программы или формы, а отнюдь не адмиралу Дубасову, особенно в этом Комитете, где не могло быть даже речи о сомнениях в патриотизме когонибудь из присутствующих. Мне осталось только ответить ему в его же тоне и удалиться из собрания, где один из членов оскорбил меня в лучших моих чувствах и намерениях.

Я прошу Ваше Высочество извинить мне ту горячность, которую я себе позволил. Я высоко ценил приглашение меня в высочайше учрежденный Комитет, ценил как почет, оказанный одному из деятелей печати.

Я вполне сознавал, что мое присутствие в Комитете едва ли принесет ощутительную пользу. Убедившись теперь, что мои мнения могут подать повод к нежелательным недоразумениям и обидам мне или другим, всего лучше работать для целей Комитета в привычной мне сфере, откуда мне не следовало выходить. Тут, быть может, и я могу принести некоторую пользу, или по крайней мере надеяться принести ее.

С чувством глубочайшего уважения и искренней преданности имею честь быть Вашего Императорского Высочества всепокорнейший слуга".

16 июля.

Адмирал Рожественский в Кронштадте собрал командиров, кричал, что надо повесить Виттефта. Он не ушел в гавань, а стоял на рейде и повторил то же „безумие", как говорит „Times", которое было 26 января. Только тогда японцы врасплох застали флот, а теперь флот все знал, и несколько судов погибло. Действительно, хорошо. Алексеев — это злой демон России. А царь за него держится, не хочет лишить своего доверия. А что с Россией будет — это ему все равно.

31 июля.

Сегодня мебельщик Михайлов говорил мне: „Еду сюда с дачи по железной дороге. Разговор о новорожденном

наследнике. Радуются. Вдруг какой-то господин очень громко говорит: „Странные какие русские. Завелась новая вошь в голове и будет кусать, а они радуются". Все разом так и притихли. До чего вольно разговаривают, так просто, удивительно".

—

Татищев рассказывал содержание письма, очень резкого, которое он послал Витте, уличая его во лжи и в доносе на него, Татищева. Татищев государю якобы помешал своей болтливостью заключить г-ну Витте выгодный для России договор. Тоже выдумал предлог. А царь поверил и жестоко обошелся с покойным Плеве.

—

Наши поражения продолжаются. На днях сидел у меня граф Кутайсов, санкт-петербургский генерал-губернатор. „Министры выдумали для меня особый слог в докладных записках, так что сначала я ничего не понимал, — жаловался государь. — Гессе говорит мне о министрах, это верный человек, и я все знаю". Ничего не знает.

—

На днях был у Витте. Яростно говорил о Плеве. „Зачем о нем пишут? Отчего не пишут о кучере? — кричал он. — И погиб Плеве отвратительно. Сипягин был ограниченный человек, но он умер благородно".

Удивительно: быть взорванным миной — „отвратительно", а быть убитым из револьвера — „благородно".

...„Россия не может воевать. Она может воевать только тогда, если неприятель вторгнется в сердце ее. Не на окраине, а в сердце".

Значит, окраины можно не защищать. Умный человек, а сколько он вредных глупостей наделал и сколько глупостей наговорил. Хвалил князя Мещерского. Он ему до миллиона денег надавал и еще даст. Упрекал меня, что я

не печатал его статей, в которых он выставлял себя проницательным гением, а всех других смешивал с грязью. Он отстранил государя в 1897 году от занятия Босфора и направил Россию на Дальний Восток, где построил город Дальний и дал наживаться инженерам, в том числе родственнику своей жены, Юговичу. Говорил о свободе печати. Воображаю, какую он свободу даст! Будет подкупать, как подкупал он заграничную печать, которая его прославляла и называла гением.

Как только он приехал из Берлина, все министры поехали к нему на поклон.

Витте мне представлял, как царь отвечает, когда ему Витте докладывает.

— Можно вот это сделать? Мне бы хотелось.

— Нельзя, Ваше Величество, потому и потому-то.

— А вот это можно?

— И этого нельзя потому-то.

Затем царь начинает спрашивать его: „Можно ли принять такую меру?" Он кисло и нехотя отвечает: „Можно", или „Подумаю", или „Хорошо".

— А Плеве докладывал иначе, — продолжал Витте, — спросит царь — можно ли? — все можно, все хорошо, и тогда все разрешает Плеве.

Черт знает, как нами управляют все. Посидишь этак, послушаешь, и так становится скверно, так скверно, что понимаешь все, самое гнусное, самое отвратительное, все эти заговоры и убийства.

—

Целая возня была с фельетоном Меньшикова о флоте, где он сказал, что „у нас флота нет". Алексей Ал. пожаловался царю. Царь приказал Дурново приготовить доклад. Зверев и Дурново были еще за газету. Царь выразил удивление, что в газете можно было это напечатать. Потом сказал, что наказывать не надо, а достаточно сделать внушение. И на том спасибо. Но фельетон все-таки свое дело сделал и рассказал правду.

Зато сегодня пришлось остаться без фельетона. Меньшиков написал продолжение, и очень хорошее, кстати

вспомнил сказку Андерсена о царе, который ходил голым, воображая, что на нем чудесное платье, потому что придворные восхищались.

1 августа.

Поступил Столыпин. Рассказывал про Ухтомского такие вещи, что этот князь выходит хорошеньким подлецом. По его совету Столыпин написал фельетон против Струве в „СПБ. Ведомостях". Ухтомский написал письмо к царю, в котором говорил, что он этому фельетону не сочувствует, что Столыпин написал его против его желания. В фельетоне были либеральные фразы. Царь послал это письмо Плеве. В то же время он, заигрывая у Струве, написал и ему письмо, тоже против Столыпина как консерватора. Таким же двуличным он был и относительно Столыпина, говоря ему, что против него Плеве. И это вышло наружу. Однако оба они остались „на ты".

Рассказывал о заговоре князя Мещерского и Витте против Плеве; дело шло о диктатуре Витте на 4 года. Сочинено было подложное письмо якобы из провинции, где говорилось, что положение дел отчаянное; что только Витте мог бы его поправить и проч. Это было открыто, и Мещерский все выдал царю. Я помню, что именно в то время вдруг ко мне заходит Колышко, говоря, что готовятся либеральные реформы: свобода печати, вероисповеданий, патриархат, и т.д. Я выражал недоверие. Потом он говорил, что Плеве помешал. Сколько интриг делается за кулисами. Я этого никогда не видел. Курьезен его рассказ о книге со шведского, переведенной Гольмстремом, который — незаконный сын Плеве. Книга очень либеральная. Гольмстрем перевел ее, она была издана на средства Министерства внутренних дел. „СПБ. Ведомости" поместили о ней либеральный фельетон, в котором рекомендовали Плеве либеральные идеи относительно Финляндии. Плеве был в негодовании. Книга была арестована, потом опять допущена. Гольмстрем написал о ней фельетон в самом убийственно консервативном тоне и дал его „Новому Времени". Дело шло через Булгакова, который мне сказал, что в фельетоне никаких изменений делать нельзя, так как сам Плеве держал его корректуру. Я не

согласился и потребовал изменений. Гольмстрем сам со мною объяснялся. Так как он почти глухонемой, мне приходилось писать свои вопросы и замечания в его книге. (Когда Ухтомский с ним объяснялся так же, то вырывал свои слова из его книги.) Для меня все это открытия.

—

„Если б интеллигенты знали, с каким энтузиазмом меня принимает народ, они так бы и присели". Слова государя губернатору, брату Столыпина. Понял!

—

Вспоминаю: я получил анонимную записку в марте: „5 марта князь Мещерский получил из государственного казначейства 115 000 рублей".

Курьезное и опасное время. Храни нас Бог.

4 августа.

Столыпин рассказывал о свидании Муравьева с царем, на 2-й или 3-й день после убийства Плеве.

Муравьев сказал царю откровенно о положении России. Оно отчаянное. Нельзя управлять без общества, нельзя управлять через министров при их очных докладах и при том обычае, когда министры выпрашивают у царя его самодержавную подпись, и это является законом. „Что ж Вы хотите, чтоб я кабинет учредил с г-ном Витте?" — „Не кабинет, а у нас есть Совет министров, который совсем не собирается". — „Значит, по моей вине? Как мне председательствовать по всяким пустякам?" — „Ваше Величество могли бы назначить особое лицо от себя". — „Управлять при помощи Петрункевича — это преступник, место которого в ссылке". — „Пока он не в ссылке, и с ним приходится управлять".

Такой якобы разговор происходил. Муравьев выказал мужество и относительно Плеве, которого он представил государю деспотом, который пользовался именем государя, чтоб делать невозможные вещи. И он представил

доказательства. Государь плакал, и Муравьев также. Слезливые люди!

В следующий очередной доклад все было ординарно: точно Плеве не убивали, никакого разговора не происходило, точно все забыто основательно.

В бумагах Плеве нашлась груда писем выдающихся администраторов с пометками государя. Это все перехваченные письма, которыми Плеве занимал императора.

Убийца Плеве — Сазонов — из саратовского кружка поклонников Балмашова. Трое его сотрудников евреи. Один из них вчера арестован в Одессе, переодетым кавказским офицером. Это все агенты. Приказы давались из-за границы.

—

Буренин говорил, что будто царь поклялся, положив руку на голову сына, что он пожертвует всем своим состоянием, чтобы доконать японцев.

—

Вчера Беляеву говорил Кольшко, который был у Витте, что его шансы будто бы быть первым министром вырастают и что он якобы уже приготовил программу. А Столыпин, обедавший вчера с братом своим, губернатором, говорил, что, напротив, Витте им никогда не будет, что он раздражает государя бравадами о Плеве, о том, что так ему и следовало, и т.п. — то же самое, что и мне он говорил.

—

Председатель Олонецкой земской управы Савельев, женатый на сестре бывшего губернатора Григорьева, все обделывал хозяйственным образом. Для управы купил дом Ипатовой, перестроил его и т.д. В 1891 году покупал муку для земства хозяйственным образом, с комиссионными, потом продал ее в убыток, но торговцам, а не крестьянам. Вознесенскому купцу Миронкину продал за-

пасы ржи, а не крестьянам, которые в ней нуждались. Прочат в директоры Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел.

—

А.В.Рутковский от 3-х комиссионеров слышал, что пароход „Deutschland" С.-Герм. Ллойда продавался за 8 миллионов марок; его купили, но в расход вывели 10 миллионов марок. Щедрин правильно говорит, что „взяток нет, явились куши".

6 августа.

Вчера призывали редакторов в Главное управление, просили печать приготовить общество к падению Порт-Артура. Флот там. Тяжелые дни, страшные ожидания.

—

Сукин сын Мещерский постоянно отталкивает от правительства порядочных людей. Все о любви говорит, а сам ненависть проповедует. Говорит о какой-то децентрализации во главе с деспотизмом губернаторов. И Витте этого мерзавца поддерживает, так как ему благоволит государь. О любви мы знаем из чистейшего источника, и эту проповедь этот педераст только пачкает своим лицемерием.

7 августа.

Столыпин: „В заседании министров, обсуждающих манифест, министр народного просвещения поднял два вопроса: 1) о награждении всех профессоров чином тайного советника и 2) 50 000 рублей в пользу народных учителей".

— Но ведь это по 50 копеек на человека?

— Да, не больше. Но Вы и этого мне, пожалуй, не дадите?

— Не дам, — сказал министр финансов. — Не откажитесь ли вы и от тайных советников?

— Нет, на этом я настаиваю.

Баллотировка. Министр остался в единственном числе.

9 августа.

Пошла легенда, будто убийцу Плеве украли революционеры: нарядились прокурором и солдатом, посадили в санитарную карету и увезли.

Нашлась у Плеве переписка князя Мещерского с его любовником Бурдаковым. Переписку читал царь. Он относится к этой „партии" равнодушно, называет графа Ламсдорфа „мадам", его любовника Савицкого повышает в придворных чинах, Ламсдорф хвастается тем, что он 30 лет провел в коридорах Министерства иностранных дел. Так как он педераст, и мужчины для него девки, то он 30 лет провел как бы в ... Полезно и приятно!

Мещерский плачет о том, что у Красного Креста осталось всего 8 тысяч, а сам выпрашивает для своего любовника Бурдакова 15 тысяч рублей казенных денег для изучения в Туркестане шелководства.

В „Revue Russe" почтовая цензура замарала статью „Московских Ведомостей" о самодержавии. Мещерский этому удивляется. Можно бы замарать и всю „Revue Russe", а почтовому чиновнику, очевидно, дикой показалась статья о самодержавии на французском языке. Только еще русский язык выдерживает статьи о самодержавии. От них тошнит на всяком другом языке. Это „Revue Russe" издается на правительственные деньги и очень плохо. Создание Плеве при помощи Мещерского.

—

„Новик" японцы потопили у Сахалина. Это лучший наш крейсер. Не объявляют по случаю радости крещения. В царские дни несчастия и поражения не признаются. Им хорошо в дворцах и поместьях. Лучшие места России забрали и благоденствуют. Что им русские несчастья. Вот революция — ее они боятся. Но до нее так далеко, что они еще успеют увеличить свои богатства.

—

Мне не спалось ночью. Все снился Владивосток, который берут японцы. Моряки говорят: „Вот Бог немилостив: Витгефта убили, а идиот князь Ухтомский цел"... Черт его понес в Порт-Артур.

—

Шебуев писал со слов японцев в „Руси". Сегодня их арестовали; найдены их письма с донесениями на Prinz Heinrich.

—

Говорят, доселе половина морских офицеров перебита. Недостаток их огромный. Эскадра не вся пойдет. Японцы окончить свой флот должны были к 1905 году. У них недоставало только 2 броненосцев, когда они начали войну, а у нас — 7. Дубасов заведует Адмиралтейским заводом, технической частью, и много навредил. Корму многих судов пришлось переделывать. Броненосцы сели на 2 фута. Один из них вместо 18 развил только 14 узлов. Говорят, часть эскадры выходит 23-го.

Вчера опять поправлял „Самозванца".

12 августа.

Почему: „Николай Вторый", а не „Второй"? Теперь, однако, не Алексий, а Алексей. Но Сергий все-таки не Сергей. Какая мелочность!

—

Шуф вернулся из Ляояна. Я его распекал. Отклонил предложение Л. Л. Толстого ехать корреспондентом нашим. Когда-то там что будет. Пока все скверно.

—

Был Пильц. Разговор о поляках. Приглашал обедать к себе с поляками. Не могу. Не люблю обедов. Порт-

Артур еще не взят. А может, и взят. Кажется, все так думают. Что думает царь? Едет на Дон и в Варшаву. Что он там скажет?

—

№ 64 „Гражданина“, в оглавлении: „Всеподданнейший манифест“. Курьезная опечатка!

16 августа.

Покупка флота у Аргентины не состоялась, потому что для великого князя Александра Михайловича просили взятку в 500 тысяч рублей.

Там проливают кровь, а великие князья взятки берут! Россия — это поместье Романовых, и они наживаются всячески.

—

Некто Шеншин, богатый человек, затевает лотерейный заем, по 25 рублей за билет. Очень этому благоволит в надежде на куртаж Ал. Мих.

—

Помню рассказ Витте о том, как великий князь Алек. Мих. хотел овладеть 60 десятинами нефтеносной земли на Кавказе. Витте доложил об этом Александру III. Тот велел собрать комиссию под председательством Островского, который сказал великолепную речь о том, что если члены царствующего дома станут заниматься гешефтами, то принесут гибель династии. Государь отказал. Ал. Мих. злился на Витте несколько лет, потом помирились, неизвестно на чем. Но нефтеносная земля ушла из рук великого князя.

21 августа.

Вчера была годовщина Седана. Вчера же и наш Седан у Ляояна. Куропаткина разбил Куроки, и наша армия очищает Ляоян, оставляя там все орудия, все запасы.

Кампания кончена. Флот уничтожен, армия наполовину уничтожена. Наши потери, вероятно, доходят до 30 тысяч. Сегодня говорили в городе, что два корпуса сложили оружие. Если это так, то чего лучше! Режим показал себя с самой блестящей стороны. Какие же теперь потребны условия для того, чтоб прийти в какое-нибудь равновесие? А возможно, что Англия не пустит нашу эскадру или поставит перед нами такие придирки, что мы заключим позорный мир. Довоевались, нечего сказать! Куропаткин стоял за Ляоян, как за каменную гору, а его взяли чуть не в один день. Как-то он, бедный, теперь себя чувствует, когда мы здесь не можем найти себе места от переживаемых событий. Целый день, как в лихорадке. В городе самые зловещие слухи. Не уснешь ночью.

—

Область права, правомерного существования — вот что необходимо для всех. Самодержавие стало давно фикцией. Государь сам находится во власти других, во власти бюрократии и не может из нее вырваться. Если семья гнетет иногда своего бессильного главу, то глава империи, в которой произволу столько, и подавно находится под этим гнетом. Бедовое у нас дело. А что такое печать? Сегодня Булгаков вычеркнул из фельетона Меньшикова о бесполезности отсылки в Манчжурию табаку, потому что табак посылает императрица. Дело не в императрице, а в той стадности, которая подражает ей.

—

До 4-х утра все говорили в редакции, изучали карту, приходили в отчаяние, бранили Куропаткина, называли его бездарным, и проч., и проч. Все были бледны, измучены. Боялись больше всего того, чтоб армия не была отрезана. А это, вероятно, случится. Телеграммы уже это предсказывают. Может, теперь, когда я это пишу, в пятом часу утра, трагедия уже закончена. Мы, может быть, потеряли армию.

27 августа.

Министр внутренних дел — Святополк-Мирский.

—

Эскадру отсрочили отправлять. Рожественский настаивал на отправке, но над ним смеялись: не хотел показаться трусом. Но не было ли трусости у других?

—

О Делянове. Он умирал. Доложили о Победоносцеве. Он открыл один глаз и сказал: „Проси". И умер с этим словом. Se non è vero*...

—

...Тот силен, кто познал в себе силу человечества. Кто не предан всей душой пользе отечества, тот никого и ничего не может любить, кроме своей выгоды. Милость царская дороже общей пользы (льстецам придворным). Народ устрашить невозможно, а привязать к себе легко. Государь, станьте частным лицом в государстве нашем и спросите самого себя, что бы Вы произвели на нашем месте, когда бы подобный Вам человек мог располагать Вами по своему произволу, как вещью?

В войну с Наполеоном что цари не обещали, и кто же из них что исполнил?

Служба заменилась прислугой.

8 сентября.

Сегодня в 6 часов вечера умер Ф.И.Колесов. В понедельник он был еще в магазине. Уходя, он покачнулся так, что упал бы, если б не поддержали. Сказал, что во вторник не приедет, полежит, полечится. В 5 часов был доктор, который не нашел ничего тревожного и хотел зайти в другой раз попозже. Мне сказали в 11 часов. Жена и дочь его постоянно живут за границей. Сын

*Se non è vero, è ben trovato — если это и неверно, то все же хорошо придумано (*итал.*).

драгоманом в Пекине. Он жил одиноко. Мы с ним ровесники. Его весь Петербург знал. Это последний из старых книжников, знающих и умеющих вести дело.

11 сентября.

Вчера вечером я приехал в Псков, где в этот вечер давалась моя пьеса „Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения" с Глаголиным в главной роли. Я обещал ему быть на этом представлении. Оно было в деревянном и, конечно, холодном летнем театре, которым управляет Драматический кружок. Во главе его Александр Андреевич Коропчевский, управляющий отделом дворянского и крестьянского банка. Играли, конечно, плоховато и с сокращениями. Глаголин 3 действие сыграл хорошо. Театр был полон, меня вызывали. Я рад, что приехал в Псков, где я никогда не был. Сегодня мне 70 лет, и я в первый раз в этой древней республике, отстоящей всего на 5 часов от Петербурга. Живописное положение. Красивый собор. Музей в Поганкиных палатах. Музей Плюшкина, где множество всяких вещей, и хороших и плохих. Особенно много монет, 83 ящика. Есть монета Приама. Он говорит, что она единственная. „У отца просили сфотографировать. Но он не дал, потому что пойдут подделки", — говорил его сын, молодой человек, кончивший курс университета и торгующий с отцом — у них лавка красного товара. Другой сын — доктор. Сам старик получил маленькое образование. И он и сын напирали на вещи, которые рассматривали и ценили великие князья. „Сам Господь" — скульптурное изображение скопческое. Гривны, рубли. В гривне 118 серебряных копеек. Мученик Христофор с ослиной головой, с собачьей, с лошадиной. Устал я ужасно. Уеду завтра. Спал скверно. Встал в 4 часа на 12 сентября и написал это. Черних не было. Очевидно, в нумерах чернила не полагаются.

17 сентября.

Булгаков говорил, что г-жа Плеве получила 25 тысяч рублей за убийство своего мужа, и Коковцев сказал ее сыну: „Надеюсь, Ваша матушка будет довольна".

—

Евреи получат конституцию, то есть снимут их черту оседлости. Русские ни шиша не получат, будучи холопами и болванами.

Из всех революционеров русских самые прекрасные и дальновидные люди были декабристы. Недаром они пользуются таким почетом и уважением.

Святополк-Мирский, говорят, благородный и хороший человек. Но именно поэтому он ничего не сделает. Надо быть умным и дальновидным.

24 сентября.

Адмирал Деливрон говорил мне о том, что сами моряки назначили Вирена начальником эскадры и произвели его в контр-адмиралы. В Петербурге посмотрели на это как на бунт, но потом признали бунт правым.

Князь Мещерский прислал мне сладкое письмо о примирении. Предварительно был у меня Кольшко. „Это порядочная шайка негодяев". Будто бы князь Мещерский сказал царю, чтобы Витте дать 400 тысяч. Он и получил их, и одаривал князя Мещерского казенными деньгами, воображая, что он возведет его на первую ступень, ибо царь его читает. У Витте есть наивность. Он готовился быть на месте Плеве и говорил Кольшке о реформах, приглашая его быть тогда посредником между ним и князем, ибо с самим Мещерским не хотел говорить. Посредник был бы великолепен. У него физиономия развращенного вора.

Кольшко же рассказывал, что царь велел узнать, кто автор статьи в „Quarterly Review" — „The Tzar", что бы это ни стоило, хоть сто тысяч. Для этого уже послан человек в Лондон. Царь будто бы подозревает Витте. Думаю, что подозрение совершенно неосновательное.

7 октября.

Был Ширинский-Шихматов, который находился на Дальнем Востоке, с Тюренчена до Ляояна включительно. Очень хвалил Куропаткина. Он был вчера у государя, говорил с ним больше часу, все рассказывал, но умолчал

о недостатках Красного Креста, чтоб государя не огорчать. „Это старое зло, которое не скоро вылечишь". Перед государем он говорил обо всем остальном совершенно откровенно. Алексеев там только мешал, интриговал и все дело портил. Государь сидел за столом, положив локоть на „Новое Время", ссылался на него, говорил, что „письма Суворина прелестны" и т.п. комплименты.

—

В земской организации хорошо работают, но и занимаются пропагандой против войны. Сестра милосердия, ухаживая за солдатом, которому отрезали ногу, говорила ему, что „Георгий" не возвратит ему ноги и проч. Ширинский-Шихматов выговорил ей за это: „Вы отнимали у солдата утешение его подвигом, Вы отнимали у него самое дорогое".

—

3 октября был у князя Святополк-Мирского. Беседовали около часу. Он производит впечатление искреннего человека, который действительно желает реформ, но видит, что это дело трудное. Государь к земству относится сдержанно. Записка Витте, очевидно, на него подействовала. Я упомянул о своем письме к Витте по поводу этой записки.

— Я боюсь, что нахожусь в положении человека, который выдал вексель на сумму, которую он уплатить не может.

— А ее нужно уплатить, — сказал я ему. — 50 лет нам только что-то обещают и держат в ежовых рукавицах.

Говорили о Западном крае, правительство дает 6 тысяч субсидий Виленскому театру и 10 000 на переселение. Точно насмешка. Жалуется на здоровье. Только три раза докладывал, и всякий раз нервы расстраивались. О раскольниках царь наилучшего мнения, но мешает Победоносцев. Печать желает свободы.

27 октября.

Вл. Ив. Ламанский сказал, что основа русского самодержавия:

Бог бескровен,
Царь безроден,

то есть царь обязан не считаться с родственниками. Ламму рассказывал в Ливадии Мусин-Пушкин о великом князе Мих. Ник., и особенно о супруге его, как они овладели лучшими землями на Кавказе, платя по 4 рубля за десятину, и сколько в пользу их сделано несправедливостей. Ал. Мих. — один из самых корыстных великих князей. Около Ай-Тодора его терпеть не могут. Он хотел бы всем овладеть. Лучший — Мих. Мих., женившийся на внучке Пушкина. Будучи на Кавказе молодым человеком, он все спрашивал: „Может ли его полюбить девушка искренно?" Алексею Александровичу, адмиралу, говорят, на Морской сделала публика скандал, крича: „Государственный вор!" В другой раз — „Отдай наш флот! Где наш флот?"

—

Приехал Кладо от Рожественского. Говорит, что он сам видал миноносцы. А я сомневаюсь, в особенности после того как он сказал, что около Виго за ним следовали 4 миноносца, но так как они сзади были, то эскадра ограничилась только тем, что осветила их. В английском „Панче" много карикатур о нервности и трусости моряков. Например, будто бы объявление: „Молодой человек, стыдящийся быть русским, желает получить место". Примечание редакции: „Если б не было сказано молодой, то можно было бы подумать, что место просит Рожественский. Но так как он не молодой, то, вероятно, место просит цесаревич".

—

Недели две я очень дурно себя чувствую. Головокружение, боль в пояснице, болит шея, болит голова, ноги плохо держат. Совсем ни к черту не годен. Как мне стукнуло 70 лет, так стало совсем плохо.

8 ноября.

Что будет из этого земского движения? Из Саратова выехали земцы под „Марсельезу" на вокзале. Были дворяне, земцы, чиновники. Всем надоел полицейский режим. Но скоро ли и как он кончится? У Святополк-Мирского не только характера, но и ума не хватит. Земцы хотят прекращения войны и изменения порядка. Когда Святополк-Мирский сказал им, что этих вопросов они не должны касаться, земцы ответили, что они здесь по высочайшему повелению и что эти вопросы не могут не ставить. Святополк-Мирский тогда доложил государю, а тот велел их вычеркнуть.

14 ноября.

Сегодня набросал возражение Гартвигу на его кляузное письмо. Я писал ему:

„Я получил по почте Ваше письмо, адресованное к какому-то лицу. Оно написано на машине, Ваше имя стоит в начале, но адрес получателя старательно замаран. В анонимной записке, тоже написанной машиной, меня обязывали возвратить его через час в почтамт до востребования на инициалы и не списывать.

Все это я исполнил, но несколько фраз хорошо запомнил. Эта таинственность мне показалась забавной. Но Ваше письмо обо мне, адресованное, очевидно, к правительственному лицу, показалось мне совсем недостойным Вас... Оно с начала до конца полно неправды и беззубо. Слова „раскатал" я во всю мою жизнь не употреблял ни в печати, ни в разговоре. Оно было бы мне противно. Но своим письмом Вы раскатали — только не меня, а себя самого. Я его достану и на досуге займусь им, не в личных целях, а в общих целях журналистики. Пока ограничусь немногим, что я запомнил и что имеет отношение к журналистике, а не лично ко мне. Вы говорите, что я сею раздор между русскими людьми, возбуждаю военных против статских, тех и других против моряков: что я всех готов призвать на свой суд и расправу. Вы говорите явную неправду, и ни одного из своих обвинений Вы доказать не могли бы. Я не возбуждал ни военных против статских, ни тех и других против моряков. Никто

так горячо и искренно не говорил о наших моряках, как я. За меня масса полученных мною писем от моряков. Я говорил о порядках в нашем морском ведомстве и осуждал их. Это совсем другое. Что касается того, что я готов бы „всех призвать на свой суд и расправу“, то это справедливо с поправкой не на „свой суд и расправу“, а на суд и расправу общественного мнения. И не „всех“ вообще, а всех бездарных, которые гонят даровитых и независимых людей, всех воров и взяточников, всех интриганов, всех лживых доносчиков, даже некоторых педерастов, которые своим любовникам или любовницам мужского пола доставляют места на государственной службе и на частной, пользуясь своим положением и приравнивая заслуги государству и обществу к заслугам их собственной... Предоставляю Вам назвать существительное имя. Я желал бы пользоваться такою же свободою, какою пользуются журналисты в лучшей части европейской печати.

Я желал бы такой свободы и желал бы ответственности за нее, но не перед министрами и чиновниками, а перед судом, хотя бы специальным. Вы же хотите именно произвола. Все Ваше письмо есть не что иное, как несуразная защита произвола... Вы противоречите сами себе с логикою детей, попавшихся в шалости. Вы говорите, что ничего не имеете против критики, как и ведомство иностранных дел. Но сейчас же оговариваетесь, что Вы разумеете под критикой, и даете себе широкие двери в мою душу и в мои убеждения. Вы хвалите г–на Семенова (не называя его), потому что он проводит идеи министерства, и обвиняете газету, как может обвинять только нелепый цензор. Вы говорите, что Министерство иностранных дел „не жаловалось на меня“ и „Новое Время“ не „преследовало“, а затем говорите, что, так как газета проводила не министерские мнения, то получала „внушения“ через Главное управление по делам печати. Кем же эти „внушения“ были продиктованы? Министром иностранных дел. Но, по Вашим словам, эти „внушения“ делались по высочайшему повелению. Это удивительное чиновничье измышление, и как я был прав в своем письме к Вам, что чиновники все сваливают на государя. Но Вам хорошо известно, что граф Ламсдорф, не будучи еще министром,

при графе Муравьеве и по его почину, конечно, многократно писал в Главное управление жалобы на „Новое Время".

Призываю в свидетели моего сына Алексея, редактора-издателя „Руси", куда перешел из „Нового Времени" любимый Вами и Вам послушный г-н Семенов. Он ненавидел за эти жалобы графа Ламсдорфа, объяснялся с ним и продолжал писать по своему убеждению. Все то, что ставите Вы, со своей точки зрения, в упрек „Новому Времени" (по Багдадской дороге), — все это писалось при нем. Вы это прекрасно знаете. Когда граф Ламсдорф назначен был на министерский пост, „Новое Время" не сказало о нем ни слова вопреки своему обычаю. Вы приезжали ко мне и просили меня сказать о нем. Я имел слабость уступить Вам, и сын справедливо потом упрекал меня за это. Я не припомню, сколько именно раз граф Ламсдорф жаловался на „Новое Время" и писал письма к министру внутренних дел, но он это делал и хотел, чтоб „Новое Время" пело с его голоса и его хвалило и чтоб „Новое Время" наказали. Министр иностранных дел хотел, чтоб ему был предоставлен цензурный просмотр всех статей по политике внешней, это неоспоримый факт, и печать обязана министру внутренних дел Д.С.Сипягину, который воспротивился этому проекту. Вы это отлично знаете, но отрицаете, вероятно, рассчитывая на то, что лицо, к которому Вы обращаете свой обвинительный акт, не станет наводить справок.

Необыкновенно курьезны Ваши объяснения о цензуре депеш в Министерстве иностранных дел, о которой я сказал в своем письме к Вам, что она произвольна, ибо запрещенные депеши мы потом печатаем, переводя из иностранных газет, когда они получаются в Петербурге. Вы говорите, что министр иностранных дел запрещает телеграммы, которые передают „заведомую ложь, искажают цели и намерения русского правительства и т.д.". Иной характер имеют перепечатки из иностранных газет с указанием источника, они никого не вводят в заблуждение. Как Вы додумались до такой аргументации, совершенно фальшивой. Во 1) Вы указываете, что кроме „заведомой лжи" и проч. телеграммы запрещаются и по дру-

гим неведомым причинам, которые Вы обозначили буквами „и т.п." То есть „и тому подобными" соображениями. Вот тут-то и обнаруживается весь произвол в этих трех буквах: „и т.п." Не понравилось — и запретил. Ответственности никакой, жалобы недействительны и некому жаловаться. А газете ущерб, и Вы так увлекаетесь ненавистью ко мне, что это подчеркиваете, говоря, что я жалуюсь на это потому, что вместо 3 строк телеграмм получается 2. Вы съедаете целый столбец и не возвращаете денег, что постоянно удивляет иностранное правительство. 2) Что Вы говорите сознательно неправду, объясняя о перепечатках, доказывается тем, что Министерство иностранных дел запрещает телеграммы из газет с указанием источника. Я могу это доказать архивом Русского Телеграфного Агентства, где запрещенные телеграммы хранятся. Как же Вам не совестно говорить эту неправду? В расчете на безнаказанность, на то, что письмо Ваше останется клеветою в руках того лица, к которому оно адресовано, и тех, к кому Вы послали копии? Очевидно, так. Вы не посмели бы выставить ни одного обвинения против меня публично, потому что я публично Вас опроверг бы.

До чего Вы мелочны в Ваших обвинениях „Нового Времени" доказывается, между прочим, указанием Вашим на фельетон, где приводилось несколько анекдотов о князе Горчакове. Сколько лет, по-Вашему, потребно для того, чтоб можно рассказывать анекдоты о министрах? Уж не хотите ли Вы их приравнять к высочайшим особам? Не говорю уж о том, что князь Горчаков был лицом выдающимся, умным, талантливым. Это не чета всяким бездарностям, которых Вы защищаете с пеною у рта.

Довольно. Скажу Вам еще раз, что Вы поступили так с этим письмом, на которое отвечать подробно я лишен возможности, как не поступит ни один порядочный журналист. Я писал письмо к Вам о Вас и о Вашем министре. Я не подумал бы сделать его гласным, если б Вы не сделали гласным своего резкого до неприличия письма ко мне. Я написал Вам, отправляя его, что не буду делать из него секрета, как Вы не делали из своего. Рядом со своим письмом я воспроизвел Ваше, чтоб было видно, на что я

отвечаю. Вы же 4 месяца спустя пишете ответ на мое письмо и обращаете его к лицу постороннему, причем искажаете текст моего письма, выхватываете из него фразы без всякой связи и т.д. У Вас на это не может быть никакого нравственного права. Поэтому я прошу Вас дать мне копию с Вашего письма, чтоб я мог опровергнуть те обвинения против меня, которые Вы себе позволили, с целями мне неизвестными. Если Вам не угодно будет исполнить эту мою просьбу, прошу Вас сообщить мне имя лица, которому Вы его адресовали и который мог бы судить о Вашем письме более беспристрастно, имея мои разъяснения. Списком других лиц, которым Вы адресовали копии с него, я не интересуюсь".

16 ноября.

Напечатаны записки князя А.И.Васильчикова с предисловием его сына, князя Б. А–ча. Он был у меня, упомянул о том, что он, может быть, будет у власти, что Святополк-Мирский читал его предисловие, поправил одну фразу и сказал, чтоб он спросил у меня, можно ли напечатать. Поговорил с ним. Не блещет, но очень симпатичен. Либерализмом газет был удивлен и огорчен, когда возвращался из Маньчжурии. Говорил не совсем так, как у меня выше рассказано о конституции земской. Она теперь у всех в руках. Святополк сделал ошибку, по его словам, дозволив Шипову пригласить на совещание гласных и негласных даже. Собралось 105 человек. Представили программу. Святополк сказал, что по этой программе не может допустить совещания.

— А если мы будем совещаться, Вы нас не разгоните?

— Нет.

Они и совещались, и подписали свои 11 пунктов, которые распространились быстро. Конституция делается сама собой, воруется, так сказать, но у народа уворовано больше. Чего тут разбираться. Надо брать, что плохо лежит. Печать тоже берет что может. Святополк-Мирский, очевидно, сам не знает, что делает, и не знает, что делать. Laissez faire, laissez passer*. Собралось столько

*Будь что будет (франц.).

людей, совершенно растерянных, что будущее покрыто мраком неизвестности, а студенты требуют прекращения войны и созыва Учредительного собрания. Как оно и следует, они и тут, в присутствии земцев, все-таки впереди. Требуют, разумеется, так, чтоб оба пола участвовали в выборах и в представительстве. У нас иначе нельзя. Вот она, „весна", которую я провозгласил 3 ноября 1903 года. „Право" и „Наша Жизнь" в либерализме всех превзошли, затмили „Русские Ведомости". Одни „Московские Ведомости" защищают самодержавие, и в них печатаются письма с выражением сочувствия самодержавию. Какой-то дворянин Павлов там действует. Сегодня призывает дворянство высказаться и ждет „кары" на нарушителей законности. Чепуха идет прямо невообразимая и смехоподобная. Б.А.Васильчиков за созыв какого-нибудь собрания, ибо земства станут обсуждать в своих собраниях 11 пунктов и будут скандалы. Вчера в Москве в Дворянском собрании во время концерта Собинова шикали гимну одни, другие аплодировали, а с хор падали прокламации. В земских собраниях не мудрено, что станут кричать „долой самодержавие". В Петербурге есть гвардия, а в провинции возможны беспорядки такие, что дело дойдет до кровопролития.

—

Куропаткина ругает Сахаров и многие другие. У него нет смелости, и он теряется.

— Какой он военный, — говорил Скальковский, — когда он кроме сельтерской воды ничего не пьет.

—

За что адмирал Алексеев получил Георгия? Государь, очевидно, тоже ничего не знает, что делать и как. Его советник, князь Мещерский, не призывается, и он остается с одним Гессе. Витте потирает руки. Еще возможно, что он воспользуется положением вещей, как наиболее умный, и будет нашим Бисмарком или вроде того.

—

О себе могу сказать, что ни к черту не годен. Ни писать, ни думать.

—

Столыпин, боюсь, окажется просто бездарностью. Он не пишет, а прокурорствует и совсем не умно.

—

Можно спросить: есть ли у правительства друзья? И ответить совершенно уверенно: нет. Какие же могут быть друзья у дураков и олухов, у грабителей и воров.

—

Вчера был у французского посла. Он присылал ко мне секретаря, спросить, когда он может меня застать. Я сказал, что приеду сам. Говорил он о том, что в газете проскальзывают ненавистнические нотки относительно Франции. Долго говорил о соглашении Франции с Англией, о том, что император Вильгельм II во Франции говорит о том, что Россия никуда не годна, а в Петербурге, что никуда не годна Франция, у которой тоже, как в России, ни флота хорошего, ни генералов.

19 ноября.

Мне прислали три человека „Одесский Листок", где помещена заметка И. Тенеромо обо мне, что я будто бы приезжал к Л. Н. Толстому, с тем чтоб просить его передать мне право на его издания, и вел длинный разговор об евреях.

Ничего подобного! Мы приехали с князем Оболенским в Ясную Поляну. Льва Николаевича не было. Нас встретил какой-то молодой человек еврейского типа в русской поддевке и стал расспрашивать об еврейской комиссии, которая в это время была в Петербурге.

Не мог также я говорить и о том, чтоб Лев Николаевич отдал мне право на свои сочинения. Кто такой этот

Тенеромо, видно из приложенного при сем письма елисаветградца. Когда я приехал в Москву и стал рассказывать Льву Николаевичу о свидании с ним, графиня С. А-на сказала:

— Разве этот негодяй еще там? Я просила губернатора убрать его из Ясной Поляны.

Лев Николаевич опустил голову и молчал. Тенеромо в Ясной Поляне говорил мне, что Лев Николаевич сердился на меня за то, что „Новое Время" против евреев говорит. Я спросил Льва Николаевича, правда ли это, и у нас завязался разговор. Он говорил, что право жить где угодно должно быть неотъемлемо у всякого человека. Я указал на Соединенные Штаты, которые не пускают евреев.

— Тем хуже, — сказал он.

20 ноября.

Чудеса. Статья Кладо („Прибой"). Огромное впечатление. Вызывал его Мирский, затем великий князь Алексей Алекс. Мирский обещался доложить государю о соперничестве двух компаний по покупке линейных крейсеров, причем одной покровительствует Балетта (à bas l'Etat). Великий князь оправдывался, ссылаясь на свою старость, а месяц тому назад поднял бучу по поводу фельетона Меньшикова, доклад государю и т.д. Кажется, все подалось и почувствовало, что почва болотная, которая может засосать. Статья морского офицера против всего морского ведомства и генерал-адмирала! Это знамение времени.

—

Был сегодня французский посол. Разговор о революции. Никакого сравнения с Францией XVIII века, в которой было сильное образованное третье сословие и богатое. Все партии знали чего хотели и имели свои планы. У нас критикуют, но планов никаких. Земские пожелания „не оригинальны", как сказал с иронией посол.

7 декабря.

Вчера умерла Е.О.Лихачева, очень старой. Думаю, что она была моей ровесницей. Когда-то нас связывала с нею

крепкая дружба. Благодаря ей, то есть ее настойчивости, куплено было и „Новое Время“. На Вл. Ив. она имела влияние. Когда Трубников предложил мне купить „Новое Время“, я, конечно, колебался, потому что не было денег и взять их было неоткуда. Некрасов приходил ко мне (я жил в это время близко от него, около Бассейной) и говорил, чтоб я не отказывался, но денег все-таки не было. Я бросался всюду и ничего не мог сделать. Сочувствия было много. Лихачев был близок к Кронебергу, варшавскому банкиру, он что-то важное для него сделал. У него мы и решились просить денег. Лихачев поехал к нему в Варшаву и привез 30 тысяч под его и мою расписку. Когда все уже было кончено и мне надо было ехать в Главное управление по делам печати, чтоб подписать условие и уплатить Трубникову деньги (плата была рассрочена), я не решался. Ел. Ос. настойчиво прогнала меня из своей гостиной, где я излагал ей свои опасения и боязнь. Потом начались дрязги, которые трудно рассказывать и длинно. Соперничество Вл. И-ча, иногда мелочное; желание его стоять на первом месте, когда его не признавали; он настоял на редакторстве. Мое письмо к К., им прочитанное. Уплатил сейчас же долг Кронебергу, не сказав мне, и взял все почти из кассы. Это было в феврале 1877 года, когда он редактором не был еще. Мы помирились. Ел. Осип., хотя и обиженная, стояла за меня. Он стал баллотироваться в судьи коммерческого суда. Я упрашивал его войти в газету. Не был выбран. Так тянулось вплоть до объявления войны с Турцией. Он уступил и вошел снова в газету. В 1879 году в декабре он решил выйти из газеты, с тем чтоб я уплатил ему его часть или он уплатит мне две части. Я колебался, боясь остаться одному. Меня уговорили уплатить ему. Так и было сделано. С тех пор ни его, ни Ел. Ос. я никогда не видал, исключая в Париже однажды у Кука, когда мы с женой входили, а он с Ел. Ос. выходил. Все женщины, и женщины во всем и всегда.

9 декабря.

Сегодня в „Правительственном Вестнике“ № 279, четверг, появилось следующее:

ВНУТРЕННИЕ ИЗВЕСТИЯ

С.-Петербург.

„6 декабря председатель черниговского губернского земского собрания, черниговский губернский предводитель дворянства, представил Его Императорскому Величеству по телеграфу ходатайство означенного собрания по целому ряду вопросов общего государственного свойства. На телеграмме этой Его Императорскому Величеству государю императору благоугодно было собственноручно начертать:

„Нахожу поступок председателя черниговского губернского земского собрания дерзким и бестактным. Заниматься вопросами государственного управления не дело земских собраний, круг деятельности и прав которых ясно очерчен законами".

Тяжелое и нехорошее впечатление. Это повторение знаменитого выражения „бессмысленные мечтания". Витте, у которого я был сегодня, говорит, что он был против публикации этого. По его мнению, следовало несколько дней спустя лишить Муханова камер-юнкерства без объяснения причин, ибо государь не может допустить, чтоб его камер-юнкер подавал ему такие советы. Святополк-Мирский должен подать в отставку, говорили: „Что скажут земства и дворянства?" Если они „созрели", то должны протестовать, повторить прием черниговцев, то есть послать государю такой же адрес или выразить чем иным свое неудовольствие. Если не созрели, то дело пройдет молча. Посудачат и только. Разве сочинители прокламаций постараются воспользоваться этим. А студенты заступятся или нет? Любопытно.

Витте находит, что положение безвыходное вообще. Один из великих князей был у него за советом. Он отвечал, что у больного такая болезнь, что лечить ее можно, но выздоровеет ли он — это зависит от Бога. Витте, конечно, пользуется своим положением. С Мирским они близки, но политики не касаются, так как не сходятся. Мирский мне говорил, что государь против земства, ибо у него засела в голове записка Витте против земства. „То, что в субботу будет опубликовано, удовлет-

ворило бы публику 3 месяца тому назад, а теперь нет“, — слова Витте. Я думаю, что он не высказывается, но говорят, что он был против приглашения в Государственный совет представителей городов и земств и реформы Сената. Далеко не гений. Рассказал мне, что Абаза, бывший министр финансов, после приема Куропаткина (он принял его в халате, с трубкой в зубах) сказал: „Храбрый генерал. Далеко пойдет, очень далеко. Но разочаруются в нем — у него душа штабного писаря“. Скальковский говорит, что Витте был бы хорошим министром полиции.

—

1907 год

30 мая.

Ничего не выходит. Плохо пишется. Усталость в голове. Плохо спится. Утром встаешь с головной болью. За границу не поеду.

—

Дурново будто бы вместо Столыпина (в „Биржевых"). Вздор оказался. Некого выбирать. Все одни и те же. Земля клином сошлась. Молодых — никого. В Думе — никого. Разбойников много, разрушителей несть числа, а правителей нет, и дело идет и пойдет под гору. Настя говорила, что гадалка нашла на ее руке самую длинную линию — фантазию, артистичность. Очень немудрено.

—

Теперь кто едет из Петербурга — берет револьвер, а потом билет. Ходить с револьвером, ведь это значит жить на войне. А П. А. Столыпин говорил мне:

— Теперь лучше. Революция уменьшается. Губернаторы большею частью так доносят.

Верьте губернаторам!

Ничего не будет хорошего, когда нет государственных людей. Страна не может управляться сама собой.

—

Чуковскому 23 года, жена, двое детей. Талант, и искренний.

—

Что беспокоиться о будущем, когда оно для меня такое короткое? А все беспокоишься, точно жить будешь вечно или в могиле чувствовать, что делается у живых.

—

Дума желала бы министров ругать по-матерному. Один депутат говорил: „Меня не пугается городовой, а министр еще меньше. Надо, чтобы они пугались". У министров нет мужества, нет воли, и директива Столыпина слабая и неуверенная. А они и перед ним хамы.

—

Кауфман предложил университет в Саратове из лести к Столыпину. Гораздо больше условий за Воронеж. Это — родина Кольцова, Никитина, Крамского, Костомарова, Веневитинова, Афанасьева. Переход в степи. Леса, пригорки, Дон, Воронеж. Петр Великий со своим флотом. Митрофаний (?). Хотелось давно сказать, но все не успеваешь. А дать некому. Такая пустыня.

—

Граф Витте в Государственном совете сказал, что мы с 12 декабря 1904 года по 17 октября 1905 года прожили не год, а, может быть, полстолетия. Постарели на 50 лет, и потому все валится из рук. Кому было 20, теперь 50, кому 50 — теперь 100. Песок из ... сыплется, а все государственные вопросы решают. А у молодых нет молодости. Тоже отупели или с ума сошли от преждевременной старости.

—

Читал „Записки губернатора" князя Урусова. Самохвальство и никакого ума. „Во дворце смотрят на нападение японцев, как на укус блохи... Спокойное и даже веселое состояние духа при дворе поразило меня..."

—

Сто раз начинал записывать, и никогда не хватало выдержки. С.И.Смирнова (Сазонова) чуть ли не с детства ведет дневник. Прославится!

Прежде переписывался, особенно с Чеховым. А теперь не с кем.

—

Рядом налево живет Рожественский, а через дом Куропаткин. Я между двумя падениями, между двумя хвастунами. Я никогда не хвастался, напротив, постоянно не доверял себе, и до излишества. И советников было у меня мало. Бывало, с Лелей говоришь по душе, но это давно. Писать? Ведь и без того надоело, когда столько строчишь для газеты. Кому это нужно? Ведь и сам не заглянешь.

—

...Первую театральную пьесу я видел лет 13-ти. До того я не был в театре. Давали „Узкие башмачки". Потом я в корпусе играл Потерского в водевиле „Путаница", переодевался евреем и имел успех, потом сторожа в пьесе „День великого государя" (Фридрих Великий). Капитан, устраивавший в Воронежском корпусе эти спектакли, вероятно, видел во мне комика.

31 мая.

Читал газеты. „Речь" приводит выписку из моего „Мал. письма" в самом искаженном порядке. Заключение: все — и капиталисты, и революционеры, и правительство — „по Сеньке и шапка, по Еремке колпак", как я сказал, но с добавлением, что и моя публицистика такая же. „Речь", 121: „Единственный вывод, который отсюда можно вывести, это тот, что по Сеньке шапка, по Еремке колпак. Очевидно, что универсальное заключение о русской жизни распространяется и на публицистику А. Суворина".

А на публицистику „Речи", на министров Витте и Столыпина, на... Думу?

Да и публицистика „Речи" такая же. Все стало дрянью, именно дрянью. Когда народ голоден, беден и невежествен, то во имя его может создать что-нибудь смелый гений, а не поддельыванья под него, не дворяне с добрыми намерениями, но без дел, не буржуа-кадеты, у которых гораздо больше капиталов, чем талантов и ума. Брызгать слюною и приготовлять яд в своей аптеке, и продавать его из-под полы — не бог весть какая заслуга. Его продают левые и открыто, даже даром раздают: сделайте одолже-

ние, насыщайтесь и насыщайте других. „2 копейки брошюрки, — и мы от них свет увидели", — (говорит) „Русск. Бог" (май, стр. 92, ст. Тана). „Раньше к нам никакие вести не доходили, как в заколдованное царство". И еще скажу: „Дороже платить у нас денег нет. Оставьте себе рублевые книги". Мы говорили: „Дай Бог доброго здоровья хоть за двухкопеечные".

—

Все Кауфмана моют, говорят депутаты в кулуарах. Его не отмоют, все равно что арап.

—

„Речь", говоря, что я выжил из ума, говорит то же о Тане. Утешение! Не бог весть какой ум у г-на Милюкова! Если бы он был у него, не то бы было. Когда он будет министром, наделает глупостей немало. Но это будет не при мне.

—

„Батюшка с гвоздикой" — думские попы.

—

М. Ковалевский о Витте в „Русск. Вед.", что он консерватор. Это и верно теперь. Он „растерялся, когда мы говорили с ним о прошлом, растерялся, но не струсил". Когда растеряется, значит струсил. Он видит свои ошибки и ошибки Столыпина. Это барин, пожалуй, во вкусе старых бар, но без государственного ума.

2 июня.

Вчера Столыпин читал в Государственной думе обвинительный акт. 55 депутатов обвиняются. Сегодня решение Думы — выдаст ли их? Столыпин хочет, чтобы Дума не выдала, ибо хороший предлог для роспуска.

—

Вчера вечером умерла Маруся Иванова в Риме. Она мне говорила в 1905 году, что ее приглашали на придворные балы, она не пошла ни разу, потому что Россия воевала с Японией. В ней так и горело русское чувство. О Д'Аннунцио, с которым она познакомилась, говорила много интересного. Он страшно самолюбив, до смешного.

—

Читал „Записки" Соловьева в „Вестнике Европы". Очень похоже то, что он говорит о Севастопольской кампании и последствиях, с тем, что было со времени японской войны. Слова Хомякова, что у нас с Петра после хорошего царствования — скверное. Петр — Екатерина I, Петр II — Анна, Елисавета — Петр III, Екатерина II — Павел, Александр I — Николай I. Можно продолжать: Александр II — Александр III, Николай II — хорошее ли царствование и дурное ли Александра III? Не второе ли?

—

...Русские люди высшего образования обыкновенно ничего не читают; поступив на службу и по прошествии некоторого времени русский человек выходит невеждой, ибо сам считает себя образованным и другие считают его таким, а у него остались смутные понятия, ибо прежнее образование не обновлялось и не развивалось чтением; о научных предметах начнет говорить — чепуха, поклонение старым богам; если что прочтет, хвалит наудачу, восхищается без толку и без толку ругает, и все с видом знатока, особенно если успел попасть на службу в большие чины. Учителя не составляют из этого исключения. Некогда читать!

—

Анекдоты о Назимове. Во время юбилея Московского университета Шевырев предлагал пригласить актрис для изображения 9 муз. Назимов: „Зачем же только 9? Сколько угодно пригласим". Помощник его Муравьев требовал,

чтобы университетские типографии набирали старым, избитым шрифтом, а набело „печатали бы хорошим, новым“.

—

...Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, и экипаж безопасен, а правители вроде Людовика XVI и Александра II пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, а потому экипажу предстоит гибель.

—

...Рабы одинакового происхождения с господами, а иногда и высшего. Крестьяне славянского происхождения, а господа — татарского, черемисского, мордовского, не говоря уже о немцах.

—

...Хорошо бы написать, почему журналист выше министра. Министры ничего не читают, смотрят свысока и т.д. Репортер-журналист набирается чужими мыслями и распространяет невежество, ибо разговаривает с высокопоставленными, которые говорят много вздору.

—

...Луиза Мишель была дочь крестьянки и аристократа. Нужна значительная примесь деспотической крови для того, чтобы создать истинного анархиста (Бакунин, Кропоткин, Толстой).

Луиза Мишель: „Меня считали смелой, но смелость моя вызывалась только тем, что обстановка опасности увлекала мое художественное чутье“.

—

А. Ст. говорил, что Дума сегодня будет распущена.

—

Озоль бежал за границу, но на границе был арестован.

3 июня, 3 часа утра.

Американские журналисты приходили в редакцию и говорили, что они телеграфировали о роспуске Думы.

А. Ст–н по телефону сказал, что ему телефонировали, что заседание Совета министров еще продолжается. Роспуск Думы еще только догадка.

—

Против печати, на основании особого положения, сегодня строгое распоряжение градоначальника. То же в провинции.

Это — ответ правительства Думе. Надо думать, что правительство переусердствует, как всегда, и драконовские циркуляры останутся в бездействии. Необходим был закон, а не циркуляр, и закон поумнее того, который введен был на основании 87 статьи.

—

„... Le style, dit M. Clavean, c'est l'art de donner à la pensée non seulement le mot propre, mais le tour juste, le tour unique. C'est le don de le couler instantanément dans le seul moule qui lui convienne et de le rendre vivant à eux"*.

Мопассан о том же стиле: „Quelle que soit la chose qu'on veuille dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer, qu'un adjectif pour la qualifier"*.

—

..Дума распущена в 9 часов. Из „Речи" говорили, что „Русь" говорит, что это вздор. Мы им подтвердили. Новый избирательный закон. Новая Дума — 1 ноября.

---

*Стиль, говорит г–н Клавеан, это искусство выразить мысль не только единственно подходящим для этого словом, но и придать ей верный смысл, единственный смысл. Это дар выбрать для нее единственную подходящую для этого форму и оживить ее (*франц.*).

*Какова бы ни была мысль, которую ты хочешь высказать, есть только одно слово, чтобы ее выразить, только один глагол, чтобы ее оживить, и только одно прилагательное, чтобы ее охарактеризовать (*франц.*).

—

— Наши дети разоряются на кокоток.
— Это — девушка?
— 37 лет.
— А та вдова 35 лет.
— Не вдова — молодая женщина.
— Обе уроды.
— Она княжна, знатного рода.
— С родословием не спят.
— Это я живу в XX веке, а вы жили в XIX.
— Ты женат и не имеешь права иметь любовницу.
— Сперва женись, тогда можно и любовницу.

—

Роспуск Государственной думы прошел совершенно равнодушно. Само общество, к сожалению, сонно и недеятельно, а оппозиционный элемент многочислен и деятелен. Россия страшно задолжала. Если бы она обанкротилась, то и Франции досталось бы на орехи жестоко. А средств у России, как ни у одной державы.

—

5 июня.

Вчера какой-то офицер принес копию телеграммы государя Дубровину, председателю Союза русского народа. Телеграмма была послана Булгаковым в типографию и поставлена в первую полосу. Миша об ней мне сказал:

— Государь нашел себе партию и прислал удивительную телеграмму Дубровину.

Вот она:

„Высочайшая телеграмма. Председателю Союза русского народа Дубровину. Передайте всем председателям отделов и всем членам Союза русского народа, приславшим мне изъявления одушевляющих их чувств, мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и благу дорогой родины. Уверен, что теперь все истинно верные и русские, беззаветно любя-

щие свое отечество сыны сплотятся еще теснее и, постоянно умножая свои ряды, помогут мне достичь мирного обновления нашей святой и великой России и усовершенствования быта великого ее народа. Да будет же мне Союз русского народа надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка. Николай".

Я не поверил в подлинность этой телеграммы до того, что велел ее выставить, и написал обидные письма Булгакову и Мише за их неосмотрительность, полагая, что эта телеграмма — поддельная. Я отыскал заметки Прокофьева о событиях при дворе с разрешительными пометками Министерства двора и нашел, что штемпель не таков: на заметках Прокофьева: „За начальника канцелярии Министерства императорского двора" такой-то, а тут — „За заведующего" и т.д. Вверху на заметках Прокофьева: „Со стороны Министерства императорского двора не встречается препятствий" и затем рукописью „напечатанию". На разрешительной заметке телеграммы последнее слово „напечатанию" сделано штемпелем.

Сегодня в „Русском Знамени" телеграмма напечатана полностью вместе с телеграммой государю Дубровина и со славословием последнего в самых выспренних выражениях.

—

Приехал Витте. Он уезжает за границу к своему доктору, потом в Пиринеи, потом к дочери в Брюссель. Приехал проститься. Я показал ему телеграмму царя к Дубровину. Большой разговор. „Царь самоуверен. Во время японской войны он после всякого несчастья думал, что вот теперь мы победим и все исправим. И теперь также. Распустив Думу, он думает, что настанет благословение Божие и революции конец". Когда Витте начинал ему советовать, он говорил:

— Сергей Юльевич, вы забываете, что мне 38 лет.

Но в его поступках что-то детское, хотя про него нельзя сказать, что он необразован.

Я напомнил ему. В первые дни царствования Николая II я спросил Витте:

— Что же будет?

— А будет то, что дела понемногу пойдут, лет в 35—36 он будет хорошим правителем.

— Я то же самое сказал П.Н.Дурново. Он мне сказал: „Вы жестоко ошибаетесь. Это будет слабосильный деспот".

Витте написал 90 страниц о причинах японской войны со всеми документами. Будет печататься, кажется, за границей. Я не расслышал. Обещал дать мне.

— Новый выборный закон — это больной зуб. Его не вырвали, стали лечить разными каплями. Ничего не выйдет. Я советовал взять от губернских, уездных, земских собраний, городов и волостей, сколько приходится на губернию, и предложить этой Думе выработать выборный закон. Я говорил Столыпину, они только кое-что поправили. В Совет министров были приглашены Горемыкин, Акимов, Ермолов и Булыгин. Вот почему Ермолов стал кричать „ура" и пить шампанское.

Он говорит, что революция все будет возрастать. Когда все свободы будут осуществлены, начнется революция. Он предлагал министерство: первый министр, министр внутренних дел — Дурново, просвещения — Пихно, землеустройства — Никольский. „Дурново ничего не отменит, но их почистит и вычистит".

„Надо было созвать новую Думу 1 сентября 1908 года. Малый срок — это гибель. Начнется то же самое".

—

6 июня.

Царю, разумеется, сказали или он сам заметил, что „Новое Время" не перепечатало телеграмму Дубровину. Говорят, „Новое Время" демонстративно не перепечатало. Еще когда я считал, что телеграмма подложна, так она бестактна. „Русское Знамя" пером Дубровина пишет статьи таким холопским слогом, что хочется плюнуть. Точно постоянно надо становиться на ходули и говорить языком, нигде не употребительным. Левые газеты подхватили телеграмму. Она им на руку.

—

Был Петр Ботнан, 1-й секретарь посольства в Англии. Его хотят назначить министром в Марокко. Он получает теперь 6500 рублей, а занимает квартиру в Лондоне в отеле Ritz в несколько комнат и платит за нее 5 фунтов в день, да 5 фунтов в день стоит содержание. Он женился на американке, у которой свой дом в Париже. Говорил, что 55 членов Думы замешаны в заговоре на жизнь государя. У них захвачены заготовленные телеграммы к европейским правительствам от имени временного правительства с объявлением о перевороте и о дружбе России. Наши революционеры всему ведут протоколы, все записывают, все сохраняют в архивах. Очень заботятся об истории, как бы она их не пропустила. У них, как у женщин, страсть хранить любовные письма.

Несколько лет тому назад сожительница В.Р.Зотова принесла мне корзину с документами и просила ее оставить у меня. Оказалось, что эта корзина была наполнена фальшивыми печатями для паспортов, бланками для них, портретами революционеров, письмами их, счетными книжками и т.д. Я взял. Зотов был секретарем редакции „Голоса" и хранил у себя этот архив и был архивариусом. Его сожительница говорила, что она хотела бросить корзину в Фонтанку, но пожалела. Я взял и разобрал. Несколько писем, одно — Фигнер, было сложено в виде горошины очень искусно.

—

7 июня.

В „Руси" по поводу моего „Маленького Письма":

„Знаете, кто был самый талантливый человек во II Думе?" В „Новом Времени" читаем: „Самый талантливый и искренний человек в ней был грузин Церетели. Это горькая правда, и ее нечего скрывать. Если бы у него было столько же ума, сколько таланта и чувства, он не попал бы на скамью подсудимых.

А стал бы сотрудником „Нового Времени?" Но тогда, впрочем, у него не было бы „чувства". Так оно все как-то

и не выходит... „Умный" человек либо сотрудник „Нового Времени", либо „такую рожу скорчит, что святых вон выноси", как говорит городничий"...

Нет, умные люди все ушли из „Нового Времени" в „Русь", и в „Новом Времени" остались только дураки!"

8 июня.

Очень интересная речь Андреевского в процессе Андреева, Пистолькорса и любовницы их обоих, а потом жены Андреева, Сары Левиной. Характерна сцена между ею и мужем, когда она, проспав с ним ночь и потребовав от него „ласк", сказала:

— А знаешь, я выхожу замуж за Пистолькорса.

Ранее этого сцена между Андреевым и его дочерью от Сары, в которой дочь открылась отцу о намерениях матери выйти замуж за Пистолькорса.

Сара — замечательно бездушная, распутная и наглая. Для сцены хороший сюжет.

—

9 июня.

У И.Л.Горемыкина... Он, председатель Государственного совета, Ермолов, подававший свой избирательный закон, и Булыгин были приглашены в совещание. Прошло, как хотел Столыпин. Царь только не согласился созвать Думу 1 октября, а написал: 1 ноября.

Горемыкин: „Распустить Думу, но без нового закона, о котором должно быть упомянуто, что он будет издан, и тогда Дума будет созвана. Созыв на осень 1908 года. Составить законы должен Государственный совет, то есть те члены, которые захотят ответить на это предложение, другие могут не участвовать, и пригласить предводителей дворянства или земцев, кого хочет государь. Он не сам отвечает. Если Дума соберется плохая, он имеет право сказать, что не он составил закон, а вот те и те люди. Самодержавие (брошюра Д.Хомякова, ее дал Горемыкину царь) — не деспотизм, оно должно поступать по законам, в данном случае поручить составить законы иному собранию — Собору. У нас все этого боятся".

С ним согласились Коковцов и Шванебах. „Безработные. Их невыносимое положение. Кадеты правые и октябристы левые. Все дело в том, чтобы у Думы была власть, чтобы Дума не была только законодательным учреждением, а именно властью. В этом все дело. — Через год будет кадетское министерство. К этому все идет. — Печать. — Крайние партии. Анархия будет продолжаться".

„Теперешнее положение — затяжной шанкр".

„Вы со мной не видались и от меня ничего не слышали!" — „Крыжановский готов все исполнить". — „Кто составлял закон?" — „Бесстыжев — так называют составителей..." — „Кавказ тоже хотели лишить представительства. Но Воронцов упросил. Все случай и случайность. Свалить всю ответственность на государя, тогда как этого не следовало делать. Распустить Думу — это не coup d'Etat*. Но составить новый избирательный закон без совета лиц и учреждений — это coup d'Etat".

А.С.Ермолов занес книгу "L'industrie dans la Russie Méridionale, sa situation, son avenir. Rapport présenté à M. Ministre de l'Industrie et de travail de Belgique, par Marcel Lauwick, avocat de la Cour d'Appel, Bruxelles, 1907"*.

Ермолов говорил, что участвовал в этой книге.

10 июня.

Наши левые газеты верят, что деньги для восстания на юге Франции получались из-за границы. А когда мы говорили, что деньги для русской революции получались из-за границы, над этим смеялись. Хвалы Клемансо за умелое усмирение мятежа при незначительности жертв. Французы трусливее русских, и им есть что беречь.

—

„От нашего брата отдает улыбкой деревенской проститутки, давно больной сифилисом".

---

*Государственный переворот (*франц.*).

*Промышленность в Южной России, ее состояние, ее будущее. Доклад, представленный г-ну министру промышленности и труда Бельгии Марселем Ловиком, адвокатом Апелляционного суда, Брюссель, 1907 (*франц.*).

—

Дубровин в „Русском Знам.“ цитирует Евангелие о свободе по книге Гильтебрандта „Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. 1884–1 СПБ.“ и наврал, цитируя „Послание к галатам“ апостола Павла, 1, 4—5, вместо 2, 4 — и другое вранье.

—

12 июня.

Был сегодня Киреев.

Статья Новиковой о книге одного англичанина, который говорил, что положение России на Дальнем Востоке превосходное. Кирееву кажется это вздором. Англичанин действительно говорил о таких вещах, каких на самом деле не существует в активе.

Дубровин пишет царю частные письма, преподавая ему советы, например удалить барона Фредерикса, министра двора, и Мосолова. Это говорил Киреев.

Он так рассказывал случай с великим князем Александром Михайловичем. Он написал статью о флоте. Царь прочел ее и похвалил и разрешил напечатать ее на правах рукописи и разослать по флоту. Он это сделал. Царь ему спустя некоторое время:

— Я тебя должен наказать.

— За что?

— За нарушение дисциплины. Ты напечатал статью и разослал ее, не испросив позволения у Алексея. Это важный проступок. Я отнимаю у тебя команду судном, и ты на год должен уехать в Крым и жить там.

Так и было.

Была Милютина. В прошлом году она выпросила на воспитание какой-то девицы 150 рублей, нынче тоже просит столько же. Я обещал. Девица назначается в сельские учительницы. Муж ее, как она уверяет, играл; он ужасно занимается союзом октябристов. Она, конечно, тоже. Если бы она поступила в труппу, то играла бы grandes dames. Впечатление несимпатичное. Из благотворительных попрошаек.

— Моего мужа постоянно смешивают с Милюковым, — сказала она.

Что же делать, если их фамилии похожи. Меня это злит. Между ними ничего общего, надеюсь. Милюков — нечто даже у врагов своих, а Милютин — ничто даже у друзей своих. Какой-то линючий петух с линючим голосом, но самомнения пропасть.

А. А. Столыпина я назвал медведем. По ее мнению, он недеятелен, но „какое дарование!"

—

Меньшиков говорил, что мне надо бы писать роман. Чехов мне то же советовал. Я много думал о романе. Но я не могу написать. „В конце века любовь" мне стоил большого труда. Когда этот роман появился на немецком языке в переводе Шабельской, в „Kleiner Journal" и потом отдельно, один швейцарский критик нашел, что последние главы напоминают Достоевского, и вообще, немецкая критика его похвалила, но у нас, кроме полуснисходительного отзыва в „Северном Вестнике", я ничего не читал. У публики он имел успех, выдержал 6 изданий. Чехов его похвалил, и Репин очень похвалил в письме ко мне. Я все собирался послать его Л. Н. Толстому, но так и не осмелился. Ну а писать теперь роман — откуда взять то напряжение, не говорю о таланте, которое необходимо? И если бы писать, то я стал бы писать политический роман. Но у меня мало наблюдений среди молодого поколения, а старики мне совсем не нравятся.

—

— Какой Буренин мягкий и приятный человек. Я с удовольствием говорил с ним, — сказал мне Киреев.

Я ему рассказал, какой он действительно добрый человек. Злой в критике, но необыкновенно добрый и деликатный человек в жизни. Я много раз это испытал.

—

Кажется, я не уеду. Не с кем и некуда. Главное, не с кем, и все мне кажется, что этого и не надо. Не все ли равно, где кончить жизнь.

—

13 июня.

С 10 до 1 часа вечера сидел Евгений Николаевич Шелькинг, интересный человек, если все то, что он говорит, правда. О Франции и т.д., о шлемах, которые были заказаны французской фирме благодаря покровительству императрицы Марии Федоровны. Русский инженер, его любовница получили по 350 тысяч франков.

— Если я собаку продаю за корову и покупатель ее покупает, как корову, то мне какое дело.

Взяточничество у нас ужасное. Во время войны адмирал Абаза шлялся в Париже, чтоб купить суда и нажить на них. Родину продавали все, кто хотел.

Глава социал-революционной партии в Париже — Рубанович. Он держал экзамен в Сорбонне, состоит там профессором и дружит с Клемансо. Социалисты-революционеры за национализацию земли.

—

Известный документ о Витте Шелькинг получил от Шванебаха. Он был написан по-немецки и передан германскому императору. (Кстати, сегодня Шванебах получил отставку. Не за это ли дело? Витте, вероятно, знал эту интригу и мог передать об ней государю лично или письмом.) Шелькинг передавал, что будто бы существует тайная статья в японско-французском соглашении, по которой японцы в случае войны Франции с Германией обязаны в 60-дневный срок доставить на английских судах 300 000 японских солдат. Я очень усомнился в этой статье. Какая роль отведена в этом нам?

Шелькинг так много говорил, что я почти все забыл. Взгляды его пессимистические, и сам он, очевидно, раздра-

жен чем-нибудь в своей дипломатической карьере. Извольский говорит, что нам теперь ничего не осталось, как дружить со всеми. Вильгельм II не любит Николая II.

Шелькинг говорил о своих отношениях к „Руси". Миша мне сказал потом, что он болтает об этом повсюду, и Леля, вероятно, расстанется с ним по причинам резонным. Он будто бы получил без построчных 600 руб. Теперь Леля ему предложил 10 копеек за почту и 15 копеек за статьи. Я, может быть, глупо сделал, что откровенничал с ним. Черт его знает, что он такое. Его рекомендовал Горемыкин.

—

14 июня.

„Дворяне стали редки, как зубры из Беловежской Пущи". Земский съезд в Москве. Там же граф Уваров назвал Стаховича „фарисействующим эфиопом". Правда ли? В „Речи" — „искусители". „Это те люди, которые заранее благословляют власть на дальнейшие „искушения" своей пассивностью, своей готовностью санкционировать совершившиеся факты". „Они от испуга проведут в третьей Думе принудительное отчуждение" — то есть добрые помещики.

—

„Какие теперь мосты?" — „Мосты пора снять и корабли пора сжечь".

—

Народовластие по рецепту Руссо ведет к доктрине самой анархической и деспотической. Déclaration des droits de l'homme* — принципы общественного договора. Они ложны и вредны. Революция по английскому образцу или по немецкому, по системе Локка или Штейна, революция для устранения старого механизма, пришедшего в негод-

*Декларация прав человека (*франц.*).

ность, — единственно правильная. Франция пошла по принципам Руссо, привела к убийствам, к кровопролитиям, империи и осталась верна Руссо: „Нам всего недостает, ни уважения к государству, ни уважения к личности“. Тэн: „Свобода — вещь, навсегда непонятная французам“.

Мы пошли по французскому образцу и социализму. Наша Дума — просто политический клуб, митинг, боящийся порицать террор, ибо Дума стремилась к всевластию Конвента, а Конвент был террористом. Дума занималась пропагандой революции и косвенно одобряла террор, а Конвент заседал сначала вне Думы, а во II Думе смело сел на скамьи Таврического дворца и стал руководить заговором против царя и самой Думы. Он хотел сделать Конвент при помощи революционного войска. Какой-то Рубанович из Парижа распоряжается заговором.

—

Декаденты плодят похабщину. Есть журнал, печатающий исключительно порнографию, историю проституции, маркиза де Сада, Казанову и т.п. Новые беллетристы собаку съели на женском теле.

15 июня.

Не „фарисействующие эфиопы“, сказал граф Уваров М.Стаховичу, а „фарисействующие экивоки и формальные отводы“, как пишет в „Товарище“ Жилкин.

—

Меньшиков уезжает сегодня в Гапсаль, соблазнял меня ехать туда же, где он будет катать меня по бухте под парусами. Я не был в Прибалтийском крае никогда. По Волге только до Нижнего и Костромы. По Оке в Алексине и Калуге. На юге был в Одессе, Крыму, на Кавказе до Тифлиса и Поти. В Киеве два раза. Вильну только проезжал, когда бывал за границей, как и Варшаву. Но раз пробыл в ней дня три с А.И., когда жив был Н.В.Берг. В Харькове несколько раз, в Ростове-на-Дону проездом, но раза два оставался на сутки. В Полтаве раз с Валей дня

два прожили, когда я поехал после смерти Володи. Был раз в Калуге, Курске, Орле (дважды), в Задонске мальчиком лет 7-ми, в Ельце, когда мне было 19 лет, я ехал из Москвы после окончания курса в Дворянском полку. В Москву отец прислал мне 5 рублей, я справил себе валенки и поехал в Воронеж с обозом, с извозчиками, которые везли товар в Елец. Извозчик взял с меня 75 копеек и устроил мне на передней части воза нечто вроде маленькой кибитки. Дорогой извозчиков на постоялых дворах очень хорошо кормили. Я ел с ними, и очень мне нравилось макать булку в конопляное масло и есть. Я до того времени не едал этого. В Ельце я сел за 50 копеек на порожние дровни извозчика, который возвращался в Воронеж. Там ждала меня маменька, и с ней я приехал в Коршево. Папенька меня встретил: „Не в этой шинели думал я тебя встретить". Он был огорчен тем, что я вышел в статские. Это было в Рождественский пост 1853 года. В Воронежский кадетский корпус я поступил в ноябре 1845 года в 1-й приготовительный класс. Таких классов было 2 и 4 общих. В Дворянском полку было 2 специальных. Всего 8 лет я пробыл в корпусе. До корпуса я пробыл месяца два в Бобровском уездном училище.

Летом 1855 года, живя у В.Я.Тулинова, выдержал экзамен на учителя истории и географии в педагогическом совете Воронежской гимназии, определился в Бобровское уездное училище 25 января 1856 года; 5 мая 1859 года переместился в Воронежское уездное училище; 29 ноября 1861 года уволился в отставку по болезни, которой не было. Я уже был в Москве, куда уехал потом, в 1861 году.

—

16 июня.

Стахович Жилкину на московском съезде говорил:

— Вот мое продуманное, проверенное и убежденнейшее мнение о политике: можно участвовать, но нельзя успевать — заметьте, нельзя успевать — доброму на

войне, честному в торговле, правдивому в дипломатии и чистому в политике. Нельзя чистому преуспевать в политике.

Для этого есть слово: „компромисс".

—

„Речь" перепечатала из „Русского Знамени" заметку против меня по поводу телеграммы государя Дубровину в несколько сокращенном виде (См. „Русск. Зн." № 128 и „Речь" № 140): „...и Суворин не сочувствует такой милости монарха нашему союзу и потому старательно замалчивает самый факт. Вот если бы телеграмма была послана октябристам, если бы государь император признал их „надежной опорой" престолу, тогда дело было бы представлено совершенно иначе" и пр.

Именно государю не следовало считать Союз русского народа „надежной опорой престолу". Телеграмма эта „явилась ответом", как говорит „Русское Знамя", на обращение к „неограниченному самодержцу". Весь народ считать опорой — одно дело, другое — партию Дубровина. (См. 5 июня, где я рассказал, почему не напечатал телеграммы.)

—

— Я буду стоять за полную экспроприацию земли, — говорит претендент в Думу. — Пусть даром отдадут землю.

— Да ведь и у Вас есть земля.

— Заложена и перезаложена. Все равно с молотка пойдет. А в Думе я могу себе составить карьеру. У меня ораторский талант.

—

Надо начать писать о том, что я думаю.

—

В „L'Energie Fr." (№ 132, 23 ф.) жалуются на французскую полицию и небезопасность от апашей в Париже и

Марселе. 12 000 жалоб было подано в 1906 году в Марселе. Жители Марселя живут в постоянном страхе. В Китае и Индии личная безопасность лучше обеспечена, и в особенности в Японии.

—

Был М.А.Стахович. Сегодня о нем была в „Новом Времени“ резкая статья Меньшикова. Я думал, он об этом. Ни слова! Говорили об опасности реакционной Думы. „Она может затянуть конституционный процесс, отдаться бюрократии, и затем новый взрыв революции. Только прогрессивная Дума может ввести в русло великую русскую реку. II Дума в комиссиях сделала очень много. Левые постоянно мешали. Ничего не делали, только настаивали на самых радикальных решениях и не брали на себя роли докладчиков, никакой, стало быть, ответственности. Новый закон сделает Думу дворянской, и она будет такая же, как съезд. Я оспаривал. Бояться нечего. Возврата назад не может быть. Если дворянская будет Дума, пусть подерутся, а законы все-таки пройдут и будут лучше“.

Стахович остается до среды и хотел еще прийти, чтобы обратить меня в свою веру; это мудрено. Он толчется, не зная, куда пристать. Перед II Думой говорил мне, что Столыпин уйдет до 1 апреля. „Первое апреля его не увидит министром“, — говорил он, а он разогнал I и II Думу, с третьей будет работать.

—

П.А.Столыпин отдыхает на финских шхерах. Это держится в секрете. Государь отпустил его туда на 10 дней, сказав, что, может быть, отпустит и дольше, если все будет спокойно. Журнальные свиньи назвали „Новое Время“ „министерским официозом“ („Речь“) и рады пожимать руку „Русскому Знамени“, если оно ругает „Новое Время“. Мы заступались много раз за Союз русского народа, когда видели, что на него нападают несправедливо. Но быть в партии с г-ном Дубровиным и др. союзниками мы никогда не были и не будем. Не будем мы считать Союз русского

народа за русский народ, как не считаем за русский народ ни одной другой партии. Мы не признаем „народоправства“ и не думаем, что оно даровано государем 17 октября 1905 года, хотя на этот акт постоянно опирались не только, левые, но и революционеры. Во время министерства Витте газеты постоянно долбили это, и все распоряжения правительства объявляли незаконными и нарушающими Манифест 17 октября. I Дума выбрала комиссию для следствия над правительственными лицами, которые исполняли приказы центрального правительства, то есть готовились отдать под суд все правительство. Носарь потому и управлял Россией в течение 50 дней. Приказы и манифесты Совета Рабочих Депутатов печатали почти все газеты. „Новое Время“ было даже допущено в заседания Совета. Публика взяла по приказу Носаря 180 миллионов из сберегательных касс, как „Новое Время“ ни старалось остановить его от этого безумия. Когда я сказал графу Витте, что существует два правительства, он отвечал:

— Не два, а больше. Четыре наберется.

— Какие же еще?

Он не ответил. Он мне даже сказал, что не знает, где помещается Комитет этого Совета Рабочих Депутатов.

— Ваша супруга знает Пиленко. Пиленко был в этом Комитете по поручению редакции, когда я сидел в Вене, и знает адрес этого Комитета.

Он опять промолчал, стараясь мне доказать, что он действует безупречно и что я наседаю на него неправильно. Он перечислил все заседания Совета министров и ту работу, которую он ведет. Он старался говорить докторальным тоном, внушительно, но, уйдя от него, на другой день я поместил резкую статью А. П. Никольского против его управления. Он называл меня своим другом и поцеловал, отпуская меня после продолжительного разговора. После статьи Никольского он опять меня позвал и опять стал внушать. Тут я переменил тон и прямо и резко сказал ему, что он ведет Россию к гибели, что он все распустил, никакой власти не обнаруживает, что он совсем не похож на прежнего властного Витте, который 10 лет управлял Россией. Тогда он встал и, совершенно изменив тон, сказал:

— Ну я Вам скажу то, чего я не говорил своим министрам. Я решился действовать твердо и циркулярно сообщил губернаторам, чтобы они арестовывали и ссылали в Сибирь революционеров.

— Не поздно ли это? Удачно ли Вы выбрали момент? Не обмануло ли Вас Ваше дарование?

— Не думаю, и пр.

Это было перед московским восстанием. Я сидел у него часа два, далеко за полночь. Он трусил все время и думал, что все само собой обойдется. В этом году он сам признавался мне, что тогда „растерялся" и что о Совете Рабочих Депутатов он узнал правду только после суда над ними.

—

17 июня.

Шванебах утром спрашивал обо мне в телефон. Вероятно, хочет поговорить. Умный немец, но не особенно находчивый. Может быть, и интриган, как о нем говорят, но интриган не сильный, если он не может ужиться. Он держится за Горемыкина. В прошлом году, после того заседания, когда Дума гнала министров (декларация Горемыкина) и вотировала к ним недоверие, он приехал ко мне в большом смущении, которое показывало, что министерство не знало, как поступить.

—

Я писал сегодня о дворянстве. В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне: „Это недурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство. Пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции. Есть ужасная дрянь в дворянстве".

Конечно, есть. Где нет этой дряни?

19 июня.

Юрисконсульт Министерства внутренних дел — еврей Слиозберг, еврей Гурлянд — член совета министерства,

еврей Немировский — управляющий отделом городского хозяйства.

—

№ 58 „Речи" арестован за статью отца Илиодора, где сказано: „Говорят, что вся беда России от того, что царь-батюшка нерешителен. Как это так может быть? Любому, например, крестьянину дать 50 рублей да две хороших лошади, так он бог знает что сделает. Ведь неправда, что царь нерешителен. Его кто-нибудь делает слабым. Вот мы, крестьяне, набросаем зернышков в землю, да и пойдем в Питер: узнать, какой это такой злодей, который делает нашего царя самодержца нерешительным. Лживые патриоты, неужели нам дождаться того момента, когда сам крестьянский народ пойдет узнавать от царя правду? Нет, да не будет этого. Мы должны помнить, что если народ сам пойдет спасать трон царя, то он может обратить этот трон в щепы, а уничтожая крамольников, он может беспощадно истреблять помещичьи усадьбы... Народная сила стихийная".

—

Князь Оболенский, полковник Преображенского полка, дежурил на днях у государя и приглашен был к столу. Государь с негодованием говорил о II Думе.

— Подумать только, что в ней было 200 революционеров. Что-то будет с III Думой...

Арестовано было 500 человек после роспуска Думы. (Слышал от Маслова.)

—

Разговор о высших драматических курсах моего имени. Был Далматов. Я, Буренин, Далматов, Маслов стояли за практичность курсов, чтобы из них выходили актеры и занимались бы практикою, а не лекциями об искусстве, психологии и пр.

—

Демчинский принес пьесу своей дочери „Рабы чувства“ и очень ее хвалил. Как это естественно!

—

— Земля Божья.

— Божьей земли полагается только три квадратных аршина на каждого человека, да и за ту в городах платят.

—

Приехал Беляев. Комично представлял Веселитского в его дипломатической маске.

—

Литтре: „Je me suis trop rendu compte des souffrances et des difficultés de la vie humaine pour vouloir ôter à qui que ce soit des convictions qui le soutiennent dans les diverses épreuves“*. Дело идет о религии.

—

21 июня.

Был вчера А.А.Киреев. Сестра его, О.А., приехала из Лондона и собирается в деревню. Я был у нее сегодня. Совсем стала старухою, говорит, что целую зиму больна была Думою. Но распустили ее, и она чувствует себя лучше. Очень симпатичная женщина. Дала мне книгу, только что вышедшую в Лондоне. ...О Корее, Маньчжурии, Порт-Артуре, Японии и Китае. III ч. „Russia the Unbeaten power“. В этом все дело. Россия не побеждена и скоро оправится.

—

Говорили, будто Шванебах говорит:

*Я слишком хорошо убедился, что человеческая жизнь полна страданий и трудностей, и поэтому не могу лишать кого бы то ни было тех убеждений которые поддерживают его в различных испытаниях (*франц.*).

— Я вышел в отставку, потому что государь и Столыпин не только октябристы, но и кадеты.

— Возможно, что Милюков сменит Столыпина, — сказал я шутя.

— Кто знает? Мы живем в темном царстве.

Упрекал, зачем я не напечатал телеграмму государя к Дубровину.

— Про Вас говорят, что Вы завидуете Дубровину.

— Пусть говорят. Я только журналист, а не предводитель партии.

Будто князь Орлов с государем ее написали. В этом видят независимость государя. Тайком от Столыпина послать такую телеграмму — разве это независимость? Из такой независимости ничего не выйдет, кроме вздора.

—

Есть „Вечевиты“ от „Вече“.

—

Рамишвили бывал у Воронцова и чай пил.

— Люди с такими чистыми глазами не обманывают, — говорила княгиня Воронцова.

Этому Рамишвили Воронцов и приказал выдать винтовки для распределения между социал-демократами, о чем было напечатано в „Новом Времени“.

—

КАПРИЗ

В. Что ты молчишь?

А. У меня есть тайна.

В. Какая?

А. Разве я могу сказать? Я скрываю ото всех, даже от Бога. Если кто ее узнает, я погибну. Я боюсь, когда кто-то возле меня и я сплю. Боюсь своего бреда. Вдруг проговорюсь. Тогда ужасно.

В. Ты меня пугаешь? Ты полюбила кого?

А. Ты ревнуешь? Нет, я еще тебя люблю, но я люблю тайну. Я с ней, как с любовником. Тебя люблю. Верь. Но и ее люблю, тайну. Ты этого не поймешь, а потому не спрашивай. Не поймешь. Надо быть мною. Во мне много страшного, самой мне непонятного. Меня куда-то тянет, тянет, и это тайна.

В. Ты бредишь. Ты больна. Тебе надо доктора. У тебя нервы расшатаны. Ты вся дрожишь теперь.

А. У меня нет расстроенных нервов. Это неправда. Я оригинальна. Я не как все и не хочу быть как все. Я особенная. Что может твой психиатр понять, когда я не могу сказать ему моей тайны. Я не дам себя усыпить. О, я знаю, что я очень сильна, и нет того гипнотизера, который мог бы меня усыпить. Иди спать, иди. Я должна писать письмо.

В. Ты ужасно странная сегодня. Бледная. Глаза такие большие. Я думал, что у тебя глаза меньше.

А. Видишь, что я странная. А я знаю, что у меня глаза большие. Когда я ложусь в постель, закрываюсь одеялом и закрою глаза, я стараюсь ими смотреть, не открывая их, и я вижу такие дивные вещи. Я вижу замки, вижу людей, которые ходят, а главное, вижу лица. Так близко от себя вижу, что становится страшно, а особенно одно лицо. Оно смотрит на меня так, что будто этот человек с этим лицом спускается с потолка. Ноги его вверху, а лицо внизу, как раз против моего лица. Он смотрит на меня, а я на него, и вдруг исчезает и опять приходит, и все смотрит, и страшно, и сладко. Уходи спать, ты ничего не понимаешь. Ты, как закроешь глаза, сейчас заснешь. А я не могу. Я все смотрю, зажмурясь, даже глазам больно. И все лица, все люди, и совсем живые.

В. У тебя галлюцинации.

А. А, какой вздор. Если бы ты знал мою тайну. Но ты ее не узнаешь. Ты, может быть, и знаешь ее, но не умеешь сказать. Тебе не дано ни сказать, ни понять. Иди спать, иди, иди. Я буду писать.

(Он уходит, целуя ее несколько раз.)

А. (Запирает дверь за мужем и закрывает ее бархатной двойной шторой. Потом отворяет окно. Звездное небо.

Садится на подоконник, спуская ноги за окно. Тихо говорит.) — Ты здесь?

С. Здесь. Я ждал тебя. Милая, чудесная.

А. Тише говори. Скажи мне, кто ты? Я ведь тебя не знаю. Я знаю только твое имя — Сергей.

С. Кто я? Не все ли равно, если я тебя люблю и ты меня любишь.

А. Не трогай моих ног. Иначе я их уберу. Не трогай, говорю тебе. Люблю ли я тебя, не знаю, да и в твоей любви не уверена. Я выхожу к тебе на свидание, значит, я верю, что ты порядочный человек.

С. Если бы я был преступником, злодеем, ты обратила бы меня во что хочешь, в голубя...

А. Отчего ты предпочитаешь голубя... Я голубей не люблю. Я люблю орла, который высоко поднимается и стрелою летит вниз.

С. Орел — хищная птица.

А. Не для орлицы, а для других.

С. Я буду твоим орлом. Я закрою тебя своими крыльями и унесу тебя за облака.

А. Какой ты вздор говоришь. Ты не можешь унести меня за облака.

С. Любовь заносит дальше, к звездам.

А. Кто же ты?

С. Я не могу тебе сказать, пока ты не сойдешь сюда... ко мне.

А. Не касайся моих ног.

С. Но ты их протянула за окно, чтобы я мог целовать их. Не правда ли?

А. Неправда. Я хотела спрыгнуть в парк, но ты был уже здесь. Чем ты докажешь свою любовь мне?

С. Отдайся.

А. Нет. Докажи мне любовь свою.

С. Я докажу тогда. Никто так любить тебя не может, как я.

А. Убей моего мужа. Он мне мешает любить тебя.

С. Убить! Я не могу быть убийцей.

А. Не можешь, так уходи. Иначе я позову своего мужа, и он убьет тебя безжалостно сейчас.

С. Ты этого не сделаешь.

А. Сделаю. Уходи сейчас. Я крикну, и он войдет.

С. (схватывает ее за ноги и увлекает.)

Следующая сцена в кустах. С. доказывает ей свою любовь. Она убеждается.

Перед зарей он подсаживает ее на окно. Она с ним прощается, открывает спальню и уходит. Тогда С. влезает сам, ворует все, что можно украсть в комнате, и уходит через окно.

Можно писать такие сцены. У декадентов есть еще глупее.

—

22 июня.

Статья о франко-русском союзе с моим предисловием. Иностранные корреспонденты приходили в редакцию справляться, не от правительства ли это, не желает ли оно занять умы, отвлекая их от внутренних вопросов. Это — вечная история с „Новым Временем". Считают его официозным, и статьи — происхождения правительственного. Я могу из этого заключить только одно, что „Новое Время" или было умнее правительства и им руководило, или никто ничего не понимал, как управляло правительство. Статьи писались сотрудниками, писалось много Скальковским, Никольским и т.д. без всякого постороннего внушения. Правительство никогда не доверяло „Новому Времени" и держало его 20 лет под двумя предостережениями. При Сипягине даже запретили его на некоторое время за пустую статью о рабочем вопросе. Когда Горемыкин был назначен министром, он пригласил меня к себе, дал печатные труды по крестьянскому вопросу и сказал, что двери в его кабинет для меня всегда открыты. Но я никогда к нему не ходил, исключая тех случаев, когда он призывал меня за какие-нибудь статьи. Это было раза три в его министерство. Один раз за статью Никольского на Новый год, где он говорил о необходимости школ по поводу отметок государя. Он намекал, что начался перелом между Александром III и Николаем II.

Мне Горемыкин показал номер „Нового Времени" с надписью государя: „Что это значит?" и т.д. в тоне строгого выговора за то, в сущности, что Николая II автор хвалил. Газете хотели дать предостережение, но Горемыкин отстоял. Об этом говорил мне и Витте, который был на этом заседании: „Один из министров требовал предостережения, но Горемыкин отстоял". Кто требовал — не сказал. Положение „Нового Времени" никогда не было лучше других газет. Это была мука, никогда, бывало, спокойно не уснешь, и чуть сомнение — бежишь в типографию. Статьи Никольского, за которую Сипягин остановил газету, я не читал. Правительство разгуливало по газетам с ножом и резало кого хотело и за что хотело. Тут оно показывало свою силу совершенно бесцеремонно. Если что останавливало его относительно „Нового Времени", то это патриотическое его направление. Когда Сипягин остановил газету, он и Главное управление получили много писем, протестовавших против этого запрещения.

—

23 июня.

Князь Долгорукий, генерал-адъютант, говорил, что третья Дума будет последняя. „Очевидно, никто не желает. Две Думы распустили, никто не тронулся. 17 октября оказалось пустым, мол, делом".

Думаю, ошибается. Дело, напротив, оказалось серьезное. Этими вещами не шутят.

28 июня.

Вчера был П.Х.Шванебах. Часа два говорили.

Он хорошо говорит, как образованный немец, очень начитанный. Говорили о революции, о Столыпине. Он отзывается о нем, как о „рыцаре", как о „человеке безукоризненном и мужественном". Но он не согласен с его политикой. „Избирательный закон надо было предоставить Государственному совету и созыв Думы отложить на осень 1908 года. То же мнение Горемыкина. „Соната,

написанная для скрипки Страдивариуса, положена на балалайку", — говорил он о русской конституции. „Государь был согласен передать избрать закон Государственному совету и отложить Думу, но, очевидно, Столыпин настоял на своем". — „Я сказал государю, что считаю великим счастьем, что он позволяет мне говорить откровенно".

—

У нас все валится. Миша набрал себе столько дела, что не может с ним сладить и не умеет выбирать людей.

„Русская Земля" плохая и вздорная газета, но я не могу ничего сделать. Миша — плохой редактор. А стоит газета больших денег.

—

Горничная! Госпожа — в брюшном тифе. У горничной каждую ночь новые любовники. Услышав шум, она встала и пошла в кухню. Там... „Поля", — закричала она. „Поди, поди, ложись в постель, а то будет тебе за это", — сказала горничная. Хозяйка и ушла. Вот положение! Сколько таких фактов в Петербурге.

—

29 июня.

Была молодая М. ... говорила о странном разговоре ее с Глаг. Ездили на острова кататься от 4 до 6 вечера. Умна, интересна. Считает себя средней личностью, но знает, что она красива и соблазнительна. „Я как будто протягиваю. Ничего из меня не выйдет. Но я хочу жить. О Г. — „милуша", „я его очень люблю". „Он очень добр, умеет понимать". Г. говорил ей, что бьет жену. „Может, надо нам чувствовать физическую боль". Говорит, есть женщины, которые любят, когда их бьют. „Проходят лучшие годы. Я старею". Богатство жениха соблазняет. Не любит. Особа новой формации. Тайн никаких. „Что в самом деле делать, если Вы средняя личность? Кроме любви ничего

не остается. Свободная любовь — опасно. Дерзость надо иметь". Мне кажется, много хорошего в ее натуре, ничем не поврежденного. Любить одного, выходить за другого.

Любопытно, что будет.

—

Les orateurs de la Révolution. Aulard*.

„Министерство — это бумажный мир: не знаю, как Рим и Египет управлялись без этого средства. Много думали, мало писали... Невозможно управлять без лаконизма". (Сл. С. Жюста. Т. 2, 467. Стр. 468: „Те, которые делают революцию в мире, те, которые хотят делать добро, должны спать в могиле".)

Его же ответ крупному парламентарию: „La république française ne reçoit de ses ennemis et ne leur envoie que du plomb"*. Стр. 468.

1 июля.

Из „Речи": „Вносят в темные массы такую деморализацию, такой разврат, который с неудержимой силой ведет нас вниз по пути идущего гигантскими шагами общественного распада и разложения".

...Замкнутость от света, жизни, правды.

...Безмолвные, нерассуждающие, покорные слуги правительства.

...Разжигают старые национальные страсти и старые политические аппараты.

—

...Что-то мало из дворян святых выходит. Всю свою святость по ресторанам прокучиваете.

—

...Нет довольных людей на Руси. Все чем-то обижены, всех что-то давит.

---

*Ораторы Революции. Оляр (*франц.*).

*Французская Республика получает от своих врагов только свинец и отвечает им только свинцом (*франц.*).

—

...Если бы вас окунуть во всеобщее довольство, запищали бы.

—

...Офицерам дали орлов на пуговицы и дозволили носить одежду не в талию. 13 рублей один китель, а сколько на стирку пойдет.

—

...Звенящая тишина, потухший смех, опустилась ненужная, холодная сабля.

—

...С одной стороны, анекдот, а с другой — посрамление буржуазии.

—

„Я презираю ваш отвратительный разврат. Вы опошлили любовь альковом, рампами, запрятали тело в полотняные мешки".

Она раздевается ради букета свободы. Он развратничает ради протеста, пьет и хохочет, чтобы поразить буржуазию.

— Вы пошли во дворец, как галлы на римском форуме, хватавшие сенаторов за бороды. Подымали руку налево, устроили маскарад в Выборге.

—

Государь несколько раз давал понять Воронцову-Дашкову, что ему надо отказаться. Он как будто бы не понимает. „Матушку это убьет, если я его отставлю". Как можно! Друг ее мужа! Она ровно ничего не понимает, хотя всего боится, и боится за династию. Но на своем поставить — это главное. Государь внезапно отменил поездку в шхеры.

—

Надо поставить „Вора". В Париже и Берлине большой успех.

—

...Брошюромыслие, брошюрочтение, брошюробеседование.

4 июля.

Был вечером Шелькинг.

„Рачковский поступает в охрану государя. История его связана с Филиппом. Анастасия Николаевна Черногорская (Лейхтенбергская, теперь жена Ник. Николаев.) увлеклась столоверчением в Ницце, рекомендовала его государыне. Выписали, занимались столоверчением, вызывали Александра III, который давал советы Николаю II. Гессе очень встревожился, поручил Рачковскому разузнать о Филиппе. Тот написал о нем, как об обманщике и шантажисте, сидевшем в тюрьме. Царь прочел, но под влиянием своих дам презрительно отнесся к Рачковскому. Встретив его в Дармштадте, повернулся к нему спиной. Тот спросил у Гессе, что это значит. Царь велел его убрать и обезвредить. Ему дали 9 тысяч рублей пенсии и велели не выпускать за границу. Три года так продолжалось, потом позволили, и он уехал в Париж. Теперь в июне вызвали сюда. Царь с ним говорил об иностранной политике и франко-русском союзе".

—

„Упрямцы в „Голосе Москвы". Не упрямцы, а политические халатники разве".

Ан. В. Молчанов. Долгий разговор об Е.К. История, нечего сказать, и нравы. Лицо невинной девушки и два года разврата. Что с ней он делал. „Она осталась девушкой, но" и пр. „Я желаю остаться в его представлении чистой. Я говорила с ним так, что он не мог подозревать правды". Перестрадала. Все это неправда. „В нравственность мужчин можно верить больше, чем женщин. У них

нет ничего, кроме страха иметь детей. А так как теперь этого можно избежать, то делается все, что хотите. Гимназистку можно иметь за 15 рублей. За эти деньги она готова все сделать для Вас". Вообще порнография изумительная. И дочь ее практикует, и мать о ней знает. И обе... этим не очень смущены. Мать пишет комедию, где дочь является героиней-„девственницей", но удовлетворяющей свои похоти с развратным сифилистом. Удивительно, как от него не заразилась. „Да ведь он вылечился, и притом как же ты можешь заразиться, если Вы с ним живете так, что ты остаешься девицей".

Уроки порнографической премудрости!

5 июля.

Громко кричат „ура", а визжат про себя „караул".

—

Умер коннозаводчик Малютин. Он был верен Орловской породе. Тулиновская „Лель". Но и он в конце концов стал изменять орлам в пользу американских лошадей. Европа и тут одолевает.

—

Заходил Сергеенко, говорил о Толстом. Из новых он признает только Куприна. Об Андрееве сказал:

— Андреев... Андреев все меня пугает, а мне не страшно.

—

В пьесу: „Для каждой женщины и девушки есть сумма, за которую можно купить ночь любой женщины и девушки".

Она подошла.

— За себя и за тех девушек, которых нельзя купить, — вот Вам. (Дает пощечину.)

7 июля.

А. А. Киреев. Третьего дня был у государя, принес ему записку о современном положении с славянофильской

точки зрения. „Государь сделал не кудета, а кудетатик". „Теперь Вы еще все царите", — сказано в записке. Государь остановился на этом слове и пальцем его покрыл, повторил эту фразу и сказал: „Да, я еще все могу". Потом сказал: „Не отчаивайтесь".

Ничего не выйдет из этих разговоров!

—

Л.Н.Толстой говорит, что он пишет тогда, когда хочется писать, — так, как кашляет.

8 июля.

...Профессиональные союзы — средство революции. Они бросились в омут революции. Являясь легальными по форме, по существу могут скрывать свою революционность. Союзное начало захватывает массы, воспитывает их и укореняет важную для революции партийную дисциплину и накопляет денежные средства. Экономическое значение бесспорно. На Западе это доказано, но, вступая на политический путь, они извращают собственную природу.

Но там — это „vivos voco"*, — настоящие живые люди, представители энергии и труда, у нас — дипломы, пришпиленные к дряблости, лени, безволию. Из крестьянства — энергия и самодеятельность, без образования, но природный ум, сметка, — торговля и промышленность. Теперь ослабло. А прежде именно выходцы из крестьян удовлетворяли народные потребности.

—

...Одичание детей. Дерутся палками, убивают. Самоубийства.

—

...Дух злобы и уныния удручающим образом действует на молодые головы. Ни бодрости, ни подъема духа.

*Зову живых (*лат.*).

Пушкин:

Не нужно стона нам и крови,
Но жить с убийцей не хотим.

Это, кажется, в „Цыганах“.

—

...Смертельная опасность, грозящая конституции. Пусть!

—

Вильгельм II печатает мемуары Фридриха II, многое выбрасывая. Будто это то, что говорит Фридрих II о России, о будущих ее судьбах. Разделив Польшу с Екатериной II, он предвидит и разделение России. Может быть, часть отойдет к Германии, часть к Австрии и часть к Италии. Он ежедневно будто бы читает Макиавелли и проводит нашего императора. Эдуард VII, король английский, тоже ведь немецкого происхождения. И немцы устроят Европу по-своему и будут владеть ею. Это будет федерация под главенством германского императора. Мы теперь так запуганы, что всему верим, и в этих замыслах ничего нет удивительного и невероятного.

—

Русские рельсы идут в Америку.

9 июля.

...Порода великих людей измельчала.

...Спутник революционеров, уверяющий, что он своими силенками более всего сдерживает революцию и увлекает ее на путь конституции (?). Потуги цыпленка съесть волка.

...Шумливые хвастуны — Гессены, Винаверы, Набоковы и Милюковы. Застращивают, клевещут, льстят, подыгрывают низким инстинктам, толкая к неосуществимым фантазиям. Их хамелеоновская душа полна плутовства. Свобода без ума и сердца — это Пугачев и Разин. Фран-

цузская революция выросла после Корнеля и Расина, Боссюэта и Фенелона, после образованнейших энциклопедистов. Энциклопедия Дидро и Деламбера — не то что энциклопедический лексикон Брокгауза и Ефрона, дополненный плохонькими профессорами. Французская революция поднялась на плечах огромной науки, блестящего ряда великих естествоиспытателей, математиков, мыслителей и сама двигалась великими талантами вроде Мирабо, Дантона, Карно. А у нас что? Имя им легион, но это имя не легионы великих людей, а имя бездарных профессоров, непризнанных артистов, несчастных литераторов, студентов, не кончивших курса, адвокатов без процессов, артистов без талантов, людей с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными претензиями, но без выдержки и силы на труд. „Большая амбиция и малая амуниция“.

—

...Русские начала забыты, забыты великие типы людей: Ломоносов, Пушкин, Толстой, выдвигаются Гессен, Винавер и Милюков.

—

11 июля.

...Клуб игроков. Думали миллионерами стать, но запретили женщинам играть, макао и пр., и миллионы в тумане.

—

Долгорукий — идиот. С ним за границу три доктора, два фельдшера, две сестры милосердия, лакеи и пр. Отдельный вагон. Брат чуть разумнее. У Долгоруких вырождение пошло в политику. Барственность якшается с пролетариатом и думает на этом построить свое значение. Ни ума, ни таланта, но игра в популярность. Что-то вроде репортерства: взять, прочесть, переписать и напечатать.

—

...Оригинальность еврея, его трагическое величие в том, что он разрушает собственное отечество.

—

Госпожа Оловянникова, официальная издательница „Веча", за невзнос штрафа в 1000 рублей принуждена сесть в тюрьму.

12 июля.

Очень неприятные полчаса с князем В. В. Барятинским. Ему надо 10 000, мать дала ему 4 тысячи, своих три тысячи, еще надо три, за которыми он ко мне обратился. Я не мог ему дать ни всей суммы, ни 2000 рублей, до которых он спустил просимую сумму. Он почему-то думает, что Михаил Алекс. этого не хочет, и потому, уходя, вернулся и проговорил: „Передайте привет Вашему сыну". Эта ирония ни к чему. Я ему говорил, что странно, что он у матери своей не возьмет, которая его любит, по его словам. „У матери денег нет. Она получила в наследство после бабушки 11 миллионов. Я сам видел в Государственном банке, когда получал свои 200 000 за Пассаж, шесть миллионов ее денег, а теперь нет доходов, только Пассаж и приносит".

Эти богатые наследники богатых отцов и дедов — удивительный народ. Они могут отказывать своим детям в трех тысячах рублей и отсылать их просить их у людей, которые не имеют и сотой доли их состояния. Мне его очень жаль, но и жаль выбросить на улицу 3000 рублей. Несколько лет тому назад я дал ему 1000 рублей и до сих пор ничего не получил. Справиться, сколько выручено за его книги.

Он рассказывал о великом князе Николае Константиновиче, который живет в Ташкенте. Умен, говорит с юмором о своих родственниках. О великом князе Константине Константиновиче, своем брате, говорит: „У Константина „чрезвычайно нежное сердце". Когда он проезжал, инспектируя, через один город, я выехал туда, чтобы с ним свидеться. Но он упал в обморок от ожидания меня

в вагоне, от нежного сердца. Я так его и не видел. Из любви ко мне, продолжил он, мои милые родственники взяли на память мои коллекции. Maman взяла даже статую моей любовницы-американки, которую я сделал в Италии по образцу одной статуи Кановы, и прислала мне ее только через шесть лет, когда один посол, увидав ее у нее, сказал: „Да это американка!" — „Какая?" — „Да Вашего сына Николая". За орошение части Голодной степи государь дал ему 300 тысяч для постройки дворца в Голодной степи. Великий князь просил государя позволить ему на эти деньги построить театр в Ташкенте и подарить его городу. „Я хочу лучше иметь маленькую ложу в театре, чем большой дворец в Голодной степи, — писал он государю. — Но меня так любят, что наверное откажут в моей просьбе".

У него два сына на службе. Носят фамилию Искандер. Сам он высокого роста, весь бритый, почти без волос, как античная маска.

— Ставропольский губернатор Янушевич говорил Барятинскому, что та строгость, с какою содержат великого князя Николая Константиновича, объясняется тем, что стали известны его сношения с Желябовым, а вовсе не похищенным им ожерельем.

—

Был генерал Мулэн. Говорит по-русски. Пикар — военный министр, выучился по-русски. Приезжал говорить по поводу статьи в „Новом Времени" о франко-русском союзе. Между правительствами искренняя связь. Новиков-Беляев, наш сотрудник, едет в октябре в Париж, чтобы прослушать курс в Военной академии и познакомиться со всем военным делом во Франции. Я сказал ему, что считаю статью, наделавшую столько шума, полезною. Она взбудоражила общества, русское и французское, и заставила показать франко-русские симпатии.

—

Заседание о театральной школе моего имени. Ничего из этого не выйдет путного.

—

Вчера писал пьесу и сегодня поправил корректуру.

—

(Для пьесы): После речи. Л. Цедер как будто соглашается. Говорит, что надо было выставить всю бездарность, беспечность, пошлость их жен и детей, флиртующих, пресмыкающихся, продающих свои поцелуи и свои ночи. Конечно, была царица Клеопатра, которая тоже продавала свои ночи, но теперь это проще. Разврат в этом „многодобродетельном отечестве" требует того, чтобы почистить эти головки и внушить им гражданские чувства. Между женщинами есть прекрасные, преданные натуры и есть натуры презренные, развратные и т.д. — Пощечина — Л. ...—"Я вас вызываю. Вы должны со мной драться". Она в обморок падает.

— Хорошо. Я дуэли не признаю, но драться буду.

—

Стоит кадетам поручить министерство, тотчас террористы спокойно разойдутся по домам.

—

Граф Витте давно занимается экспроприацией. Он делал конверсии, девальвацию, винную монополию.

13 июля.

У князя Урусова. „В Кишеневе меня так любили, что при моем проходе становились на колени. В военной среде меня тоже чрезвычайно любили. Я совсем не знал губернии, куда меня назначили, но дорогой кондуктор, приставленный к моему купе, рассказал кое-что, и я тотчас все обнял, понял и сообразил. Я въехал в город на паре белых лошадей. Евреям я сказал: „Вы народ богато одаренный, тесно сплоченный, подвижный, умеющий накоплять богатства. Вы побеждаете в экономической борьбе ленивый, пьяный, не злой, но расточительный коренной русский народ. Умейте благоразумно пользоваться ваши-

ми преимуществами, чтобы не раздражать русский народ. Мои двери вам всегда открыты". Несмотря на эти нелестные для них слова, они были в восторге. Население вскоре приняло вид веселый и радостный. Для прогулки я выбирал глухие места, где были кражи и грабежи, но грабители мне кланялись и благословляли. У меня был хороший помощник, но шальная бомба террориста уничтожила его"...

(Шальная, отчего шальная, когда она направлена была в него?)

„Румынский король очень беспокоится о России и давал мне советы, как должно действовать русское правительство. Я передал, но, увы, не я был исполнителем этих советов".

—

— У Вас неумолимо ласковая улыбка, безусловные глаза; и смерть, и жизнь в пьяном соке розового плода Ваших влажных губ.

— Кто продохнет через себя трагедию, тот — спасенный — ее герой и усмиритель.

— Как красный сок ободранного граната, пробежала кровь под тонкую кожу.

— Вы любите его?

— Люблю.

— Всячески?

— Всячески, как угарная.

> Он воет, как филин в дупле,
> Визжит, верещетит, как угодно.
> Скорее, скорей сильвупле.
> Поедем к ночным амазонкам.

— Вы очень несносны своим влюбленным эгоизмом. Надо быть свободным и легким.

—

...Даже на одной фотографии с кадетами я не снимусь. Слишком много им чести.

—

...В Выборге Вы себя одурачили, в Гельсингфорсе окривели совсем налево.

—

— Мы не отмежевываемся от левого настроения, а берем его с собою.

— Как солдат свой ранец?

— Пожалуй, в виде ранца с провизией и патронами.

— А ружье свое?

— Ружье собственное. А Вы чем хвалитесь? Ваш ранец — 17 октября. Он гораздо легче, и ружье у Вас фабрики Сергея Витте и князя Оболенского, синодского прокурора. Оно старого образца, пистонное. А у нас новейшего, скорострельное.

— Конечно, Вам выгоднее. У Вас на крайней левой сарай с бомбами.

—

...Серое мужицкое море, всколыхленное голодом и холерою.

—

...Мы ежегодно уплачиваем за границу сотни миллионов просто потому, что совершенно небрежно относимся к разработке собственных богатств. За немецкий уголь платим 40 миллионов, за медь — 15, за хлопок, шелк, медь, растительное масло и рыбные товары — 160 миллионов.

—

...Министерство ровно ничего не делает для изыскания рудных жил, рудных месторождений, а бюро частных разведок запрещает, боясь, что оно его скомпрометирует.

—

...Кадеты — Катилины.

—

...Октябристы — есть тесто, из которого правительство намерено испечь вполне благонамеренную чиновничью конституцию.

—

...Мечников: „Счастье в сыворотке болгарской. Она поддерживает правильное пищеварение, убивает вредные микробы, и человек живет долго".

—

...Вал... „Я сохраняю свою любовь для виртуозных проявлений".

Виттенштейн: „Чем Вы кормите Б.Медведицу?"

Фофанов хвастался:

— А я совершил одно великое дело.

— Какое?

— Проппера надул. Мы сочинили с приятелем стихи о реакции, о гнете, и я понес их Профперу. Говорю, что „Новое Время" их не напечатает. „Я принес их Вам, но с тем, чтобы Вы их напечатали через 5 дней, когда я сяду в Петропавловскую крепость по политическому делу". Он взял их, заплатил по 1 рублю за строку, и мы с приятелем их пропили, а через 5 дней в „Биржевых Ведомостях" появилась заметка, что меня заключили в Петропавловскую крепость и что перед отправлением туда я написал такое-то стихотворение".

—

По телефону спрашивали: „Который час?"

Рассыльный отвечал: „Телефонируйте в Петропавловскую крепость. Там верные часы, по пушке".

—

...Правительство должно быть сильным правительством, русским по своим стремлениям, закономерным в своих действиях. Различается три периода. Нельзя выступить с общим желанием перемены или, еще опаснее, с одним стремлением начать борьбу за власть. Три периода: первый пережили, второй — о свободном движении — скомпрометирован. Остался освободительный осадок. Освободительный атом. Партийные замыслы.

17 июля.

Вчера сидел П.С.Боткин. Его назначили в Танжер резидентом. Приглашал меня туда приехать, говорит, что зима там великолепная. В.П.Боткин умер 80-ти лет. Завещал 10 миллионов двум своим дочерям, одна за Н.И.Гучковым, другая за художником Астарковым. Н.И.Гучков получил за 1906 год 275 тыс. от Боткина. Гучковы были бедные, и Боткины им помогали.

Кончил 2 действие, 3-е не знаю. Чуть мерещится.

—

...Воронежский священник Замахаев на беседе духовенства заявил, что Христос был первым революционером. („Биржевые Ведомости".) А революционеры до Христа? Их было достаточно.

—

...Всякому позволено быть дураком до известной степени. „Est permis d'être bête jusqu'à un certain point". (Франц. пог.)

18 июля.

„Масоны". (Пьеса.)

— Ну, Вы как начнете о масонах, так и Адам согрешил по наущению масонов.

— Да дьявол-то и был учредителем масонства. Недаром это в Библии.

— Да, масонство основано для объединения людей на началах братской любви, равенства, взаимной помощи и верности. Новиков был масон, Карамзин, да мало ли?

— Так, так. Но масоны, будучи тайной сектой, келейными путями и пропагандой проникли всюду и стали упиваться властью. Государственные люди очутились в руках масонов. Армия и флот долго не поддавались, но пропаганда и туда проникла. Разве дело Дрейфуса стало бы всемирным, если бы не масоны? Мало ли попадалось людей в измене отечеству? За них никто не восставал. Но изменником оказался Дрейфус, и масоны подняли всю печать, все страны, точно мост проваливается. Подкуп, обман, подлоги, клевета, инсинуация — все было пущено в ход. Лабори, адвокат Дрейфуса, говорил мне, что взял на себя защиту Дрейфуса заочно, а когда увидал его, то говорил: „Я редко видел такое подлое лицо" („Une si sale gueule"). Благодаря масонам освободительное движение обратилось в разрушительное, вместо света и свободы — нетерпимость, вражда, революция. При нашей сентиментальности и уступчивости, при нашем благородном доверии к человеку масоны становятся во главе всего. Они диктуют проекты законов, пишут судебные реформы, составляют выборный закон, масоны в комиссии вероисповедной. Масон управляет первой Думой и масон же — второй.

— Все масоны. Чудно!

— Не чудно. Печать, адвокатство, актерство, банкирство — все масоны.

— Значит, мы дрянь. Не надо искушать вора.

— Именно мы и дрянь. Они сплочены, мы нет, они стоят друг за друга, мы друг друга едим, они имеют семью — у нас она разлагается, они религиозны — у нас началось безверие. Кто же виноват? Не клади плохо.

— Во Франции всего сто тысяч евреев, а французов 40 миллионов, а буржуа-евреи владеют там целой третью недвижимой собственности. И у нас они овладеют. Дайте только им равноправие. У них все деньги, и вся власть будет у них.

— Так работайте сами, развивайте энергию, составляйте синдикаты, союзы. А то масонство!

— Да Вы знаете, что муж Жеребцовой, которая участвовала в заговоре против Павла I, был членом в 27 ложах?

— А у нее было, может быть, 27 любовников, в том числе английский посол...

—

...Мы все критикуем. Раскритиковали все, и ничего не осталось. Это — анархия. А хорошее русское — литература, искусство, культура, русский язык. Его изучают во всем мире, им станут говорить в недалеком будущем все славяне. Надо творчество. Надо соединение.

— Это противоречит теории и логике!

— А черт с ними! Подальше от теории и логики. Надо опытным путем идти. Не годилось это — делай другое, пока не достигнешь успеха.

—

...Традиции основываются, как и почва отечества, из праха мертвых.

—

...Все вырождается: и короли, и знать.

—

...Мои старые идеи, мои старые слова не отвечают больше тому, что около меня действует и говорит. Что мне делать в этом мире? Общество живет автомобилем, механикой, и душа его стала механической.

—

В Гааге „белая" дипломатия. Военная слава увеличивает престиж. Франция — разбитая, Германия — победоносная, Франция не двигается в своей торговле и промышленности, Германия процветает, отчасти благодаря престижу победы и развившейся энергии немцев-победителей. Военные успехи увеличивают смелость инициативы. То же делается с Японией. Ее товары проникнут и к нам. Она

уже побеждает Америку в торговле, а нам с нею, конечно, нечего и мечтать о конкуренции.

—

...Борьба идет не за существование только, но за господство. Это во всем. В жизни, литературе и политике.

—

...Как митинг или гольф, так я тотчас простужу горло. Говорю, никто не слышит.

—

...Всякая борьба — дело серьезное, она только тогда не безнравственна, когда ведется трагически, как борьба не на живот, а на смерть.

—

...Мрачные краски так и бросаются в глаза. Но на всяком шагу видно, что Вы любите это время, что Вы чувствуете его важность, его величие, точно так же, как злое и злых, и потому Вы человек сегодняшнего дня, а не вчерашнего.

—

...Скептицизм может быть великодушен и оживляющ, он проповедует действие, а не отчаяние, заставляет подумать даже тех, которые вам не совсем верят.

—

...Дети традиций, дети нового духа.

—

...У одних нет социального смысла, другие не думают о том, что законы и политические учреждения — пустые рамки (cadres vides), которые стоят как раз столько, сколько

стоят те личности, которые должны действовать в этих рамках.

—

19 июля.

Мы не хотим тупого повиновения, но когда дело идет об общих интересах, личность должна подчиняться (война). Проигранное сражение более всего отзывается на рабочих.

—

...„Гражданин“: „Действующих револьверов в России 250—300 тысяч и 20 миллионов патронов“.

—

— Террор справа так глубоко пошел, что я получил угрозу, — мне грозили смертью за то, что я требовал отмены смертной казни (Кузьмин-Караваев).

—

Графиня С.А.Толстая говорит: „Я полукровка“; но бабушка ее Исленьева, кажется, дочь какой-то графини.

—

„Полукровка“. Дворяне тоже делали с бабами и девками полукровок. Аристократичный элемент в крепостное право был распространен, а также в тех местах, где долгое время стояли кавалерийские полки.

—

Лев Львович Толстой в своей пьесе выставил своего брата Андрея, гитариста. Он разводится со своей женой, рожденной Дитрихс (сестра его за Чертковым), и соблазнил уже несколько женщин. Теперь к нему ушла жена

тульского губернатора Арцимовича. Ей 30 лет и шесть человек детей. „Хоть час, да мой". Звегинцева ее было уговорила, но он как-то ей подвернулся...

20 июля.

Вчера в оперетке у Тумпакова Манасевич говорит, что Союз русского народа получил 400 тысяч и револьверы. Казаков действовал по благословению охранного отделения, когда устраивал покушение на Витте.

—

В Летнем саду встретил Ельца. Совсем постарел. Насилу его узнал. Прожил год во Франции, около Трувиля, и в Париже, лечил свои раны. Рассказывал о своих приключениях, когда его разжаловали, а затем опять пожаловали. Очень интересная картина наших самодержавных порядков. Бранил Алексеева. В самом деле, этот человек, лебезивший с Безобразовым, Абазой, выходит сух из воды. А он и Стесселя оставил, и из соперничества с Куропаткиным наделал множество гадостей. Царь дал ему Георгия, черт знает за что.

—

На днях в Озерках арестовали 15 человек, очень важных. Сыщик — малоросс, едва грамотный, целые сутки просидел на дереве около дачи и оттуда наблюдал за тем, что делалось на даче. Их накрыли, когда они сходились на заседание. Были два солдата, студент, который стал стрелять, когда входила полиция, и тем выдал всю компанию. Он не попал ни в кого.

23 июля.

Думал о третьем акте. Вчера переделывал первый. Ничего не выходит. Переделка для театральной школы вычислена в 8 тысяч. Платить не хотят. Далматов хочет в инспекторы Плещеева. Начнется домашняя история, а потом публичный дом. У нас все так. Принимать будут по знакомству, по протекции, по пакости, а не по талантам, которые обыкновенно скромны в первое время и льнут нахально.

—

В Государственном архиве начальник обыкновенно списывает интересные документы, проводит их в печать, точно это собственность. Министр в министерстве — помещик.

—

Вечером вернулся в Петербург. Был В.И.Ковалевский. Долго говорили о Витте, о современном положении вещей, о Менделееве. Менделеев хотел очистить путь к Северному полюсу, говорил, что он изучил все пути, но два остались неисследованными. Он так верил, что обязывался взять с собою всю семью. Великий князь Александр Михайлович отрицал. Написал письмо государю. Оно было передано опять Александру Михайловичу, который сказал: „Довольно нам опытов Макарова". Менделеева получила пенсию в 5000 рублей. Министр финансов сказал: „Больше 3-х не дам". Ковалевский стал хлопотать. Набавили тысячу. Пятую устроил П.А.Столыпин, сказал Ковалевскому, чтобы Менделеева написала письмо государю, а он его доложит.

Витте и Каприви. Каприви хотел, чтобы Финляндия была отделена от России в таможенном отношении, как отдельное государство. Витте, не докладывая государю, дал Каприви два дня сроку, чтобы взять это предложение назад, и мучительно ждал, что он ответит. Почти в исходе 2-го дня Каприви взял свое требование назад. Витте рассказал об этом Александру III. „Победителя не судят", — сказал царь, пожимая руку Витте. Был случай, что речь свою в рейхстаге Каприви прислал Витте. Ковалевский хорошо говорит, и он примирился с Витте и имел возможность высказать ему откровенно свое мнение. У Витте большой талант и большой ум. Умение узнавать людей, но малое образование и полное отсутствие нравственных правил. Он старается подкупить всякого человека тем или другим способом и вытянуть из него все что можно. Огромная ошибка была издать Манифест 17 октября, никого не предупредив; все губернаторы узнали из газет, когда они стали выходить. Ковалевский говорит, что Тре-

пов старался в пользу конституции. Он же написал речь царю, сказанную при открытии I Думы. Царь взял из нее 11 строк о порядке и свободе, перефразировав их, и о желании оставить наследнику Россию „крепкую и просвещенную". Остальное — горемыкинское. Заговорив о том, что Дума не выразила порицания террористам, М.М.Ковалевский ответил на вопрос: „Ведь убийство — это больше чем грех" — так.

— Я не смел (порицать). Вся моя репутация погибла бы, если б я сказал. Крестьяне сначала рассчитывали на царя, потом на Думу. Когда царь распустил Думу и, значит, показал, что он выше ее, — народ совсем упал духом. Союз русского народа действует возмутительно, стараясь вызвать неудовольствия, с тем чтобы исправники и становые прижимали его. О Милюкове, которого Ковалевский знает: „Большая способность работать, минимальные требования относительно средств и прямолинейность". О П.А.Столыпине: „Искусный человек, но ума государственного нет, нет той „масти", которая нужна для этого. Будь она у него, он бы мог сговориться со II Думою".

Витте повалил Трепова, он же повалил Горемыкина. Вл. Ив. не говорит прямо, но несомненно, и он принимал в этом деятельное участие. Уверяет, что Трепов показывал ему письмо Витте государю, в котором он говорит, что он отказывается от Манифеста 17 октября, что это ошибка, что Россия не доросла до этого и надо вернуться назад.

— Я этого не писал, — сказал Витте.

— Я сам читал это письмо, — сказал Ковалевский.

— Вы не так поняли, — возразил Витте.

Ковалевский просил это письмо у Трепова, но тот не дал.

Трепов говорил о царе: „Я делал все, чтоб спасти его. Но нельзя спасти человека, который этого не хочет".

У государя: „Я подумаю" — если он сказал это о чем-нибудь, значит, он с этим несогласен, и нечего об этом разговаривать.

Я слышал, кажется от Витте или от Столыпина, что государь ведет свой дневник. Ему не мешает его вести, потому что суровых обвинений против него в мемуарах современников будет очень много.

Статья Киреева, помещенная в „Новом Времени" на днях, — пересказ поданной им записки государю, о которой я говорил раньше.

Вл. Ив. говорил о необходимости поместить статью о приобретении государством кабинета Менделеева. Витте ему говорил:

— Напишите об этом в „Новом Времени", и оба подпишемся.

Но Ковалевский не хотел подписываться вместе с ним и не хочет подписываться один, чтоб не огорчить Витте.

— Если это не подействует, я обращусь к купцам. Они это сделают, — сказал он.

25 июля.

Меламеды — ученые евреи — жалуются, что учеников в их школах слишком много, они должны брать себе помощников из молодежи, а молодежь вся анархистская. Поэтому надо снять черту оседлости.

—

..."Да будет Союз русского народа мне надежной опорой", — слова государя к Ив. Дубровину.

—

...Ни на одном европейском языке нет слова собираться к работе. Западные люди готовятся к работе!

—

Киреев говорил, что император Александр III называл Вильгельма II пиявкой, — „пристанет, так не отвяжется", а разных немецких князей — паршивцами. А вот как эта „пиявка" выросла и как прославилась! А „паршивцы" начинают работать, заниматься наукой, поэзией, строить фабрики и заводы.

27 июля.

Был Л. Л. Толстой. Лето в Швеции, которым он бредит. 4 дня в „Ясной Поляне". Лев Николаевич молодцом себя

чувствует, купался. Прислал поклон. Лев Львович написал две пьесы, одну в 2-х актах, другую в 5-ти актах и в 6 картинах. Нечто ужасное, по его словам. Изображение всего существующего. „Моя родина" название, то есть несчастная моя родина.

—

Узнал, что контракт на бумагу заключен Снесаревым.

Конечно, хороший процент взял себе. Параграф о забастовке и о том, что в этом случае фабрика может доставлять бумагу худшего качества, я вычеркнул.

—

...Государственные люди не имеют времени читать историю, а потому делают ее, как бочар делал луну в Гамбурге.

31 июля.

Вчера у О. А. Новиковой. Говорили о Л. А. Тихомирове, чтоб взять его в „Новое Время". Мне бы хотелось, но в редакции многие против него. Видел у нее Губастова.

— Вчера была у меня княгиня Васильчикова, жена министра. Спрашивает: „Что мой муж?" „Глуп твой муж, — сказала я ей, — умней ему надо быть".

Крестьяне встретили ее в деревне хорошо.

— Я им вместо водки дала по пуду пшена. Думали, что это будет стоить 40 рублей, а оказалось 200 рублей. Совсем разорилась.

Она очень симпатичная старушка.

—

На днях арестована вся бригада кондукторов на Царицынской дороге. Один из них выбросил на станции целый багаж прокламаций. Жандарм видел.

—

...„Гласность — средство борьбы с охватившим целые группы людей безумием".

—

..."Быть всегда шагом впереди общества, никогда двумя" (Герцен).

...Конституция есть монополия государя, как вино есть монополия министерства финансов.

2 августа.

...Тоска по идеалам, по хорошим отношениям, по свободе. Тоска по новому. Везде начальство. В революцию оно строже, а иногда сурово.

—

Карпов был, говорили о пьесах. На одной из станций он видел Федотову. Больную старуху, страдающую подагрой, тащили несколько человек. Написал комедию из современного политического быта.

—

— Вы меня не узнаете?

Оказалось, министр иностранных дел Извольский, который когда-то был у меня. Мы с Извольским проговорили об японско-русском соглашении. Я говорил за китайцев, он за японцев: „Китайцы — выродившееся племя, погруженное в материализм, идеальных стремлений у него нет. У японцев патриотизм и т.д. Могут многих победить и т.д., но ненадолго". Вообще, не поражает умом. Рассчитывает, что соглашение наше очень хорошо, лет на 10 даст нам спокойствие. Оно к тому же составляет часть общей сети соглашений — Англии с Японией и Францией, Франции с Японией и Россией и России с Японией и Англией. Последнее соглашение будет заключено через месяц.

3 августа.

Тимирязев: „Обе Думы — думы чувства, а не мысли, или лохмотья мысли, которая выражалась бурными порывами. Темперамент не мысль. Темперамент раздраженный, горячий. Дума должна быть думой государственной мыс-

ли и опыта. А государственной мысли не было у государственных людей".

—

— ...Мне жаль затравленного зверя (революцию). Не то чтобы я жалел его острых зубов, его хищного наскока, его безумной ярости — помилуй Бог! Мне жаль улетевшей красоты этого единственного в своем роде русского медведя, столь много обещавшего и столь мало давшего. Мне жаль моих ожиданий, моей грусти, моих восторгов, моей веры и ошибок, жаль пролетевшей, как сон, молодости. Подкрадывается что-то старое, склизкое, корявое. Перед зрелищем затравленной революции я испытываю что-то среднее между тошнотой и раскаянием. Смелость сознавшей свою силу и отвагу задорной юности; наглость реакции, наглость торжествующей, злобно-старострастной, импозантной, но похотливой энергии старости.

7 августа.

„Русь" вспоминает мою статью 1882 года о „Священной дружине". Верно передавая факты, в сущности лжет. То, что я предлагал как масонство, совсем не то, что „Священная дружина".

—

...Кто на кого клевещет? Черт ли на вас, или вы на черта? Не разберешь. Черт стал честнее, чем люди, и стал теряться сплошь и рядом, дружась с негодяями, воображая, что встретил добродетельных людей, которых необходимо соблазнить. Оказывалось, что они соблазняли самого черта и его запутывали.

—

„Речь" говорит, что „мы (кто?) пережили своего рода политическое славянофильство или самобытничество". Хотели перевернуть мир при помощи революции и начать новую эру. Привыкнув к мечтаниям, огромная часть интеллигенции двинулась путем этих мечтаний и возможно-

стей. Все полетит к черту. История никогда никого не научила, и всякий должен учиться на собственном опыте. Опыт оказался неудачен.

—

„Друзья слева“ — кадетские друзья. Рассчитывали на стихию преждевременно, но и страх перед стихиею оказался напрасным. Традиционные силы правительства взяли верх. Укрепления оказались картинными, тактические приемы пришлось сдать в архив. Не физическая сила решает, но есть сила и „невесомых величин“.

Революционеры хотели победить физической силой, а кадеты дозволяли им делать опыт. Если б он удался, они пристали бы. Но он не удался, и они отстают.

—

...„Смотри веселее!“ (Рассказ Витте). Когда встречали гроб Александра III, Трепов командовал эскадроном и, обратившись к нему, крикнул: „Смотри веселее!“

8 августа.

Вчера и сегодня получил несколько писем по поводу моего „Маленького письма“ о масонстве. Были два автора очень дельных писем: Евг. Ник. Жуковский, войсковой старшина Сибирского казачьего войска (Омского) и Ник. Конст. Волков, товарищ прокурора Сибирского окружного суда.

Первый рассказывал о переселенцах, о спорах администрации между собой. Зима. Переселенцы выкапывают яму, накрывают ее хворостом или соломой в виде тюфяка и там живут. Тиф, оспа. Леса нет. Когда достал — Министерство земледелия недовольно. В Омске два лесных склада, один казенный, другой переселенческий. Довольно одного. На чиновников возлагается пропасть работы. Всякая инициатива считается несоответствующей чиновничеству, зато кто отписывается, тот и идет в гору. Переселенцы-великороссы — ужасны. Малороссы лучше. Много немцев и латышей. Ездил с губернатором на пространстве 60 верст. Все немцы, и ни слова по-русски.

8 рублей в день — мужик, баба и мальчик. Поработает три дня и уходит. „Мне, — говорит, — на месяц достаточно“. Не заботится о будущем.

—

...В наше время надо много смелости и главное денег, чтобы говорить правду. Но у кого много денег, те совсем перестают говорить правду и начинают говорить ложь, а у кого их нет, тех преследуют, не дают говорить и т.д.

—

..."Или все, или ничего“ — чем хуже народу, тем лучше революции. Правительство переходило к представительству. Александра II убили. Постепенной реформы не хотим. Она хуже, чем ничего. Нельзя учиться, так как школа не истинно демократична. Нельзя повиноваться никакой власти, пока она не перейдет в руки народа. Нельзя заниматься земледелием, пока вся земля не перейдет в руки народа. Нельзя работать на фабриках, пока не будет 8 часового рабочего дня. Жить нельзя, пока все не перестроится по образцу социалистов-революционеров. Не человек важен, а формула.

—

Жуч. Если б я был революционером, я бы с Вами не сошелся во взглядах. Между нами всегда бы стояла стена, через которую я не перелез бы на Вашу сторону.

Цед. А если б я перелез к Вам? У меня хватило бы на это духу.

Жуч. У меня не хватило бы. Не могу похвастаться.

Цед. Вы уклоняетесь от прямого ответа на мой вопрос: если б я перелез? Как Вы поступили бы?

Жуч. Я попросил бы Вас извинить меня и стал бы строить между нами новую стену.

Цед. Я мог бы помешать Вам в этой работе...

Жуч. Каким образом?

Цед. Не знаю... смотря по обстоятельствам.

Жуч. Во всяком случае, я не уступил бы Вам.

Цед. Мы стали бы драться?

Жуч. Или драться, или... я просто бы ушел от Вас. Вы меня извините, пожалуйста, но во мне, вероятно, слишком много недостатков чисто русских... скажите — предрассудков, отсталости, варварства, но я бы ушел от Вас.

Цед. Вы антисемит?

Жуч. Да, я антисемит.

Цед. Но русский антисемитизм выражается в таких грубых формах, что они осуждаются всем человечеством.

Жуч. Я человек достаточно воспитанный, чтобы предпочитать идейные формы всяким другим.

Цед. Значит, грубые формы антисемитизма Вы осуждаете, и если б Вам пришлось выразить свое мнение в печати, Вы их осудили бы?

Жуч. Я не литератор и такой необходимости не предвижу.

Цед. О, вот какой Вы! Я не ожидал. Вы, следовательно, сочувствуете погромам?

Жуч. Нет, погромам я не могу сочувствовать.

Цед. Почему же не выразить им осуждения?

Жуч. Борьба между расами, славянской и семитической — фатальная борьба и, думаю, непримиримая. Поэтому я стал бы на сторону сионистов, если мог бы верить искреннему желанию евреев поселиться в Палестине.

Цед. Вы полагаете, что они лгут?

Жуч. Нет, не полагаю. Они просто ошибаются.

Цед. Вы не хотите быть побежденным?

Жуч. Евреями?

Цед. Нет, в этом споре?

Жуч. Я достаточно ясно выразился. Да и что я? Достаточно того, что есть русские писатели, которые оправдывают Иуду.

—

...Говорил горячо, ударял кулаком об стол, и вдруг поймал себя на актерстве, подумал, не развил ли в себе замашки.

...Власть обращает внимание на мелочи, а важное пропускает. Мелочи всегда были важнее.

...Душевная муть не проясняется, а густеет. Человек живет в атмосфере кровавых образов и злобных представ-

лений. Чем бороться с этой растущей волной взаимной ненависти?

17 августа.

Была интересная беседа с костромским губернатором Веретенниковым. Рассказывал, что раз Куропаткин и Витте вместе возвращались от царя.

— Поздравляю Вас с Новым городом, — сказал Витте.

— С каким? — спросил Куропаткин.

— С Дальним. Государь уже утвердил.

И Витте развернул план города.

Куропаткин не имел денег на Порт-Артур. Дальний стоит 42 миллиона.

—

П.А.Столыпин приехал от царя взбешенный и рассказывал своему брату, что царь ему сказал:

— Видели, как „Новое Время" мешает Вас с грязью?

П.А.Столыпин прибавил к этому:

— Если б Меньшиков говорил не обо мне, я оштрафовал бы „Новое Время" на 3000 рублей по новому закону, по которому не дозволяется унижать власть.

Вот и доказывается, что у П.А.Столыпина есть большая недохватка в голове — сейчас же кулачки и показывает.

19 августа.

С 5.30 до 7-ми сидел А.П.Извольский, министр иностранных дел. Он развивал свою программу по поводу соглашения с Японией и Англией. „Япония лет 10 нас не тронет. Воевать там нам невозможно, Маньчжурию мы разделили на 2 района. Японии будет южный, мы — север, который Японии не нужен. Японцы плохие колонизаторы. Они воины. В Европе назревают события. Мы должны быть свободны в Европе, и поэтому необходимо обеспечить себя в тылу. Поднимаемся мы только удачной войной с кем-нибудь, все равно с кем. Нам надобна не столь большая, но хорошая армия". На мой вопрос о проливах он сообщил, „как Алексею Сергеевичу, а не как журнали-

сту", что в этом вопросе Англия будет за нас. Не врет ли? Остается Германия.

„В прошлом году со мной говорили как с представителем Турции и Персии. „Если Россия не умеет ввести у себя порядок, то мы введем, пошлем свои корабли". Вот до чего доходило дело! Я теперь буду говорить совсем иначе. Уже в Свинемюнде благодаря соглашению с Японией я мог говорить тверже, чем в прошлом году. В будущем наследство Австрии. На Балканах мы вместе с Болгарией. Хорошо, что мы с ней столкнулись в резком кризисе. Это на пользу обеим сторонам. Рыбная конвенция с Японией невыгодна, но она определена Портсмутским миром. Приходилось отстаивать всякую запятую".

Упомянул о расстройстве своего здоровья, хотя он выглядит очень крепким и здоровым человеком. „Меня критикуйте, без критики нельзя обойтись, но относитесь к моей политике беспристрастно. Набеги Вашей газеты вредны для России".

Я говорил о плохой администрации.

— Людей нет. Посла в Японию не могу найти. Мой двоюродный брат был 30 лет в Париже, куда же я его могу послать? — вообще он говорил как деловой человек. В деле роспуска II Думы он был за роспуск ее после отказа Думы утвердить временные законы по 87 статье. Так бы поступили в Европе. Столыпин не соглашался, выжидал более резких проявлений. Столыпин стоял твердо на соблюдении 17 октября. „Можно распускать Думу, но не трогать конституцию".

—

В „России" печатается рассказ о сношениях Кладо с фон Миних. Чисто интимная история. У этой Миних впереди миллионы. Сама она 40-летняя старая дева, бегающая за мужчинами. Мужчины бегают за ее миллионами.

—

Осматривал собор на месте убийства Александра II. Довольно эффектный. Он будет конкурировать с другими церквами. Архитектор Парланд. Английская физиономия.

„Английский немчик". Если бы Александра II не убили, не было бы ему такого превосходного памятника никогда.

—

...Чем дольше живет человечество, тем менее в нем простору и успеха насилию. Разумная свобода достигается трудно, не по приказу, не в короткий срок, не насильственным ускорением истории. Нужны настойчивые, продолжительные усилия и труд, неутомимая борьба с роковыми препятствиями и случайностями, борьба силой просвещения — единственно надежным путем.

Лидо, 11 ноября.

Сегодня мне 73 года. Ужасно много, зато осталось мало. Я выехал 2 сентября. Во вторник утром в Берлине. В среду видел Гардена. В 10.25 выехал на Верону. В четверг приехал в Венецию.

14 ноября.

...Молодость везде хороша. Толстой умер 80-ти лет. Пушкин — 37-ми, Байрон — тоже. Рафаэль тоже 37-ми лет, Христос 30-ти. Вот настоящие гении! Чем был бы Толстой 37-ми лет? Когда долго живешь и работаешь, то, конечно, кое-что сделаешь. И Лермонтов был бы гениален. И Гоголь — тоже. Он кончил писать почти около 37 лет, если не считать бесплодных усилий на переписку с друзьями.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

лева была замужем за князем Белосельским-Белозерским — 275

Богданович Евгений Васильевич (1829/32?—1914) — генерал от инфантерии, член совета министра внутренних дел, староста Исаакиевского собора и почетный член правления „Исаакиевского братства“, издатель брошюр квазипатриотического направления под общим названием „Кафедра Исаакиевского собора“. У его жены был один из влиятельнейших столичных салонов — 29, 124, 128, 132, 134, 135, 160, 161, 205, 332, 334, 348

Боголепов Николай Павлович (1846—1901) — профессор римского права, ректор Московского университета (1883—1887 и 1891—1893), министр народного просвещения (1898—1901), автор „Правил“ об отдаче „крамольной“ части студенчества в солдаты, убит эсером П.В.Карповичем 14 февраля 1901 г. — 307, 308, 347

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896) — художник-маринист, почти постоянно живший в Париже, деятельный участник Товарищества передвижников. Свое богатое собрание картин и предметов прикладного искусства завещал городу Саратову, где им основаны Боголюбовская живописная школа и т.н. „Радищевский музей“ (Боголюбов — внук А.Н.Радищева) — 52, 63

Боткин В.С. — дипломат — 53, 83

Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — известный врач, лейб-медик Александра II и Александра III, один из основоположников научной клинической медицины. Высказал предположение об инфекционной природе катаральной желтухи (гепатита) — 80

Брюнетьер Фердинанд (1849—1906) — французский историк литературы, критик и драматург, автор „Истории французской литературы классического периода“ — 71

Булгаков Федор Ильич (1852—1908) — писатель, с 1900 года редактор газеты „Новое время“, издатель и редактор „Нового журнала всемирной литературы, искусства и науки“ и „Альбомов русской живописи“ — 146, 170, 283, 345, 373, 380, 382, 404

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — редактор „Северной пчелы“ (1825—1859), журнала „Сын отечества“ (1825—1839), автор псевдоисторических романов. Писал политические доносы на русских литераторов — 258

Бунге Николай Христианович (1823—1895) — экономист,

СОДЕРЖАНИЕ

Суворин А.С.
С89 Дневник. — М.: Изд-во „Новости", 1992.
— 496 с. с ил. — (Серия „Голоса истории").

ISBN 5—7020—0353—5

Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — многолетний издатель крупнейшей и самой влиятельной русской газеты „Новое время", записывая в свой дневник и не рассчитывая на опубликование своих записей, как бы отводил душу после своей повседневной службы. Очень наблюдательный, много знавший, бывший в близком знакомстве и переписке с выдающимися политическими, общественными и культурными деятелями России и Запада, А.С.Суворин преклонялся только перед немногими избранными. Благоговейные записи мы находим в его „Дневнике" лишь о Толстом, Достоевском и Чехове.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

С $\frac{4700000000}{067(02)-92}$ Без объявл. ББК 63.3(2)55

Алексей Сергеевич Суворин

ДНЕВНИК

Зав. редакцией *Л. Д. Соболев*
Ответственный за выпуск *З. Е. Машкова*
Редактор *Н. В. Потатуева*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Фоторедактор *В. Х. Черепина*
Технический редактор *Л. С. Румянцева*
Корректор *Е. А. Тихонова*
Технолог *С. Г. Володина*

ИБ № 10434

Подписано в печать 04.11.91. Формат издания 84×108/32. Бумага офсетная 70г/м².
Гарнитура Банниковская. Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 28,29. Тираж 30000 экз. Заказ № 307.
Изд. № 8829. Отпускная цена в переплете 11р.90к. Отпускная цена в обложке 7р.50к.

Издательство „Новости"
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства „Новости"
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.





А·СУВОРИН

И вот именно потому, что записанное А.А.Сувориным запечатлевалось на бумагу не для истории, передавалось без „замазывания щелей“, без сглаживания острых углов, без оглядки назад и без боязни кого-то обидеть, кого-то задеть, кому-то сделать неприятное, кого-то развенчать, кому-то испортить ореол, его окружающий; именно потому, что нанизаны факты, иронией освещенные, <...> фактами дополнены многие характеристики — именно по этой причине собранный здесь материал ценен, и уж во всяком случае значительно более ценен, чем те записки, которые пишутся на склоне жизни, в большинстве случаев для самооправдания или для наведения будущего историка на ложный след. „Дневник“ Суворина — это разговор с самим собой наедине, как бы каждодневное покаяние.

Новости